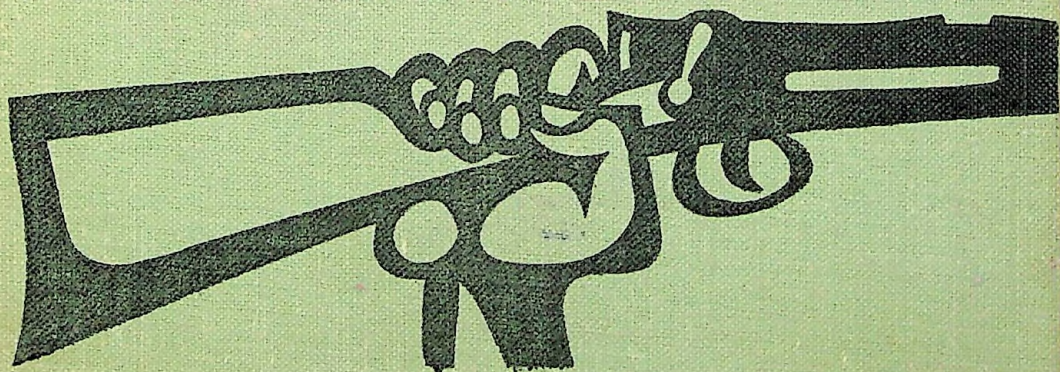
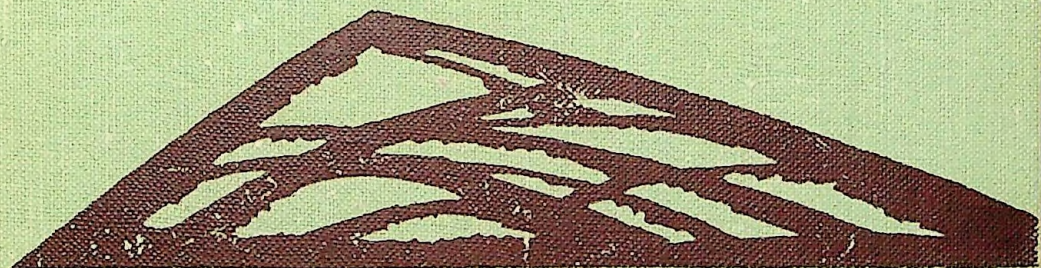


И (Ногова)
0 - 56

МЛАДЕН
ОЛЯЧА

КОЗАРА



МЛАДЕН
ОЉАЧА

КОЗАРА



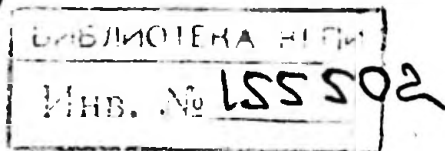
Београд, 1966

МЛАДЕН
ОЛЯЧА

КОЗАРА

Перевод
с сербскохорватского

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1970



И (Югосл.)
О-56

Перевод Т. Поповой и Е. Рябовой

Послесловие и примечания В. Зеленина.

Редактор Н. Ваганова

Художник Г. Пондопуло



Моим советским читателям

Козара — это горный массив в Югославии. Козара — это моя родина. Козара — это символ, это человеческая драма.

Козара — символ нашей стойкости в борьбе за свободу. Это одна из величайших трагедий минувшей войны.

Я попытался воспроизвести эту драму. Я хотел рассказать людям своей страны, что на протяжении многих веков их безжалостно разделяли знамена, униформы, гербы, предрассудки и что им достаточно сделать всего один шаг, чтобы стать братьями. Но они не хотят или не могут сделать этот шаг или делают его слишком поздно, когда уже все потеряно...

Я бы предпочел писать романы о чем-нибудь более веселом, а не об убийствах. Но писатель не виноват в том, что ему приходится быть летописцем своего времени. В жестокие времена трудно писать книги, которые бы не говорили о жестокости.

И все-таки нас не покидает надежда. Человеческая надежда, этот трепетный огонек, может быть единственный и истинный источник искусства, не дает нам пасть духом. И мы, писатели, подобно звонарям, которые когда-то созывали народ на восстание, тянем колокол за веревку и бьем и бьем в набат, горячо веря, что люди нас услышат, ибо наперекор всему род человеческий продолжает жить...

Белград, июнь 1969 года

Младен Оляча



КНИГА ПЕРВАЯ *

Ой, Козара, лес да кручи,
Тьма солдат в лесах дремучих.

Народная песня

Снова обошел я всю Козару. Я заглядывал в лес, бродил под деревьями, взбирался на пригорки, переходил вброд речки, собирал ягоды, жевал заячью капусту, подсвистывал птицам. Наконец-то посетил я те места, где в июне и в июле тысяча девятьсот сорок второго года шли жестокие бои. Я видел Патрию, Погледжево, Мацуры, Цвинча Гай, Хайдеровцы, Кнежпцу и Кнежеполье, Дубицкое шоссе и холмы, на которых и нынче, столько лет спустя после битвы, поглотившей около десяти тысяч солдат и более тридцати тысяч крестьян, не сровнялись с землей окопы, все еще зияют поросшие травой воронки, воскрешая в памяти военные годы.

Я и раньше не раз бывал в этих краях, но не заходил далеко в лес, а старался держаться ближе к подножью гор. Я боялся услышать возле Бокана и мельницы на Млечанице крики и плач детей, вопли женщин и стариков, которые огромным табором, более ста тысяч человек, жили там под открытым, холодным небом. Мне казалось, что я вот-вот услышу мольбы раненых, оставленных нами в овраге над Боканом в ту ночь, когда мы последний раз пытались пробиться из окружения. Я боялся услышать голос сестры Джуи. Ей было всего двадцать лет. Однажды глухой ночью она бесследно исчезла в лесу, и мы даже не знаем, где искать ее могилу.

Целых двадцать лет не заходил я в этот лес, боясь своей памяти, теней прошлого. Но теперь, спустя столько недель, месяцев и лет, я вдруг почувствовал себя шестнадцатилетним мальчишкой, шагающим в партизанской

колодце. Каждую минуту на нас может обрушиться вражеская атака. Из-за каждого дерева и пня, с любого холма может подстеречь пулеметный огонь или граната. И чем дальше заходил я в лес, тем сильнее становилось это ощущение.

Пока я бродил под соснами и развесистыми елями, сквозь кроны которых кое-где проникало солнце, рассекавшее полумрак леса своими острыми лучами, похожими на позолоченные мечи, мне казалось, что я вижу перед собой командира нашей роты Лазара. Неуклюжий, долговязый, с широченными плечами, с черными усищами, как у Марко-королевича, он скачет на коне впереди роты и так громко выкрикивает слова команды, что лес гудит.

И померещилось вдруг, что я вижу Анджелию, и Лепосаву, и Эмиру: вот Анджелия и Иван, закованные в цепи, вот Лепосава и другие женщины идут в атаку, вот Эмира и Райко — одни среди леса. Потом увидел я и пашу странницу Матильду. На какое-то мгновение промелькнули перед моими глазами полковник Франчевич с фра-Августинном и майор Дитер, немецкий офицер, который ожидал на Козаре вести о рождении сына и который пытался обрести то, что уже давно навсегда потерял...

Глядя вокруг, я мысленно переносился в те дождливые, хмурые дни и ночи, когда наш отряд во главе с Шошей после упорных боев и тяжких потерь сделал попытку вырваться из клещей, сомкнутых вокруг нас полками неприятельских армий. Величественное спокойствие леса, травы, камней и неба потрясало меня до глубины души. Они будто говорили, что здесь уже давно все забыто, а может быть, ничего и не было.

И все-таки я ступал осторожно и с опаской, словно прошлое возвратится и снова возникнет то, что уже кануло в вечность, словно откуда-то из леса вот-вот грянет смертопошный залп, и опять как подкошенный упадет человек, только что шагавший рядом со мной.

А ведь тогда могли убить и меня, думал я и вспомнил, как вчера в селе старуха показала мне пустую гильзу двадцатилетней давности, которую нашли на пашне у опушки леса. Может быть, эта гильза вылетела из моей винтовки, а может, в ней была пуля, предназначенная мне. И я припомнил историю, которую передают из уст в уста козарские лесорубы. Несколько дней назад они срубили в горах дерево, а когда оно рухнуло на зем-

лю, из ветвей выпал человеческий скелет. «Откуда мог взяться на дереве скелет?» — спрашивал я себя, как, наверно, спрашивали себя и другие, слушавшие эту историю. Должно быть, в то страшное время, спасая свою жизнь, кто-то взобрался на дерево и привязал себя к стволу ремнем или веревкой, чтобы во сне не свалиться вниз, но там его настигла пуля. Так он и остался висеть в ветвях, пока не упало подпиленное дерево.

Я шел и думал: если пуля тогда сразила не меня и не тебя, если на Козаре двадцать лет назад был убит кто-то другой, а не я и не ты, нам с тобой, мой друг, все равно никуда не уйти от мыслей о его смерти. Нас убьют воспоминания о кошмаре тех лет, об ужасе и опустошении. До конца дней будет преследовать нас ощущение, что мы окружены, что со всех сторон нас подстерегает гибель и что нас, мертвых, оплакивают наши матери.

От автора

1

Нужно очистить страну от славянского дерьма, говорили майору Дитеру, когда он отправлялся в Боснию. Но с него уже хватит. Безразличный и холодный, словно потухший уголек, прибыл он вопреки своему желанию вместе с толпами солдат в Баня Луку в один из солнечных дней тысяча девятьсот сорок второго года. Чаша переполнена, думал он, глядя на Врбас, зажатый серыми скалистыми кручами. Он перевел взгляд на скалы, нависшие над рекой и поросшие кое-где дубняком, буком, явором: деревья, казалось, готовы были обрушиться в стиснутую камнем реку и вытеснить ее из русла.

А на следующий день, десятого июня, старые мосты вздрагивали и скрипели под тяжестью танков и бронетранспортеров, поползших в направлении Иваньской, Пискавицы и Приедора. Вслед за колонной выехал и майор Дитер, и вскоре он уже рассматривал темные очертания лесов, затянутых пеленой моросящего дождя. Вот она, Козара, подумал он. Это был восточный склон коварно затаившегося горного массива, превращенного в огромную засаду. Согласно приказу нужно было овладеть горами и прочесать район площадью в несколько тысяч квадратных километров, насчитывающий двести тысяч жителей и около четырех тысяч партизан. Это будет не так-то просто, подумал Дитер и потрогал револьвер, которым он когда-то гордился. Теперь он все чаще ему мешал.

На географической карте генерал Шталь обозначил пункты, в которых надо было закрепиться в течение первых трех дней. Он отметил и предполагаемые пути продвижения от Бая Луки, Босанского Нового, Костайницы и Дубицы, особо выделив места возможных столкновений с партизанами, которых в одном из выступлений Гитлер назвал бандитами. Затем был роздан приказ:

Не останавливаться ни перед чем для обеспечения безопасности воинских частей. Не может быть и речи о превышении власти, если дело касается бунтовщиков. Каждый, кто прямо или косвенно оказывает сопротивление немецким или хорватским вооруженным силам, подлежит высшей мере наказания: расстрелу или повешению. Бандитов в плен не брать. Бандиты должны быть физически уничтожены. Раненых убивать. Взятых в плен трудоспособных мужчин старше пятнадцати лет отправлять в особые лагеря или на принудительные работы в Германию. Труднодоступные населенные пункты и все партизанские укрепления подлежат полному уничтожению. Воинские части обязаны беспощадно и со всей строгостью расправляться с населением, враждебные настроения которого не вызывают сомнения. Враг должен быть лишен всех средств существования, а это значит, что оставленные села надо уничтожать, сжигать жилища и уводить население в лагеря и на принудительные работы. Генерал Кунце, командующий Юго-Восточным фронтом, от имени фюрера приказывает соединениям, занятым в операции на Козаре, выполнить поставленную задачу не более чем в десятидневный срок, с тем чтобы освободившиеся воинские части могли быть переброшены на Восточный фронт, против русских, или же, в случае высадки английских войск, в Грецию.

Читая приказ, майор Дитер вспомнил совещание третьего марта в Опатии. Тогда из отборных немецких, усташских, домобраских и венгерских частей была сформирована западнобоснийская военная группировка (Kampfgruppe Westbosnien), получившая задание прочесать всю Козару. Припомнил он и торжества, устроенные в честь немецких генералов и офицеров: Шталя, Боровского, Гойтнера, Веделя, Фрица и других, подразделения которых вошли в западнобоснийскую группировку. Командующий группировкой, бывший командир 714-й дивизии генерал Фридрих фон Шталь, поднял первый тост за Ганса Гойтнера, командира 718-й дивизии, хорошо известного козарским партизанам. Еще прошлой зимой он вел

с ними бои на Дубицком шоссе, в Двориште, Меджуводже, в Брекине и Ютрогуште, пытаюсь сквозь снежные заносы про-
рваться в отрезанный Приедор и помочь окруженному в нем
хорватскому гарнизону, который уже несколько недель томил-
ся там, зажатый в клещи партизанами.

На приеме было весело: много вкусной еды, много ракии,
вина, женщин. Дитеру было бы совсем хорошо, если б он
постоянно не ловил себя на том, что следит, какую подают
ему ложку, нож, какое вино он пьет, чистая ли вилка, хорошо
ли вымыта тарелка, на которой принесли мясо. Надо быть осто-
рожным, так как находишься в смрадной и грязной стране.
Чудовищно грязной. Нигде нет уборных, а если порой они
и попадаются, то до того отвратительны и загажены, что про-
сто невозможно ими воспользоваться, вот и приходится бегать
за нуждой по холмам да перелескам, где в тебя каждую ми-
нуту может угодить пуля.

Была на приеме и музыка: скрипка, бубны, контрабас, да-
же рояль, правда, расстроенный. Оживление перешло в шум-
ное веселье, особенно после того, как осушили первые бутылки
ракии. Дитер предпочитал ее всем остальным напиткам и
пил до дна, потому что был уверен, что она без примесей, и
при этом вспоминал русскую водку, с которой боснийская сли-
вовица может вполне соперничать и даже, пожалуй, лучше ее
по вкусу.

Были и красивые женщины. Им здесь явно правилось, они
кокетничали и смеялись, с восхищением поглядывая на не-
мецких генералов и офицеров, а это вызывало ревность хорват-
ских офицеров, так как некоторые женщины без всякого сте-
снения подставляли немцам для поцелуев щеки и губы и
любезничали с ними на глазах у своих единоплеменных
обожателей. Ревностью можно объяснить и неосторожный
поступок усташского подполковника Рудольфа, который гру-
бо оттолкнул от майора Дитера хорошенькую бабенку. Дитер
сначала взбесился и готов был затеять скандал, но потом
лишь усмехнулся, демонстрируя Рудольфу свое превосходство
и давая понять, что тот грубиян и деревенщина, не знает пра-
вил хорошего тона. Рудольф попытался сгладить неприятный
инцидент. Он извинился перед майором и вдруг заговорил
с ним о какой-то женщине из загребской усташской организа-
ции, которая, переодевшись крестьянкой, отправилась на
Козару для сбора сведений о численности, расположении и
оснащенности партизанских отрядов. Дитер слушал Рудольфа
без особого внимания, он не верил в его искренность, но, бу-
дучи человеком воспитанным, улыбался и кивал головой.

Делая вид, что слушает Рудольфа, он рассматривал фра-

Августина, священника в военной форме. Из-за голенища у него торчал нож. Дитеру, набожному христианину, веровавшему в непогрешимость духовенства, фра-Августин напомнил стервятника, замершего над трупом. Рядом со священником сидел Муяга, городской чиновник, который бубнил что-то бычьим голосом. К тому же при каждом слове в уголках его рта собиралась белая пена, вызывавшая у Дитера ощущение тошноты. Не лучше выглядел и Виктор Гутич, бывший комендант в Бая Луке, приехавший теперь из Загреба; неуклюжий и тучный, с тупым, бессмысленным выражением лица, он походил на свинью в воротничке. Это сходство сразу бросилось в глаза майору Дитеру, художнику по призванию, но не по судьбе. Он мысленно представлял себе всех их на полотне, написанном в духе Домье.

Полковники Брозович, Рупич и Перичич из Первой горной дивизии, которой командовал Артур Густович, сидели неподвижно и не спускали глаз с человека, вызывавшего удивление и у самого Дитера. Это был усташский полковник Франчевич, сухощавый и молчаливый, фанатичный, как апостол. О нем рассказывали, будто он разогнал несколько партизанских отрядов и возвратил часть территории под знамя Независимого государства Хорватии. Восхищаться им или жалеть его? — спрашивал себя Дитер, разглядывая Франчевича и размышляя о бессмысленности всякой резни и смерти на поле боя...

Пренебрегая опасностью, думал он, этот Франчевич попытается теперь прорваться на Козару с севера, в то время как Путлиц, Хеншель, Ведель и Фриц обойдут ее с других сторон — от Костайницы, Босанского Нового и Санского Моста. Козара коварна, но скоро ее раскромсают на части. Солдаты майора Дитера двинутся на Приедор, который шестнадцатого мая был захвачен партизанами, и область, контролируемая ими, таким образом, была расширена.

Приедор, Приедор... — стучало в голове Дитера, пока он ехал по разьеженной пыльной дороге, забитой повозками и груженными телегами. Он вспомнил, что рассказывала ему мать — госпожа Эльза. От нее он впервые услышал слово «Приедор» и узнал, что так называется городок в Боснии. Много лет назад его мать получила письмо из Приедора от своего мужа Франца Дитера, капитана императорской армии, направлявшейся в Сербию. После этого Франц Дитер уже ничего не писал и не вернулся домой. В тысяча девятьсот шестнадцатом году, когда маленькому Йозефу было всего четыре года, его мать, госпожа Эльза, получила извещение, что ее муж, офицер Франц Дитер, пал смертью храбрых за бога

и отечество (Für Gott und Vaterland), но что тело его обнаружить не удалось.

Именно здесь погиб мой отец, вздохнул Йозеф Дитер. Он как будто только что узнал об этом и снова ощутил глухую боль, знакомую детям, выросшим без отца. Какая странная штука жизни! Как переплетены нити человеческих судеб! Возможно, я еду по той самой дороге, по которой шел на смерть мой отец?

Это кажется невероятным, но то, что случилось с Францем Дитером, может повториться с его сыном, майором Йозефом Дитером, который трясется сегодня в своей машине, почти уверенный, что за первым же поворотом на него набросятся бандиты, вооруженные копьями и топорами, винтовками, пулеметами и гранатами, а может быть, и пушками. Есть у них и орудия. Есть два танка, захваченные у легионеров Франчевича. И даже два самолета: они прилетели из Баня Луки и приземлились на большой поляне, чуть повыше только что занятого партизанами Приедора.

Значит, я снова воюю с партизанами, подумал Дитер. Он знал, что в лесах на Козаре скрывается около четырех тысяч бойцов. Целая дивизия, прикинул он. Такой армии позавидовал бы Майнштейн, который пытается пробиться от Дона к Волге и со стороны калмыцких степей к Сталинграду. Дитер знал, как воюют и как умирают партизаны. Он встречался с ними на Украине и на Кордуне, в Хорватии. Он видел их связанными в окружении врагов, видел, что, осужденные на смерть и стоя под виселицами, они не сдаются. Козарские партизаны удерживают огромную территорию между реками Сапа, Уна, Врбас и Сава, они взрывают железные и шоссе-ые дороги, мосты, нападают на казармы, уничтожают склады, сжигают административные здания и даже занимают целые города, как, например, Приедор, куда, если улыбнется счастье, майор Дитер рассчитывает прибыть еще сегодня.

Но майор Дитер уже не мечтает о военной славе. Хватит с него войны. Человеку могут надоесть даже цветы, что же говорить об этой бойне?.. Теперь ему кажется странным, что должно было пройти столько дней, недель, месяцев и лет, прежде чем он понял, до какой степени отвратительна и бессмысленна всякая война, ведущая человечество к гибели.

Офицер Йозеф Дитер, за несколько лет исколесивший почти всю Европу, получал повышение за повышением, награду за наградой. Он был храбр и верил, что Германия борется за справедливое дело, за свое спасение и свое существование. Никакая жертва не казалась ему слишком большой, если речь шла об отечестве. Гитлера он боготворил. Гитлер поднял Герма-

нию над Европой, подчинил Европу немцам. Весь мир трепещет перед Гитлером, повторял Дитер вместе с толпами своих соотечественников, преданных вождю Третьего рейха. Дитер дошел до Москвы; тут русская зима бросила его на промерзшую землю, на лед и снег, стужа ободрала ногти на ногах и на правой руке, не выпускаявшей автомата. Когда он отморожил пальцы, его отправили на лечение в госпиталь, это спасло Дитера от верной смерти, которая не миновала его товарищей, оставшихся лежать под снегом в бескрайних русских стенах.

Дитер принадлежал к поколению, которое рождалось и умирало под грохот орудий и жило мечтой о расширении жизненного пространства для немцев (*Deutscher Lebensraum*). Вера в Гитлера, ведущего немцев к славе и благосостоянию, окрыляла его. Его не пугала мысль о том, что он может пасть в бою. «Мы рождаемся для того, чтобы умереть», — учили его в школе младшего командного состава в Фонсгофене. Будучи одним из лучших курсантов этой школы, он получил офицерский чин и был направлен на фронт. Исполненный гордости и готовый к самопожертвованию, он прошел по Чехословакии, Польше, въехал во Францию. Он очутился в униженном, посрамленном и побежденном Париже, памятники искусства которого всегда неудержимо влекли его к себе. Но не успел он насладиться неувыдаемыми шедеврами французской живописи, как получил приказ об отправке на Восток, в Россию. С этого времени его начали мучить вопросы:

Куда мы идем? Зачем?

Разве судьба Германии решается в Праге, Варшаве, в Париже или Киеве?

Почему надо защищать Германию так далеко от дома, в чужих странах, на краю света?

Какой смысл в этих скитаниях по далеким, заснеженным просторам, пожирающим людей, оружие, машины?

Украина казалась ему бесконечной, а Москва — недостижимой. Червь сомнения точил его и мучил. Все чаще он задавал себе вопросы, на которые не мог найти ответа. Даже думать об этом было опасно. В госпитале, прикованный к постели, он каждый день видел, как выносили покрытых белыми простынями покойников. Еще вчера это были солдаты. И вслед за их трупами навсегда уходил из палаты призрачный мечтатель майора Дитера, уступая место мрачным и тяжелым раздумьям. Он все яснее понимал, что война не в состоянии разрешить ни одну мировую проблему. Наоборот, война поставила под угрозу само существование Германии. Воюя по всей Европе, миллионы немецких солдат сами себе роют могилы. Вме-

сто земного рая, о котором они так мечтали, их ждет глубокая яма.

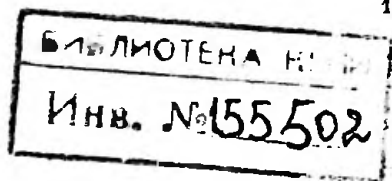
Понимают ли это бедняги, подставляющие свою грудь под пули? Неужели люди окончательно лишились рассудка?

Некогда всем сердцем одобрявший первые шаги Гитлера в Германии (в области экономической и социальной), да и его мероприятия по возвращению отторгнутых ранее областей, майор Дитер, наконец, прозрел, но было слишком поздно — война уже швырнула его в бездну. Поколебленный в прежних убеждениях, а от природы наивный и чистосердечный, он даже начал мечтать о том, что, выписавшись из госпиталя, будет совершать только добрые поступки, укреплять дух своих солдат и указывать им истинный путь. Он еще не знал, каким образом сможет претворить в жизнь свои намерения, но был предан им всем своим существом.

Вот в таком состоянии майор Дитер прибыл в леса Боснии и оказался у подножья Козары, в тех местах, где воевал его отец, а может быть, и дед, и прадед или какой-нибудь еще более далекий предок, приходивший сюда с войсками Евгения Савойского, короля Леопольда, а то и раньше, во времена походов Карла Великого.

Он не боялся смерти в атаке, в боевой схватке. Такая смерть некогда казалась ему единственно достойной и даже прекрасной: если выбирать между геройской смертью и унижением, истинный солдат всегда предпочтет смерть. Но нынче, на пути в Приедор, он почувствовал, как в его душе назревает бунт: умереть на этой дороге казалось ему более чем глупо и бессмысленно. Отвратительная картина маячила перед глазами Дитера: он видел себя в пыли, с разбитым черепом. Какой смысл погибать здесь, далеко от родины, на изрытой, разъезженной козарской дороге, свидетельствующей лишь о нищете и отсталости? Разве стоит умирать в такой стране?

Что творится с моей головой? Может быть, это от ракии? Я плохо спал, а когда не выспись, все представляется в черном свете. Он пытался утешить себя и отогнать мрачные мысли. Вероятно, его тревожили и воспоминания о домике в Баварии, где осталась Изабелла. Она сказала ему, что ждет ребенка. А вдруг родится сын? Он попросил, чтобы мальчика назвали Францем в память об отце. Родная моя, прошептал Дитер и вспомнил о портрете жены, который, к сожалению, остался недописанным. Дитер был не в силах расстаться с ним, решил взять холст с собой в Югославию и там закончить работу. Взял он и все необходимые принадлежности: мольберт, этюдник, кисти и краски. Он напишет



Изабеллу по памяти, может быть, это даже и лучше: не будут мешать мелочи, павязанные близостью натуры. Он был уверен, что обязательно закончит портрет.

Но, приехав в Боснию, Дитер, подобно Гогену на острове Таити, неожиданно открыл для себя совершенно новые пейзажи и ни с чем не сравнимые краски, которых он не мог не запечатлеть. Изабелла и Босния стали для него двумя источниками творческого вдохновения. Быть художником — вот единственное, что он теперь хотел. Он уже ненавидел солдатскую жизнь и не мог дожидаться, когда кончится война. Искусство неудержимо влекло его к себе. Он непрестанно повторял про себя, что только искусство достойно истинной любви и жертв. Я буду писать даже среди полей, усеянных трупами. Не раз прекрасные произведения рождались среди могил. Я ненавижу войну и именно это постараюсь выразить. Он видел свои будущие картины, видел краски, сочетания света и теней, он создавал в своем воображении шедевры, которые делают его одним из признанных и великих художников...

Когда грянул залп, Дитер даже не удивился. Он шел на войну и был готов к схватке. Настороженный и быстрый, как зверь, он без труда улавливал изощренным слухом в общем грохоте отдельные звуки, отличая винтовочную пальбу от пулеметной, взрывы ручных гранат от мин, а противотанковые орудия от дальнобойных.

— Гранаты, — сказал он, прислушавшись.

Ему доложили о стычке. Танкисты напали на засаду, устроенную партизанами на опушке леса, над самым шоссе. Странно, но дорогу они не перекопали, и можно было ехать дальше.

— Их много?

— Около сотни винтовок и станковый пулемет.

— Одна рота, — сказал майор Дитер и посмотрел направо, на склон, поросший кустарником. Он почувствовал там какое-то движение. Веточки кустов вздрагивали. Майор выхватил револьвер. Перестрелка вдали затихла, но здесь, возле самого Дитера, происходило что-то непонятное: верхушки кустов покачивались и раздвигались, словно пропуская крадущихся людей.

— Бандиты!

Он приказал шоферу ехать быстрее, а сопровождающим его солдатам приготовиться к отражению нападения. «Огонь!» — хотел скомандовать Дитер, но голос его сорвался.

Со склона прямо на дорогу выскочил молодой рыжий бычок. Увидев автомобили, он остановился и застыл, расставив

передние ноги и словно ожидая удара. Он не собирался бежать или отойти в сторону, а просто стоял и глазел на машину, наклонив голову, на которой виднелись только что пробившиеся маленькие, еще тупые темные рожки.

Шофер, чтобы не сбить его, подрулил несколько влево, но сразу же затормозил, потому что бычок продолжал стоять посреди дороги, неловкий и растерянный. Машина остановилась, но бычок не шелохнулся, он спокойно принюхивался к незнакомой громадине.

Дитер в бешенстве прикрикнул на него, но теленок даже не шелохнулся. Дитер хотел скомандовать «марш», но тут же подумал о ловушке: а что, если теленок просто приманка, которую выставили партизаны, чтобы поймать его в западню? Он посмотрел вверх. Веточки больше не колыхались, кусты не вздрагивали. В залитой солнцем роще царили мир и тишина.

Что делать? Не желая терять времени, уверенный в том, что теленок, заслышав шум мотора, отскочит, Дитер приказал шоферу ехать.

Машина затарахтела, бычок отпрянул, но было уже поздно, его ноги попали под колесо. Теленок упал и задрыгал ногами. Он поднимал голову, напряженно вытягивал шею и бился, пытаясь подняться.

Это зрелище напомнило Дитеру картины Шагала, изображающие бессмысленную смерть. Не было сил смотреть на бычка, который пытался встать, немощный и изуродованный. Дитер выхватил пистолет и выстрелил, но теленок продолжал биться. Он выстрелил еще раз — голова бычка поникла.

— Вперед! — крикнул Дитер солдату, сидевшему за рулем. — Быстрей, быстрей, — повторял он, словно спасаясь от преследования.

Я совсем раскис и совсем не похож на немца, вздохнул он. Убитый теленок все стоял у него перед глазами.

Дитер вспомнил своих товарищей по школе в Фонсгофене: они воспитывали в себе жестокость, выковыривая глаза у живых кошек. Потом они убивали людей. Я этого делать не мог и теперь вижу, что не случайно. У меня еще есть сердце. Он смотрел на леса, на поля кукурузы, на пшеничные нивы. В этой стране погиб мой отец, но у меня нет желания мстить здешним людям, хотя я их и презираю. Может быть, я мог бы им мстить, если б приехал сюда пораньше, несколько лет назад. Но теперь я уже не тот.

Ему очень хотелось тишины, мирной, спокойной жизни, страстно хотелось посвятить себя живописи. Но мысли о будущем не вселяли бодрости, оно вовсе не рисовалось в ра-

дужных тонах. Будущее представлялось ему в виде темной скалы, с которой все время срываются огромные камни. А человек стоит внизу, под скалой. Обрушится ли глыба ему на голову? Он был уверен, что впереди новая Россия, дни и ночи терзаний похлестче тех, что выдумывали его товарищи по школе в Фонсгофене, которые закаляли свой характер на копейках, чтобы потом было легче убивать людей.

Боже мой, как низко пал человек и как глубока бездна, в которую мы летим: еще не окончено одно побойще, а мы уже затеваем другое. Он смотрел на зловещие горы, на леса и ущелья в клочьях густого, черного дыма, который поднимался над деревенскими домами и сараями и застилал небо.

2

Стоит ему вскочить на своего статного вороного жеребца с буйной, развевающейся по ветру гривой, который то идет мелкой рысью, то взмывает на скаку вверх, и Рудольфу мерещится, что он могущественный монарх. Смотрите, смотрите, вот это офицер! — словно слышит он шепот со всех сторон — от дверей домов, из-за заборов и калиток. И даже больше того: он словно бы улавливает голоса откуда-то издадека — с городских окраин, с окрестных полей и холмов вдоль реки. Его повсюду окружает восхищение, его встречают поклоны и обожание, а он гарцует па своем жеребце, прямой и статный, и лишь время от времени отвечает на восторженные взгляды легким кивком или легкой улыбкой, как человек, на которого лесть не действует и которому слава давно надоела.

Вот он опять на копе. Снова сдерживает своего жеребца. Он натягивает поводья, по очень осторожно, даже нежно, ибо малейшая грубость приводит животное в ярость и лошадь бросается вскачь, в дикий галоп. Сидя в седле, Рудольф ощущает ни с чем не сравнимое блаженство.

Рядом с ним, тоже верхом, поручик, погруженный в свои мысли. Его глаза полузакрыты. О чем он думает? Что скрывает? Что таится в его душе?

В чистом, ясном небе пылает солнце и все вокруг заливают светом. Лето входит в силу, разрастается трава...

На окраине города, на пустыре возле реки Уны, что течет по котловине и отделяет Хорватию от Боснии (он любит говорить: Запад от Востока), построены одетые в зеленую фор-

му бойцы. Их много. Юношей, специально отобранных по росту, по красоте, по физической силе и умственному развитию. Несколько тысяч молодых людей, из которых ни одному еще нет двадцати лет, составляют бригады и полки.

Прибывший вчера генерал Шталь поставил перед ними задачу — в кратчайший срок захватить Дубицкое шоссе. Завтра эти юноши отправятся в бой, примут боевое крещение. Они стоят на солнцепеке, застегнутые на все пуговицы, увешанные оружием и боевым снаряжением, и слушают фра-Августина, священника с ножом за голенищем.

— Дорогие чада мои!

В день воскресения сына божьего, десятого апреля тысяча девятьсот сорок первого года, воскресло и наше Независимое государство Хорватии. Мы победили с помощью провидения господня и благодаря могучей руке нашего славного поглавника, доктора Анте Павелича. Это наш любимый вождь, достойнейший представитель усташества, наш Зриньский, наш Франкопап*. Он воскресил корону Звонимира. Он уберег Хорватию от сатаны, от марксизма, от большевизма, от жидов и православия. Наш поглавник исполнил святой долг...

В своем послании от двадцать восьмого апреля тысяча девятьсот сорок первого года загребский архиепископ доктор Алойзие Степинац призывает нас приложить все силы для сохранения и процветания Независимого государства Хорватии, в котором воплотились наша мечта, наши идеалы. Солдаты! Вы должны знать, что деятельность нашей католической церкви одобряет и святой престол. Ибо кто может упрекнуть нас за то, что и мы, духовные пастыри, вносим свой вклад в дело всенародного торжества и подъема, когда, исполненные умиления и благодарности, обращаемся к божьей милости, уверенные в том, что, как бы ни были сложны нынешние роковые события, нетрудно в них узреть десницу господню по деяниям ее. *A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris.* (Это сотворил бог, и очи наши полны удивления.) Ибо развитие католицизма на всей нашей территории тесно связано с развитием Независимого государства Хорватии.

* Граф Петр Зриньский и князь Франя Крсто Франкопап в 1663—1671 годах возглавили заговор крупных хорватских феодалов, ставящих целью отделение хорватских и венгерских земель от Габсбургской монархии.

Мы должны держаться той твердыни христианства, на которой сын божий воздвиг свою церковь. Рим — основа нашего единства. Он — источник истины.

Многие католики позволили себя обмануть и вступили в ряды движения за создание Югославии, видя в ней необходимое условие для осуществления единства между восточной и западной церковью, между католицизмом и православием. Но нельзя забывать, что католицизм в прежней Югославии, государстве, которому известные круги предназначали роль связующего моста на Балканах, вынужден был сдавать свои позиции и, наконец, потерпеть полный крах. После этого и слепому должно быть очевидно, что югославское государство не будет способствовать созданию церковного единства в том виде, как его представляет себе католицизм. Сербь и хорваты — это два мира, которые невозможно соединить. Хорваты и сербы — это северный и южный полюсы, которые невозможно приблизить друг к другу. Хорваты и сербы придерживаются совершенно противоположных принципов, у них разные судьбы, это два противоположных устремления: легче примирить огонь и воду, чем сербов и хорватов. Особенно страшен дух византизма. Православие — величайшее проклятие для Европы, пожалуй, большее, чем протестанство: в нем нет морали, нет принципов, нет справедливости, нет чести...

Следовательно, все доводы говорят за то, чтобы Хорватия отделилась от Сербии, за то, чтобы была перекроена карта нелепого государства, которое называлось Югославией. Прежде всего этого требует историческая роль Хорватии, далее, роль, которую за нами торжественно признал папа Лев VIII, назвавший нас бастионом христианства (*antemurale cristianitatis*). Для того чтобы осуществить эту цель, надо было вступить в открытую кровавую борьбу с народом и с порядком, которые в течение последних двадцати двух лет держали Хорватию в рабстве, то есть с сербским народом и его государством. Нужно отметить, что эта борьба не противоречила католическим принципам. До тысячи девятьсот двадцать девятого года, до гибели Степана Радича, убитого в Белграде, мы использовали парламентскую борьбу, позже борьба хорватов приняла другие формы, и мы взяли за оружие. Ибо лишь этот язык был понятен сербам. Об этих новых формах борьбы свидетельствуют взрывы, организованные нашими людьми по всей поработанной отчизне, восстания усташей в Лике, убийство короля

Александра и, наконец, великая победа усташей в апреле тысяча девятьсот сорок первого года, когда было объявлено о поражении Югославии.

Католическая церковь на протяжении тысячи трехсот лет вела хорватский народ и была вместе с нами в тяжелые дни испытаний и в дни радости, и она счастлива оттого, что может быть с ним и ныне, в час его подъема и обновления. Она молит бога, чтобы все сыны хорватского народа во взаимном согласии сплотились вокруг Независимого государства Хорватии, чтобы весь народ во главе со своими вождями выступил как единое и воистину божие стадо...

Встает вопрос о сербах и православии в Независимом государстве Хорватии. «Православная церковь, — говорит поглавник, — это не просто церковь, а политическая организация». Я, со своей стороны, к этому прибавлю: с православным ешь вместе только до половины миски, а потом тресни его этой миской по голове. Хорватия должна быть для хорватов и ни для кого иного. Нет тех средств, которыми мы не воспользуемся, чтобы сделать нашу страну действительно хорватской и чтобы очистить ее от сербов. Мы не скрываем этого. Такова политика нашего государства.

Пусть раз и навсегда будет покончено с неразумным и не достойным истинного воинства Христова утверждением, что против зла и скверны надо бороться какими-то утонченными методами. Святой Августин говорит, что церковь имеет право предать тело еретика смерти, чтобы спасти его душу. В священном писании сказано: «Если кто-либо оскорбит твоего бога, убей оскорбившего его; если его оскорбит отец твой, убей отца своего; если его оскорбит жена твоя, убей ее; если его оскорбит сын твой, убей сына». До сих пор мы защищали католическую веру молитвенником и крестом, отныне пришло время бороться за нее с винтовкой, с ножом, с пистолетом в руке.

Самые заклятые враги хорватского народа — сербы, а кроме них, для хорватов, как и для всей Европы, врагами являются евреи, масоны и коммунисты. Часть сербов мы перебьем, другую расселим, а остальных обратим в католическую веру и, таким образом, превратим постепенно в хорватов. Но чем больше их окажется в сырой земле, тем лучше для нас. Когда боснийский король Степан Томашевич попросил турецкого султана сохранить ему жизнь, султан отказал королю, послушавшись одного

из своих советчиков, рассудившего так: «Муслим не позволит, чтобы его дважды укусила змея из одной и той же норы». Так и мы не дадим провести себя. Змеинное логово в Белграде навеки разрушено. Естественным правом хорватского народа и хорватского государства является очищение своего организма от заразы. Усташское движение взяло это дело в свои руки. Препятствовать этому делу — значит по меньшей мере не понимать своего католического долга. Хорватским католикам представилась возможность показать себя истинными борцами за дело господне. Мы очистим эти края, а в первую очередь Козару, не щадя ни детей, ни стариков, ибо в наше время не грех убить и семилетнего ребенка, если он встал на пути движения усташей.

Возлюбленные чада мои, я — священник, но будьте уверены, когда придет время, я возьму в руки винтовку и буду истреблять все враждебное усташскому государству и воле нашего поглавника, вплоть до дитяти в колыбели, ибо знаю, что только в нашем государстве католическая церковь может исполнять дарованное ей свыше назначение. Итак, наш первый шаг — это разделиться с сербами на Козаре. Неважно, как они встретят нас: вооруженные или безоружные. Это нечисть, которая не должна существовать, и мы уничтожим ее штыками. Надо стереть с лица земли логово изменников. Такова задача, поставленная перед вами, солдатами и офицерами, воинами бригады, носящей имя нашего славного поглавника.

Фра-Августин окончил свою речь, обращенную к юнцам, которые слушали его без особого одушевления и больше всего думали о том, как отбиться от назойливых мух. Он говорил темпераментно, но под конец проповеди у него стал срываться голос и пересохло во рту. Очень хотелось пить, рот, казалось, был набит солью. Но он выдержал, уверенный в том, что солдаты выслушали его покорно, по-христиански, как подобает истинным чадам Божиим, жаждущим, чтобы накануне боя душеприказчик помирил их со всевышним.

Фра-Августин попросил принести стакан воды, а подполковник Рудольф, улыбающийся и довольный, похлопал его по плечу:

— Браво, ваше преподобие! А что, если пива?

— Я сейчас готов выпить хоть отраву, — ответил священник.

— Две бутылки пива! — крикнул Рудольф, и вестовой, ожидавший его распоряжений, тут же юркнул в сторону. — Вы знакомы с нашим поручиком, ваше преподобие?

— Нет.

— Йозо Хорват, — не поднимая глаз, отрекомендовался поручик. Лицо его, как и прежде, оставалось безучастным.

— А ведь вы, преподобный, кажется, из этих мест? — спросил Рудольф, протягивая фра-Августину пиво.

— Да, — отвечал священник. — Здесь моя родина.

— Вы из Костайницы?

— Не совсем, — священник осушил второй стакан. — Мое село ближе, но Костайницу я знаю прекрасно. По сути дела, ведь есть две Костайницы: та, что здесь, и вторая, подальше. Ближняя — наша, а та... Там сущее логово изменников...

— А вы слышали о боях, которые в апреле сорок первого года вели под Костайницей части бывшей югославской армии против немецких войск, пытавшихся прорваться в Боснию?

— Ну как же, я прекрасно все это знаю, — отвечал фра-Августин, скрестив пальцы рук. — Вот как это было... — И он начал рассказывать.

Девятого апреля тысяча девятьсот сорок первого года одна из артиллерийских частей югославской армии под натиском немцев отступила от Петриньи и заняла высоту над боснийской Костайницей. Тут артиллеристы установили свои орудия, решив подождать неприятеля и дать ему отпор. С высоты им была видна вся хорватская Костайница, с окружающими ее нивами и перелесками, среди которых чернела узкая полоса шоссе на Сунь. Вскоре подошли немецкие танки, грузовики, автомобили и бронетранспортеры. Артиллеристы начали обстрел, а немцы были уверены, что за Уной, в Боснии, их ждет целая вражеская армия: они ответили огнем, но вперед не смели продвинуться ни на шаг и три дня ожидали подкрепления и новых приказов.

— Я видел, откуда артиллеристы стреляют по немецким танкам, — рассказывал фра-Августин, прихлебывая пиво. — Позвал Мате Разносчика, Асима Рассыльного и Муягу Лавочника. Мы взобрались на церковную колокольню, захватив пулемет, и оттуда, сверху, открыли по ним огонь. Мы строчили, а они по-прежнему били в эту сторону. Задали же мы им тогда хлопот: наши пули вызывали в их рядах явную растерянность, а может, и сразили кое-кого. Они долго не могли нас найти, но, наконец, заметили, откуда мы стреляем, и повернули на нас орудия, да еще засыпали гранатами. Мы сразу же спустились вниз. Не прошло и пяти минут, как церковь

прямым попаданием снаряда рассекло на две части, словно редьку. Так они уничтожили наш храм...

Фра-Августин глубоко вздохнул.

— Само собой разумеется, это самоубийство не могло долго продолжаться. У артиллеристов кончились снаряды, и немцы их вынудили отступить. Бросив орудия, вояки бежали.

— Когда же вы церковь-то восстановили?

— Сразу же, — ответил фра-Августин. — И отстроили и освятили. Я сам лично отдал приказ прикончить всех, кого после восстания пригнали из Боснии. Я знал, с кем имею дело, и ни минуты не колебался. В Баичевых ямах было уничтожено более трех сотен козарчан-изменников и крестьян, которые прятались в лесах и бросались в бой с вилами да обрезами. После того как мы с ними расквитались, я благословил Муягу, Асима и Мате и еще раз повторил им, что сербы только и думают, как нам навредить; их надо убивать, так же как и всякого, кто за них заступает.

— Простите меня, ваше преподобие, — Рудольф улыбнулся, склонив голову, словно перед ним был епископ, — я хотел бы задать вам еще один вопрос, да вот все не решаюсь...

— Спрашивайте без всякого стеснения.

— Я слышал, ваше преподобие, что вы сидели в тюрьме, да к тому же у усташей... Правда ли это?

— Сущая правда, — сказал фра-Августин. — Меня посадили наши, но я не сожалею об этом, ибо убежден, что поступал достойно, как истинный хорват и настоящий католик...

— Как же это, смею спросить, вы попали в тюрьму?

— Это длинная история, — фра-Августин горестно вздохнул, как вздыхает человек, которого незаслуженно обидели. — Восемь месяцев назад, в октябре прошлого года, меня арестовали, предъявив обвинение в том, будто бы я превысил свои права в борьбе против сербов. Нам с доктором Гутичем сделали внушение, что мы не знаем меры, подстрекаем усташей к личным расправам, меня обвинили еще и в том, что я участвовал в резне, устроенной в одной из сербских школ, где был уничтожен целый класс. По правде говоря, мы с Гутичем действительно после восстания в короткий срок ликвидировали в Приедоре, Санском Мосте и окрестностях более одиннадцати тысяч сербов, а остальным приказали в течение пяти дней покинуть территорию Независимого государства Хорватии. Доктор Гутич ввел для усташей денежную награду за каждую сербскую голову. Его, коменданта в Баия Луке, для виду отозвали с должности, а меня вот даже арестовали и засадили в тюрьму. Эти меры были вызваны стратегическими

соображениями, в связи с тем, что в то время усташское движение устанавливало в западной Боснии контакты с четниками по совместной борьбе против партизан, и это был, так сказать, тактический шаг по отношению к четникам. Гутича затем перевели в Главный штаб, а я несколько месяцев проторчал в тюрьме, пока всем не стало ясно, что с изменниками можно говорить только с помощью ружейного дула и ножа.

— Я слышал, что сейчас вы готовите лагерь для козарчан?

— Я это делаю вместе с Максом Лубуричем, Любо Милошем и полковником Франчевичем. Но есть тут одна загвоздка: полковник Франчевич, говорят, терпеть не может Лубурича и даже угрожает ему за что-то, а мы вынуждены действовать согласованно. Но я надеюсь, что мы с этим делом запросто справимся, так как пленных козарчан будет не много, — фра-Августин ухмыльнулся, и лицо его приняло какое-то змеиное выражение. — Мы будем принимать в основном пленных о четырех ногах, а двуногим дадим пропуск и бесплатный билет в Сербию до самого Белграда вниз по Саве. Вы меня понимаете?

Рудольф посмотрел на поручика Хорвата, тот по-прежнему был какой-то мрачный и отсутствующий. Казалось, что он даже не слушает фра-Августина.

— Откровенно говоря, я всецело одобряю методы Виктора Гутича, с которым меня связывает и личная дружба, — продолжал фра-Августин. — Будучи комендантом в Баня Луке, Гутич объявил всех сербов вне закона. При нем была разрушена православная церковь. Он ввел специальную награду для усташей, особо проявивших себя в резне. В Санском Мосте такие награды он выдавал усташам прямо на улице, в нескольких шагах от городского парка, где покачивались на деревьях повешенные сербы. Это единственно правильный путь, дорогой мой, — фра-Августин поправил нож, засунутый за голенище сапога. — Вам, вероятно, известен циркуляр по усташской армии, где прямо сказано...

Фра-Августин вытащил смятый, во много раз сложенный листок, на котором под цифрой 1174 было написано:

«Совершенно секретно.

Все лица, задержанные в окруженном районе Козары и Просары, рассматриваются как пленные и после допроса должны быть направлены в концентрационный лагерь Ясеновац или в Стару Градишку. Каждый, кто в нарушение данного приказа пропустит или после задержания освободит выходящих с Козары лиц, предстанет перед полемым судом».

— Насколько я понимаю, — продолжал фра-Августин, — господин Каше, немецкий посланник в Загребе, заинтересован в том, чтобы возможно большее число захваченных на Козаре изменников было отправлено в Германию на принудительные работы. С этой целью он и прислал сюда своего уполномоченного господина Рекварта, с которым я уже беседовал. Рекварту я, натурально, наобещал всего, но вам могу сказать откровенно — мы будем вести борьбу так, как находим пужным. Безопасен только мертвый враг, а живого следует или избегать, или убивать. Ну, хватит обо мне, теперь ваша очередь. Расскажите что-нибудь и вы о себе.

— Сегодня чертовски жарко, — Рудольф боялся, как бы не обнаружили подробности его семейной жизни: он был женат на сербке, которую, правда, уже давно прогнал, у него остался сын Бранимир, который сейчас учился в четвертом классе начальной школы. Знать об этом священнику явно незачем, даже попросту опасно, — этот ретивый аббат с ножом за голенищем выглядит весьма воинственно. — Солнце прямо парит, ваше преподобие...

— Так вы мне ничего не расскажете о себе?

— Я прежде всего солдат, — сказал Рудольф. — Для меня приказ вышестоящих... а прежде всего...

— Как вы встретили капитуляцию?

— Я был на венгерской границе, — подхватил Рудольф, радуясь, что разговор начал удаляться от его семейных дел. — Когда немцы нажали с севера, напались психопаты, которые пытались им сопротивляться, бросив против танков кавалерийский полк. Конница была превращена в фарш. Я решил сдаться. Мой пехотный батальон сдался немцам без единого выстрела...

Фра-Августин удовлетворенно кивал головой. Разок бегло взглянул на поручика Хорвата, словно бы предлагая ему тоже порадоваться находчивости его непосредственного начальника. Но поручик Хорват, как ни странно, по-прежнему не проявлял никакого интереса к их беседе, а, потупясь, задумчиво смотрел в землю, сумрачный и какой-то застывший, как на похоронах.

— Я хотел, ваше преподобие, сказать вам одну вещь, которую от вас нам незачем скрывать, — продолжал Рудольф, окончательно уверившись, что избежал неприятного разговора о жене. — Несколько дней назад я отправил на Козару одну нашу женщину, загребчанку, переодетую в крестьянское платье. Она известит нас о силах и планах бунтовщиков.

— Каким же образом вы установите с ней связь?

— Она будет делать небольшие наброски и планы сел, записывать размещение складов, штабов и госпиталей, а также попытается выяснить численность и состав партизанских отря-

дов. Все полученные сведения она в специальных водонепроницаемых коробочках будет оставлять в условленных местах — под порогами церквей и школ, а при случае и непосредственно передаст нам свои допесения; ведь наша дивизия должна продвигаться от Уны к Дубицкому шоссе и далее через села Маглайцы, Погледжево, потом, перевалив через Вилич и Похарино, на Паланчиште...

— А вы неплохо ориентируетесь в здешних местах?

— Я могу описать любое село, которое встретится на нашем пути. Перед каждым наступлением я выучиваю наизусть все необходимые сведения. Так было и на Бании, когда мы пробивались в сторону Шумарицы и Петрова Гая, готовясь к наступлению на Козару.

— На Бании-то вы нельзя сказать, чтобы прославились, — заметил фра-Августин. — И десятка партизан не смогли захватить.

— Они смылись на Кордун, — ответил Рудольф и стал объяснять, что Первая горная дивизия пересекла Банию, направляясь к Уне и Козаре. — Вы знаете, ваше преподобие, что Приедор уже в наших руках?

— Приедор? — с недоверием воскликнул фра-Августин.

— Он занят немедкими частями, — энергично жестикулируя, продолжал Рудольф. — Взяли его без единого выстрела. И никаких потерь: партизаны просто разбежались.

— Отлично, — священник перекрестился и посмотрел на небо. — Пресвятая мадонна, помоги нам побороть антихриста!

Они шли по пустырю, поросшему густой, уже поблекшей от солнца травой. Посреди него крутилась карусель, облепленная ребятишками, девицами и солдатами. Старенький патефон, скрипя и заикаясь, воспроизводил мелодию полузабытой песенки.

— Посмотрите-ка, кто это там веселится! — воскликнул фра-Августин, вглядываясь в пеструю, вихрем крутящуюся карусель. — Как раз о них я вам только что рассказывал: Асим Рассыльный и Мате Разносчик. Что это им взбрело в голову забавляться вместе с детьми?

Фра-Августин смотрел вверх, на крутящееся колесо. Туда же смотрел и подполковник Рудольф, стараясь разглядеть людей, о которых говорил фра-Августин. Сделать это было нелегко, так как карусель вертелась дьявольски быстро. И тут, взглянув на небо, он заметил самолеты: они летели над долиной Уны, совсем низко, над самой рекой.

Вскоре самолеты оказались уже над городком. Раздались первые взрывы. Рудольф от неожиданности раскрыл рот. Это-

— Насколько я понимаю, — продолжал фра-Августин, — господин Капе, немецкий посланник в Загребе, заинтересован в том, чтобы возможно большее число захваченных на Козаре изменников было отправлено в Германию на принудительные работы. С этой целью он и прислал сюда своего уполномоченного господина Рекварта, с которым я уже беседовал. Рекварту я, натурально, наобещал всего, но вам могу сказать откровенно — мы будем вести борьбу так, как находим нужным. Безопасен только мертвый враг, а живого следует или избегать, или убивать. Ну, хватит обо мне, теперь ваша очередь. Расскажите что-нибудь и вы о себе.

— Сегодня чертовски жарко, — Рудольф боялся, как бы не обнаружили подробности его семейной жизни: он был женат на сербке, которую, правда, уже давно прогнал, у него остался сын Бранимир, который сейчас учился в четвертом классе начальной школы. Знать об этом священнику явно незачем, даже попросту опасно, — этот ретивый аббат с ножом за голенищем выглядит весьма воинственно. — Солнце прямо парит, ваше преподобие...

— Так вы мне ничего не расскажете о себе?

— Я прежде всего солдат, — сказал Рудольф. — Для меня приказ вышестоящих... а прежде всего...

— Как вы встретили капитуляцию?

— Я был на венгерской границе, — подхватил Рудольф, радуясь, что разговор начал удаляться от его семейных дел. — Когда немцы нажали с севера, наплись психопаты, которые пытались им сопротивляться, бросив против танков кавалерийский полк. Конница была превращена в фарш. Я решил сдаться. Мой пехотный батальон сдался немцам без единого выстрела...

Фра-Августин удовлетворенно кивал головой. Разок бегло взглянул на поручика Хорвата, словно бы предлагая ему тоже порадоваться находчивости его непосредственного начальника. Но поручик Хорват, как ни странно, по-прежнему не проявлял никакого интереса к их беседе, а, потупясь, задумчиво смотрел в землю, сумрачный и какой-то застывший, как на похоронах.

— Я хотел, ваше преподобие, сказать вам одну вещь, которую от вас нам незачем скрывать, — продолжал Рудольф, окончательно уверившись, что избежал неприятного разговора о жене. — Несколько дней назад я отправил на Козару одну нашу женщину, загребчанку, переодетую в крестьянское платье. Она известит нас о силах и планах бунтовщиков.

— Каким же образом вы установите с ней связь?

— Она будет делать небольшие наброски и планы сел, записывать размещение складов, штабов и госпиталей, а также попытается выяснить численность и состав партизанских отря-

дов. Все полученные сведения она в специальных водонепроницаемых коробочках будет оставлять в условленных местах — под порогами церквей и школ, а при случае и непосредственно передаст нам свои донесения; ведь наша дивизия должна продвигаться от Уны к Дубицкому шоссе и далее через села Маглайцы, Погледжево, потом, перевалив через Вилич и Похарино, на Паланчиште...

— А вы неплохо ориентируетесь в здешних местах?

— Я могу описать любое село, которое встретится на нашем пути. Перед каждым наступлением я выучиваю наизусть все необходимые сведения. Так было и на Бании, когда мы пробивались в сторону Шумарицы и Петрова Гая, готовясь к наступлению на Козару.

— На Бании-то вы нельзя сказать, чтобы прославились, — заметил фра-Августин. — И десятка партизан не смогли захватить.

— Они смылись на Кордун, — ответил Рудольф и стал объяснять, что Первая горная дивизия пересекла Банию, направляясь к Уне и Козаре. — Вы знаете, ваше преподобие, что Приедор уже в наших руках?

— Приедор? — с недоверием воскликнул фра-Августин.

— Он занят немецкими частями, — энергично жестикулируя, продолжал Рудольф. — Взяли его без единого выстрела. И никаких потерь: партизаны просто разбежались.

— Отлично, — священник перекрестился и посмотрел на небо. — Пресвятая мадонна, помоги нам побороть антихриста!

Они шли по пустырю, поросшему густой, уже поблекшей от солища травой. Посреди него крутилась карусель, облепленная ребятишками, девицами и солдатами. Старенький патефон, скрипя и заикаясь, воспроизводил мелодию полузабытой песни.

— Посмотрите-ка, кто это там веселится! — воскликнул фра-Августин, вглядываясь в пеструю, вихрем крутящуюся карусель. — Как раз о них я вам только что рассказывал: Асим Рассыльный и Мате Разносчик. Что это им взбрело в голову забавляться вместе с детьми?

Фра-Августин смотрел вверх, на крутящееся колесо. Туда же смотрел и подполковник Рудольф, стараясь разглядеть людей, о которых говорил фра-Августин. Сделать это было нелегко, так как карусель вертелась дьявольски быстро. И тут, взглянув на небо, он заметил самолеты: они летели над долиной Уны, совсем низко, над самой рекой.

Вскоре самолеты оказались уже над городком. Раздались первые взрывы. Рудольф от неожиданности раскрыл рот. Это

го он никак не ожидал. Самолеты сбрасывали бомбы, пролетая над самыми крышами. Городок сотрясаясь от грохота. Люди бросились врассыпную, а самолеты, развернувшись над долиной, делали второй заход. Разбежались все, кроме тех, кто был на карусели: огромное колесо продолжало крутиться под звуки треснувшей пластинки.

Удирая вслед за священником, Рудольф думал о людях на карусели. Карусель по-прежнему вертелась, а они кричали, тщетно зовя на помощь. Самолеты уже снова бомбили: они метили в железнодорожную станцию и все приближались к карусели. А люди на огромном колесе зывали о спасении:

— Рафаэль, Рафаэ-э-эль!..

Вероятно, звали хозяина карусели. Судя по всему, он убежал в панике вместе с другими, бросив на произвол судьбы свое громоздкое сооружение, которое никто, кроме него, не умел остановить. Меньше всего были в состоянии что-либо предпринять сидящие на самой карусели, и огромное колесо по-прежнему бешено крутилось, подставляя их под пулеметные очереди и под бомбы.

— Рафаэль, Рафаэ-э-эль! — фра-Августин узнал голос Мате Разносчика, маленького калеки, чуть ли не с детства продававшего в городке зеркальца, гребешки, ножички, дешевые перстеньки, иглы, нитки, пожницы и ремешки. Он таскал лоток на ремнях, врезававшихся в его тощее и без того согбенное тело, а когда останавливался, подпирал свой лоток палкой. — Рафаэль, ты за это ответишь, — раздавался голос Мате, заглушенный воем моторов и взрывами бомб, которые рвались на пустом пространстве вокруг карусели.

Самолеты, наполнив гулом всю долину, улетели, крики с карусели стали еще неистовее:

— Рафаэль. Рафаэ-э-эль!..

— Рафаэль, сукин сын, — фра-Августин снова узнал голос. Это был Асим Рассылный, школьный сторож, отец троих детей, тщедушный, обтрепанный мужичонка с испытанным лицом, узкоплечий и запуганный. Усташи дали ему винтовку, обуви и одели, наделили жильем и жалованьем, так что он вдруг превратился в почтенного обывателя этого маленького городишка.

— Рафаэль, скотина, снимай нас отсюда! — кричал Мате Разносчик, а вместе с ним кричали и солдаты, и девушки, и деги, сидевшие на карусели, которая продолжала бессмысленно крутиться среди пустой лужайки.

Угрожающе гудя, самолеты снова показались над долиной. На этот раз они не бомбили. Сверху строчили из пулеметов, причем машины так сильно ложились на крыло, что самые смелые из наблюдавших внизу могли рассмотреть темный силуэт

пилота и даже его маленькую головку, которую он склонил на плечо, словно наслаждался зрелищем.

Рудольф лежал возле забора, уткнув лицо в ладони. Вот гады, думал он, весь сжавшись от страха в беспомощный комок. Это ведь не английские, да и не русские. Наши, наверное, из тех, что перешли к партизанам. Как только самолеты повернули обратно, он встал, отряхнул пыль с одежды. Затем побежал к карусели.

Теперь кричали и те, кто крутился, и те, что собрались на поляне, словно на цирковое представление. Все звали Рафаэля, но его не было.

Наконец подошел какой-то молодой человек в промасленном комбинезоне. Он улыбнулся, нажал на что-то и остановил мотор. Карусель еще вертелась, но уже замедляла темп. Не дожидаясь, пока она окончательно остановится, люди начали спрыгивать вниз. Один споткнулся и упал.

— Я его зарежу, — сказал он.

— Я буду не я, если не прирежу гада, — сказал другой, как только очутился на земле.

— Мате, а ты вроде перепугался?

— Шкуру с него спущу, Асим, клянусь богородицей, — отвечал Мате уже более тихим голосом, откровенно радуясь, что счастливо отделался.

— Зарезать борова, — злобно озирался вокруг Асим.

— Кто его теперь сыщет?

— Я уж разыщу, — грозился Асим.

— Успокойтесь, — сказал фра-Августин, подходя к этому скопищу телес, голов и глаз.

— Успокоимся, ваше преподобие, когда его прикончим, — шумно отдувался Асим Рассыльный, в то время как Мате Разносчик рыскал глазами по полянке, на которой теперь, после толчеи и паники, валялись бутылки, перевернутые скамеечки, какой-то сверток, платок и даже пара детских туфель.

— Мне еще не приводилось видеть что-либо подобное, — произнес священник, рассматривая людей, сходявших с карусели. На своих старых знакомых, Мате и Асима, он глядел с нескрываемой нежностью, похлопывал их по плечам, размышляя о той роли, которую он им предназначал. Завтра, на заре, когда выступят войска, вместе с ним пойдут в поход и Мате Разносчик и Асим Рассыльный. Они да еще Муяга Лавочник, его правая рука, помогут ему в трудном деле, без их помощи его замысел просто неосуществим.

Это будет резня, подобная разве что даитовскому аду, по-

думал фра-Августин и обратил взор в сторону Уны, за которой возвышались холмы и леса Козары. Туда ведет наш путь. Он скользил глазами по полоскам пшеницы, по перелескам, голым склонам и пригоркам. Земля молчала, залитая светом изумленного и яркого солнца.

3

Он решил ударить по Козаре собственными силами. Не поставив в известность командующего 717-й пемейской дивизией генерала Боровского; уверенный в успехе, он собрал свыше трех тысяч легионеров, подтянул артиллерию и танки и третьего дня двинулся по шоссе в направлении Ораховы. Но счастье на этот раз ему изменило. Совершенно неожиданно они натолкнулись на сопротивление партизан. Его легионеры обратились в бегство, шестеро было убито, с десятков ранено.

Однако полковник Франчевич не мог примириться с поражением. Похоронив убитых и отправив в госпиталь раненых, он снова устремился к Козаре. Теперь он двинулся другим путем, на Крушковац и Кнежицу, намереваясь проникнуть в Меджуводже и разгромить партизанский аэродром. Но тут его снова подстерегли партизаны и отбросили назад; тогда он понял, что козарчане совсем не те бунтовщики, с которыми он имел дело ранее.

Негодую на немцев, которые все руководство захватили в свои руки и не доверяют даже уставам, он отправился в третий раз, снова с одним своим черным легионом. В тылу он установил артиллерию, а вперед двинул танки. Он был убежден, что партизаны, увидев танки, разбегутся по склонам и поспешат укрыться поглубже в леса. Но он и на этот раз просчитался.

Партизаны не дрогнули. Они стали из засад забрасывать танки ручными гранатами и бутылками с бензином. И что всего удивительнее, танкисты растерялись и по собственной оплошности попали в ловушку. У двух танков оказались поврежденными гусеницы, они стали. Тщетно пытались танкисты сдвинуть машины с места. Правда, экипажи не сдавались, стреляли из орудий и пулеметов, пока партизаны, вскочив на танки, не вынудили их покинуть бронированные укрытия и сдаться в плен. Так танки достались партизанам, а легион полковника Франчевича отступил в сторону Дубицы, по пути поджигая опустевшие крестьянские дома.

Но вот солдаты полковника Франчевича снова переходят Уну под Дубицей. Мост совсем ветхий, балки подгнили, столбы и упоры его шатаются. Этот мост связывает Хорватию и Боснию, и теперь доски его скрипят и прогибаются под солдатскими сапогами. Не в силах овладеть Козарой самостоятельно, подразделения полковника Франчевича подключились к немецким частям и вместе с ними идут на Крушевац. Говорят, что там всего один партизанский отряд, но Франчевич больше не верит слухам. Разве какая-нибудь там рота или отряд могут так стойко обороняться, не дрогнув даже при виде танков?

Несомненно, там более крупное соединение: может быть, батальон Ранко Шипки или бригада Ивйцы Марупича. Франчевич сдвигает пилотку, из-под нее выбивается прядь волос. Солнце жарит, печет голову, мостик над рекой покачивается, а Франчевич сдвигает пилотку на затылок и бежит в авангард колонны. Он всегда сам ведет бойцов в сражение, специально петляя по рощам и котловинам, чтобы подкрасться поближе к неприятелю. На этот раз он поразит партизан с фланга, там удар всего ощутимей. Солнце ему не мешает: он вырос среди голых скал, где самый высокий куст не больше зонтика. Его не испугают ни пальба, ни крики, ни жесточность схватки, потому что он привык к залпам, взрывам, грохоту. Чем ближе решительная схватка, тем меньше он думает о собственной жизни: словно само сердце гонит его вперед, навстречу опасности. Иногда даже кажется, будто Франчевич нарочно бросается прямо на вражеские винтовки и пулеметы, будто хочет схватить их за приклад, заглянуть в прицел,нюхнуть пороху, вырвать ремень.

Позади снова скрежет танков и цоканье копыт; орудия тащат лошади. Полковник всматривается в лица бойцов своего авангарда. Это в основном юноши, еще не служившие в армии, он сам набрал их, рассылая призывы в Сараево, по Боснии и Герцеговине. Он одел их в черную форму, сшитую из материала, оставшегося после капитуляции на складах старой югославской армии, и, когда они появились на смотре в этих черных костюмах, стройные, юные и еще безбородые, он назвал их «мои мальчики», потом чернецы, потом черный легион. Это название за ними и сохранилось. Он повел их к Дрине, на Власеницу, Сребреницу и Романию, туда, где разгоралось восстание бунтовщиков. Он использовал партизанские способы войны: нападал по ночам, устраивал засады, проникал глубоко в тыл противника и ударял по штабам, лагерьам, складам.

Стремительный и неустрашимый, он приобрел репутацию

офицера, которого минуют, а может быть, и просто не берут пули. Во время боя он буквально лез на рожон. Однажды, когда он, стоя во весь рост, наблюдал за боем, пулеметная очередь изрешетила полы его шинели. Другой раз пули исполосовали ему рукав рубашки, а как-то выстрелом у него сорвало с головы пилотку, так что полковник Франчевич выпужден был бежать за ней и ловить ее, как бабочку.

Он водил своих мальчиков из атаки в атаку, днем и ночью, всегда вооруженный до зубов, вел бои по несколько месяцев подряд, и о нем, как о герое, стали слагать песни: мол, он вброд проходит Дрипу-воду и дерется за свободу. Он спал на жестких нарах вместе с солдатами, делился с ними единственной сигаретой и последним куском хлеба. Если его парням приходилось лежать на голой земле, он ложился рядом. А когда они после долгого и изнурительного марша усталые и обессиленные валились в сено, чтобы отоспаться под открытым небом, он тоже зарывался в стог и спал, пока его не разбудит ливень или гром. А потом шагал под дождем и, промокнувший до костей, вел свою армию вперед. Он все хотел делить с ними, со своими бойцами. Старался ничем не выделяться, и часто ему приходилось труднее, чем любому из них. Поэтому-то о нем слагали песни и предания, вознося его, как говорится, до звезд. Так росла легенда о полковнике Франчевиче и его черном легионе. Его слава, рассказы о подвигах его солдат были известны и в Боснии и в Хорватии и вскоре сделали свое дело — он получил орден Короны Звонимира с золотым трилистником, звание витязя и чин полковника устапского воинства...

Шагает Франчевич по шоссе в сторону Крушковца, что виднеется у темного леса на расстоянии ружейного выстрела. Он мог бы ехать верхом, но не захотел. Звали его на танк, предлагали сесть в автомобиль, но он тоже отказался, он предпочел остаться со своими мальчиками и вот теперь шагает вместе с ними по твердому пыльному шоссе, которое подымается вверх, петляя и то и дело исчезая в дубовых рощах. И пока он безуспешно защищался от пыли, из-за которой щипало в ноздрях и першило в горле, перед его глазами прошла вся его жизнь, сотканная из нищеты, горечи, холода, голода, грязи, мучений и побоев.

Он вырос в бедности, в каменной долине, и с тех пор, как себя помнит, вечно чего-то боялся, страдал, испытывал нужду и лишь мечтал о лучших днях. Его нередко избивали, потому что он был беззащитным спротой, па которого каждый волен подпять руку.

А ведь меня и правда колотили, — полковник Франчевич почесывает голову и расстегивает воротник, мокрый и липкий от пота и пыли. Кто бедец, тот всегда и во всем виноват, к тому же похож на чумную собаку, от которой все шараяются...

Он вспоминает тот далекий день тысяча девятьсот двадцать восьмого года, когда юношей, гимназистом, с пустыми руками и без единого динара в кармане, он ушел из своего родного села. Он покинул родительский кров и отправился по белу свету в поисках заработка и хлеба, так как дальше учиться было не на что. Ему удалось добраться до Загреба. Он брел по улицам в деревенских грубошерстных портах, длинные и широкие штанины волочились по асфальту, собирая и грязь и снег. Это было первого декабря, в день объединения сербов, хорватов и словенцев, по над городом с утра распростерлись черные знамена, и это вызывало у него смутное беспокойство. Он слонялся голодный, без всякой цели, ни на что уже не надеясь, досадуя на снег, который валил из низких, тяжелых облаков. Случайно он очутился на большой площади, среди толпы. Народ все прибывал, толпа покачивалась и волновалась, слышались крики, угрозы. Он не знал, куда все бегут и почему кричат. Он присоединился к людям. Они напомнили ему охотников, преследующих зверя. Тогда он заметил жандармов. В руках у них были винтовки с примкнутыми штыками.

— Разойдись! — кричали жандармы. — Именем закона — разойдись!

— Долой жандармов! — раздались возгласы. — Да здравствует Хорватия!..

В ход пошли кирпичи.

Один из жандармов зашатался: камень угодил ему прямо в грудь.

Раздался выстрел. Кто-то застонал.

Молодой Франчевич побежал, чтобы помочь тому, кто стоял. Он врезался в толпу и, пробиваясь локтями, устремился к центру площади, откуда бежали люди. Площадь пустела, а посреди нее, на бетонной мостовой, лежал окровавленный человек со знаменем: флаг оказался под телом, и на полотнище стекала кровь. Франчевич тронул его рукой, но человек не шевельнулся. Он был мертв. Франчевич прикоснулся к его лицу, поправил упавшую на глаза окровавленную прядь волос, а затем схватил знамя, вытащил его из-под трупа и поднял вверх.

Это был хорватский национальный стяг — красно-белоголубой, полосатый, трехцветный стяг, который он раньше по

офицера, которого минуют, а может быть, и просто не берут пули. Во время боя он буквально лез на рожон. Однажды, когда он, стоя во весь рост, наблюдал за боем, пулеметная очередь изрешетила полы его шинели. Другой раз пули исполосовали ему рукав рубашки, а как-то выстрелом у него сорвало с головы пилотку, так что полковник Франчевич выпущен был бежать за ней и ловить ее, как бабочку.

Он водил своих мальчиков из атаки в атаку, днем и ночью, всегда вооруженный до зубов, вел бои по несколько месяцев подряд, и о нем, как о герое, стали слагать песни: мол, он вброд проходит Дрингу-воду и дерется за свободу. Он спал на жестких нарах вместе с солдатами, делился с ними единственной сигаретой и последним куском хлеба. Если его парням приходилось лежать на голой земле, он ложился рядом. А когда они после долгого и изнурительного марша усталые и обессиленные валились в сено, чтобы отоспаться под открытым небом, он тоже зарывался в стог и спал, пока его не разбудит ливень или гром. А потом шагал под дождем и, промокнувший до костей, вел свою армию вперед. Он все хотел делить с ними, со своими бойцами. Старался ничем не выделяться, и часто ему приходилось труднее, чем любому из них. Поэтому-то о нем слагали песни и предания, вознося его, как говорится, до звезд. Так росла легенда о полковнике Франчевиче и его черном легионе. Его слава, рассказы о подвигах его солдат были известны и в Боснии и в Хорватии и вскоре сделали свое дело — он получил орден Короны Звонимпра с золотым трилистником, звание витязя и чин полковника усташского воинства...

Шагает Франчевич по шоссе в сторону Крушковаца, что виднётся у темного леса на расстоянии ружейного выстрела. Он мог бы ехать верхом, но не захотел. Звали его на танк, предлагали сесть в автомобиль, но он тоже отказался, он предпочел остаться со своими мальчиками и вот теперь шагает вместе с ними по твердому пыльному шоссе, которое подымается вверх, петляя и то и дело исчезая в дубовых рощах. И пока он безуспешно защищался от пыли, из-за которой щипало в носу и першило в горле, перед его глазами прошла вся его жизнь, сотканная из нищеты, горечи, холода, голода, грязи, мучений и побоев.

Он вырос в бедности, в каменистой долине, и с тех пор, как себя помнит, вечно чего-то боялся, страдал, испытывал нужду и лишь мечтал о лучших днях. Его нередко избивали, потому что он был беззащитным сиротой, на которого каждый волен поднять руку.

А ведь меня и правда колотили, — полковник Франчевич почесывает голову и расстегивает воротник, мокрый и липкий от пота и пыли. Кто беден, тот всегда и во всем виноват, к тому же похож на чумную собаку, от которой все шарахаются...

Он вспоминает тот далекий день тысяча девятьсот двадцать восьмого года, когда юношей, гимназистом, с пустыми руками и без единого динара в кармане, он ушел из своего родного ссела. Он покинул родительский кров и отправился по белу свету в поисках заработка и хлеба, так как дальше учиться было не на что. Ему удалось добраться до Загреба. Он брел по улицам в деревенских грубошерстных портах, длинные и широкие штанины волочились по асфальту, собирая и грязь и снег. Это было первого декабря, в день объединения сербов, хорватов и словенцев, но над городом с утра распростерлись черные знамена, и это вызывало у него смутное беспокойство. Он слонялся голодный, без всякой цели, ни на что уже не надеясь, досадуя на снег, который валил из низких, тяжелых облаков. Случайно он очутился на большой площади, среди толпы. Народ все прибывал, толпа покачивалась и волновалась, слышались крики, угрозы. Он не знал, куда все бегут и почему кричат. Он присоединился к людям. Они напоминали ему охотников, преследующих зверя. Тогда он заметил жандармов. В руках у них были винтовки с примкнутыми штыками.

— Разойдись! — кричали жандармы. — Именем закона — разойдись!

— Долой жандармов! — раздались возгласы. — Да здравствует Хорватия!..

В ход пошли кирпичи.

Один из жандармов зашатался: камень угодил ему прямо в грудь.

Раздался выстрел. Кто-то застонал.

Молодой Франчевич побежал, чтобы помочь тому, кто стонал. Он врезался в толпу и, пробиваясь локтями, устремился к центру площади, откуда бежали люди. Площадь пустела, а посреди нее, на бетонной мостовой, лежал окровавленный человек со знаменем: флаг оказался под телом, и на полотнище стекала кровь. Франчевич тронул его рукой, но человек не шевельнулся. Он был мертв. Франчевич прикоснулся к его лицу, поправил упавшую на глаза окровавленную прядь волос, а затем схватил знамя, вытащил его из-под трупа и поднял вверх.

Это был хорватский национальный стяг — красно-белоголубой, полосатый, трехцветный стяг, который он раньше по

праздникам видел в окнах домов и на крышах. Он понес это знамя через пустую площадь, и народ снова начал собираться и шуметь наперекор жандармам, которые стояли вдоль стены с обнаженными штыками. Неожиданно для себя Франчевич оказался в самом центре бунтующих: худенький юноша крепко держал в руках окровавленный флаг, и тот развевался над ним, собирая людей.

Потом он вынужден был эмигрировать в Италию. В течение нескольких лет он томился на чужбине, бедствовал, голодал, страдал, сокрушался и скучал по родине, пока, наконец, не вернулся снова с хорватским флагом в руках...

Всего хлебнул, подумал Франчевич и подошел к коренастому офицеру, широколицему и скуластому, шагающему во главе колонны. Он посмотрел на него с любовью и гордостью.

— Что, мальчуган, поди, взмок до исподнего?

— Докладываю, как усташ, полковник, совсем упарился, — улыбается офицер. Он старается отвечать в тон, как новобранец, с которым начальник разговаривает на деревенском, грубоватом языке.

— Не хочешь отдохнуть вон на той горке, в дубняке? — Франчевич показывает налево, где на склоне зеленеет холм, поросший густым лесом.

— Докладываю, как усташ, полковник, — отвечает тот, — я готов пробиться на самый верх.

— Сколько тебе потребуется времени?

— Полчаса.

— А парней?

— Рота.

— Получай роту, — он похлопал юношу по плечу и приказал: не теряя времени, занять высоту, откуда они ударят по противнику с фланга.

Слева слышатся выстрелы...

— Это Бобан, — говорит Франчевич. — Слышишь? Это Бобан.

— Кто скорее: оп или мы?

— Ступай, мальчуган, и счастливого тебе пути, — говорит Франчевич так весело, словно посылает его не в атаку, а в гости.

— За отечество, за нашего поглавника! — восклицает офицер, отдавая честь Франчевичу.

— Всегда готов! — отвечает Франчевич и перебегает на левое крыло. Тут у него Судар, командир батальона. Этот

целый день места себе не находит, пока не убьет хоть одного бунтовщика.

И снова мысли полковника возвращаются в прошлое, к той страшной и черной полосе жизни, когда у него не было хлеба и он скитался по итальянским городам разутый и ободраный. Он носил чемоданы на вокзалах, мыл палубы пароходов, подметал улицы, случалось, даже крал. От голода подводило живот, целыми днями он сживал на одной корке хлеба, слонялся из трактира в трактир, небритый и злой, а когда становилось совсем невмоготу, начинал приставать к прохожим и, бывало, бросался на полицейских; безропотно и даже весело шел в тюрьму, так как знал, что там ждет его теплая похлебка, крыша над головой и одеяло.

А однажды он встретил человека, который заговорил с ним на его родном языке, на языке изгнанника и беженца, тоскующего по отчеству. Оборванный, дошедший до полного отчаяния, он слушал его без всякого воодушевления. Человек предложил ему кров, хлеб, одежду. Франчевич, потерявший веру во все на свете, колебался, но человек повторил обещания и советовал тотчас же отправиться во Флоренцию, на сборный пункт, куда съехалось уже много хорватов-эмигрантов, с которыми он должен познакомиться и подружиться. Выбора не было, и Франчевич согласился.

Так он оказался в числе эмигрантов в лагере под Флоренцией. Он предполагал, что сюда стеклись представители разных народов со всех концов мира, но скоро обнаружил, что находится исключительно среди хорватов, бежавших из Герцеговины, Боснии, Лики и Далмации. Это был лагерь, где проходили специальную подготовку несколько сотен людей. Это были усташи Апте Павелича, и вместе с ними Франчевич принял торжественную присягу:

«Клянусь всемогущим и всеведущим богом, клянусь всем святым, что буду бороться в рядах усташей под усташским знаменем за освобождение хорватского народа и создание Независимого хорватского государства. Клянусь, что исполню все до единого приказания поглавника и любое поручение вышестоящих начальников по усташской армии, клянусь, что в величайшем секрете буду хранить доверенную мне тайну и никогда ничего не выдам. Если я нарушу эту присягу, я должен по усташским законам быть осужден на смерть. Да поможет мне бог. Аминь».

Как-то во время учений среди них появился широкоплечий, большоголовый человек с сильными руками и полуопу-

цепными веками. Он был в форменной одежде и сапогах, но без знаков различия, с огромной буквой «У» на пилотке. Он двигался легко и уверенно. Подойдя к Франчевичу, он заговорил с ним, как с равным, спросил, откуда он родом, кто у него остался дома, почему эмигрировал и готов ли пожертвовать жизнью. Молодой Франчевич отвечал коротко и четко, он догадывался, что перед ним верховный командующий. Потом ему сказали, что это был Анте Павелич. Он запомнил этот разговор, и каждое слово поглавника врезалось в его память, это было как напутствие любящих родителей, как божье благословение...

Рвутся снаряды на подступах к Крушковцу, а полковник Франчевич, крепкий и полный сил, вдруг возникает на правом фланге. Легионеры, заметив его, бегут навстречу.

— Мальчики, кто справа от вас?

— Полковник, докладываю, справа от нас рота из полка Рудольфа.

— А, Рудольф, — Франчевич махнул рукой с явным презрением. Он не любит Рудольфа и не скрывает этого. Он считает его пустым болтуном и бахвалом, карьеристом, думающим только о собственной выгоде, человеком, которого ничто не связывает с целями усташского движения. Кадровый офицер старой армии, он припаялся к усташам, но если бы в тот момент, когда капитулировала Югославия, поблизости оказался кто-либо другой, Рудольф примкнул бы к этому другому.

Франчевич берет бинокль и внимательно рассматривает местность: зеленый клевер на пастбищах, поля пшеницы, овса, кукурузы, рвы и овраги, поросшие кустарником, буковые и дубовые рощицы. Партизаны прячутся за деревьями, среди камней, в густой траве оврагов. Они залегли в своих засадах и не подозревают, откуда им грозит удар.

Полковник Франчевич обходит позиции, а мысли его поглощены соседом справа, Рудольфом, солдаты которого слоняются по кустарнику. Как оказался он во главе полка, носящего имя поглавника? Почему попал в число пзбранных? Каким образом дослужился до такого чина? И зачем без конца рассказывает о женщине, которую он направил в тыл к партизанам? Разве это не военная тайна? Или он распространяет подобные слухи умышленно, в надежде, что они дойдут до поглавника, от которого он ожидает награды и нового продвижения по службе?

Встречал я таких типов, думает полковник Франчевич, а сам тем временем обходит легионеров, спрашивает, могут ли еще идти, не стерты ли ноги, в порядке ли оружие, примкнули ли штыки к винтовкам; в общем выясняет, в состоя-

нии ли его ребята при первом сигнале броситься в атаку. Он не любит Рудольфа, потому что тот напоминает ему Макса Лубурича, начальника концентрационных лагерей, который измывается над беспомощными узниками. Во время стычки с партизанами под Драксеничами его ранили в пятку, а это уж верная улика, что он бежал.

На склоне застрочил пулемет.

— Ложи-и-сь! — закричал Франчевич. Потом он приказал им развернуться в цепь лицом к обрыву, откуда бил пулемет, и под прикрытием огня поодиночке перебегать, приближаясь к противнику. Таким образом мы собьем с толку партизан, думал он, памятуя о том, что посланный офицер со своей ротой должен ударить по партизанам с фланга.

Но партизаны устремились вниз по склону. Они бежали, продолжая стрелять, и громко кричали. Взлетали вверх руки, развевались на бегу шинели. Казалось, их было несколько сотен. Они были всего в полукилометре, и Франчевич хорошо видел их невооруженным глазом. Он ликовал: было ясно, что, покидая вершину, они сами несутся навстречу ловушке, которую подготовил им его офицер. С минуты на минуту он ударит по ним с фланга, а может быть, и прямо с тыла.

Франчевич скомандовал огонь. Ударили разом все орудия. Сзади от Дубицы били гаубицы. Снаряды с отчаянным свистом проносились над головой и рвались на холмах, в рощицах, по склонам и нивам, вспахивая землю и кося деревья.

— А вот и самолеты, — воскликнул Франчевич, остановившись около огромного дуба. Ему не хотелось ложиться, так как с земли было бы труднее наблюдать. Он смотрел на самолеты, пролетающие над Крушковацем. Он ожидал, что они вот-вот начнут бомбить партизанские позиции, но самолеты, миновав Крушковац, стремительно снизились на бреющем полете прямо над легионерами. Никто не пытался стрелять, так как все были уверены, что это самолеты свои, но, когда упали первые бомбы и сверху затарахтели пулеметы, легионеры рассыпались в разные стороны.

— Сто-ой, не бежать... Ложись, стреляй...

Он пытался остановить солдат, которые никак не ожидали увидеть над самой своей головой вражеские самолеты, и в панике разбегались. Разве у партизан есть самолеты? — спрашивали они себя, а смерть грозила им и с земли и с воздуха. Они совершенно растерялись, но тут полковник Франчевич подбежал к одному из пулеметчиков и приказал стрелять по самолетам, целясь в мотор и пропеллер. Тот открыл огонь, но полковник вырвал у него пулемет и начал целиться сам: он

был уверен, что собьет самолет. Некоторые legionеры остановились, попадали на землю и поползли обратно.

Самолеты пролетели на запад, а полковник Франчевич, все еще державший в руках пулемет, вдруг заметил, что партизаны совсем близко. Он не успевал следить за ними, пока стрелял по самолетам, и теперь увидел их прямо перед собой, на расстоянии броска гранаты.

Он упал наземь и крикнул:

— Огопы!.. Гранаты!..

Он снова вскочил, широко расставив ноги, и размахнулся гранатой. В этот момент, встретившись с врагом лицом к лицу, он был готов броситься врукопашную и уже подумал о ноже, но тут послышалась стрельба на левом фланге у Крушковаца. Это был тот офицер, которого он послал. Франчевичу даже показалось, будто он слышит его голос среди треска винтовочной и пулеметной пальбы. И он командовал как можно громче:

— Мальчики, впереееед!..

Но его мальчики без оглядки бежали прочь, и даже те, что было вернулись, снова мчались сломя голову. Напрасно Франчевич звал их. Они удрали к Дубице, хотя и партизаны, обнаружив нападение с фланга, стали поспешно отступать в сторону Крушковаца и уже стреляли наугад. Так Франчевич остался один под дубом и глядел на две армии, разбегавшиеся в разные стороны.

Он стоял, прислонившись к стволу, плотно сжав губы и злобно озираясь, готовый убить первого же, кто посмеет к нему приблизиться. Разве это черный легион? Разве они похожи на его неустрашимых чернецов? Разве это солдаты полковника Франчевича?

Он утешал себя тем, что и противник все же вынужден отступить. И когда офицер с левого фланга подвел к нему пленного, у которого беспомощно повисла рука, а лицо и пальцы были залиты кровью, Франчевич сухо спросил:

— Сколько вас там?

— Много.

— Сколько?

— Как травы в поле...

Франчевич занес было кулак и хотел ударить его, но не сделал этого, так как вспомнил мать: умирая, она заклинала его никогда не бить беззащитных людей. Он спросил пленного:

— Ты знаешь, что тебя ожидает?

— Знаю, — ответил тот.

— Расстреляйте его, — с ледяным спокойствием приказал Франчевич.

Много веков тому назад, в древние времена, населяли эти края иллиры, кельты, римляне и саксы; они были скотоводами, рудокопами, земледельцами, плавильщиками металла и строителями дорог. Позднее из Малой Азии нахлынули сюда турки, воины и разбойники, конные, пешие, вооруженные ружьями и пушками. Их кости сгнили в здешней земле. От всех пришельцев остались только следы бывшего господства: разрушенные укрепления, башни, храмы, развалины вместо бывших селений, рыночных площадей, мечетей, кладбищ, кирпичных заводов, руины, подкопы — свидетели разорения и разбоя. Об этих народах напоминают и названия отдельных сел, холмов и местностей, как, например, Патрия*, гора на западном склоне Козарского массива, где во время великого наступления на Козару велась наиболее ожесточенные бои.

Древние народы, пастухи и скотоводы, славили Митру, бога солнца, почитали проводника мертвых Гермеса и Сильвана, повелителя лесов. Солнце, усопшие и лес — разве что-либо иное достойно почитания и славы?

Бои с римлянами в междуречье Сапы и Босны особенно обострились во времена Тиберия. Предводитель бревков Батон стал изменником и выдал врагу их второго главаря, Пинеса. Так в этих краях было совершенно первое известное нам предательство.

Чтобы облегчить своему воинству проход через котловины и дремучие леса Боснии, римский император Август начал строить дороги между Адриатическим морем и рекой Савой. Одна из ветвей римской дороги проходила через Гламоч и достигала Градишки, к северо-востоку от Козары, где некогда находилась пристань *Servetia*.

Местные юноши, не имевшие прав римского гражданства, набирались в римские легионы, но воевали во вспомогательных отрядах, на периферии: в Англии, Германии и в Алжире. Некоторые из них попадали даже во флот.

Богатую долину Саны, к югу от Козары, знали еще в третьем веке. В Старом Майдане добывали железную руду, возле Горнего Вакуфа — золото, которое и до прихода римлян мыли в Врбасе. Благодаря Плинию получило распространение свидетельство, явно преувеличенное, что во время правления Нерона дневная добыча

* *Patria* (латин.) — отечество. — Прим. автора.

золота составляла здесь пятьдесят фунтов. Здесь были выкопаны и переплавлены горы железной руды, нарыты кучи глины и сделаны миллионы кирпичей, и все же боснийские горы с их непроходимыми лесами и ущельями кажутся вечными, как будто по ним не ступала нога человеческая и рука не прикасалась к ним.

В шестом и седьмом веках с востока на горячих конях устремились сюда славянские племена, вооруженные стрелами, копьями и щитами. Вместе с аvaraми или борясь против их орд, древние славяне опустошали селения и всю страну. Под копытами их коней исчезли римские города Domavium, Bistue, Delminium, Deluntum и другие, от которых не сохранилось даже названия.

Жившие по болотам на территории современной Украины и Польши, страдавшие от грязи, сырости и туманов, славяне, — охотники, рыболовы, скотоводы и земледельцы — бросали свои насиженные места и, влекомые жаждой тепла и солнца, двигались все дальше на горячий юг, к Адриатическому морю. Они вытеснили старых жителей, и эти края стали их новой родиной.

Из старинных рукописей.

4

Когда началась стрельба, Лазар брился. С запада от Уны не умолкал грохот. Но так грохотало и раньше и на Уне, и на Саве, и возле Врбаса, и поэтому Лазар продолжал бриться. Он любил повторять, что партизану нельзя обрастать бородой, так как борода — отличительный признак четника.

(А мы не четники, мы не имеем ничего общего с бородачами, которые убили нашего командира Младена. До войны он бесплатно лечил бедняков в Приедоре, а потом первым вступил в ряды повстанцев и был всегда впереди, пока не погиб от руки предателя в Йошавице, далеко от Козары.)

Поэтому Лазар брился ежедневно и при любых обстоятельствах, даже в полной боевой форме: с автоматом на плече, затянутый ремнями, в огромной меховой папахе. Он никогда не приходил небритым на смотр, на боевые позиции, не появлялся с бородой в селах. И если хотели пристыдить кого-либо из бойцов, не следивших за собой, обычно говорили: «Пошлем-ка тебя к Лазару, пусть поскоблит как следует». Было известно, что в своей роте Лазар не терпел небритых, он

даже не допускал их в строй. Заметив бородача, он подходил к нему, сжав кулаки:

— Два шага вперед!

А такую комапду он зря никогда не давал. Лазар шутить не любил. Этот огрсмный усатый детина, девяносто килограммов весом, мог зазвездить кулаком, поддать ногой или ударить прикладом, а то и разоружить, связать и под стражей направить посрамленного бородача в штаб батальона, в Карап к Жарко, или еще дальше на Козару, с докладом самому Шоше.

(А о том, каков бывает иногда товарищ Шоша, заменивший Младена, я тебе и рассказывать, пожалуй, не буду, ибо о том, каков бывает Шоша, знают те, что попали к нему в трапезню, а обратно не возвратились...)

Желая во всем быть примером, Лазар начинал бритье первым, рано утром, когда остальные еще спали. Он брал бритву, сначала точил ее об ремешок или на камне, потом пробовал о волосок. Иногда он приказывал побрить себя мальчонке-племяннику, служившему у него вестовым, а сам важно восседал, окруженный крестьянами, которые с восторгом взирали, как бреется командир. Но сегодня он только успел намылить щеки и приспособить зеркальце, как услышал крик:

— Командир, нас атакуют... Слышишь? Вон они, идут...

— Э, малый, а ты как раз вовремя, сейчас меня и побреешь.

— Дядя, ты что, не слышишь?

— Я тебе здесь не дядя, а командир.

— А вон они уже на Церовице.

— Да разве ж их Хамдия не задержал? На что ж я ему целый взвод дал? В Уну их сбросить не мог, что ли?

— Он их подкараулил на Мазиче, но они открыли такой огонь: из пулеметов, минометов, из пушек...

— Заткнись! На, бери бритву!

— Товарищ командир, — мальчик хотел что-то сказать, но его заглушил снаряд, разорвавшийся совсем близко, так что задрожала стена, возле которой пристроился с зеркальцем Лазар.

— А ну! Брей!

— Хамдия мне сказал... то есть ему надо подкрепление, если можно, и станковый пулемет...

— Успеет, есть еще время, — сказал Лазар. — Бери бритву!

— Нету времени, дядя, — старался убедить его малый, но Лазар бросил на него такой взгляд, что дерево, кажется, и то бы не выдержало. Парнишке ничего не оставалось, как

взять бритву: указательным пальцем он стер пену со щеки Лазара и начал его брить от левого уха, думая лишь о том, что ему сказал Хамдия, — партизаны отходят к Церовице, уже взобрались на гору и с нетерпением ждут подмоги, так как неприятель наступает. Но кто был в силах сейчас заставить Лазара изменить свой план, то есть прекратить бритье? Он особенно любил хорошенько побриться перед боем, чтобы пленным при взгляде на него сразу становилось ясно, с кем они имеют дело. Но когда малый добрался до его подбородка, грохнул еще один снаряд, совсем близко от лагеря, где разместились рота.

В густом лесу под деревьями, уже покрывшимися первой весенней зеленью, разместились домики — удобные бараки, склады, кухня, караульные будки. Над дорожками, перепархивая с ветки на ветку, заливались птицы и жужжали пчелы. Это был целый городок, выросший среди деревьев, возле чистого горного родника.

— Здесь съешь хоть целого вола, а как напьешься этой воды, все равно через полчаса опять голодный, — любил повторять Лазар. Сейчас он молча сидел на лавочке перед командным пунктом, а малый все брил его, даже после второго разрыва.

Мальчуган делал вид, что ничего особенного не происходит, хотя от грохота орудий гудело в ушах. Ему приходилось притворяться, так как сам Лазар казался совершенно безучастным и продолжал сидеть неподвижно, будто он ничего не слышит и даже дремлет. Это не было ни обманом зрения, ни притворством. Лазар был занят бритьем, и тут ему не могли помешать никакие снаряды. А они разрывались все чаще по ближним перелескам и скатам. Вот грохнуло прямо посреди рожицы, в каких-нибудь пятидесяти шагах от них.

Мальчонок замер, разинув рот.

— Ну!.. Чего стоишь?

— Дядя, ведь уже в лагере рвутся...

— Да держи ты бритву как следует, или зарезать меня хочешь? Слышишь? Крепче держи!

— Дуб повалило...

— Кто повалил, дурень ты этакий?

— Снаряд.

— Ну и пусть... Да брей же ты. ради бога... И потом я уже тебе сто раз повторял: нет здесь никакого дяди, я твой командир.

— Дядя, дядя! — малый увидел, как при новом взрыве отломилась и рухнула наземь верхушка большого дерева. Это был толстенный явор, под которым обычно происходила смена

часовых. Снаряд угодил почти в самые ворота лагеря, но Лазар по-прежнему продолжал сидеть и злился на парня за то, что тот тянет с бритьем и называет его дядей, хотя это было ему строго запрещено.

Перепуганный, оцепеневший от страха паренек, зажав в руке бритву, не сводил глаз с рухнувшего дерева. Когда же новый снаряд врезался в крышу соседнего строения, подняв целое облако пыли и рассыпая известку и дранки, Лазар обернулся.

— Здорово бьют, сукины дети...

Решив, что командир сейчас и сам вскочит и прикажет бежать в окопы, малый выжидающе уставился на него.

— Теперь тебе придется меня снова намыливать, — сказал командир, вытирая с лица известку и пыль. Он даже не стал искать более укромное местечко. Но малый не терял надежды. Лазар искоса взглянул на него.

— Ты беги, я сам добреюсь, — проговорил он и взял бритву.

Кончив бриться, он повернулся к соседнему барaku.

— Вот сволочи, что натворили! — он посмотрел на разрушенную сварядом крышу.

— Командир, наши отступают с Церовицы. Оставляют высоту.

— Хамдия?

— И Хамдия отступает и просит быстрее подкрепления. Если помощь не поспеет, неприятель ворвется в лагерь...

— Какой еще лагерь, болван? — вскочил Лазар. — Чтоб пробиться в лагерь, им нужна целая дивизия... Цветан, готовь пулемет.

Командир пулеметного взвода побежал выполнять приказание, а Лазар обтер лицо и, взглянув в зеркальце, в котором едва уместился один его ус, позвал дежурного и распорядился собрать бойцов.

Через несколько минут вся рота была в сборе. Лазар скомаандовал:

— Рота, смирно!.. Направо равняйся!.. Смирно!.. Направо! В колонну по одному, за мной.

На ходу затягивая ремень, Лазар побежал в голову колонны. Он все еще не верил поступавшим сообщениям, хотя артиллерийский и пулеметный огонь все усиливался, а снаряды рвались совсем близко.

Не могли же они, идиоты, отступить с церовицкого холма... Разве можно бросать такую позицию? Прирежу кого следует...

— Скорее, скорей... — оборачивался он к бойцам, которые цепочкой растянулись по лесу, пробираясь между деревьями по извилистой тропинке, усыпанной прошлогодними листьями. — Райко Мачака ко мне, — приказал он малому, который бежал за ним по пятам. Приказ передавался от бойца к бойцу.

К Лазару подбежал стройный сухощавый юноша, зеленоглазый, с орлиным носом и густыми волосами, выбившимися из-под пилотки. Он тащил пулемет.

— Товарищ командир, прибыл по приказанию...

— Становись в колонну!

Пулеметчик встал рядом с командиром, но малый забежал вперед и снова занял свое место сразу за командиром. Пулеметчик ничем не выразил неудовольствия, он знал, что мальчуган всегда держится поближе к Лазару.

— Сколько у тебя патронов? — обернулся командир и, заметив подле себя племянника, недовольно покачал головой.

— Триста штук, — ответил пулеметчик.

— Передай по цепи, чтоб принесли еще триста.

— Боеприпасов хватит, — улыбнулся Райко своими быстрыми заячьими глазами и глубже натянул пилотку. — Мы взяли с собой еще пятьсот.

— Хорошо, — сказал командир, все время прислушиваясь к пулеметной и орудийной пальбе и разрывам снарядов и прикидывая в уме, каковы же должны были быть силы противника, чтобы вынудить к отступлению Хамдию. Он взбежал на пригорок, утыканный крестами. Это было деревенское кладбище, заросшее примулой и тамариском, с торчащими пучками терновника и ежевики. Лазар встал на могилу за каменным крестом и начал внимательно просматривать местность, покрытую кустарником и перерезанную оврагом, за которым в долине пестрели домики.

Перед ним открылась широкая панорама до Церовицы и дальше, по ту сторону Уны, до Шумарицы и безымянных гор, окутанных голубоватым туманом.

Он не верил собственным глазам: крошечные человеческие фигурки катились вниз по церовицкому склону, устремляясь к реке и к хуторку, над которым зеленела тутовая рощица и заросли кизила и ольшаника. И слева и справа вниз в долину небольшими группами спускались бойцы. По-прежнему вспыхивали ружейные выстрелы, строчили пулеметы, а Лазар в ярости топал ногой, потому что, наконец, поверил — партизаны не только отступили с Мазича, но оставляют и церовицкую высоту, хотя Хамдии было приказано удержать ее во что бы то ни стало и отбросить неприятеля.

Но бежали не только партизаны. Он поднес бинокль к глазам.

Толпами уходили и крестьяне, среди них мелькали на откосе группы бойцов. Некоторые уже были перед самым кладбищем. Люди гнали с собой овец, коров, свиней; на телегах, груженных домашним скарбом, из тряпья торчали детские головенки. Народ бежал, а обстрел с той стороны все продолжался. Артиллерия с запада, от Уны, прочесывала села, старательно била по домам и перекресткам, поджигала стога сена и скирды.

Он вспомнил об Иване, который остался в хвосте колонны. Лазар не привык с ним советоваться. Он всегда сам принимал решение, а уже потом ставил Ивана в известность. Случалось, взяв сотню бойцов, он отправлялся с ними на диверсию — взорвать мост или дорогу, напасть на поезд или на казарму: пропадает и день и два, а вернувшись, как ни в чем не бывало расскажет Ивану, где был и что сделал. Если операция не удастся, придет мрачный, усы повиснут, а сам только сопит, словно кто-то другой его на это подбил.

— Ничего, в следующий раз удастся, а теперь ступай приляг, поди, не спал эту ночь, — скажет ему Иван мягко и сочувственно, а Лазар едва сдерживается, чтоб не застонать, но и в следующий раз не станет спрашивать совета и снова один примет решение. Командир — я, а всем известно, что такое в роте командир и что комиссар. Я распоряжаюсь, а он пусть заботится о ликвидации неграмотности, читает радиосводки, прорабатывает историю ВКП(б), проводит заседания комитетов, устраивает собрания молодежи и АФЖ (Антифашистского фронта женщин) и все такое прочее, а команду здесь я, это само собой понятно, и если уж обязательно надо у него о чем-нибудь спрашивать, то я спрошу, что такое первобытный коммунизм, что такое диктатура пролетариата, когда вступит в войну Турция и правда ли, что человек произошел от обезьяны.

Но сейчас ему все-таки захотелось увидеть Ивана и спросить, что же такое происходит. Раньше ничего подобного не случалось. Никогда прежде не бухали так снаряды и мины, не было столько пулеметов и не бежал, как от потопа, народ с телегами, лошадьми, волами, коровами, овцами и свиньями.

— Смотри-ка, да это ведь Лепосава! — он заметил женщину средних лет, плечистую и быструю в ходьбе, повязанную платком. Она гнала небольшое стадо и на веревочке тащила упиравшегося телянка.

— Лазар, родной, бежит народ, — сказала Лепосава. — Подожгли пас, чтоб весь род их перевелся.

Лазар только сейчас заметил пожар, пламя и дым над домами.

Черные облака клубились в небе, медленно расплзались и застилали Мазич, Церовицу, Равницы, Полявицы, Водичево... и дальше, до самого Пастирева. Горело повсюду. Клубы дыма поднимались вверх. Полыхали дома, сарай, хлевы, риги и курятники. Наступающий противник поджигал стога сена, скирды пшеницы, овса, копны клевера. Палили, казалось, все, что может гореть, начиная от хлебов и сена.

— Иван, что же это такое? — он увидел комиссара. — Что же это, черт возьми?

— У тебя есть связь с Хамдней? — спросил тот.

— Говорят, он отступил.

— Ты с ним связался?

Он хотел ответить, что по правилу подчиненный должен устанавливать связь с вышестоящим, но потом вспомнил, что где-то слышал, будто в трудный момент и старший по чину может послать связного или группу бойцов, чтобы разыскать подразделение, от которого нет никаких вестей.

— Я жду его. Надеюсь, даст о себе знать.

— Я думаю, мы имеем дело с массированным наступлением крупных частей, — сказал Иван. — Во всяком случае, это связано с их нападением на Приедор.

— Мы их встретим на кладбище, — отвечал Лазар, чувствуя досаду оттого, что поделился с комиссаром своими планами. — Это отличная позиция, и мы будем защищать ее всеми силами. — Он проговорил это нехотя и сам не мог понять, почему сегодня так разоткровенничался.

— Ты сообщил в батальон, что мы атакованы? — спросил Иван.

— А разве об этом тоже надо сообщать? — Лазар от удивления раскрыл рот. — Тогда пойди и сообщи сам. Мне нельзя оставить позиции. Вон они уже на склоне... Посмотри, — и он сунул ему в руки бинокль.

Иван несколько минут осматривал долину Малой Жулевицы, отделенную от Церовицы крутым откосом. Потом отдал ему бинокль и пошел к лагерю.

Лазар проверял своих бойцов. Он приказывал им укрыться за могилами, за кустами можжевельника, за каменными и деревянными крестами, в поросших бурьяном и высокой травой ямах. Вместе с вестовым, не отстававшим от него ни на шаг, он перебежал к разрушенной еще в первые дни восстания церкви, где расположились пулеметчики, воспользовавшись готовым каменным гнездом.

— Все в порядке, Цветан?

— Немало нынче прольется крови, — сказал тот. — Я отсюда ни на шаг не отступлю. — Он устанавливал станковый пулемет за церковной стеной возле окна, наполовину заваленного камнями, кирпичом и обломками черепицы. В церкви было как в гробнице, не доставало только мертвеца.

Со свистом проносились над долиной снаряды и ударялись о скалы над Малой Жулевицей, круша каменные глыбы и поднимая в воздух комья земли, осколки и корни деревьев.

— Вот и Хамдия! — воскликнул Лазар. — Куда ты провалился? — Он подозвал его к себе. — Ты что же, не мог отбиться?

— Не мог, — ответил Хамдия.

— Да почему же, черт побери?

— А вот так, понимаешь, — с горечью сказал Хамдия, уперто глядя вниз, на долину, где пестрели пилотки, гимнастерки и поблескивали винтовки его бойцов.

Шагая по кладбищу среди могил и крестов, за которыми залегли бойцы, Лазар и Хамдия обменялись соображениями насчет численности и предполагаемых планов противника. Сразу же пришли к одному выводу: по упорству и силе, а также и по составу частей сегодняшнее нападение резко отличается от всех предыдущих.

— Много раненых, Эмира? — спросил Лазар рыжеволосую девушку в военной форме, с карабином на плече, которая шла подле носилок.

— Восемь человек, — ответила она. — Да двоих убили — Шурлана и Елисаваца.

— Вы всех вынесли?

— Да, и раненых и убитых, — вздохнул Хамдия.

— Ну, давай рассказывать, — продолжал расспрашивать Лазар. — Много там их?

— Да хватает. — Хамдия устроился за могильным холмиком, защищенным к тому же кустом. — Против нас выступили два, если не три батальона. Целый полк, понимаешь... У них полно пулеметов и минометов. Церовица и Мазич прямо перепаханы снарядами. Сперва отбросили нас на Мазич, а пока мы отступали к Церовице, били нам вслед минами и снарядами. Потом минометный и пулеметный огонь перенесли на Жулевицу, а пехота двинулась к Церовице... Вон они, — Хамдия прервал рассказ, так как мина разорвалась совсем близко. — Идут как раз сюда.

— Ну, а вы-то хоть одного убили?

— Ясное дело, — сказал Хамдия. — Кокнули их, поди-ка, не меньше шестидесяти.

— Шестидесяти? — Лазар от удивления вытаращил глаза.

— А то как же, — сказал Хамдия. — Мы с полчаса не прекращали огонь. Они идут, а мы строчим по ним из оврага. Все равно идут, одни падают, а другие не останавливаются и лезут на рожон, понимаешь...

— Немцы?

— Форма немецкая, а вроде не немцы. Судя поговору, это устали, только не пойму, отчего на них немецкая форма. Может, хотят нас запугать?

— В плен никого не взяли?

— Чего захотел! Скажи спасибо, что из наших никого не спалили. — Хамдия улыбнулся. — Как пить охота. Эй, чего ты тут болтаешься? — прикрикнул он на бойца, который в поисках укрытия слонялся возле кустов.

— Надо по ним ударить, — сказал Лазар. — Я бы пошел в контратаку...

— Не торопись, — сказал Хамдия. — Надо подождать и посмотреть... Дождаться почти, понимаешь...

— У нас две сотни бойцов и двадцать ручных пулеметов, — Лазар обращался скорее сам к себе, чем к Хамдии. Он твердо решил контратаковать противника.

— Райко, нет у тебя водички? — спросил Хамдия парня, лежавшего в трех шагах от него за камнем, в зарослях бурьяна и высокой травы.

— Есть, товарищ заместитель командира, — ответил Райко, — есть и ракны. Дать ракны?

— Да, понимаешь, давай, что есть.

— Вот они, — сказал Лазар, глядя в бинокль, а рядом уже снова свистели пули, отсекая ветки и кося бурьян. — Вот они, товарищи, на откосе.

— А я тебе что говорил?

— Без моей команды не стрелять! — крикнул Лазар, охваченный боевым азартом и словно воспаривший в небо над кладбищем со всеми его покойниками и могилами. — Эй, малый, передай: ни в коем случае не стрелять без моей команды, — еще раз приказал он, стоя во весь рост, будто памятник на могиле.

— Без приказа не стрелять! — кричал малый. — Передавай по цепи: без приказа не стрелять, — и возвратился к дяде, уверенный, что приказ будет выполнен.

— Ложись, дурень... Видишь, по тебе уже бьют!

— Дядя, а это что, станковый пулемет?

— А я почему знаю! — огрызнулся дядька, обозлившись, что к нему опять обратились по-родственному.

Словно специально подставляя грудь под пули, он вытянул

шею и весь подался вперед, лицом к врагу. Не ложился и не прятался. Сначала он наблюдал за неприятелем в бинокль, потом уже хорошо видел все и без бинокля.

Крошечные фигуры солдат, зеленоватые и тусклые, точно грязные жемчужины, нанизанные на нитку, катились вниз по откосу в долину Малой Жулевицы. Солдаты перебегали выгоны и петляли по тропинкам среди деревьев (только что этими же дорожками прокатилась волна беженцев). Солдат было много. Они мелькали повсюду, ими был усеян весь склон. Сейчас можно было бы ударить из пулемета, но Лазар решил подпустить их на расстояние броска гранаты и винтовочного выстрела.

Малый свернулся за могильным холмиком. Оттуда торчала только его круглая, как мяч, голова.

Застрекотал пулемет, просвистели пули, и около Лазара рухнула целая кипа сбитых с кустарника веток и листьев. Но он продолжал стоять, как будто ничего особенного не происходило. Справа над могилой снова показалась голова паренька.

— Спрячь башку, дурак, подстрелят, — он двинул его по затылку кулаком так, что голова сразу же исчезла за могилой, а сам не сводил глаз с приближающегося неприятеля. — Ничего себе бабахают, туды-растуды, — сказал он после очередного взрыва снаряда, от которого взлетела в воздух целая могила вместе с крестом. — А ну еще, еще! — Он смотрел, как рвутся снаряды, и размышлял о том, как бы поступал он сам, если бы имел такую артиллерию.

— На правом фланге двое убитых, — передали по цепи.

— Отнесите в тыл, — распорядился Лазар, сознавая, что немало будет еще и убитых, да и раненых (странно, что пока их нет), и твердо зная, что еще больше оставят трупов и прольют крови те, кто сейчас подходит к кладбищу. Поплачут они, и постонут, и в штаны наложат, потому что я так по ним садану, что подрапают они без оглядки до самой Уны, Нового и Добрлина и навсегда запомнят день, когда посмели сунуться в расположение моей роты, самой большой в батальоне у Жарко, — шептал он, покручивая ус, но в этот момент рядом с ним, почти коснувшись его правой ноги, пролетел огромный кусок камня, отбитый от креста. — Здорово стреляет, сволочь, — процедил он, словно стреляли не по нему, а по кому-то другому, на ком наступающие испытывали свою меткость.

Свернувшись за могилой, племянник оторопело следил за ним и озабоченно шмыгал носом. Погибнет ведь, и тетя Даринка вдовой останется.

— Дядя, ты что, с ума сошел? Ложись, тебя заметили... Не видишь разве, как вокруг камни летят?

— Ложись, Лазар! — крикнул кто-то за спиной. — Не валяй дурака!

— Иван, быстро на правый фланг и оставайся там, — приказал он комиссару, словно это был безусый мальчишка, которому можно и ухо нарвать. — Стрелять только после моей команды. Слышал?

— Дядя, я уже передал, — недовольно ворчал малый и поднял голову так, что она снова, как мячик, подскочила над холмиком.

— Спрячь башку, балда! — Лазар опять ударил его своей огромной ручищей, и голова маленького партизана исчезла за могилой. Командир все так же вызывающе подставлял под пули свою широкую грудь.

— Главное — устоять после первого залпа, — говаривал он, бывало, после боя. — Если с первого раза тебя не уложат, второго залпа не бойся, а третьего и тем более, потому что тут уж сам враг загутает и начнет мазать: он думает, что целится плохо, что ошибся в расстоянии. Возьмет другой прицел, изменит расстояние и только испортит то, что, может быть, было как раз хорошо. Он думает, что исправляет свою ошибку, а сам и не знает, что палит все дальше от цели, то есть от меня, — разъяснял он не без хвастовства, но с той уверенностью, которую дает человеку непосредственный опыт. Плечистый, коренастый, здоровенный, с длинными черными усищами, он казался воплощением силы и надежности. Хотя до войны Лазар не служил в армии (его не взяли на службу из-за расширения вен), он с первых же дней восстания выдвинулся благодаря твердому, даже суровому характеру и самоотверженности. Многих он поразил тем, что еще до начала решительной борьбы с устахами как-то среди бела дня появился на шоссе в боевом снаряжении — с карабином и в полной военной форме, то есть в том самом виде, в каком он вместе с Шошей и Жарко участвовал в ночной атаке на Лешяны, где оказался в числе самых отважных. Его авторитет среди крестьян особенно возрос после того, как он расправился с Татомиром (тот перешел в католичество и предал православную веру). Хотел он добраться и до лесника Михаила (тоже подался в католики), но тот узнал о грозящей ему опасности и скрылся.

Снаряды взрывали землю, перепахивали могилы, валяли деревья, срезали ветки и осыпали все вокруг листвой и корнями, а Лазар, весь напрягшись, как натянутая тетива, сжимал в руке автомат и держал наготове гранату, по команду

стрелять не давал. Пехота приближалась сомкнутым строем, четко чекая шаг, а вокруг громыхали орудия и минометы. Прилетели три «щуки» — так партизаны называли бомбардировщики — и начали сбрасывать бомбы. Они покружили над кладбищем, строча из пулеметов по кустарнику, по зарослям травы, сшибая веточки дикого винограда и ежевики, кроша камень, а затем улетели на восток.

Лазару сообщили, что погибло еще трое бойцов и что семеро ранено. Утром восемь да сейчас семь, уже пятнадцать, много, черт побери, всех пленных перебили, — он не выпускал из рук автомата и сжимал гранату. В какой-то момент ему показалось, что его обнаружили, что вражеский солдат уже видит его и медленно, словно наслаждаясь, целится в упор. Ему даже почудилось, что он знает этого солдата.

— Вот тебе и каюк... — Целясь в него, солдат оскалился. Кругом уже сыпались сбитые листья.

Впервые Лазару пришлось броситься наземь. Пуля просвистела над самым его затылком, даже задела волосы. А теперь, наскуда, посмотри, как стреляет Лазар. И он заорал из всех сил:

— Огонь! Беглый огонь!..

Лазар целился в солдат, сбившихся на тропинке, протоптанной над самым обрывом, под кустами терновника, которые они хотели обойти, но не решались. Он видел, что двое из них упали, а остальные отступили.

— Ого-о-онь! — кричал он, и уже все кругом гремело.

Партизаны орали, подбадривали друг друга и ругались напропалую, кто от возбуждения, а кто из страха. Но и оттуда, с неприятельской стороны, доносились яростные выкрики, заглушаемые грохотом боя.

— Вперед, вперед! — слышалось сквозь винтовочную и пулеметную пальбу. — Хватай партизана живьем! — сквозь свист и разрывы мин и снарядов. — Живых хватай, живых!!! — сквозь гром орудий. — Держи их, держи партизан, мать их перемать...

Он слышал все это, стрелял и все оглядывался на Райко и мальчонку, живы ли, и вдруг увидел целый часток кол винтовок — солдаты неожиданно выскочили из кустарника под самым кладбищем. Они шли смело, даже не пригибались, шли, выкрикивая угрозы и явно намереваясь захватить кого-либо из партизан. («Держи живого, живьем хватай!») У Лазара судорожно сжалось сердце — ему еще не приходилось видеть ничего подобного.

— Огонь, огонь! — орал он диким голосом, а вокруг стояли и зывали о помощи и свои и чужие. Какие-то бойцы

бросались бежать. Он не поверил собственным глазам: это были партизаны, оттесненные вниз по склону.

— Назад, назад! — опять кричал он. — Беглый огонь, залп... Бросай гранаты... Назад, говорю вам... — Он размахнулся, граната грохнула, но бойцы не слушали его. Они начали отступать еще поспешнее, скатываясь по откосу в сторону леса и лагеря. Тогда он заметил и Цветана, командира пулеметного взвода. Тот бежал со станковым пулеметом на плече. — Стой, черт побери, не отступать...

— Заберут у нас пулемет, — Цветан едва переводил дыхание.

— Сюда, чтоб тебе пусто было!

Цветан послушался и свернул налево, к холмику, за которым укрывался Лазар. Он опустил пулемет на землю, Лазар вцепился в него и повернул против солдат, которые бежали ему навстречу и что-то возбужденно кричали, словно это была не атака, а детская игра.

— Вот он, вот он... Хватай его живьем.

Лазар и Райко строчили из пулемета, кое-кто из солдат упал, но другие продолжали мчаться вперед, а один, высокий и рыжеволосый парень, летел прямо на Лазара. К счастью, он промахнулся, штык с силой вонзился в землю и застрял в ней, увлекая солдата за собой. Лазар, воспользовавшись этим, так стукнул его по голове, что парень плашмя растянулся на траве.

Тогда лишь он услышал голос племянника:

— Дядя, бежим, пока целы...

Лазар, наконец, понял, что дело дрянь, и если он срочно не отступит, то и впрямь угодит в руки солдат, потому что они уже снова бегут прямо на него и будто даже забавляются его упрямством. Он схватил пулемет, взвалил его на плечо и припустил в сторону, перепрыгивая через могилы и спеша к лесу, куда уже бежали Цветан, Райко и малый, причем Цветан кричал:

— Быстрее, Лазар, пулемет отберут! — будто пулемет был важнее всего и представлял большую ценность, чем сам Лазар. — Быстрее, командир, давай сюда пулемет. — Цветан тут же подскочил к нему и попытался забрать пулемет.

Лазар оттолкнул его, продолжая бежать к лагерю, но, только оказавшись в лесу, почувствовал себя спокойнее. Как это меня угораздило разорвать одежду, черт побери? Он смотрел на искромсанный рукав. А самого вроде бы не задело. Только тут он заметил, что потерял шапку.

Он видел их спины: плащи, платки, шали, майки. Перед ним были спины: люди отступали нехотя, поникшие, сутулые, заплаканные, в лохмотьях. Они шли на восток, в горы, бросив дома и усадьбы. Гнали с собой коров, овец, свиней, волов, толкали телеги, нагруженные узлами, мешками, подушками и одеялами, из которых торчали головы ребятишек или старух.

Он смотрел, как они тяжело ступают, убитые горем и уже потеряв всякую надежду, как от усталости с трудом переводят дыхание, как плачут, причитают, оглядываясь на свои пылающие хаты. То и дело кто-нибудь спрашивал:

— Не встречал моего парня, Лазарь?

— Что с моими овцами?

— У меня кобыла отстала. Люди, никто не видел мою кобылу?

— Кто угнал моего поросенка, чтоб ему пусто было...

— Ой, Младжан, яблочко мое...

Он шел следом, но не догонял их, он не решался взглянуть им в глаза — в эти красные, воспаленные, полные слез глаза беженцев; толпы людей брели на восток, забивая дороги и растекаясь по нивам и лесным опушкам, беженцы сворачивали в рощи, спускались в овраги, искали воду, жгли костры, устраивались на ночлег в лесу, под дубами, под буками, под яворами, под открытым небом.

Земля, проклятая земля, ты тоже умеешь гореть!

Всюду от Босанского Нового до Костайницы горели села, дым клубился над крышами, скирдами, стогами. Полыхали пожары от земли и до неба.

Выбравшись с кладбища, все еще с пулеметом на плече, Лазарь начал созывать бойцов, разбежавшихся по лесу. Он хотел собрать их и приободрить, чтоб повести в контратаку и отбить у неприятеля лагерь. Он кричал, угрожал, просил. Некоторые, услышав его, подходили к дереву, возле которого он стоял, сняв с плеча пулемет. Другие его не слышали, так как были слишком далеко, а третьи не хотели слышать: они в панике бежали, так как были уверены, что стоит им остановиться — и они тут же погибнут. Они взбирались на холмы, бросались в бочаги, карабкались по обрывам и откосам, устремляясь на восток, к Костадиновичам и Цветничу, чтобы поскорее добраться до перевала.

Наконец рота собралась. Передохнули, выпили по глотку воды, сделали переключку, подсчитали убитых, раненых и

пропавших без вести. Кто-то занюхался об обеде, но обеда не было. Лазар объяснил им, что положение тяжелое и надо снова идти в бой. И они повернули обратно к небольшому перелеску, полные решимости погибнуть или отбить лагерь. Они атаковали противника, не дожидаясь ночи, в ранних сумерках, напали из леса сразу с востока и с юга. После первого залпа и первых гранат бросились врукопашную. В ход пошли ножи и приклады.

Он видел, как пулеметчик Дакич, бежавший по тропинке, упал возле дерева. Погиб, решил Лазар, — но вдруг пулемет Дакича застрочил так громко, что треск разнесся по всему лесу. Дакич не прекращал огонь, хотя к нему со всех сторон сбегались солдаты в зеленой форме и в черных сапогах. Лазар видел их и слышал крики:

— Хватай партизана, хватай живьем!..

Они охотились за Дакичем, как несколько часов назад на кладбище охотились за ним, за Лазаром. А Дакич все строчил, да к тому же еще и задирал их, кричал, чтобы не прятались, чтоб подошли поближе. Они подходили близко, не обращая внимания на потери. Один падает, но остальные бегут. Падает другой, но остальные бегут. Третий упал, но остальные-то бегут, как прежде. Четвертый упал («этого вроде бы я уложил»), но остальные бежали. Упал и пятый, и шестой, и седьмой упал, и восьмой, и девятый, и десятый, но одиннадцатый летел вперед со штыком наготове. Дакич лежал на тропинке, у самого дерева, но его пулемет молчал. Ранен или заело что-нибудь, подумал Лазар, а может, кончилась лента. Он направил автомат на солдата, бежавшего к Дакичу. Дал короткую очередь — жалел патроны. Подумал о револьвере, о гранате («долго доставать, черт побери!»), но солдат уже подбежал к Дакичу и вонзил штык в спину, пришив его к земле.

Целые орды неслись по дороге и скатывались со склона. Они не стреляли, но вопили, угрожали, ругались:

— Хватай их живьем, держи партизан!..

— Схвати меня за...! — отозвался Лазар.

Один из наступающих, услышав его слова, закричал в ответ:

— погоди, схвачу и оторву...

Шагах в пятидесяти Лазар увидел зеленых солдат, которые, перебегая от дерева к дереву, приближались к нему. Патроны в автомате кончились, остался лишь револьвер и граната («это на случай, если меня окружат»). И снова совсем один (его ребята уже отступили), он вынужден был отходить, бросив мертвого Дакича и раненого партизана, который звал на помощь. Он понял, что контратака не удалась: враг занял

лагерь и подожог его, дым клубился над лесом. Противника не обросили и лагерь не спасли.

Посмотришь на запад — земля горит. Взглянешь на восток — парод кишмя кишит в лесах, на тропах и дорогах. С запада идет армия, а перед Лазаром на километр, на два все дороги забиты крестьянами, женщинами, детьми, телегами и скотом, ранеными и беженцами. Без каких-либо указаний, по собственной воле народ отступает в сторону Карана, Стриговы, Марин, глубже в тыл, надеясь на батальон Жарко.

Как он покажется ему на глаза? Что скажет? Поверит ли Жарко, что действительно они не смогли отразить наступление?

— Ползут со всех сторон, как муравьи, — повторил он слова Хамдин, хотя совсем недавно не мог себе этого представить. — Мы их встретим на Поште, — бормотал он, а кто-то невидимый шептал ему на ухо, что и эта попытка провалится, потому что враг сильнее, чем они. — Мы их остановим в Деветацах...

Но ничего не получилось. Они не смогли остановить врага. Горы были перекопаны снарядами, села выжжены. Особенно пострадал хуторок под горой Пошта, в нем не осталось ни одного дома.

Когда отступали к Прусцам, Лазар столкнулся с Райко. Парень выглядел как-то необычно, щеки его пылали, в руках он держал флягу.

— Командир, а я женюсь! — крикнул ему Райко.

— Что ты мелешь, дурак?

— Женюсь, говорю тебе, и поэтому вот тебе фляжка. Бер! Тут ракия. Разве можно жениться без ракии?

— Где взял?

— Чего спрашиваешь, пей... Надо еще других угостить, так и бог велит.

— Какой еще бог? Бога нет!

— Это комиссар говорит, что нет, а я комиссару не верю и не люблю его... Пей, Лазар, и будь здоров и счастлив.

— Клянусь своими ребятишками, ты уже пьян, Райко.

— Не пьян еще, но буду пьяным, потому что женюсь, а тебя, командир, зову в сваты.

— Где же твоя невеста, горе ты мое?

— Невеста здесь, в роте, только не скажу, кто она. Комиссара боюсь. А что, хорошие люди эти комиссары или у них сердца каменные? Мне кажется, каменные у них сердца, ничего не чувствуют, а только нас критикуют.

— Как же тебя не критиковать, коли так нализался?

— Еще не нализался, но налижусь как следует, потому что

женюсь. А чего не жениться, если нынче ночью, может, и погибну? Мне уже двадцать лет, а что такое баба, не знаю. Боюсь, командир, так и помру я парнем, вот и хочу жениться и хоть одну ночь проспать с женой. А красивая она, красивее иконы, клянусь своим святым.

— Нечего святым поминать, ты ведь партизан.

— Партизан, а праздник свой вспоминать буду, и в партизаны пришел не для того, чтоб его забыть. Я сюда пришел, чтобы отомстить усташам за свое ребро... Поломал мне его Муяга, проклятый... Теперь женюсь, святым своим могу поклясться, а девушка моя тут, в роте у нас... Их всего три, угадай которая...

— Анджелля?

— Не знаю...

— Может, Эмира?

— Не знаю...

— Даница, что ли, пройда ты этакий?

— Не знаю, командир, угадывай!

Райко запрокинул голову, наклонил флягу. Ракля булькала в горле, как в воронке, а командир смотрел и не сердился. Он все готов был ему простить, потому что считал этого парня одним из самых смелых в роте. Вспыльчивый, своевольный, недисциплинированный, к тому же бесшабашный и крутой по натуре, Райко, разозлившись, мог обругать, оскорбить, но Лазар ему все спускал, даже тогда, когда его приводили в лагерь связанного, как дезертира. Шальной и взбалмошный, он покидал роту, ни у кого не спросив разрешения, болтался по селам, пил, скандалил, даже грозился кого-то убить во имя партизанской справедливости, пока, наконец, не попадал в руки патруля.

— Командира вперед, — передали приказ по цепи. — Командира вперед, — переходило от бойца к бойцу.

— Кто зовет командира? Передай по цепи: кто зовет командира?

— Иван зовет!

— Командир занят, я пью с командиром. Пусть Иван подождет, а то получит по морде.

— Хватит, Райко, — сказал Лазар решительно, но не строго, а скорее мягко. — Дай сюда фляжку и не болтай лишнего, а если еще раз скажешь так о комиссаре...

Райко взглянул на него удивленно. Он перестал пить, и ракла потекла мимо рта на землю.

— Ну что, командир, теперь порядок?

— Порядок. Еще раз увижу тебя пьяного, отберу оружие и выгоню из роты, а то и жизнью поплатишься.

— Кто, я, командир?!

— Сказал: хватит! Если еще раз так скажешь о комиссаре, будешь иметь дело со мной.

— Ясно, командир. А все же послушай меня. Комиссар тут в роте приставлен за тобой присматривать, а не врага бить... Правда, вот те крест.

— Заткнись, не то отберу оружие и отправлю в штаб отряда как бузотера.

— Кто, я бузотер? Да я ведь это только тебе сказал.

— Командира вперед, — снова передавали по цепи.

— Вперед, командир, — откликнулся и Райко, подтягивая на себе ремни.

— Дядя, ты на коне поедешь?

— Нет, езжай ты.

— Смотри-ка, Новак!

— Ты откуда взялся? — Лазар даже рот открыл от удивления, увидев отца.

— Пришел воевать, — отвечал старик, постукивая палкой о землю.

— За кого воевать-то? За императора Франца?

— За Пецню, — ответил старик. — За Петара Пецню, гайдука и героя, что турок прогнал с Козары. У него, дети мои, надо учиться, как воевать, как кровь проливать...

— Да ну тебя с твоим Пецней, — фыркнул Лазар. — Что с нашими-то? Мать с тобой? А где Даринка, дети где?

— Все тут, сынок, — сказал старик. — Ушли мы из своего села, а я вот пришел к вам, давайте, мол, мне винтовку, вместе с сыном воевать буду.

— Теперь вижу, в кого ты, Лазар, уродился, — слышался у него за спиной голос Ивана. — Отцовская кровь, сразу видно.

— Ясное дело, отцовская, чья же еще? — хмыкнул старик, ковыряя палкой землю. — А вы, сынки, лучше скажите, что же это такое? Зачем же вы позволяете им села жечь? Разве не можете остановить их? Неужто дошло до того, что мне, в моих летах, за ружье браться надо? Или вы ждете, пока их бабы с топорами да кольями в реку погонят?

— Полегче, старый, — сказал Лазар, — не лезь не в свое дело. Скажи лучше, где наших оставил.

— Пошли на Грабашницю, а меня подождут в Баньцах, я им сказал, что скоро вернусь, только с вами повидаться.

— Наш дом тоже сожгли?

— Пока нет, — сказал старик.

— Я тебе дам коня до Баньцев... скорее доберешься.

— Не надо мне никакого коня. Я еще с зайцем наперегонки бежать могу, — хорохорился старик. — Ей-богу, могу... Слава святому Йовану, сколько прожил, а лекарства в рот не брал.

— Поедешь на коне, по верхней дороге до Баньцев, — приказал Лазар отцу, словно малому ребенку. — Что вы успели взять с собой, телега есть?

— Взял телегу и упряжку волов, коров и ягненка, — отвечал отец. — Захватили немного муки, картошки, гороху и сала. Я и мешок кукурузы прихватил, авось пригодится. В Благае уже палили вовсю, а я залез в амбар, схватил совок и знай сыплю кукурузу в мешок: один господь бог, говорю я себе, знает, когда мы сюда вернемся и что еще тут застанем.

— Это ты правильно сделал, папаша, а теперь давай лезь на коня.

— Ну, коли уж ты так привязался, — улыбнулся старик. — Постой, это кто ж такой? Да ведь это наш малый! Здорово, богатырь!

— Здорово, Новак! — отвечал богатырь.

— Как поживаешь, герой?

— Хорошо, — коротко отвечал герой.

— Вот так-то и я, родной мой, тринадцати лет от роду гайдуку Пеция в лес еду носил. Ей-богу, так и было... Помню как вчера: едет Пеция верхом на коне на своем вороном, усы у него тонкие и длинные, волосы русые, посмотришь — молодой да красивый, краше любой девушкы. Едет Пеция, а за ним народ — мужики, бабы, детишки, все, кто мог держать в руках винтовку или рогатину, — весь народ восстал. Видел я и Остою Корманошу, командира... Довелось увидеть и страшного Голуба Бабича, того, что командовал повстанцами у Черных Потоков...

— Ладно, старый, не мешкай, — сказал Лазар. — Нет у нас времени на пустую болтовню.

— Ты что ж, дурень, меня болтуном обзываешь?

— Да вот мальчонка наш уже уши развесил, — выкрутился Лазар. — Давай езжай... Знаю, знаю, что наш род из гайдуцкого племени, что мы родственники тому самому Голубу Бабичу с Черных Потоков...

— Истинная правда, — старику не хотелось уезжать. — Мы, сынок, из Герцеговины пришли сюда двести лет назад. А что мы за люди, суди по одному нашему предку, который первым переселился в эти места, а потом своими руками спалил родной дом. Убил турка и не стал дожидаться, пока зло-

ден до него доберутся, вот и поджег свой собственный дом, чтобы кровопийцы не радовались.

— В другой раз нам об этом расскажешь. — Лазар посадил отца в седло. — Трогай, да берегись самолетов, а меня подождите у Баньцев.

— Неужели дотуда дойдете? — совсем расстроился старик и поднял палку, словно копье.

— Давай трогай и не мешайся тут, — и Лазар подхлестнул коня.

— Будьте здоровы, сынки! — крикнул старик. — И не сдавайтесь, заклиная вас, бейте гадов... А мы будем за вас богу молиться.

Лазар взглянул на красную крышу своего дома, стоявшего на бугорке возле развесистого дуба. Дом еще не горел. Если поспеть туда с ребятами, может, и уцелеет, думал он, не отрывая взора от домика, который стоял целым и невредимым под ясным небом, в то время как другие дома уже были объаты пламенем. И Лазар невольно ускорил шаг.

— Куда ведешь нас, командир?

— Устроим засаду, — отвечал Лазар.

— В долине?

— Они нас с той стороны не ждут, — говорил, словно сам себе, командир не оборачиваясь. — Вон из того овражка удадим. Там, у кладбища...

— А если попадем в засаду? — озабоченно спросил Иван.

Лазар решил биться до последнего солдата, до последнего патрона, пустить в ход револьвер, гранату, нож. Он был готов повторить поступок Петара Кеняло, который встретил усталей на пороге своего дома: они смогли войти в дверь, только перешагнув через его труп. Усташи подожгли хату. Вместе с ней сгорел и хозяин, а по селам пошла молва о том, как Петар Кеняло защищал свой родной очаг. «Так и сделаю». Ему припомнилось детство, дождливые дни и холодные ночи. Как-то мать уложила на ночь детей под деревом, под облетевшей уже дикой яблонькой, потому что дома у них еще не было и спали они под открытым небом. Только они задремали, как хлынул дождь, одеяла промокли, дети проснулись, и маленький Лазар заплакал. Напрасно мать гладила его по головке и утешала: до самого рассвета он не мог уснуть. Потом возле этой самой яблоньки построили дом. Тесали лес для балок, перекладывали и стропил, копали землю, таскали камни, подвозили черепицу. Дом получился хороший, восемь на двенадцать, да наверху, под крышей, комнатка, у входа веранда, окна на две стороны с двойными рамами. В этот дом он и жену привел.

В этом доме его жена, Даринка, родила ему десять детей. Вот он совсем близко, на холме.

Нет, он не даст сжечь свой дом. Лазар хотел опередить поджигателей, поскорее добраться до кладбища, где лежали его старший брат и дед Бошко, что ходил вместе со славным Пецней в гайдуках. Пламя и дым пробивались из-под крыши, стлались над деревьями, над стогами и скирдами. Он шел, задыхаясь, небритый, голодный. Страшно хотелось пить, хотелось упасть на траву и заснуть. Он знал, что у бойцов его решение если не вызвало прямого отпора, то, во всяком случае, не встретило и одобрения, и все-таки продолжал спускаться в долину по узенькой тропинке, перебегая от дерева к дереву и прячась среди кустов. Роща скрывала их от врага.

К своей усадьбе он бежал прыжками, уже не пригибаясь, огромный и прямой, с автоматом в руках.

Двор был пуст. Ни собаки, ни кошки, ни овечьего колокольчика. Дверь дома заперта. Пусто, глухо и одиноко. Повертел ручку двери — безуспешно. Дверь не поддавалась. Потом вздохнул, с тоской осмотрелся по сторонам и вдруг заметил своего старого, облившегося петуха. Тот насторожился, высоко задрал голову с пунцовым гребешком и выжидаяще, колюче уставился на хозяина, полураскинув крылья. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Лазар позвал его, петух вытянул шею, заморгал. Лазар пошел ему навстречу, но петух встрепетнулся и отскочил, замахав крыльями. Встреча с курпным предводителем его глубоко взволновала, словно родного человека увидел.

— Без моей команды не стрелять, — сказал он, направляясь к кладбищу.

Деревянные и каменные кресты, украшенные лилиями, полотенцами, завядшими цветами, сморщившимися яблоками и догоревшими свечами с капельками воска, торчали среди кустиков земляники и зарослей ежевики и кротеуса. Посреди кладбища стоял корявый столетний дуб, а вокруг, пробиваясь сквозь дерн, торчали его узловатые корни.

Под этим дубом похоронены мои умершие дети, вон там дед Бошко, а дальше, под дикой грушей, брат, которого я даже не помню. Мать мне рассказывала о нем, я несколько раз ходил на его могилку, и всегда мне было грустно и как-то не по себе. Стоял над этим холмиком и никак не мог поверить, что здесь под землей лежит человек, которого родила та же самая женщина, что и меня. Обо всем этом думал Лазар, пока бойцы располагались среди кустарника.

Послышались выстрелы. Наступающие подходили все ближе. Сегодня не рвались снаряды, как накануне, когда Лазар

отбивался от противника на кладбище над перелеском. Плот-по сомкнутая вражеская колонна спускалась по склону в нескольких сотнях метров от них. Шагов на пятьдесят впереди нее двигался дозор — солдаты в зеленых униформах. Они шли свободно, какой-то разболтанной походкой, с винтовками на плече, что-то кричали и размахивали руками. Они не стреляли, но откуда-то сзади по холму и по кладбищу бил пулемет.

Он ждал, лежа за могильным холмом, не отрывая глаз от прицела. Справа беспокойно вертелся малый, слева залег Райко. Как всегда перед боем, они были с ним рядом. Лазар велел им приготовиться и тут заметил в руках у солдат пылающие головешки, похожие на факелы. Они несут их, чтобы поджечь его дом. «Не подожжете», — хотел он закричать, но его перебил треск собственного автомата. От отдачи затрясло плечи.

— Огонь!.. Беглый огонь!..

Малый и Райко ловко управлялись с оружием и что-то кричали друг другу. Лазар видел, как солдаты с головешками в руках ворвались в его двор и остановились у дверей дома. Петух пустился наутек. Один из солдат увидел его и бросился вдогонку. Петух заклокотал. Солдаты стучали в дверь.

— А ну, садани по ним, Райко!..

— Сейчас прикончу вашего Анте Павелича! — закричал Райко. Малый тоже что-то орал как одержимый.

Один солдат упал, споткнулся и другой, сделал несколько шагов и свалился возле самой двери, а третий перескочил через ограду и побежал по огороду, налетая на кукурузу и путаясь в ползучих стеблях тыквы. Но Лазар заметил его, уперся локтем в могильный холмик, чтоб не дрожала рука, хорошенько прицелился и выстрелил. Солдат распластался на земле, словно приколотый. Так он и остался лежать, точно сброшенный с воза мешок.

Но колонна уже миновала склон и наступала плотным строем. Ее прикрывал густой пулеметный, орудейный и минометный огонь. Снаряды перепархивали кладбище.

На мгновение перед ним возник мертвый Петар Кеняло.

— Бей, Лазар, бей, не давай им подойти, если они войдут во двор — пропал твой дом! — будто бы кричал ему Петар Кеняло из какого-то тумана.

Он стрелял, отдавал распоряжения. Горы вокруг сотрясались и гремели. Земля взлетала вверх, падали ветки, осыпались листья. Ветер доносил запах гари и дыма. Дома были охвачены пламенем. Пожар бушевал в селе и двигался к вос-

току, точно обозначая место, куда уже добрались солдаты с головнями.

— Дядя, бежим! — кричал ему малый. — Окружат нас и похватают живьем. Надо отступать...

— Бей, сынок, бей! — чудились ему голоса из могил.

— Я умер на пороге своего дома, сторел вместе с ним, но не отступил, — Лазару мерещилось бледное лицо Петара Кеняло.

Он не послушался. Поднялся и приказал отступать.

Дом вспыхнул. Над крышей взметнулись черные столбы дыма и устремились вверх, к облакам.

6

Лазар отдал приказание, а сам с Иваном и с пестовым направился в долину, где скопились беженцы. Казалось, весь лес пылал: повсюду горели костры, и вокруг них толпились мужчины, женщины, дети. Над огнем висели котелки с молоком, кашей, похлебкой или картошкой. Возле одного костра крестьянин поворачивал на вертеле целую овцу, а люди, сидевшие вокруг на корточках, внимательно следили за его работой. Какой-то дед курил трубку, старательно отгоняя дым. Лазар узнал его.

— Здорово, старик! — крикнул он. — И ты здесь? А где остальные?

— Да тут, со мной, вон под деревьями...

— Чья же это овца?

— Моя, — ответил крестьянин, орудовавший вертелом. — Каждый день теперь буду резать по одной — кто знает, что нас ждет... А все лучше самому съесть, чем усташу оставлять.

— Скоро будет готова?

— Скоро, только вот соли нету.

— Сойдет и без соли, — сказал Лазар. — А это уж не моя ли старушка? Симеуна, как ты тут жива-здоровая?

— Симеуна, вот и сына дождалась...

— Дара, наш Лазар пришел! — уже кричала Симеуна. — Ребятки, это же ваш папа... А пу, бегом к папе, бесстыжие!

Все окружили Лазара, детишки висли у него на шее и на руках. Даринка в смущении остановилась поодаль, дети обнимали его, мать плакала.

— А что это я Джюраджа не вижу? — он ласкал младшего сына и оглядывался по сторонам. — Он с вами?

— Тут, куда ему деться, — улыбнулся Новак. — Объялся

жирной бараниной без хлеба и телерь то и дело в кусты бе-
гает.

— Вон он, вон Джюрадж...

— Здорово, — сказал Лазар.

— Здорово, Лазар, — ответил Джюрадж, подтягивая
штаны.

— Не приключись с тобой такая беда, взял бы я тебя в
свою роту, — смеялся Лазар. — Мне нужно тридцать чело-
век, но засранцев я не беру.

— Пускай идут, кто помоложе, — сказал Джюрадж. —
Я уж потаскал свой карабин и у Шоши в отряде. Даринка
знает: угощала нас как-то вместе с Шошей.

— А быстро ты что-то от Шоши улизнул, — усмехнулся
Лазар.

— Это правда, но карабин мой остался в отряде, — отве-
чал Джюрадж. — Пусть с винтовками молодежь управляется,
а с меня хватит, мне уж скоро пятьдесят стукнет.

— К пятидесяти подходит, а бабам покоя не дает, — вор-
чала Симеуна. — Никак не спидится ему дома, мой Лазо, пова-
дился к вдовушкам.

— И им, мамая, кто-то помочь должен, — ухмыльнулся
Джюрадж, его зубы сверкнули в свете костра. — Не обойтись
бедным женщинам без мужской подмоги. Это самое что ни
на есть божеское дело — подсобить им...

— Да ты им горазд подсобить, только не там, где падо.

— Ну что с овцой-то, долго еще ждать?

— Да если ты голодный, так ведь и у нас мяса хватает, —
сказал Джюрадж. — Только вот соли нет.

— Можно и без соли. Давай побыстрей.

— А ты, малый, хоть мать-то свою видел? — спросила Си-
меуна. — Вон она там на берегу, под буком...

— Тетя! — попросил мальчуган, когда Даринка принесла
мясо. — Пойдем со мной, покажи, где мама.

— Мяса хочешь? Малый, а малый?

Он уже ничего не слышал и не отвечал, а бежал за Дарин-
кой, которая показывала ему дорогу.

— Сколько у вас тут мужиков? — спрашивал между тем
Лазар.

— Таких, что могут воевать, — добавил Иван.

— Да нас здесь тысячи две-три будет, — почесываясь, ска-
зал Джюрадж. — Так, что ли, старик?

— Эк хватил! Ты хоть знаешь, что такое две-три тысячи?
Это, брат, столько, как собирается в ильин день к церкви, на
Брезицах.

— Ну уж тысяча-то есть, это точно.

- С тысячу будет, — подтвердил старик.
- А сколько мы сможем набрать для отряда?
- Да это не так просто сказать, — старик шмыгнул носом, глядя в огонь. — Считай, каждый седьмой — солдат.
- Сотню запросто возьмете, — сказал Джюрадж.
- Сотню, — обрадовался Лазар. — А мне надо тридцать. — Потом повернулся к Джюраджу: — Мы тут пока поужинаем, а ты поди объяви народу, что мне нужно тридцать добровольцев. Сразу же получают и винтовки и боеприпасы.
- В роте, — уточнил Иван.
- В роте, — подтвердил Лазар. Он взял хлеб, разломил его, поделившись с Иваном, начал есть, стараясь откусывать больше хлеба, чем мяса. Он радовался, что, несмотря на большие потери, рота предстанет перед Жарко в полном боевом составе.
- Где ты там, Лазар, чтоб тебе света не видеть?
- Откуда ты взялась, Лепосава?
- Оттуда же, откуда и ты, черт возьми. Ну, уж пынчо ночью тебе от меня не увернуться.
- Тише, Лепосава, Дарипка услышит.
- А пускай слышит, — смеялась Лепосава. — Когда же, сокол ты мой, мы, наконец, одни-то побудем?
- Молчи, разрази тебя гром!
- Лазар, милый, жизнь проходит, а я одна-одинешенька...
- Пойдешь ко мне в роту?
- Пойду, вот те крест. Дашь мне винтовку, отомщу за сына. Ты мне дашь винтовку?
- Лучше всего та винтовка, которая взята у врага.
- Да пеужели вы все их сами добывали? — обиделась Лепосава. — Могу поклясться, большинство просто получили винтовки в роте. Вот и мне дайте.
- Ладно, Лепосава. — Лазар старался в темноте рассмотреть жепцину. Нет ей равной, думал он, припоминая минуты, проведенные с ней в роще, на траве, когда одно только солнце тайком подсматривало за ними из-за горы.
- Убили моего сыночка, чума их возьми, — продолжала Лепосава. — Чтoб весь род их зачах. Если заберете кого в плен, лучше мне не показывайте — топором изрублю на кусочки. Изрублю, клянусь богом, пусть все знают об этом.
- Вечер добрый, — сказал кто-то в темноте.
- Здравствуй, Лазар!
- Здорово, командир!
- Это подходили добровольцы. Народ решительный, веселый. Отблески огня освещали улыбающиеся лица, от костра пада-

ли косые тени, и люди казались выше ростом и шире в плечах. Они походили на богатырей из народных преданий.

Лазар здоровался с ними, заглядывал им в глаза — карие, зеленые, смотрел на их руки, огрубевшие от постоянного труда: от пахоты, косьбы, рубки леса...

Он был уверен, что новобранцы будут сражаться не хуже тех, кого он потерял в бою. Они на себе испытали жестокость врага и не останутся в долгу, стоит им получить оружие. Он представлял себе, как они ринутся в атаку, обгоняя друг друга.

— Здравствуй, Лазар, — пропел женский голосок.

— Здравствуй, Стана. Ну как ты тут? Нашел тебя этот мошенник?

— Лазар, дорогой, — продолжала женщина, — я пришла попросить тебя, уж ты присмотри за ним. Молодой еще, несмышленный, не сносить ему головы.

— Слышишь, пацан? — улыбнулся Лазар.

— А ты меня не оскорбляй, пожалуйста, товарищ, — обратился паренек к матери. — Что ж я, дурак, по-твоему? Рот-пый связной — и вдруг дурак, несмышленный? Ты зря не наговаривай, если тебе жизнь дорога.

— Ну вот, — продолжала Стана. — Разве не дурень? Погибнет он, Лазар, святым богом клянусь, погибнет, если ты за ним не присмотришь.

Но Лазар ее уже не слушал. Он здоровался с прибывающими людьми, те окружали его, смешиваясь с пришедшими ранее, пламя освещало их темноволосые головы.

— Товарищи! — начал он так, словно от его слов зависела судьба Козары. — Мне нужно тридцать добровольцев. Кто согласен идти в мою роту, поднимите руку. Один, два... пять... десять...

— Меня пропустил, Лазар.

— Не сбивай, парень.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать... Мужики, а вы знаете, куда идете? Идете в огонь, на вражеские бункеры... Тебя не возьму, ты небритый...

— Да я сбрею бороду. Возьми меня, Лазар, замучился я тут с бабами.

— С бабами-то легче, чем с устахами... Восемнадцать, девятнадцать... И ты небритый, елки-палки? Будешь двадцатым, но сегодня же ночью, пока не рассвело, соскобли эту шерсть, мы не четники... Двадцать один, двадцать два... Тебя не возьму, мал еще. Есть уже один такой шалопай, хватит... Двадцать пять, двадцать семь... Я сказал тебе — мал, уйди, не мешайся, мне мужики нужны! А ты откуда будешь, дружок?

— Из Грабашницы, — отвечал дружок.

— А как тебя зовут, дружок?
— Стойнич, — отвечал дружок.
— Кем тебе приходится Перо Стойнич?
— Который Перо, Гаврин, что ли?
— Да тот, что из Пролетарского батальона.
— Он мне двоюродный брат.
— Если ты в него, будешь хороший боец. Вставай в строй... Двадцать девять, тридцать... Все, хватит. Нельзя, больше принять не могу. Нет оружия... Все, все...

— Давайте-ка прикончим эту овцу, — сказал крестьянин, возившийся с вертелом. — А ну, ребята, налетай, — он поднял овцу и, сняв ее с огня, пристроил на двух пеньках. — Ешьте, сынки... утощайтесь. Так и сам гайдук Пеция угощал своих богатырей, — приговаривал Новак, поглаживая усы.

— Петь умеете? — спрашивал Лазар у парней, которым передавал куски баранины. — Кто умеет петь?

Вышел вперед паренек из Стриговы, назвался Тубичем.

— Кто тебе будет Бранко Тубич, который с Ратко разоружил бронепоезд?

— Он мне родня. Он и Младен...

— Знаю, — сказал Лазар, — он ушел вместе с Младсом и Симою Ивановичем, а Симу потом четники... А что с Бранко, не слышал?

— Не слышал.

— Кто знает, жив ли он, — вздохнул Лазар. — Чтоб им пусто было, этим четникам... Ну, двигаем, что ли? Будь здоров, старик... Ребятишки, давайте прощаться.

Он поцеловался с матерью, но отца и жену целовать не стал. С отцом он целовался только на рождество, как положено, по обычаю, а с женой не посмел — уж слишком много было свидетелей. Он только протянул ей руку, которую она крепко сжала, потупясь и, вероятно, скрывая слезы. Он долго не отпускал младшего сына, Новака, названного в честь деда; Лазар подбрасывал его вверх, сонный малыш только жмурился и вздрагивал. Потом Лазар повернулся и исчез так же стремительно, как и появился.

Он ушел, а родные и крестьяне долго смотрели в темноту леса. Многие, подняв глаза к небу, молились, чтоб бог послал ему удачу. Иные шли следом, потом останавливались и вглядывались во мрак, а затем возвращались к своим кострам, телегам, волам и коровам или к шалашам, наскоро сделанным из веток.

Ему казалось, что он слышит голос матери, чувствовал, как она крестит его и шепчет молитвы. Она всегда так провожала его, потому что знала — он идет туда, откуда многие не воз-

вращаются. Он и в самом деле слышал ее молитвы и ее плач. но не оборачивался и не останавливался, а шел за добровольцами, за будущими своими солдатами, и в отблесках то и дело попадавшихся костров видел их залатанные куртки, черные деревенские плащи, мохнатые кожухи и рубашки. Мычали во-лы, ржали кони, блеяли овцы, хрюкали свиньи, лаяли собаки, а он шел, уставший, но довольный, потому что его рота снова была в полном составе.

Со спокойной совестью он может рапортовать теперь Жарко, командиру батальона.

— Восемь убитых и двадцать два раненых. В моей роте двести двадцать солдат, один станковый и двенадцать ручных пулеметов.

— Каким образом сохранил численность отряда?

— Да вот так, товарищ командир, сохранил.

— Ты многих потерял. Не мог уберечь людей? — спрашивает Жарко, он весь осунулся, у рта залегли морщины.

— Не мог, товарищ командир, — говорит Лазар. — Хорошо еще, что так отделались. Но мы их здорово поколошматили...

— Пленные есть?

— Нет, разрази их гром, усташей проклятых.

— Почему думаешь, что это усташь?

— По разговору. Кричат, и все понятно.

— А немцы были?

— Не видел. Одеты как немцы, но говорят по-нашему. Это усташь и черный легион.

— Как им удалось поджечь ваш лагерь?

— Да вот так и удалось, — вздохнул Лазар. — Не смогли мы его отстоять. А бились целый день.

— Почему же вы не взяли ни одного «языка»?

— Они отлично дрались, как никогда. Одни падают, а другие продолжают наступать, да еще ругаются и норовят схватиться врукопашную.

— А из твоих кто-нибудь сбежал?

— Из роты? Никто. Правда, отступили, когда стало совсем жарко. Чуть не остались без станкового пулемета.

— Паникеров наказал?

— А кого наказывать? — удивленно спрашивает Лазар. — Если уж наказывать, так надо половину роты, да, по правде говоря, и меня самого. Я тоже драпанул, чтобы пулемет спасти.

— Ладно, ладно, — говорит Жарко хриплым голосом. — Как раз вовремя пришли. Здесь и остальные роты, кроме той, что за Саной. Мы должны удержать эту линию во что бы то

ни стало. Будем защищать Домбраву, Постирево и лагерь в Каране. Вы ужинали?

— Ужинали, товарищ командир. Ели баранину без соли да хлеб.

— Где у вас раненые?

— Отправили в лазарет.

— Сколько тяжелораненых?

— Позвать Эмиру или Анджелию?

— Разве Анджелия с вами? — удивился Жарко. — Он поправил поленья в костре, возле которого сидел. Целый столб искр взметнулся вверх и осветил его продолговатое озабоченное лицо.

— Со вчерашнего дня у нас, — ответил Лазар, расправляя плечи. — Она сама пришла в роту и сказала, что не уйдет, пока нам не станет полегче.

— Берегите ее, — сказал Жарко, — она вечно лезет на рожон, везде хочет быть первой. В Приедоре получила пулю в горло, чудом уцелела. Когда же это у нее успела рана-то зарости?

— А она о ней и не вспоминает, — сказал Лазар, обрадованный тем, что Анджелия выбрала именно его роту.

— Позовите ко мне Анджелию, — сказал Жарко. — Я командир батальона, а она командует...

— Чем командует? — недоверчиво переспросил Лазар.

— Ты знаешь, что такое СКМЮ? *

— Не знаю, — признался Лазар. — Может, это та самая диктатура пролетариата? — спросил он, припоминая апрельские курсы, на которых один товарищ из Словении задал ему вопрос о диктатуре пролетариата.

— СКМЮ — это сила, — сказал Жарко, — и Анджелия управляет этой силой.

— СКМЮ? — еще раз переспросил Лазар.

— Иди передохни, — улыбнулся Жарко. — А куда ты свою шапку девал?

Он поднес руку к кепке, которую напялил на голову вместо потерянной в бою меховой шапки. Не посмел признаться Жарко, что потерял шапку во время отступления. Лазар подбежал к дереву, отвязал коня, вскочил на него и поскакал.

Первый и основной вопрос, который надлежит разрешить, состоит в следующем: являются ли хорваты совершенно независимым ростком или же они и славяне происходят от одного корня? На этот вопрос наука может

* Союз коммунистической молодежи Югославии.

дать абсолютно точный ответ: хорваты и славяне не имеют общего корня.

Это подтверждается историческими источниками, которые до сих пор умышленно замалчивались и которые со всей очевидностью доказывают, что хорваты не имеют ничего общего с древними славянами.

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ

По свидетельству Прокопия, древние славяне «живут разбеденно в грязных хибарках и очень часто меняют свое место жительства». Бездонные топкие болота вокруг Припяти не представляли достаточно надежной защиты от внезапных нападений и набегов: зимой кочевники на своих быстрых конях могли по скованным льдом рекам проникать глубоко внутрь страны, а летом пираты, воспользовавшись водными путями, достигали почти самых речных истоков. Защищаться было бесполезно. Это сделало древних славян одновременно смелыми и осторожными, подобно зверям лесным. Если на них внезапно нападали, то летом они отсиживались в дремучих лесах или, как лягушки, прыгали в воду, а зимой прятались за своими частоколами. По свидетельству Прокопия, они сражались без доспехов, имея в руках небольшие щиты и копьа. На некоторых не было даже плаща или накидки, одна лишь набедренная повязка. Но и это жалкое снаряжение не является чисто славянским: вероятно, они позаимствовали его у одного из германских народов, скорее всего у воинственных герулов, которые были оснащены подобным же образом. Они жили в труднодоступных местах, как говорит Маврикий, в лесах и по берегам рек и озер, и закапывали в землю все, кроме самого необходимого, а в своих жилищах устраивали несколько выходов на случай нападения врагов. При внезапном появлении врага они ныряли в воду и, лежа на спине на самом дне, дышали через тростник. Таким образом им удавалось избежать гибели, ибо не умудренные опытом враги принимали этот тростник за натуральный, зато те, что были покусней, сразу узнавали его по срезу и пронзали укрывшегося на дне его же тростником словно копьем, или выдергивали тростник из воды, так что человек вынужден был всплывать наверх, если не хотел захлебнуться...

ХОРВАТЫ И СЛАВЯНЕ

Хорватский народ имеет свое собственное имя, под которым он появился в исторических памятниках полторы тысячи лет тому назад. Это имя иранского происхождения, ибо «хорват» по-ирански значит «друг». На надгробных памятниках в Азове мы находим его в виде Ногоаth и Ногоvath. На Кавказе одно из лезгинских племен называлось хвартц, а греки с давних времен называют нас хробаток. В Словакии наши предки были известны под именем Charwati.

Из надписей персидского царя Дария (522—486 гг. до рождения Христова) мы узнаем, что среди первых завоеванных им народов был народ харахватиша. Следовательно, от пятого века до нашей эры и до третьего века нашей эры мы встречаем имя «хорват» на территории, которая не имела никакого отношения к славянам. Харахватиш Дария и Арахозия (Хорватия) Исидора находилась на самой границе персидской, а потом и александровой империи, следовательно, в месте скрещения трех культур: персидской, эллинистической и индийской...

И если до сих пор мы совершенно ошибочно полагали, будто хорваты, отпочковавшись от славян, пришли в эти края и создали собственное государство, ныне на основании исторических источников, которые ранее игнорировались, доказано, что хорваты, свободный и воинственный народ, пришли с Кавказа и в бассейне Вислы за несколько столетий до переселения на свою теперешнюю территорию образовали могущественное государство Белую Хорватию. Смуты и брожения, распространившиеся по всей Европе, заставили этот народ, деятельный и воинственный, переселяться дальше на юг. Так ими были освоены земли, заселенные тогда славянами, которых хорваты ассимилировали, передав им свое имя, сообщив свой общественный строй и духовный склад. От славян же они переняли язык и некоторые обычаи. По сути дела, хорваты явились той закваской, из которой развилось в массах покоренных славян их основное качество: стремление к свободе и идея собственной государственности. Хорваты не растворились в них, но, являясь высшей расой, призванной господствовать, сделали этих славян хорватами.

Из сказанного совершенно очевидно, что славяне и хорваты в седьмом веке представляли собою два совершенно различных мира. Превосходство было на стороне хорватов. Хорваты во всем превосходили славян. Хорва-

ты — это господствующий элемент среди славян, говорит и Багрянородский. Но от прежней Хорватии не осталось и следа уже в девятом столетии. Древнюю Хорватию захлестнула славянская стихия.

ХОРВАТЫ НА БАЛКАНАХ

Что происходило в этих краях в течение последующих трехсот лет, точно неизвестно. Хорватские племена испытывали натиск римско-византийских и франкских народов и сплачивались в более крупные племенные объединения.

Отряды франков во главе с Карлом Великим проникают в наши земли в девятом столетии. Им оказывает сопротивление Людевит Посавский, который привлек на свою сторону даже племя тимочан на востоке и частично словенцев на западе. В девятом веке мы боремся также с болгарами, которые воюют против франков, желая возвратить Срем. Болгарско-хорватская граница проходила в междуречье Босны и Савы...

Древним хорватам, вышедшим к Адриатическому морю, полюбили его берега. Здесь им открывались широкие горизонты, здесь крепло народное самосознание, и поэтому именно здесь родилось Хорватское Королевство. Томислав зажег факел народного единства и впервые объединил под своей короной все хорватские земли. В 925 году, когда Томислав короновался на Дуваньском поле, имя хорватов стало широко известно в Европе, а территория Хорватии была больше, чем нынешние Албания, Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Ирландия, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Швеция или Сербия. Но после многочисленных набегов турецких орд и вызванных ими опустошений от древнего хорватского государства сохранился только город Загреб, на реке Саве, с окрестностями (*Reliquias illius regni in clitis croatae*), остатки остатков Хорватии.

Жива и память об исторической преемственности хорватской территории, которая простирается от рек Дравы и Муры на северо-западе до реки Дрины и синего Адриатического моря на юго-востоке. Босния всегда была хорватской. Наша восточная граница проходит по Дрине. Усташское движение, кроме всего прочего, преследует цель возвратить хорватам все исторически принадлежащие им земли. Босния должна быть хорватской.

(Из дневника полковника Франчевича)

Фра-Августин спешит за наступающими частями с отрядом в тридцать человек. Среди них и Муяга Мавочник. Он тяжело дышит, глаза воспалены.

— Это все вокруг мое, святой отец, — Муяга показывает на леса и нивы. — Мой отец был здешним бегом. Все это его.

— Сколько же у него было сел?

— Целых два уезда. От Нового до Дубицы все села были его.

— А от чего он умер?

— От ножевой раны, — сказал Муяга и потупился. — Стыдно вспомнить, — Муяга вытер пот со лба. — Заманила его к себе в постель одна сербская шлюха, а после ножом отрезала это самое, знаете...

— Не в постели же она на него напала? — ухмыляясь, спрашивает фра-Августин, и в глазах его вспыхивают зеленые огоньки. — Что, прямо в постели?

— Ну да, — вздыхает Муяга. — Заманила в постель и полоснула внизу, ниже пояса... От этого он и умер.

— А ты уверен, что он от этого умер?

— Конечно, от этого, — говорит Муяга. — День ото дня слабел и слабел, пока, наконец, совсем не зачах.

Припекло солнце, полегла трава. На востоке грохочут орудия.

— Я поклялся именем аллаха, что отомщу за него, еще до войны, — продолжал Муяга. — Вот посмотрите! Да потрогайте, не бойтесь.

— Это что, шрам?

— Да, — говорит Муяга, почесывая голову. — Был один тут, Бабич, мерзавец, вдарил мне палкой по башке, но зато я отправил этого борова на тот свет. Ей-богу, на месте уложил...

— А сколько отсидел?

— Два года, — говорит Муяга. — Просидел бы больше, да меня свидетели спасли, сказали, что этот хряк первый полез.

— А сколько народу вы перебили в Баичевых ямах?

— Кто его знает? — отмахнулся Муяга. — Никогда не считал, клянусь аллахом, да и считать не собираюсь. Пока винтовка в руках, буду бить всех подряд, если это, конечно, православные.

— Так и надо, — одобряет фра-Августин. — А что думаешь о нас? О Михайле?

— Влах всегда останется свиньей, перемени он хоть сотню вер. Я их хорошо знаю. Все они скоты и злодеи, и дай им волю, они с радостью порубят нам головы и наденут их на колья.

— Но он же перешел в нашу веру.

— Знаю, отец святой, но душа его осталась прежней.

— Он принял католичество, клятву принес и надел устапскую форму.

— Все это выведенного яйца не стоит, — отрезал Муяга. — Тот, кого свинья опоросила, навеки свиньей останется, до могилы...

— Михайло наш, — говорит ффра-Августин и вспоминает тот день, когда он обратил в католики первую партию православных, среди которых были учитель Татомир и лесник Михайло. Оба они пошли на это, чтобы не потерять службу и сохранить жизнь. Он вспомнил, как Михайло поцеловал его руку и приложился к кресту, заявив перед свидетелями, что «по собственной воле переходит в католичество, ибо верит, что только под защитой католической церкви можно обрести бессмертие души, и поэтому просит принять его в лоно вечной и несокрушимой католической церкви». Ффра-Августин продолжает твердить, что Михайло вполне свой человек, то есть истинный католик, а сам ждет от Муяги новых доказательств: ему хочется еще раз услышать, что серб и бывший православный не может быть своим, то есть настоящим католиком и устапом, хоть он и переменял веру, носит устапскую форму и уже несколько месяцев преданно им служит.

— Я говорю вам, отец, при первом же случае эта свинья нас предаст, — Муяга оглядывается. — Может, он уже сбежал.

— Не сбежал и не сбежит, — потирает руки ффра-Августин. — Я его уже испытывал, и он отлично себя показал.

— Подумаешь, поджег несколько домов! Да это не помещает ему всадить нам нож в спину, как только представится возможность. Я, клянусь верой, ни за что не принимал бы их к нам, а всех без разбору уничтожал, чтобы полностью очистить от гадов эту землю, и она бы навсегда стала наша.

— Тише, вот он, — шепчет ффра-Августин, глядя на приближающегося к ним человека. — Как дела, Михайло?

— Хорошо, — отвечает тот, подтягивая ослабший ремень.

— Знаешь это село?

— Да, — говорит Михайло. — Я тут знаю каждый дом и всех, кто здесь живет.

— Сколько их в партизанах?

— Да все в партизанах, — отвечает Михайло. — Из каж-

дого дома хоть один непременно в отряде, а остальные им во всем помогают, носят еду.

— А чей это дом на откосе?

— Стевана Мачака.

— А вот тот, возле леса?

— В том Шоша скрывался, — говорит Михайло. — Приехал он сюда еще до восстания с Ивицей Марушичем. Они прятали его и кормили, пекли лепешки, носили сыр и молоко, поили ракией, устроили ему постель из папоротника и соломы, а знай они тогда, что он хорват, может быть, еще и прирезали бы... Я видел его, когда обходил лес. Иду как-то вниз по склону, а под дубом в папоротнике сидят люди. Я признал тогда Гойко Шурлана из Деветков, Младжу Граонича из Раковаца, Лазу Десницу из Сводни. Все они были шахтерами в Лешлянах. Четвертый был Ивица Марушич, а пятый Шоша. Этих двух я раньше не встречал.

— Кто же тебе сказал их имена?

— Женщины, которые им еду носили.

— А как настоящее имя этого Шоши?

— Йосип Мажар, — говорит Михайло. — Он из Баня Луки, а Ивица из Загреба.

— Сколько Шоше лет? Как он выглядит?

— Молодой, тридцати даже нет, еще не женатый. Сам высокий, худой и смуглый, немного сутулится, нос с горбинкой; а брови черные. Ходит в кожаной куртке и в шахтерской кепке. Неразговорчивый, все о чем-то думает, шуток не любит.

— А ты с ним разговаривал?

— Да. Он спросил, много ли солдат в Босанском Новом и пришли ли немцы.

— Если мы его схватим, сможешь опознать?

— А как же? — говорит Михайло. — Я узнал бы его и среди сотни пленных.

— Как он вооружен?

— Винтовку с собой не носит, только револьвер и гранаты. Так он и Лешляны атаковал: с гранатами и револьвером. Тогда под его командой было двенадцать штыков.

— А сколько усташей в ту ночь убили?

— Точно не знаю. Около тридцати.

— И ты участвовал в нападении на Лешляны? — спросил Муяга.

— Да, — отвечал Михайло. — Пришлось идти, все село пошло. Если бы я отказался, убил бы меня Лазар Бабич, как убил учителя.

— А как усташа воевали?

— Хорошо. Убили с десяток Шошиных помощничков, которые шли с топорами да рогатинами. А потом партизаны загнали их в дома, но они не сдались. Тогда шахтеры догадались принести ящики с динамитом, которым взрывают уголь в рудниках: подложили их под здания, дома и взлетели в воздух вместе с усташами.

— А ты смотрел да, поди-ка, радовался? Любо тебе было, что подорвали усташей? — со злорадством выпытывал Муяга.

— Побойся бога... К чему же мне было радоваться? Вот и святой отец скажет, что я за человек. Он знает...

— Михайло наш и душой и телом, — пробормотал святой отец. Он не смотрел на своих собеседников, а разглядывал белую хату под красной крышей, стоявшую на склоне горы. Там скрывался Шоша. Там его прятали, кормили, заботились о нем. Этот дом надо уничтожить.

— Михайло, ты слышишь стрельбу? За каждую пулю, посланную в нас, мы сожжем по одному дому и снесем по голове. Иначе их не усмирить. Ты готов к этому, Михайло?

— Я сделаю все, что вы прикажете, — сказал Михайло. Кровь отхлынула у него с лица, и щеки стали белыми. Настало время, когда человеческую голову стали ценить меньше тыквы, вздохнул про себя Михайло и отвел взгляд.

— А твой дом далеко отсюда?

— Мой дом? — удивился Михайло. — Нет у меня больше дома. Сожгли его.

— Когда?

— После восстания. Его сожгли усташи, не знали, что он мой, да и не спрашивали чей. И мать мою схватили, только ей удалось вырваться, все ноги разбила в кровь, пока пробиралась по этим кручам, а дядю Драгана убили прямо на пороге дома...

— Он был предатель?

— Да нет. Вышел встречать солдат и заговорил с ними по-немецки, потому что во время первой войны служил в австрийской армии и воевал в Галиции и на Карпатах. По-немецки говорил хорошо, но и его убили.

— Жалко небось тебе дядю-то?

— Что поделаешь, — говорит Михайло. — Значит, уж так ему на роду написано.

— А тебе что написано? — пристает к юноше Муяга, прямо поедом его ест.

— Я почему знаю? — отвечает Михайло.

— Побожись, Михайло, и скажи по правде — предашь ты нас, если партизаны тебе все простят и пообещают награду?

— Побойся бога! Как я могу предать людей, которые меня так хорошо приняли и спасли от смерти? Партизаны меня уже приговорили за то, что я переменял веру, и только и ждут случая, чтобы со мной рассчитаться, как рассчитались они с учителем Татомиром за то, что он в католики подался. Его самолично убил Лазар Бабич, он и за мной охотился, спрашивал у матери, где я, предателем называл. Даже грозил прирезать меня, мать прибежала в лес, разыскала нас и все это мне рассказала, а потом сама велела перейти к устахам. Разве я могу вас предать?

— Не предашь, — говорит ффра-Августин. — Но ты должен ежедневно и ежечасно доказывать, что наш и только наш, потому что всегда найдутся люди, которые будут сомневаться в тебе, и их сомнения вполне можно оправдать. Ты ведь раньше исповедовал православную веру, а мы не можем доверять представителям грекоправославной церкви. Поэтому не удивляйся, если люди будут приставать к тебе с вопросами, даже если станут придираться и оскорблять, если обидят тебя, ибо многие сомневаются в истинности твоих католических и усташских убеждений. Что касается меня, пусть это слышит и Муяга — я абсолютно уверен, что в этом отряде нет лучшего усташа, чем Михайло.

— Для меня без усташей жизни нет, — говорит Михайло.

— Посмотрим на тебя сегодня в деле, — цедит Муяга.

— Посмотрим, — говорит и ффра-Августин, — сегодня во время наступления Михайло потягается с Асимом Рассыльным и Мате Разносчиком. Ты согласен потягаться с ними, Михайло?

— Согласен, — говорит Михайло.

— С ними плевое дело, — говорит Муяга. — Асим слаб, а Мате калека. Ежели ты и взаправду усташ, попробуй потягаться со мной: ей-богу, нет руки, чтоб умела быстрее жечь и верней бить. Таков уж Муяга.

— Это всем известно, — улыбается ффра-Августин. — А вот и Асим. За отечество, Асим!

— Всегда готовы! — восклицает Асим.

— Что это Мате отстаёт?

— Он всегда так ходит, плетется, как недорезанная овпа, — Асим грызет стебелек клевера. — Ищу клевер с четырьмя листочками. Никогда не найду, а меня просто заело... Ищу его, святой отец, целое утро, потому что клевер с четырьмя листочками приносит счастье.

— Ты и так счастлив, Асим. Разве нет?

— Счастье, святой отец, что разошедшийся бочонок: сверху вливает, снизу выливается и никогда не бывает полным.

— Ты в Риме был, Асим. Чего тебе еще надо?

— В Риме я был, это правда, когда Дидо Квартерник показывал нас папе, и благодарю бога, потому что не будь вас, я бы и по сей день голодал, как голодал всю свою жизнь. Намучился, братцы мои, как скотина, дети один за другим, а жалованье крохотное, как пуговка...

— Теперь тебе неплохо живется, — говорит ффра-Августин. — Мы дали тебе и одежду, и обувь, и новую квартиру.

— Все получил, — говорит Асим Рассыльный. — Получил по списку все сполна, что мне, как усташу, полагается, и Рим видел, когда возил нас Дидо к святейшему папе. За все это мне надо благодарить вас, преподобие. Потому что, если бы не вы, Асим и ныне ходил бы с голой задницей и остался бы тем, чем был: босиком, мимо которого люди проходят, как мимо...

— Спой-ка лучше, Асим, эту твою песню про ножичек...

Кисло улыбнувшись, Асим Рассыльный безголосо затянул, завыл, словно собака:

Эх, мой ножичек, а ножны в крови.

Эх, да сербам по печенкам полосни...

Асим поет, а ффра-Августин спрашивает:

— А скажи, сын мой, сколько сербов ты сам зарезал? Сотня будет?

— Какая там сотня! — возмущается Асим. — Сотню я только в Баичевых ямах прикончил.

— А кто больше, ты или Мате?

— Клянусь аллахом, что я, — Асиму очень хочется, чтобы ему поверили. — Куда Мате против меня: пока он одного подобьет, я тем временем пару свалю. Не хвастаюсь, аллах свидетель.

— А что ты сделал с Рафаэлем?

— Да отдубасил его малость, но не убил. Если б он мне попался под руку сразу, когда я сошел с карусели, прирезал бы на месте, как дыпленка, а после я уже поохладел и только надавал ему по башке, по спине, по заду. Пусть прохоиди-мец навсегда запомнит: нечего о своей шкуре думать, если на карусели полно людей, да еще и дети.

— А кто из вас больше перепугался, ты или Мате?

— Да обоим паршиво было, клянусь аллахом. Да вот и Мате. Пусть сам скажет.

— Мате, струхнул-таки вчера на карусели?

— Черта лысого, — говорит Мате. — Нисколько.

— Разве ты не кричал?

— Нет, — говорит важно Мате. — Никому я не кричал.

Мне только надоело крутиться на этой вертушке. Думал, обалдею.

— А самолета не испугался?

— Клянусь хлебом насущным, нет, — стоял на своем Мате. — Это вонючки, а не самолеты. Вот немецкие «щуки» — это самолеты. Трах! Трах! Это настоящие самолеты.

— Мате, а почему тебя зовут Разносчик?

— Потому что я всю жизнь носил на шее лоток с товаром.

И отец мой этим же промышлял.

— Нелегко тебе хлеб доставался?

— Ой как нелегко, святой отец. Не дай вам бог испытать: целый день таскаешься с этой тяжестью, ремни впиваются в тело, вены набухнут так, что кажется, вот-вот кровь хлынет, а никто не хочет даже взглянуть, не то чтобы купить что-нибудь и бросить пару грошей. Прижмешься к стене на вокзале и стоишь часами и в холод и в стужу. Бывало, снег валит, а ноги как чужие, отваливаются, кости ломит, плечи свело. Сущая каторга.

— А теперь зато человеком стал, да еще каким! — говорит священник.

— Да, спасибо вам, — отвечает Мате, почесывая спину, как он делал это в прежние времена, когда удавалось приподнять ремни, на которых висел лоток с зеркальцами, гребешками и пуговицами. — Да, я вот пришел вам доложить: мы девчонку поймали. Вон она. Эй, ведите ее сюда. Сюда! Сюда! Она говорит, что идет от наших.

Асим вразвалку зашагал в ту сторону, откуда устали вели девушку, держа ее за руки. Ветер трепал тонкий платок.

Фра-Августин пошел навстречу голубому платку. Его взгляду представилось встревоженное и усталое, но все же красивое лицо, на котором светились два светлых, изумленных и невинных глаза. Такие лица он видел только на иконах.

— Откуда ты и как тебя зовут? — спрашивает фра-Августин.

— Матильда, — говорит девушка. — Я из Загреба.

— Из Загреба? — удивился фра-Августин. — Если ты из Загреба, что привело тебя сюда, в это пекло? Как ты смогла дотуда добраться?

— Хочу повидать родителей, — говорит Матильда. — Я слышала, что Приедор взяли, мои родители живут в Приедоре.

— Разве это дорога в Приедор?

— Мне сказали, что можно и здесь пройти, — говорит Матильда. — Поезда не ходят, железная дорога взорвана, вот я и пошла по шоссе. Проголодалась и свернула в село.

— А вы Приедор знаете? Знаете Анджелку Сарич?

— Лично не знаю, по читала о ней в «Хорватском народе». Она вела себя как герой. Когда ее, связанную, вели по городу на расстрел, она выкрикивала здравицы поглавнику и призывала остальных не падать духом.

— Когда Приедор захватили мятежники, ты была в городе?

— Нет, — говорит Матильда. — Я была в Загребе.

— А чем занимаешься в Загребе?

— Я студентка, — говорит Матильда. — Учусь на фармацевтическом.

— Вот как, — фра-Августин потирает руки. — Слушай, девочка, хватит притворяться. Говори правду. Партизаны послали тебя шпионить, следить за продвижением наших войск, передавать им донесения. Так ведь?

— Мне даже смешно, — говорит Матильда. — Партизаны — авантюристы, меня они не интересуют. Они свою жизнь ни во что не ставят, а мне моя дорога. Я пробираюсь к родителям, потому что давно их не видела.

— Чем ты это можешь доказать?

— Это трудно доказать, — говорит Матильда.

— Ты знакома с кем-нибудь из здешних усташей?

— Нет, — говорит Матильда.

— Состоишь членом молодежной усташской организации?

— Нет, — говорит Матильда.

— Почему?

— Некогда мне всем этим заниматься, мне диплом защитить надо.

— Тогда, девушка, придется тебя передать Асиму и Мате, пусть они тебя поспрашивают, — осклабился фра-Августин. — Они, как принято, по-хорошему с тобой поговорят, и ты сообщишь им все, что знаешь. Не обижайся, мы вынуждены быть осторожными. Если после допроса они подтвердят, что ты и правда из Загреба, а не партизанская шпионка, все будет в порядке. Мы отпустим тебя в Приедор, к родителям...

— Чего вам от меня надо? Что вы собираетесь делать? — закричала Матильда, когда Асим и Мате схватили ее за руки.

— Давай двигай, — говорит Асим Рассыльный.

— Иди и не вертись, — прибавляет Мате.

— Куда? — спрашивает Матильда.

— Не разговаривай, а иди, — говорит Асим.

— Ты пойдешь наконец? — кричит Мате Разносчик.

— За что ты меня бьешь, свинья? — возмутилась Матильда.

— Ты и в самом деле не хочешь слушаться? — Мате толкнул ее, и они с Асимом потащили девушку.

— Послушайте, святой отец, — проговорил Муяга Лавочник. — Я бы отпустил девчонку. Ей-богу, она порядочная.

— Из чего это видно, Муяга?

— Сама призналась, что не состоит в усташской организации. Другая бы на ее месте обязательно соврала. Для меня это первое доказательство, что она честная и ничего не скрывает.

— Может, ты и прав, Муяга, но все же лучше проверить.

— Что же она будет о нас рассказывать, когда мы ее после такого допроса отпустим?

— А ты думаешь, что мы ее отпустим?

— Если окажется, что не виновата, надо отпустить.

— Мы уж столько невиноватых перебили, дорогой мой, — говорит фра-Августин. — По усташским правилам, конечно, запрещено убивать невиновных, но кто же на войне соблюдает правила?

Матильда звала на помощь.

— Эй, будет! — закричал фра-Августин. — Созналась? Шпионка?

— Нет, не созналась, — ответил Мате Разносчик.

— Сейчас сознается, как кольнем разок, — сказал Асим Рассыльный.

— Прекрати, Асим, — сказал Муяга Лавочник. — Она не виновата. Девушку надо отпустить, — Муяга вспомнил свою дочку Васву, у которой вот уже три года как отнялись ноги. Он глядел на Матильду и все время видел перед собой лицо дочери. Он уже не надеялся, что Васва поправится, раз сам аллах от нее отвернулся. Но тут вдруг на мгновение ему показалось, что выздоровление Васвы зависит от судьбы Матильды.

— Мы отпустим, если она никому не скажет о том, что здесь произошло, — сказал фра-Августин. — По всему видно, что она загребчанка. Обещаешь не болтать?

— Свины, — всхлипывала Матильда.

— Ты слышишь, Муяга? — фра-Августин развел руками. — Я с ней по-хорошему, а она меня оскорбляет. Что делать?

— Согласно пятому пункту ни один усташ не смеет покушаться на жизнь невинного человека и на чужое имущество, — отчеканил Муяга.

— Нечего меня учить усташским законам, я и сам знаю их наизубок, — огрызнулся фра-Августин, не сводя глаз с Матильды. Она вытирала слезы и поправляла растрепанные волосы. — Невиновна так невиновна. Главное, чтобы язык за зубами держала.

— А зачем меня били?

— Затем, что надо, — сказал фра-Августин. — Таков уж наш метод. А теперь вот для нас все ясно.

— Я буду жаловаться полковнику Франчевичу, — сказала

Матильда. — Я знакома с полковником Франчевичем и расскажу ему об этом.

— Полковник Франчевич сейчас под Дубицей, — сказал фра-Августин. — Если тебе не терпится увидеть полковника Франчевича и пожаловаться на нас, мы можем помочь до него добраться, но не по железной дороге; есть и другой путь — вниз по Уне на плоте для мертвецов.

— Куда прикажете, барышня? — ехидно спросил Мате Разносчик.

— На вокзал или на пристань? — подхватил Асим Рассильный.

— Пошли-ка лучше на пристань.

— Ведите на пристань и отправьте вниз по реке с бесплатным билетом, — сказал фра-Августин.

— Пошли, дорогуша, — сказал Мате Разносчик.

— Иди, иди, не задерживайся, — поторапливал Асим Рассильный.

— Если вы ее только тронете, будете иметь дело со мной. — Муяга преградил им дорогу. Его глаза налились кровью. — Девчонка ни в чем не виновата, отпустите ее на все четыре стороны.

Ссора была неминуема, но тут вдруг загремели винтовочные и пулеметные выстрелы, послышались крики. Очевидно, началась облава. Солдаты сгоняли крестьян, окружали дома, врываются во дворы, топтали зеленеющие нивы, рыскали по перелескам и повсюду вылавливали беженцев.

Фра-Августин видел закутанных в шали женщин. Они шли впереди солдат, сутулясь, опустив головы. Он видел девушек, их перепуганные лица пылали от быстрого бега.

— Матильда-то смылась, — сказал Мате Разносчик.

— Я ее отпустил, — спокойно ответил Муяга.

— Пусть убирается ко всем чертям, — сказал священник. — Сюда, сюда! — кричал он солдатам, сгонявшим крестьян. — Ведите всех во двор, — приказывал он, подбегая к толпе, которая колыхалась и покачивалась. Фра-Августин начал считать: оказалось два десятка человек.

— Вы помогали предателям? — спросил он, когда они подошли к воротам просторного двора, отгороженного дубовыми кольями. — Где партизаны?

Крестьяне молчали, сбившись в кучу. Головы втиснуты в плечи, спины согнуты, глаза опущены.

— Чей это дом? — спрашивает фра-Августин.

— Мой, — говорит крестьянин в обтрепанной войлочной шляпе.

— Ты кто?

— Сретен Мачак.
 — Сколько сыновей послал в партизаны?
 — Нет у меня сыновей, — говорит крестьянин.
 — Нет? — фра-Августин подходит к нему ближе. — А почему бежал в лес? Почему не хотел встретить нас в своем доме?
 — Народ побежал, ну и я.
 — И прямо в лес? Чтобы там подкарауливать нас с карабином?
 — Нету у меня карабина.
 — Нет, значит сыну отдал, — говорит фра-Августин. — Так, Михайло?
 — Так точно, — отвечает Михайло.
 — Ты слышал, что Михайло сказал?
 — Можете говорить, что хотите, а я вам свое сказал, — спокойно ответил крестьянин.
 — А ты? — повернулся фра-Августин к женщине в черном платке. — У тебя сколько сыновей в партизанах? Черный платок по кому носишь?
 — Внучек у меня умер, господин.
 — Внучек? Чей внучек? Уж не ты ли его сама себе родила? Чей он?
 — Сына моего, господин...
 — А сын где?
 — Не знаю, господин. Бежал из армии, а куда подался, пусть вас бог надоумит.
 — Я и так знаю! — закричал фра-Августин. — Твой сын партизан! Вы все тут бандиты! Правду я говорю, Михайло?
 — Точно так, — ответил Михайло.
 — Чтоб тебе сгнить живьем, — сказала женщина. Ока, видимо, узнала его.
 — Сколько их, Асим?
 — Семнадцать.
 — Пусть идут в дом, — приказал фра-Августин, размахивая револьвером. — Живее, живее, — он поторапливал солдат, которые загоняли людей в дом, срубленный из дубовых бревен.
 Крестьяне покорно шли в настежь распахнутые двери, забивались в углы, стараясь укрыться от усташей. Съжившиеся, бледные и перепуганные, они безмолвно и покорно исчезали в доме, словно в могиле. Никто не сопротивлялся.
 Когда в дом вошел последний крестьянин, фра-Августин закрыл дверь и запер ее на засов. Во дворе уже было полно усташей, вдруг кто-нибудь вздумает бежать.
 Асим Рассыльный и Мате Разносчик принесли две охапки соломы, подложили ее под дверь. Подошел и Михайло, тоже

с соломой, но понес ее в подвал, сказав, что дом надо поджигать снизу, так быстрее загорается. Фра-Августин, словно совершая какой-то ритуальный обряд, чиркнул спичкой и поджег солому. Задымило, потом вспыхнул огонь и пополз по доскам и балкам. Солому бросали в окна, сразу же загорались рамы. Повалил дым и снизу, из подвала.

Пожар разрастался, пламя лизало доски, бревна, балки, опоры и планки. Огонь рвался к крыше, дым клубился в небо.

Люди внутри молчали. Ни крика, ни стога.

8

Разве еще в Италии не приходилось ему слышать: этого надо убрать? На итальянской границе Бего убил Перчеца, одного из пионеров усташского движения. Владимир Кунич был убит в эмиграции за то, что хотел жениться на итальянке. В Граце провинившегося усташа Дуича задушили в постели, а Иосип Жарко покончил жизнь самоубийством. Разве в эмиграции поглавник не приговорил к смерти двенадцать усташей, нарушивших присягу?

Он приближался к группе солдат, среди которых находились двое дезертиров. Вчера они проявили малодушие: бежали с позиции, а это равносильно предательству. Они нарушили приказ, нарушили клятву, а это карается по закону.

Вчера двое солдат бежали с позиции.

Сегодня двое солдат будут казнены.

Солдаты полковника Франчевича уже построены. Плечом к плечу стоят несколько сотен legionеров, которые круглые сутки вели тяжелые бои, а сейчас вместо заслуженного отдыха стоят в строю, чтобы смотреть, как расстреливают их товарищей.

Он приказал и офицерам присутствовать при казни, чтобы они поучились, как надо исполнять долг. Тут и любимцы полковника Франчевича: плечистый, прославившийся в схватках Бобан, командир батальона Шнур, похожий на мальчишку, еще один командир батальона — рыжий Майер, и черный, яростно сверкающий глазами Судар. Все стоят и ждут.

Полк остановился для короткой передышки на поляне, у шоссе. Офицеры отдают приказы. Солдаты строятся, топаят своими тяжелыми ботинками, встают по четыре и замыкают круг около Франчевича. Он сообщает, что двое их товарищей изменили присяге и приговорены к смерти. Он называет имена, а затем приказывает поручику Судару привести приговор в исполнение.

Дезертиры стоят отдельно перед строем со связанными руками. Черные гимнастерки, не затянутые ремнями, жалко обвисли, сброшены с плеч походные ранцы, сдано оружие. Солдаты еще очень молодые, безусые. Лица осунулись и потемнели, губы потрескались, глаза погасли: нет в них ни блеска, ни надежды. Все кончено.

Франчевич смотрит на них пристально, с болью. Он давно их заметил, обоих хорошо знает. Они были исполнительны, преданны, храбры. Ему казалось, из них выйдут отличные воины. Он собирался их отметить, представить к награде. Нередко он с ними разговаривал, попросту, по-дружески. Знал, что у них еще живы родители, что сами они из Боснии. Не женаты, детей нет. Было как-то легче оттого, что они не женаты и не имеют детей, иначе смерть их была бы еще страшней. Да она и так страшна: отцы и матери теряют сыновей, бойцы — товарищей. И у него не будет двух солдат, двух мальчиков, из которых он намеревался со временем вырастить офицеров.

Но теперь все кончено.

Поручик Судар уже приказал им идти к обрыву, к месту расстрела. Их сопровождают несколько легионеров, назначенных для исполнения приговора. Осужденные переступают нерешительно, безропотно. Один обернулся, словно искал глазами друга.

Полковник Франчевич встретился с ним взглядом. И не смог выдержать. Потупился, с трудом удержал рыдание.

Короткая цепочка людей направляется к обрыву мимо построенных легионеров. Двое связанных идут в середине. Показываются их непокрытые черноволосые головы.

Франчевич смотрит им вслед. Сердце его колотится. Он едва сдерживает слезы. Приказывает Бобану повести бойцов на последнее прощание с осужденными и сам заставляет себя идти за ними к месту казни. Идет медленно, вяло.

Судар распорядился развязать осужденным руки. Один из них глубоко вздыхает. Другой растирает правую руку: на ней глубокий след, она натерта до крови браслетом наручника.

Гробовое молчание. Слышно, как на ветках молодого дуба щебечет птица: беззаботная, глупая птица на ветке молодого дубка.

Осужденным приказали спять гимнастерки и рубахи. Они повиновались. Стоят голые по пояс. Лицом к полковнику Франчевичу и к солдатам. Но они не в состоянии долго смотреть прямо перед собой, они опускают головы, стоят сгорбившись, с повисшими как плети руками, несчастные, жалкие.

Франчевич подошел к тому, который только что потирал

правую руку, натертую наручником. Он обнял его за плечи и поцеловал. Солдат тоже поцеловал его и заплакал.

Не говоря ни слова, Франчевич подошел ко второму осужденному и поцеловался с ним. Но тот, второй, не заплакал, а проговорил, отчетливо произнося каждое слово:

— Полковник, прошу вас, как усташ, сообщите моим родителям, что я погиб в бою, а не от руки своих товарищей. Не говорите, что меня убили свои. Именем матери заклинаю вас исполнить мою последнюю просьбу.

Франчевич ничего не ответил. Он молча отошел в сторону, уступая место солдатам. Один за другим они подходили и прощались с осужденными. Они целовали их, ибо так было предписано законом, который требовал, чтобы осужденного на смерть усташа перед расстрелом целовали в щеку его бывшие товарищи, как бы благодаря за все, что он ранее сделал для усташского движения.

— Прошу вас, как усташ, сделайте ради моей матери...

— Заклинаю вас моими родителями, сделайте это и для меня, — попросил и второй осужденный, тот, который плакал.

Франчевич не мог больше слушать. Он отошел подальше, чтобы не видеть их страданий. Ему действительно было тяжело. Особенно тронули его их последние просьбы, которые невозможно выполнить. Сознать это было невыносимо. Никогда еще у него не было так скверно на душе.

Легионеры подходили к осужденным, целовались с ними и отходили, уступая место следующим. Медленно двигалась эта очередь. Казалось, что солдаты нарочно тянут время, чтобы хоть на какое-то мгновение продлить жизнь осужденным. Но, наконец, и с этим было покончено.

Осужденным снова надели наручники. Завязали платками глаза. Они стояли лицом к строю винтовок.

Судар скомандовал:

— По три на одного... Трое налево, трое направо... Заряжай... Прицел... Пли...

Оба упали одновременно. Ни один не крикнул и не шевельнулся. Упали прямо лицом в землю. Так и лежали, зарывшись в траву.

Их похоронили тут же, наскоро забросав трупы дерном. Их погребли без гробов, до пояса голыми, только прикрыв сверху плащ-палаткой. Со связанными руками. Даже платки не сняли с глаз.

Все скрыла под собой земля.

— Что я скажу их родителям? — вздохнул Франчевич, стиснув зубы. В горле у него пересохло. Его мучило чувство собственной вины. — Но виноват не я, а они, — пытался он

оправдаться перед самим собой. — Я должен был их казнить в назидание другим. Но что сказать их родителям? Сообщить ли им всю правду или внять просьбе сыновей и скрыть истину, написать, что они пали в бою? Как известить их родителей? — Франчевич повернулся к Рудольфу, который стоял, глубоко задумавшись, в нескольких шагах от него. — Что им сказать?

— Скажите, что их сыновья расстреляны как дезертиры, — ответил Рудольф. — В любой армии за дезертирство полагается смертная казнь.

— Для меня это была очень тяжелая казнь, — продолжал Франчевич, словно исповедуясь. — Это первый случай с моими ребятами. Мне очень больно.

— Не стоит волноваться, полковник, — равнодушно ответил Рудольф. — У вас-то уж было время привыкнуть к трудностям. Законы усташества четко указывают, как надо поступать в подобных случаях. А я, полковник, я хотел попросить свод правил. Вероятно, у вас, как одного из организаторов усташского движения, найдется лишний экземпляр?

— Я один из первых солдат, но не организатор, — возразил Франчевич. — Я солдат, который в силу обстоятельств оказался в первых рядах.

— Именно это я и имел в виду, — Рудольф рыскал взглядом по траве. — Я хотел сказать, что вы, как один из первых усташей из эмиграции, вероятно, имеете, точнее у вас есть...

— Есть, — сказал Франчевич, открывая желтую полевую сумку, висящую на бедре. Он долго в ней рылся, что-то перебирал, перелистывал. — Вот они, правила, семнадцать пунктов. Пункт первый...

Хорватская революционная организация усташей преследует цель — путем вооруженного восстания (революции) освободить Хорватию из-под сербского ярма, чтобы она стала полностью самостоятельным и независимым государством на всей ее национальной и исторически принадлежащей ей территории...

— В каком пункте говорится о невинных жертвах и присвоении чужого имущества? — спросил Рудольф.

— В пункте пятом, — сказал Франчевич.

Ни один из усташей не смеет посягнуть на невинную жизнь и чужое имущество. Под угрозой смертной казни воспрещаются грабежи...

— Мне просто необходимы эти правила, — говорит Рудольф, отступая в сторону. Интуитивно он чувствовал, что Франчевич его недолюбливает.

Когда Рудольф отошел, Франчевич сел на поваленное дерево.

Я не нарушил правил, а это самое главное, думал он, вспоминая о расстрелянных и теперь уже лежащих в могиле бойцах. Вот какова жизнь: вчера еще мы вместе с ними пили и ели, шли в атаку, спали под одним кровом, а сегодня их нет, и что самое страшное — они пали от нашей руки. Мы убиваем не только сербов, размышлял он, не только коммунистов-хорватов, но даже своих единомышленников, в чем, правда, не любим признаваться. Убиваем друг друга, говорил он себе, глядя, как солдаты развернутой цепью двигались в сторону Божичей и Мирковаца.

Столько дней он безуспешно пытается прорваться от Беляйцев к Горнесеоцам и к монастырю Моштанице, но каждый раз встречает сопротивление и отступает на исходные позиции. Он слышал, что там засел батальон Козарского отряда. Но каким образом один батальон, насчитывающий не более пятисот бойцов, отбивает непрекращающиеся атаки черного легиона? Что их там держит? Уж не присоединились ли к ним ударные части Ранко Шипки или бригада Ивицы Марушича?

Неприятно поразили его и последние новости. Он узнал, что немцы недовольны действиями усташских и домобранских полков, и особенно Первой горной дивизией. Поэтому немцы решили взять дело в свои руки: вчера подполковник Хеншель подошел к Франчевичу и конфиденциально сообщил ему, что тот вскоре окажется под его началом, так как генерал Боровский по приказу генерала Шталя назначает его, Хеншеля, главнокомандующим всеми частями в распоряжении Первой горной дивизии, в том числе усиленными немецкими батальонами и черным легионом. У Франчевича отнялся язык. Его душила обида.

— Неужели это правда?

Снова гремели орудия, вздрагивала земля. От грохота птицы взмывали в небо. Серый заяц выскочил из кустов и очумело помчался, смешно подкидывая вверх заднюю часть тела. Он то судорожно сжимался в клубок, то вытягивался во всю длину.

Сегодня мы не отступим. Он смотрел на легионеров: черные фигурки мелькали по всему склону — среди пшеницы, картофельных и капустных полей, среди лугов, поросших травой и клевером, рядом со скирдами, стогами, копнами. Они неудержимо рвались вперед, и сопротивление партизан их не останавливало. Он был уверен, что его легионеры ничем не уступят партизанам в упорство, и уже убеждал себя, что расстрел двух солдат был сегодня не только необходим, но и спасителен: то-

перь ни один из усташей не осмелится отступить без приказа, ибо знает, что его ждет.

Он видел партизан, которые торопливо ползли вверх по склону с винтовками в руках. Одни бежали, другие падали, поднимались и снова бежали, скрывались среди кустарника, на время исчезая из виду. Затем они снова появлялись, уже выше, над рощицами, на холмах, где, вероятно, готовили засады. Оттуда по временам доносились выстрелы как предупреждение о готовящейся схватке. Но это было далеко, на новых позициях, а старые уже находились в руках легионеров полковника Франчевича, которые сжигали на своем пути все, что поддавалось огню.

— Полковник, докладываю как усташ, схвачено несколько изменников.

— Вооружены?

— Оружия нет, только пожги.

— Они в военной форме?

— Нет. Одеты по-деревенски.

— Это крестьяне, мой мальчик.

Он вскочил на ноги и пошел к обрамленному живой изгородью фруктовому саду за сожженным домом.

Возле обгоревших стволов слив, яблош и груш сидели крестьяне. В основном это были старики и женщины. Они ничем не напоминали солдат. Мужчины были в войлочных шляпах, меховых шапках или кожаных фуражках с картонным козырьком, какие до войны носили лешлянские шахтеры. На плечах — грубошерстные, домашнего изготовления куртки или овечьи кожухи мехом внутрь, которые не пропускают влагу. Были и вовсе раздетые — в майках или нижних рубашках и штанах, забрызганных грязью, с пятнами масла и колесной мази. Женщины кутались в шали, расшитые по краям ярким шелком, шали покрывали голову, большую часть лица, падали на плечи и опускались до пояса. На девушках пестрели платочки.

— Всех повесим, пусть все знают, что здесь прошел черный легион, — цедил Франчевич сквозь зубы, он словно хотел отомстить им за все неудачи, все муки, выпавшие на его долю. Да, он обязан повесить этих крестьян и за расстрелянных сегодня утром двух легионеров, ведь они не погибли бы, если б эти изменники вовремя сложили оружие.

В толпе он увидел двоих детей. Это были мальчики лет по десять, босые, в рваных рубашонках и изодранных штанах, взлохмаченные и чумадые. Ребятишки смотрели испуганно, почти с ужасом. Они почему-то стояли поодаль, отдельно от остальных, под сливой.

А с ними что делать? — спросил он себя. Но это тоже сербы, хоть и дети! Это сербы, а мы знаем, как следует поступать с сербами.

«Всех их перережем», — сказал поглавник еще в 1934 году в Турине. В другой раз он сказал: «После нашей победы оставшихся в живых сербов мы выселим в Сибирь». Кватерник говорил: «Наша цель состоит в том, чтобы истребить сербов». Лоркович заявил: «Мы сделаем все, чтобы сербы навсегда исчезли из наших краев. Район Козары, заселенный сербами, мы превратим в пепелище». А если так — ему все ясно.

Повесим их на этих же деревьях, подумал Франчевич, разглядывая сад, где толпились крестьяне. Но откуда взять столько веревок? А разве обязательно вешать на веревках? Можно воспользоваться шнурками, уздечками, ремнями, пустить в дело тряпки, платки, шали. Все пригодится, и развесим мы их вдоль дороги, пусть трупы качаются и наводят на всех страх.

— Беги, мой мальчик, позови Бобана.

Он опять взглянул на взлохмаченные детские головы под сливой и вдруг вспомнил маленького брата, умершего давно, семи лет от роду...

9

Когда загрохотали танки, в Приедоре началась папика. Никто не знал, откуда наступает противник — с севера или с юга, не было никакого плана обороны. Вероятно, партизаны, упоенные славой и успехами в последних боях, не ожидали нападения, и столь мощный прорыв фронта ошеломил их. Танки отрезали город от остального мира. Они останавливались перед входом в здания, где засели партизаны: те вынуждены были отступать по крышам, выскакивать в окна и задние двери, перебегать по дворам, перелезать через заборы. Многие из них сразу же попадали в засаду. Лишенные руководства, зажатые со всех сторон, не имея возможности защищаться, они были перерезаны.

Таким образом солдаты майора Дитера меньше чем за два часа взяли Приедор.

Он уже обдумывал рапорт, который пошлет начальству, однако успех его не возбуждал, и он не хотел видеть в нем перст провидения или особую благосклонность судьбы. Победил, ну и что из того? Раньше это могло бы вскружить ему голову, но теперь он был далек от суетности и честолюбия. Он даже захотел отпраздновать победу вместе со своими товарищами.

как это обычно делал прежде. Единственно, что ему действительно хотелось, это помыться, потому что, как только он вышел из машины, он буквально окунулся в пыль.

Откуда в городе столько пыли? — спрашивал он себя, подписывая приказ о поливке улиц: с этого часа всем гражданам вменялось в обязанность трижды в день поливать участок улицы перед их домами. Это было его первым распоряжением. Затем он сообразил, что после боя в городе осталось много трупов, которые никто не убирает и которые на жаре быстро начнут разлагаться и распространять зловоние. Он приказал собрать и зарыть всех погибших. По приблизительным подсчетам, было убито более двухсот партизан и их сторонников. Были жертвы и среди немцев и усташей. Он распорядился по возможности опознать их, чтобы захоронить отдельно от партизан. Дел в городе оказалось немало: прежде всего следовало немедленно выловить коммунистов, которые укрывались в домах и по огородам. Они, безусловно, вооружены пистолетами, гранатами, а может быть, даже винтовками и пулеметами и в любую минуту могут открыть огонь. После того как с ними будет покончено (а это не так-то легко), Дитер, наконец, сможет послать рапорт о полной победе, отдохнуть, помыться и отоспаться, а затем как можно скорее взяться за палитру, к которой его неудержимо влекло.

Тем временем пришли известия о схватке у Пискавицы: танкисты встретились там со значительными партизанскими силами, которые, атаковав усташей и домобранов в районе Кнежевича Гая, пытались прорваться на Козару с юга через шоссе. Завязался бой, партизанам удалось разоружить более тысячи усташей и домобранов. Но когда, собрав захваченное оружие и гоня пленных, партизаны направились в сторону шоссе, отделяющего эти села от Козары, их точно громом поразило. На встречу им шли немецкие танки: они появились неожиданно, сплошной стеной ползли по нивам, полям и лугам. Началась жестокая расправа. Партизаны пытались уйти, так как не могли сражаться с танками и падали. Раненые стонали и звали на помощь, но тут же погибали под гусеницами танков или сами пускали себе пулю в лоб. Завидев танки, усташаи и домобраны, уже готовые к капитуляции, снова схватили винтовки и пулеметы. Так партизаны оказались между двух огней: с одной стороны от шоссе на них двигались танки, с другой — уже побежденные ими, но снова взявшиеся за оружие усташаи и домобраны. Это было не сражение, а резня: на поле боя осталось более сотни трупов.

Наконец майор Дитер выкупался. Он сделал это в доме одного из местных служащих, занятом им под штаб. Чисто выбри-

тый, в бодром расположении духа, он уже представлял себе, как завтра рано утром, пока еще все спят, он возьмется за полотно, начатое еще в Баварии.

На следующий день он так и сделал, однако поработать как следует ему не удалось. Приходили подчиненные, солдаты, спрашивали о чем-то, сообщали новости. Трещал телефон; звонил и генерал Шталь, выяснял подробности, о которых Дитер в письменном рапорте, по вполне понятным соображениям, умолчал. Словом, в оккупированном городе, где столько солдат, беспорядка и пыли, было даже дышать трудно, а не то что писать картины.

Еще два дня пролетели в непрерывной суете. К картине он не притронулся...

На пятые сутки, после бессонной ночи, проведенной за изучением положения на фронте, он, к своему великому сожалению, должен был опять сняться с места и двинуться в направлении Дубицы, Еловаца и Кнежицы, куда партизаны стянули мощные силы и где полки немцев, усташей и домобранов под общим командованием генерала Боровского вели ожесточенные бои.

Там, видимо, положение было весьма серьезным, так как в Приедор непрерывно прибывали автомашины, грузовики и телеги, заполненные ранеными. Дитер то и дело встречал их и на Дубицком шоссе. Это было ужасное зрелище: сложенные один на другого, все в бинтах и повязках, раненые стонали, молили о помощи, плакали. От езды по разбитой дороге им становилось хуже, боль усиливалась, и страдание отражалось на их лицах — бледных, судорожно перекошенных.

К счастью, колонна раненых кончилась, и Дитер начал рассматривать местность, по которой проезжал впервые в жизни. Шоссе круто поднималось вверх. С правой стороны над разбросанными по склонам домиками, которые то и дело белели среди них, засеянных пшеницей, ячменем, кукурузой или клевером, громоздился горный массив, окутанный голубоватым туманом и кое-где озаренный солнцем. Козара. Майор Дитер смотрел на рощи, темневшие по холмам. Он не раз еще из Приедора смотрел на Козару — черную, пасутившуюся, обвиту туманом. Возвышаясь над санской долиной, она напоминала спящего великана. Мрачным чудовищем представлялась она ему и теперь. Там, в этих лесах, окутанных синей дымкой, скрываются зажатые в кольцо партизаны.

Дитер полагал, что объединенные воинские части немцев, усташей и домобранов уже выполнили свою первую боевую задачу. Они захватили Приедор и, непрерывно в течение нескольких дней продвигаясь от реки Уны, вышли на Дубицкое

шоссе, создали неприступную заградительную линию и соединили концы обруча. Теперь только остается уничтожить зажатых в кольцо партизан.

Машина скрежетала, вздрагивала и гудела, преодолевая крутой подъем на вершину холма, где белела петля шоссе. Майор Дитер вспомнил о письме из Баварии. Он нащупал его в кармане, вытащил и перечитал кто знает в который раз:

Дорогой Йозеф,

в тот момент, когда ты прочтешь это письмо, твоя жена, вероятно, уже будет матерью. Я отправляюсь в родильный дом. Если родится сын, я, как мы решили, назову его в честь твоего отца Францем. Береги себя, Йозеф, не подвергай себя понапрасну опасности. Думай обо мне и о твоем ребенке. Помни о нас, Йозеф, а я буду молиться за тебя богу и буду надеяться, что милостивый господь услышит мою молитву.

Обнимаю и целую тебя, твоя Изабелла.

Он перечитал письмо, но его лицо, как ни странно, омрачилось, как и два дня назад, когда он увидел конверт с мюнхенским почтовым штемпелем. Он тогда обрадовался и испугался одновременно. Точнее, радость породила заботу и даже расстроила его. Сразу возникла мысль: что сейчас с Изабеллой? Все ли благополучно? Он знал, что иногда женщины умирают, даже не увидев своего ребенка, и теперь больше всего боялся именно этого, весь охваченный смутными предчувствиями. Разве можно представить себе жизнь без Изабеллы?

Постепенно терзавшие его ощущения стали как-то проявляться: он особенно отчетливо почувствовал сейчас жестокость войны, вероломство нападения на чужие страны, бессмысленность свирепых расправ, резни и кровопролитий, идиотизм блужданий по незнакомым краям, где напрасно гибнут немецкие солдаты, его сверстники, в то время как далеко, в осиротевшей отчизне, страдают матери, горюют отцы, плачут жены.

Я отдал бы все, чтобы очутиться сейчас в больнице возле Изабеллы, часы которой, возможно, уже сочтены, повторял про себя майор Дитер, но тут снова вереница телег и грузовиков с ранеными прервала его мысли.

Господи, да там же настоящее сражение; он смотрел, широко раскрыв глаза, и считал повозки и автомашины, доверху, словно бревнами, груженные ранеными. Боже мой, но откуда их столько? Разве силы партизан так значительны и сопротивление так упорно?

Машина Дитера, наконец, преодолела подъем и оказалась

на вершине холма. Отсюда открывалась широкая панорама: слева неясно виднелись стремнины и темные скалы; справа простирались поросшие лесом склоны гор; а впереди, насколько хватал глаз — пестрые мазки полей и рощиц и белые деревенские домики под красными и черными крышами.

Это что, Еловац?

Дитер раскрыл карту. Темные пятнышки: Паланчиште, Похарино Брдо, Хайдеровцы, Горпи Еловац... Да, это Еловац, сказал он и мгновенно забыл обо всем: о письме Изабеллы, о семье, о родном доме. Он прибыл в район боевых действий, где на каждом шагу его ждала смерть и подстерегал противник.

Вокруг опять все грохотало.

Горели домишки и сарай, над крышами медленно поднимались клубы дыма и плыли в небо. То здесь, то там среди дыма вспыхивали красные языки пламени. Кое-где пожары уже гасли, но рядом разгорались и пылали новые.

Изумительный мотив для картины, подумал Дитер, рассматривая рощицы и долину. По ней протекал ручеек, петлявший среди омулков и полей, а по обе стороны от него нависли гирлянды, составленные из дыма и огня, в которых один за другим исчезали дома. Это надо обязательно запечатлеть на полотне. Дитер вспомнил о мольберте, палитре и красках. И на фоне этого пейзажа, напоминающего гогеновские виды Таити, надо изобразить человека, который тщетно пытается противостоять окружающему его кошмару. Человека подстерегает смерть. Он сознает опасность, но не в силах ни избежать ее, ни защититься. Человек связан, скован, опутан, и только шаг отделяет его от гибели. Здесь, в лесу, этому человеку уготована могила. Пожалуй, получилась бы картина не менее впечатляющая, чем полотна Дюрера или Гойи...

В этот момент из-за куста вынырнул человек в зеленой маскировочной сетке.

— Путлиц! — радостно воскликнул Дитер. Водитель резко притормозил и обернулся, разглядывая встречного точно так, как несколько дней назад он смотрел на того бычка, что неожиданно очутился посреди дороги. — Кто бы мог подумать, дружище, что я здесь вас встречу!

— Вы прибыли вовремя, — сказал Путлиц. — Вот уже два дня безуспешно пытаемся добить партизан, но они так сопротивляются, будто их там целая дивизия.

— А вам известно, сколько их на самом деле?

— Этого никто не может сказать, — ответил Путлиц. — Только подумаешь, что все уничтожены, а они неожиданно появляются снова, и даже, кажется, в еще большем количестве.

— У них есть артиллерия?

— Конечно, — сказал Путлиц. — Есть и пушки и минометы. Есть даже два танка.

— Они окружены?

— Друг мой, вы наивный человек. — Путлиц улыбнулся пересохшими губами. — Нам предстоит повозиться, прежде чем это будет сделано.

— Что? — удивился Дитер. — Разве они все еще действуют по обе стороны шоссе? Разве не окружены?

— Никто не знает, где они находятся, — говорил Путлиц. — Днем они ведут себя довольно спокойно, меньше атакуют, легко отступают, но зато ночью, в крошечной тьме... А впрочем, дружище, вы это все увидите и сами уже пынче, — и он снова невесело улыбнулся. Выражение лица его выдавало крайнее напряжение и усталость.

Дитер приказал солдатам остановиться.

— Где наши части? Где наш передний край?

— Да вот он, — сказал Путлиц. — Видите вокруг свежую землю? Это мы все тут перекопали. Это рвы, в которых находился, а может быть, и сейчас находятся наши бойцы.

Дитер смотрел на зигзаги траншей, вырытых на склонах холмов, вдоль балок. Зияли окопы с желтыми брустверами из глины и камня. Виднелись и четырехугольные пулеметные гнезда и укрепления для тяжелых орудий, ямы, ходы сообщения; они тянулись от нивы к ниве, от одного укрытия к другому, по пустырям, огородам, полям, засеянному житом, через перелески и рощи. По обе стороны шоссе все было перекопано. Кое-где из окопа торчала серая солдатская пилотка или дуло винтовки.

— Мы в Еловаце, так ведь?

— Да, это Еловац, — сказал Путлиц. — Моя часть получила задание вместе с подразделениями дивизии оказать помощь разбитым домобранским и усташским полкам, которым не удалось завладеть этим районом. Сейчас мы все берем в свои руки, ибо хорватских частей, так сказать, уже не существует. С этим, вероятно, связано и ваше прибытие. Что вам приказано?

— Я должен пробиться по шоссе до Кнежицы, — сказал Дитер. — Где эта Кнежица? Далеко отсюда?

— Вон там будет Нижний Еловац, — указал Путлиц. — А Кнежица еще ниже, за перелеском.

— Я остановлюсь в Кнежице, — сказал Дитер.

— Счастливо, дружище. — Путлиц не скрывал своего сочувствия. Он был уверен, что провожает Дитера на верную смерть. — Я только хочу предупредить вас, вы вступаете в весьма неприятную зону. В любую минуту здесь можно полу-

чить пулю в лоб, и чем ближе к Дубице, тем опаснее. Будьте осторожны, особенно ночью, когда эти бандиты просто звереют. А впрочем, вы все узнаете на месте от ожидающих вас офицеров и солдат.

— А Боровский в Дубице или здесь?

— Он еще с ума не сошел и не выезжает из Дубицы!

— До свиданья, друг.

Дитер распрощался с Путлицем и твердым шагом направился к машине. На шоссе он оглянулся и помахал рукой — высокий, крепкий, перетянутый ремнями.

Хотя Дитер и не признавался себе в этом, разговор с Путлицем его взволновал. Он не боялся встретиться со смертью в бою, так сказать, лицом к лицу. Ему была невыносима мысль о шальной пуле, которая пикому точно не предназначалась, но которая в любую минуту могла пробить ему череп так же бессмысленно, как топор какого-нибудь пьяного прощелыги. Разве такой смерти достоин майор Дитер? Разве разумный, мыслящий офицер может умереть так глупо от пули, неведь кому посланной? Раньше Дитера мучило бы именно это, но сейчас его мысль пошла по другому руслу, и он чувствовал себя особенно удрученным и озабоченным.

Разве важно, кому предназначена пуля, от которой человек падает и умирает? Важен результат. А результат остается один и тот же, как и смерть всегда означает одно и то же: от человека она берет все, а ему ничего не оставляет. Не важно, как берет, а важно, что ничего не оставляет. Он смотрел вперед, на черные башни танков, внутри которых невидимые люди ожидали приказа. Надвинув поглубже фуражку, что он всегда делал, когда принимал решение, майор скомандовал «марш».

Снова навстречу ползли повозки и грузовики с забинтованными людьми. Опять раненые. Откуда они? Почему их столько? Разве партизаны действительно так сильны?

Он не хотел этому верить. Единственное утешение (а можно это считать утешением?) — черные клубы дыма вокруг. Огромные облака дыма поднимались над крышами домов, над курятниками, хлевами, свинарниками. Ключья гари взлетали ввысь и висели в воздухе.

Кто все это поджигает? — спрашивал себя Дитер. — Усташи? Жгут, конечно, и наши. Среди раненых немало немцев, да и убитые есть, только я не вижу их, они навсегда остались в каменистой земле. Пожары — это месть, и дым над домами обозначает возмездие, которое имел в виду генерал Шталь, когда писал приказ о паступлении.

Проезжают повозки с ранеными. Фырчат грузовики. Стопнут люди.

Сгущаются облака. Дым и пламя. Небо помутнело.

Грохочут орудия. Их гром смешивается со скрежетом танков, и весь этот шум глухим эхом отдается вдали.

Отряд Дитера движется к Кнежице. Шоссе разъезженное и узкое. Такие дороги строили в Германии лет двести назад, думает он. Все-таки хорошо, что удалось помыться. Если погибать, так хоть чистым. Он все время был готов к стычке, по стычки не было.

Отряд благополучно миновал крутые повороты, обошел рощицы, выбрался из ущелья и очутился, наконец, в довольно просторной долине, где расположилось село. Дитер посмотрел на карту: перекресток, одна дорога ведет в Дубицу, другая в Костайницу, а третья вверх, по млечаницкому оврагу, прямо на Козару. Богатая и плодородная кнежпольская равнина с ее лугами, с полями пшеницы, овса и ячменя простирается на север и сливается вдали с голубизной неба.

— Это Кнежица? — спросил Дитер солдата, который стоял возле шоссе.

— Да.

— А что там? Что там происходит?

— Похороны, — сказал солдат.

Дитер вышел из машины и направился к людям, столпившимся неподалеку от шоссе на опушке леса. Он не поверил собственным глазам. Не мог смотреть. Невыносимо хотелось пить — хоть бы один глоток воды или ракии.

Перед ним лежали груды трупов. Их было много. Он считал их, считал, но, наконец, сбился. Он видел голые груди, сведенные судорогой лица, желтые босые ступни, черные сапоги или только шипели, под которыми угадывалось человеческое тело.

И вдруг хлынул дождь. Его острые капли ударяли по окаменевшим лицам, по опущенным векам или по широко открытым, остекленевшим глазам, по голым ногам и рукам, скрещенным на груди. Ливень хлестал по мертвецам, обрызгивая их грязью. Ливень заливал беззащитных людей, но они уже не пуждались в защите, они получили то, чего никто из них не хотел, и сейчас просто ожидали, пока им отведут место в земле.

Дитер увидел фра-Августина: тот с крестом в руке стоял над трупами, вислоухий, ссутулившийся. Безусловно, это были тяжелые минуты в жизни фра-Августина, которого Дитер вообще недолюбливал, но к которому в эту минуту почувствовал жалость, как, впрочем, и к себе самому, потому что и он сам был свидетелем страшного зрелища.

Он смотрел на аккуратно вырытые ямы, не очень глубокие, но довольно длинные, шириной, может быть, метра в два. Они напоминали противотанковые рвы, какие солдаты учатся копать на занятиях. Дитер подошел к одной из ям и заглянул в нее: мертвецы лежали один подле другого, завернутые в плащ-палатки, и под тканью обрисовывались судорожно согнутые колени, неестественно вытянутые руки. У одного рука была поднята вверх и торчала из-под плащ-палатки, словно он отдавал команду. А трупы все прибывали и присоединялись к лежащим в яме, их подносили на носилках или просто на руках товарищи погибших. Часто мертвецов хоронили совсем голыми или в одних кальсонах и нижних рубашках — так, как их нашли на поле боя.

Он считал. Убитых было много.

Он упорно продолжал считать, а дождь хлестал, заливая покойников и покрывавшую их материю. Ливень уже грозил перейти в потоп. Небо словно лопнуло по швам и падало на землю, но солдаты безропотно исполняли свои обязанности: подходили к мертвецам, молча приподнимали их и медленно несли к ямам. Ливень свирепствовал, покрывал глиной лица погибших и смывал следы крови. У тех, кто лежал неприкрытым, лица становились черными, как у шахтеров, которые только что поднялись из забоя. По временам даже казалось, что на земле лежат и не люди, а комки глины или камни.

Дитер упорно продолжал считать.

Мертвецов укладывали вплотную друг к другу, оставляя справа место для того, кто должен еще прибыть. И прибывали новые, окоченевшие, готовые выполнить последний долг: улечься навечно в землю один к одному, как приказано.

Когда последний мертвец был перенесен с полянки и опущен в могилу рядом с другим, скрюченные ноги которого торчали из-под плащ-палатки, майор Дитер глубоко вздохнул. Он был поражен. Три сотни. Если бы не я сам считал, никогда бы этому не поверил. Разве возможно себе представить, чтобы сразу погибло столько солдат?

Его вывел из оцепенения голос подполковника Хеншеля. Отдавая почесть погибшим, он особо подчеркнул, что в этих могилах рядом лежат немецкие и хорватские солдаты. Их жертву трудно переоценить, а их подвиг войдет в историю.

После Хеншеля выступил подполковник Рудольф. Он сказал, что братство немецких и хорватских солдат, закаленное в совместной борьбе, будет нерушимым и вечным.

Тогда с крестом в руке вышел вперед фра-Августин. Среди зловещего, монотонного шума дождя он начал отпевание. Его слова заглушались по временам раскатами грома, винтовочной

и орудийной пальбой. Но он, словно не слыша их, ревностно читал молитву, черный и холодный, как сама судьба. Наконец он жестом дал понять, что обряд окончен.

Грянул залп. Это был последний залп, предназначенный для погибших, но мертвецы не могли его слышать. Короткий треск поглотили порывы ветра.

Начали закапывать. Тяжелые комья катились вниз и падали на зеленую ткань. Дождь хлестал, почва становилась вязкой и липла к лопатам и заступам, а ямы заполнялись тяжелой, вязкой глиной и мокрым черноземом.

Росли могильные холмы — длинные желтые насыпи только что накопанной земли, размытой дождем. Наконец они поднялись более чем на полметра над травой и опавшими листьями, которые прилипали к сапогам и лопатам.

С восточной стороны на могилах, прямо над головами захороненных в них солдат, покачивались кресты, воткнутые в землю. Они были сделаны из кое-как сколоченных дубовых дощечек или просто колышков и такие маленькие, что на них едва помещались имена погибших. И по ним хлестал дождь, и казалось, что это не кресты, а какие-то странные, неведь откуда взявшиеся деревца. Но хотя дождь щедро поливал их, было ясно, что они никогда не примутся и не зазеленеют, ибо земля Козары уже подсекла их корни...

Возвращаясь к машине, Дитер из разговоров понял, что нынешняя ночь будет несколько не легче минувшей. Партизан все еще не удалось окружить. Они засели по обе стороны шоссе. Днем отступают, ночью атакуют. Яростно отстаивают каждый клочок земли, словно она здесь золотая. Отступив, возвращаются снова и атакуют, чтобы вернуть потерянные позиции. Вчера в течение суток десять раз нападали на Юговичев Брег, пытаясь во что бы то ни стало его вернуть. Идут сомкнутым строем, кричат, ругаются, задирают, а с собой ведут женщин и детей. Есть среди них и вооруженные и безоружные. Атакуют, упорно не уступают друг другу в отваге, и каждый норовит захватить винтовку (если у него ее нет) или живого врага.

Впрочем, Дитер сам скоро все это увидит. Как только стемнеет, а может, уже в сумерках они поднимут, как обычно, шум и ринутся в бой, как озверелые дикари.

— Откуда ожидается нападение? — спросил Дитер.

— Из темноты, — сказал Хеншель. — Они нападают со всех сторон, будто вырастают из-под земли...

Дитер промолчал, глядя на горы, затянутые пеленой дождя, они показались ему гигапскими могилами, в которых похоронено все, что только есть человеческого в людях.

Туркам потребовалось сто двадцать восемь лет, прежде чем их отряды, покорив Боснию, достигли, наконец, Баня Луки, Босанского Нового, Крупы и Бихача. Более шестидесяти лет эта область оставалась почти незаселенной, построенные здесь военные укрепления то заполнялись солдатами, то пустовали. Австрийские войска, стоя на своих рубежах, охраняли ущелья и горные перевалы и препятствовали проникновению грабительских орд. Значительную опасность представляли турецкие кавалерийские отряды, состоявшие из умелых и отважных всадников, вооруженных саблями, копьями, булавами, а позднее и ружьями. В этих отрядах особой жестокостью отличались янычары. Во время набегов они нещадно грабили пограничные районы, а не успевших убежать жителей уводили в рабство.

Так Козара вместе с рекой Уной в течение пяти веков являлась как бы огромным пограничным камнем, положенным на меже, разделявшей Восток и Запад. Пятьсот лет козарчане защищали эту границу от посягательств врагов и навсегда связали свою жизнь с оружием, так и не успев как следует осесть на земле. Этим, вероятно, можно объяснить их нежную привязанность к винтовке, которую они любят не меньше, чем песню и девушку. Со времен князя Вукаца, который правил здесь в 1396 году, козарчане охотнее брались за оружие, чем за мотыгу, и когда приходил смертный час, то мечтали погибнуть в бою, так как естественную смерть в постели считали постыдной и свидетельствующей о трусости.

Предки нынешних козарчан появились здесь несколько веков назад, во времена переселений, вызванных турецким нашествием. Они приходили сюда в составе турецких отрядов как всадники (улаки), пехотинцы (мартолысы), проводники (калаузы), причем составляли значительную часть авангарда, но так же шли и в обозе, как подневольные крестьяне или рабы, которые обязаны были обрабатывать землю вокруг укреплений и кормить турецкое войско. Встретила их голая, чужая земля. Поэтому на здешних кладбищах и не найдешь могильного камня старше пятисот лет.

Древние записи говорят, что первые поселенцы были красивыми, стройными и физически крепкими людьми, да другими они и быть не могли: долгие недели, месяцы и годы приходилось им добираться сюда из Рашки и Санджака, а это под сплу только самым выносливым. В записях говорится, что многие из них были богаты и привезли

с собой полные телеги разного имущества. У них были отличные кони, и нередко они гнали целые стада коров, овец и коз. Переселенцы испытывали лишь недостаток в зерне, так как вынуждены были это оставлять и бросать, чтобы не перегружать коней.

Они разбрелись по лесам, рубили буки, дубы, яворы, вязы, липы, акацию, сосны, ясени, грабы и клены, тесали из них бревна, венцы, балки, стропила, рейки, доски, строили дома и покрывали их осокой и соломой, а дворы обносили высоким и острым частоколом, чтобы не мог перескочить его ни зверь, ни вор, ни убийца.

Некоторые обосновывались в опустевших пограничных хуторках, вокруг военных укреплений, и были готовы в случае нападения принять на себя первый удар. К ним присоединялись переселенцы из Липки и Далмации, их привлекали чужие очаги и брошенные усадьбы, которые доставались даром, так как прежние хозяева бежали от турок далеко на запад, к Загребу, Краньской и Джакову.

Здесь люди не гнушались и шпионажа: посылали отсюда в Австрию планы пограничных турецких укреплений, отыскивали ущелья, дороги, перевалы и тропы, по которым могли бы пройти христианские войска, чтобы освободить от мусульман Боснию. Не зная, чем еще заняться и что предпринять, многие собирались в разбойничьи дружины, крали и грабили, насильничали и убивали.

Из-за частых убийств, а также из-за ссор и столкновений с турецкими землевладельцами переселенцы иногда перекочевывали из пахи в пахию*. Нередко они были вынуждены подолгу скрываться, особенно если какой-нибудь сластолюбивый турок хотел забрать их дочь или покусался на честь сестры. Достаточно было перейти Уну, и беглец оказывался в соседней империи, и его след навсегда теряли.

Переселялись сербы в Австрию и вполне официально: по договору с императорскими уполномоченными и с офицерами на границе. Погрузив на телегу имущество, жеп и детей, они переходили на новое место. Австрийский двор на вечные времена даровал им земли вдоль границы: луга, поля, нивы, водоемы, сады и виноградники. Самое большее, на что они могли рассчитывать в австрийской армии, был чин воеводы. Высшим офицером и дворянином переселенец мог стать только в том случае, если принимал

* Нахия — низшая административная единица в системе турецкой империи (соответствовала округу).

католичество. Так многие и поступали главным образом потому, что не привыкли жить без священников, и уж никак не могли обойтись без них при рождении детей, на свадьбах и похоронах.

После битвы при Костайнице в 1596 году сербы предложили Австрии земли по реке Уне, но потребовали за это для себя привилегий. Они отказывались от кметской зависимости и просили гарантировать им безопасность во время переселений, ибо турецкие отряды имели обыкновение внезапно нападать на переселенцев и устраивать резню. По договору с сербами в 1685 году бан Эрдеди во главе хорватских отрядов напал на Дубицу и изгнал турок. Тогда сербы начали массовое заселение земель между Уной и Купой, что испугало загребского епископа: он хотел оставить эти области за католиками и всячески преследовал иноверцев-колонистов. Пришельцы стали поговаривать о том, что неплохо было бы послать жалобу в Вену, перейти к венецианцам или, на худой конец, возвратиться в Турцию.

В австрийском государстве сербы-переселенцы пользовались правом вольных земледельцев, были свободны от оброка и барщины, но обязаны были нести пограничную службу и в случае войны вступать в австрийскую армию. Однако хорватские князья Зриньские и Франкопаны надеялись их закрепостить, то есть уподобить своим крестьянам, которые жили в более тяжелых условиях и на которых переселенцы оказывали разлагающее влияние, пробуждая в их среде бунтарские настроения. Возникали взаимные обиды, беспорядки, ссоры, поджоги, и совершалось насилие. Разгоралась ненависть к сербам, и она усилила давнюю вражду, которую уже разжигала церковь, разделяющая Восток и Запад, католицизм и православие. Этой ненависти способствовали и стычки между сербскими солдатами в турецких и хорватскими в австрийских пограничных частях, когда во время столкновений они бросались друг на друга с обнаженными саблями.

Так на берегах Уны поселились смерть и опустошение. Полагая, что они отражают врага, братья вставали друг против друга, армии попеременно переходили вброд зеленую пенистую реку и до обе стороны границы оставляли за собой пепелища, могилы и виселицы.

А кроме того, не реже чем раз в десять лет переселенцы, прихватив топоры, рогатины или ружья, поднимались то на войну, то на бунт, то шли в сражения и доходили в составе различных армий кто до Вены, кто до

Константинополя, а кто до Баварии или еще дальше. Они маршировали по чужим странам, не запоминая даже их названий. Дома они оставляли жен и детей, матерей и отцов, сестер и родных, чтобы потом, после долгого отсутствия, вернуться к ним изуродованными и искалеченными, со шрамом на лице и со свинцом в теле, а многие вообще не возвращались, а оставались навеки лежать на богом проклятых полях войны.

В старые времена на своей родине переселенцы женились на пленных рабынях, на красавицах черкешенках и даже на султанских дочерях, а их потомки вынуждены были скитаться, как бездомные бродяги: одни бежали в Австрию, в христианскую страну, спасая жизнь и скрываясь от насилий; другие, разочаровавшись, возвращались назад, переходили Уну и поступали на службу к туркам или просто бродили по лесам в гайдуках, как атаман Богое, который ни в грош не ставил султана и его янычар, сражаясь против них песней, ножом и ятаганом, пока турки не схватили его и в начале 1640 года живьем не посадил на кол...

Из старинных рукописей.

10

Он смотрел на перерезанную землю. С юга на север, километров на двадцать от Похарина Брда и Горнего Еловаца до Мирковаца, Меджуводжа и дальше, на запад, через Стригову и Криву Рику до Читлука, Марина и Пастирева, виднелись брустверы окопов. Рвы были укреплены кольями, жердями, бревнами, камнем. Они появлялись и днем и ночью и расползались во все стороны: по откосам, среди пив, вдоль живых изгородей, заборов, межей и перелесков. Это были укрытия для солдат, лагеря, сборные и командные пункты, перевязочные и сторожевые точки возле складов, пулеметные гнезда, огневые позиции для орудий и минометов. Все, что могло уйти в землю (и человек и оружие), непрестанно закапывалось, пряталось, огораживалось.

Он стоял, прислонившись к дереву, и рассматривал в бинокль перерытую землю. Она была желтоватой — не чернозем, а выброшенные из глубины глина и песок. Кое-где белел камень. Разбитый на глыбы или раздробленный и смешанный с песком, он был выложен вдоль окопов со стороны горы и служил укрытием. Хлеба памяти, на пивах груды земли и камня, вытоптаны поля и луга.

На полосе, которая отделяла Лазара от противника, виднелись следы колес, танковых гусениц, зияли ямы и воронки от снарядов. Все вокруг было разворочено. Не осталось ни клочка земли, ни чистого холмика, нетронутой полянки и леска, повсюду темнели дыры, ямы, борозды, пробойны, обвалы. Кое-где целые рощи были словно скошены — лежали стволы, срезанные кроны деревьев.

Всю нашу землю перекопали, он вспомнил отступление к Карану и встречу с Жарко, бывшим шахтером, а теперь командиром батальона, который сказал тогда, что настоящая борьба еще только начинается. На следующий день в горах от Сводни до Домбравы, Виса и Пастирева заняли позиции пять партизанских рот (около тысячи бойцов). Ранним утром, еще до восхода солнца, началось сражение, продолжавшееся несколько дней. Партизаны отчаянно и самоотверженно защищали свой лагерь, который построили зимой в каранском лесу, с новенькими дубовыми домиками и даже небольшой электростанцией, принесшей в лесные жилища свет такой яркий, что слепило глаза. Во время контратаки на Домбраве они захватили в плен более трехсот вражеских солдат. Они хотели защитить переполненный ранеными батальонный госпиталь. Они хотели остановить наступление врага на Козару. Они хотели отбить занятые противником села и дать возможность отхлынувшему на восток народу возвратиться в свои дома.

И почти ничего из того, что было задумано, осуществить не удалось. Враг наступал. Партизаны бились до последнего. Они бросались в атаку, падали и навсегда оставались на поле боя; некоторые попали в руки врага, потому что страх, как бы ни был храбр человек, делает его в какой-то момент слепым, и тогда человеку начинает казаться, что он может надеяться только на свои ноги и что он создан для того, чтобы бежать.

Погибали лучшие бойцы: гранатометчики, автоматчики, командиры, политкомиссары. Когда успевали — наспех закапывали их в неглубокие и тесные могилы, но многие так и оставались лежать на земле и мокнуть под дождями. Раненых, например Душана Деретича и Гойко Кукавицу, сутками таскали за собой, и грязные, необработанные раны начинали гноиться.

Партизаны непрерывно атаковали. По три раза в день бились на одном и том же холме, в знакомой рощице, на том же самом откосе. Отступали и снова возвращались, занимали вырытые неприятелем окопы, шли напролом, скрывались по ущельям, котловинам и оврагам, устраивали засады, как с неба, обрушивались на зеленые палатки вражеских лагерей. Они сеяли панику, ужас, их налеты обращали неприятеля в бегство, но за атаками следовали бешеные контратаки, и тогда един-

Константинополя, а кто до Баварии или еще дальше. Они маршировали по чужим странам, не запоминая даже их названий. Дома они оставляли жен и детей, матерей и отцов, сестер и родных, чтобы потом, после долгого отсутствия, вернуться к ним изуродованными и искалеченными, со шрамом на лице и со свинцом в теле, а многие вообще не возвращались, а оставались навеки лежать на богом проклятых полях войны.

В старые времена на своей родине переселенцы женились на пленных рабынях, на красавицах черкешенках и даже на султанских дочерях, а их потомки вынуждены были скитаться, как бездомные бродяги: одни бежали в Австрию, в христианскую страну, спасая жизнь и скрываясь от насилий; другие, разочаровавшись, возвращались назад, переходили Уну и поступали на службу к туркам или просто бродили по лесам в гайдуках, как атаман Богое, который ни в грош не ставил султана и его янычар, сражаясь против них песней, ножом и ятаганом, пока турки не схватили его и в начале 1640 года живьем не посадили на кол...

Из старинных рукописей.

10

Он смотрел на перерезанную землю. С юга на север, километров на двадцать от Похарина Брда и Горнего Еловаца до Мирковаца, Меджуводжа и дальше, на запад, через Стригову и Криву Риеку до Читлука, Марина и Пастирева, виднелись брустверы окопов. Рвы были укреплены кольями, жердями, бревнами, камнем. Они появлялись и днем и ночью и расползались во все стороны: по откосам, среди нив, вдоль живых пзгородей, заборов, межей и перелесков. Это были укрытия для солдат, лагеря, сборные и командные пункты, перевязочные и сторожевые точки возле складов, пулеметные гнезда, огневые позиции для орудий и минометов. Все, что могло уйти в землю (и человек и оружие), непрестанно закапывалось, пряталось, огораживалось.

Он стоял, прислонившись к дереву, и рассматривал в бинокль перерытую землю. Она была желтоватой — не чернозем, а выброшенные из глубины глина и песок. Кое-где белел камень. Разбитый на глыбы или раздробленный и смешанный с песком, он был выложен вдоль окопов со стороны горы и служил укрытием. Хлеба памяти, на пивах груди земли и камня, вытоптаны поля и луга.

На полосе, которая отделяла Лазара от противника, виднелись следы колес, танковых гусениц, зияли ямы и воронки от снарядов. Все вокруг было разворочено. Не осталось ни клочка земли, ни чистого холмика, нетронутой полянки и леска, повсюду темнели дыры, ямы, борозды, пробойны, обвалы. Кое-где целые рощи были словно скошены — лежали стволы, срезанные кроны деревьев.

Всю нашу землю перекопали, он вспомнил отступление к Карану и встречу с Жарко, бывшим шахтером, а теперь командиром батальона, который сказал тогда, что настоящая борьба еще только начинается. На следующий день в горах от Сводни до Домбравы, Виса и Пастирева заняли позиции пять партизанских рот (около тысячи бойцов). Ранним утром, еще до восхода солнца, началось сражение, продолжавшееся несколько дней. Партизаны отчаянно и самоотверженно защищали свой лагерь, который построили зимой в каранском лесу, с повенькими дубовыми домиками и даже небольшой электростанцией, принесшей в лесные жилища свет такой яркий, что слепило глаза. Во время контратаки на Домбраве они захватили в плен более трехсот вражеских солдат. Они хотели защитить переполненный ранеными батальонный госпиталь. Они хотели остановить наступление врага на Козару. Они хотели отбить занятые противником села и дать возможность отхлынувшему на восток народу возвратиться в свои дома.

И почти ничего из того, что было задумано, осуществить не удалось. Враг наступал. Партизаны бились до последнего. Они бросались в атаку, падали и навсегда оставались на поле боя; некоторые попали в руки врага, потому что страх, как бы ни был храбр человек, делает его в какой-то момент слепым, и тогда человеку начинает казаться, что он может надеяться только на свои ноги и что он создан для того, чтобы бежать.

Погибали лучшие бойцы: гранатометчики, автоматчики, командиры, политкомиссары. Когда успевали — наспех закапывали их в неглубокие и тесные могилы, но многие так и оставались лежать на земле и мокнуть под дождями. Раненых, например Душана Деретича и Гойко Кукавицу, сутками таскали за собой, и грязные, необработанные раны начинали гноиться.

Партизаны непрерывно атаковали. По три раза в день бились на одном и том же холме, в знакомой рощице, на том же самом откосе. Отступали и снова возвращались, занимали вырытые неприятелем окопы, шли напролом, скрывались по ущельям, котловинам и оврагам, устраивали засады, как с неба, обрушивались на зеленые палатки вражеских лагерей. Они сеяли панику, ужас, их налеты обращали неприятеля в бегство, но за атаками следовали бешеные контратаки, и тогда един-

ственным оружием становились ножи и гранаты. И все напрасно. Противник быстро подтягивал силы, пускал в бой свежие подкрепления, и снова орудейный огонь заливал Козару. Все повторялось сначала.

Ни отдыха, ни передышки. Партизаны собирали все силы, чтобы отбросить противника. Снова и снова трещали винтовки, гремели орудия, неприятельские самолеты сбрасывали сотни бомб, рвались гранаты. Все чаще слышались разрывы мин. Это вступали в бой легкие минометы. Их было много. Каждая рота усташей тащила за собой четыре-пять таких минометов. Мины буквально осыпали позиции, вздымали землю, ломали ветки, косили пшеницу, крушили стебли кукурузы. А сколько они уложили людей!..

Бежит человек, из груди кровь хлещет, а руки сжимают кишки, вываливающиеся из вспоротого живота, и вдруг падает, не издав ни звука. Последняя судорога, и человек замирает навсегда. Все это происходит на глазах у Лазара. Новый покойник, которого надо поскорее похоронить. Товарищи волокут его из зоны огня, иногда и сами при этом гибнут, и тогда их, уже бесчувственных, тащат другие, закапывают быстро, молча, как немые, без залпов, без надгробных речей, и снова возвращаются в строй.

Так продолжалось неделю и даже больше. Рота заметно поредела. В непрерывных боях под проливными дождями Лазар забыл о еде, о крове. Рота для него сейчас значила все, и казалось, некогда было перевести дыхание.

Он перестал обращать внимание на бороду, дней пять он не мог побриться. В перерывах между схватками усталость валяла с ног. В минуты затишья после круглосуточных атак, после того, как позиции по десять раз переходили из рук в руки, Лазару все равно было куда лечь: на землю, на сноп пшеницы, на охапку сена или на кучу листьев, на мокрую траву или прямо в лужу. Он падал как подкошенный и часа два-три спал как убитый, но тут его расталкивали, кто-то о чем-то спрашивал, сообщал, докладывал. Прибывали связные от Жарко или от Шоши, подходили бойцы из Ударного батальона с приказом от Ранко Шипки. И все начиналось снова: прибегали и убегали вестовые, трещали винтовки, гремели залпы, грохотали орудия. Лазар командовал, кричал, проверял, наставлял, угрожал и ругался, поминая то святую пятницу, то всех чертей. И снова мешались ночь и день.

Вдоль и поперек исколесила его рота участок от Уны до Карана между Пастиревом и Градиной, Дубицким шоссе и Погледжевом. Десяток раз бойцы переходили шоссе и возвращались назад, прикрывая отступление крестьян на Козару, до

которой было отсюда километров двадцать. Огромный горный массив, казалось, был совсем рядом, но добраться до него стоило большого труда...

Всю нашу землю перекопали, гады, но мы им покажем. Мы должны защитить народ! Лазар скрежетал зубами, весь промокший, голодный. Он твердо решил не двигаться с места, стоять насмерть возле этих пней, деревьев. Куда ни глянь, всюду изрытая земля, окопы — они кажутся брошенными, потому что замаскированы ветками, листьями и травой. Там вдали, на маринских и стриговацких холмах, они и впрямь, может быть, уже оставлены, так как фронт постоянно продвигается на восток, к Козаре, враг захватывает новые высоты, новые села, оставляя за собой поваленные деревья, вытопанные поля, сожженную кукурузу, воронки и трупы. Но окопы вдоль Дубицкого шоссе, конечно, не пустуют. Это видно и невооруженным глазом: время от времени из рва высовывается какой-нибудь солдат — по нему тут же начинают стрелять, и он исчезает, а может, и падает, сраженный пулей. И опять желтеют и чернеют безлюдные насыпи, настороженные, с зияющими амбразурами.

Усташи начинали атаковать обычно на рассвете, но теперь делали это гораздо осторожнее, чем вначале. Это уже не были те фанатичные, бесшабашные и горластые вояки, которые лезли напролом, сквернословили и старались во что бы то ни стало схватить партизан живьем, так что со стороны даже могло показаться, будто они нарочно стреляют в воздух. Это не были толпы отчаянных головорезов, не знающих страха и презирающих смерть. Отборные части, первыми посланные в бой, уже не существовали.

Теперь усташи вели себя осторожнее и хитрее и без надобности не лезли на рожон. Они и нападали сразу по всему фронту, используя преимущества холмистой местности, поросшей лесом. Они появлялись внезапно: то из леса, то из густой пшеницы, то из-за поворота дороги. Иногда им удавалось проникнуть глубоко в тыл партизан. Это было не трудно, потому что партизаны не успевали рыть окопы, а при нападении противника искали естественных укрытий — прятались за деревьями, камнями, залегали в оврагах и канавах, которые создала сама природа или когда-то прорыли земледельцы, и не помышлявшие о войне.

Однажды усташи проникли в расположение роты Лазара и взяли в плен одного бойца вместе с конем. Пришлось Лазару усилить патрули, увеличить число сторожевых постов, он сам стал ежедневно осматривать позиции, проверять взводы. Переходя от бойца к бойцу, он расспрашивал, советовал, укорял,

распекал за упущения, помогал исправить недостатки. Он усилил контроль: сначала посылал осмотреть позиции комиссара Ивана, потом всего заместителя Хамдию, и напоследок проверял все сам. И все же тревога не покидала его. Он знал, что, как только взойдет солнце, враг снова набросится на его роту. И так сутки за сутками.

Он вспоминал тот день, когда его рота вышла на Патрию, прикрывая отход населения. Здесь он встретился с Ранко Шипкой, командиром Ударного батальона. Совсем недавно они вместе ходили против отряда четников Рады Радича, чтоб расквитаться с ним за смерть доктора Младена Стояновича и козарских пролетариев, перебитых в Йошавке. Лазар любил Шипку. Ему казалось, что они чем-то похожи друг на друга, хотя Ранко был немного моложе. Тогда они исходили всю Боснию. Они преследовали четников по пятам, а смерть была совсем близко. На Караче четники Рады Радича и Лазара Тешановича окружили их и целый день держали в кольце. Прорвались партизаны только ночью, потеряв восемь бойцов и вынеся двенадцать раненых. Потом пришел приказ возвращаться обратно на Козару. Поднимая облака пыли, они прошагали по освобожденному Приедору, выстроились на площади перед гимназией. Их окружили любопытные горожане, старики в фесках, женщины в шальварах и под паранджами, детвора, гимназисты. На митинге выступал Осман, первый комиссар козарского отряда. Он взобрался на опрокинутую бочку и, подняв руку, сжатую в кулак, воскликнул: «Смерть фашизму, товарищи!» Голос у него был громкий, и он яростно жестикулировал. Говорил он всегда очень живо и убедительно. Осман считался одним из лучших ораторов среди боснийских коммунистов. Лазар готов был поклясться, что никто, кроме покойного Младена, не говорил так хорошо. В самом начале восстания Младен и Осман на большой сходке у церкви в Маринах как-то выступали вместе. Лазар стоял в толпе и слушал, теребя ремень и сжимая приклад винтовки. К нему подошел чернявый парень с гранатами за поясом и спросил, знает ли он, кто это говорит. Лазар отрицательно покачал головой. «Это Осман», — сказал чернявый. Лазар не поверил своим ушам: разве среди наших есть турки? Он хотел спросить об этом парня, но постеснялся, так как почти не знал его. Чернявый был Ранко Шипка, студент. Он пришел на Козару вместе с Османом и Шошей из Баня Луки; быстрый, решительный, горячий, он сразу же возглавил отделение, потом взвод и вскоре стал настоящим партизанским командиром. Он был человек яркий, заметный, потому и запомнил его Лазар, очень ценивший таких ярких и необычных людей. Они долго воевали вместе — в одном взводе, потом в одной роте, дели-

лись последним куском хлеба и последней сигаретой. В атаках они всегда шли плечом к плечу, вместе бежали вперед и забрасывали гранатами вражеские доты, пока товарищи сзади прикрывали их огнем. Так вместе с командиром Ранко прославился и черный Лазар, усатый детина, полуграмотный крестьянин, один из первых партизан на Козаре. Вскоре он стал в роте у Ранко взводным, с ним ушел в центральную Боснию, а когда вернулся на Козару, его назначили командиром роты. Они долго не виделись. Потому-то так обрадовался Лазар, встретившись с ним на Домбраве. Ранко подошел к Лазару, крепко пожал ему руку:

— Здорово, усач.

— Здорово, товарищ Ранко.

— Сколько у тебя людей, где вы сейчас, пужно ли пополнение? — спрашивал он Лазара.

Тот отвечал, что рота после двухдневных боев понесла немалые потери — тридцать человек убито и ранено, но что он уже набрал добровольцев. Вечером они участвовали в совместной контратаке на Домбраве, когда было убито более шестидесяти и взято в плен около двухсот вражеских солдат. Это были первые попавшие в их руки усташы. Но хотя враг дрогнул, его атаки не только не прекратились, а стали еще упорней, так что рота Лазара вместе с батальоном Ранко вынуждена была отступить до самого Погледжева.

Тогда Лазар и Ранко увиделись еще раз.

— Без паники, усач, — говорил ему командир Ударного батальона. Позднее он повторил это бойцам и беженцам: — Без паники, здесь Ударный батальон! Враг прорвется на Козару только через наши трупы.

— Ты видел Шошу, товарищ Ранко?

— Да. Шоша здесь. Вчера вечером приехал, объезжает роты... Ну, бывай...

— Всего хорошего, товарищ Ранко! — крикнул Лазар. Ему было приятно сознавать, что рядом с ним, на левом фланге, у Похарпина Брда стоит славный батальон Ранко Шинки.

Прошла неделя. И действительно, Ранко Шинка оказался прав, враг не прошел на Козару, батальон выстоял. Под командованием Шоши оборону держали три батальона: Первый, Второй и Ударный. Четвертый же, изрядно потренированный в боях, отошел через Гоменицу к Грмечу. Линия обороны проходила по опушке леса. Долина сотрясалась от грохота, от шума голосов: команды, угрозы, крики. Нередко бои продолжались всю ночь напролет, пока сон не валил людей с ног.

Лазар вспомнил первого увиденного им пленного солда-

та. Это был рыжеволосый, тощий и высокий паренек со впалыми щеками и длинным подбородком. Одежда его была до того помята, что казалось, ее только что выкрутили после стирки.

— Как тебя зовут? — спросил он, не в силах поверить, что перед ним капля того неудержимого людского потока, который в последние дни чуть не захлестывает их.

Солдат ответил, что он домобран и зовут его Йосип Бален. Зовут Йосипом, как Шошу, подумал Лазар и недоверчиво поглядел на парня.

— Из какой части?

Пленный ответил, что он из Первого Горного здруга. Последнее слово Лазар не понял.

— Здруг? Что такое здруг?

Пленный начал объяснять: это соединение, состоящее из нескольких батальонов, усиленных пулеметами, артиллерией, танками и самолетами.

— Врешь! Ты устал.

— Нет, не устал, а домобран, — возразил пленный. — Мы все домобраны, даю вам честное слово, и до прихода па Козару никогда не боролись против партизан.

— А что же вы делали?

— Были на учениях, — ответил солдат и осекся, словно раскаявшись, что проболтался.

— На каких еще учениях? Говори, где это было?

Пленный назвал городок Штокерау. Признался, что там он с товарищами восемь месяцев проходил обучение и военную подготовку. Их, как он сказал, хотели отправить на Восточный фронт воевать против русских, куда уже отбыла одна хорватская дивизия. Со дня на день и они ждали отправки туда же, под Сталинград, но вдруг командование возвратило их на родину, в Загреб, а оттуда на Банию для борьбы с партизанами. Они воевали на Зриньской горе, а затем прибыли на Уну и оттуда тринадцатого июня пошли в направлении Дубицкого шоссе и Погледжева.

— Ты говоришь, что вы домобраны? Рассказывай это своей бабушке! — закричал Лазар. — Домобраны сразу сдаются. Разве домобраны жгут и убивают?

Солдат молчал.

— Кто сжег все эти села?

— Не знаю. Не мы. Мы не жгли и не убивали, честное слово.

— Сколько вас?

— В нашем здруге около четырех тысяч солдат.

— Отведите его в штаб батальона, — сказал Лазар. У него

пропало всякое желание допрашивать пленного. Он не мог поверить, что этот тощий юнец, совершенно осипший от страха, частица той армии, которая вот уже столько дней подряд заставляет его, Лазара, отступать на восток.

После нескольких удачных атак партизаны все же вынуждены отступить. Отходили медленно, шаг за шагом, бились за каждый клочок земли. Они остановились только у подножья Козары. Здесь, на берегах Млечаницы, решили драться до последнего. Дальше отступать было некуда.

За спиной — Козара, партизанские убежища, штабы, госпитали, склады, хижины крестьян, пришедших сюда целыми семьями, с домашним скарбом, со скотом. Огромный лагерь, десятки тысяч обездоленных, оставшихся без крова. Все свои надежды беженцы связывали с партизанами, с исходом битвы. Если партизаны отстоят горы, все эти горемыки смогут вернуться к своим пепелищам.

И партизаны, защищая Козару, помнили об этом. Понимал это и Лазар, семья которого тоже скиталась в долине Млечаницы. По дорогам и тропам у него за спиной сплошным потоком двигались люди: одни устраивались поблизости на лесных полянах, другие не задерживались, торопясь уйти как можно дальше на восток. К счастью, тапки не появлялись. Не было и прорыва неприятельских сил ни со стороны Приедора, ни от Дубицы: наступавшие с юга остановились около Паланчишта и Похарица Брда, а те, что двигались с севера, стояли у Крупковаца. Проход на Козару был свободен.

День и ночь в лагере беженцев горели костры. Самолеты сбрасывали на них бомбы. Был отдан приказ не жечь костров. Народу разъясняли, что они указывают противнику местонахождение партизан. Этот приказ, естественно, мало кто исполнял. Как назло, ночи были холодные, зарядили дожди, и даже самые надежные крыши, сооруженные из ветвей и листьев, не могли защитить от ливня. Надо было хоть как-то обогреться, печь хлеб, варить похлебку или кашу, нужно было жарить кусок мяса; резали овец, поросят, не жалели расстаться даже с последним ягненок.

— Лучше зарезать, чем злодеям оставить, — говорил крестьяне. Забивали скот и мясо делили на всех, потому что каждый знал, что и сосед не оставит его без помощи в тяжелый час. Огромный лагерь продвигался к горному массиву, делая лишь кратковременные остановки. С каждым днем он все более приближался к Козаре, которая с давних времен давала приют беженцам, гайдукам и повстанцам.

Десятки тысяч крестьян оказались в тылу партизан. Надо было задержать врага и защитить народ. И партизаны, так ска-

ривал в бинокль позиции. Казалось, сама перерытая снарядами земля взывает к нему, просит и заклинает, чтобы он со своей ротой не отступил с этой опушки. Другого выхода нет. Ему хотелось закричать в ответ ей, что они обязательно выдержат, они сделают все, что в их силах. Пустим в ход камни, колья и топоры, а если не поможет, ворвемся в окопы и будем душить их руками, выковыривать им глаза, грызть зубами, пить их кровь, они это заслужили...

— Командир, вот твой сынишка, — Лазар вздрогнул и оторвался от бинокля.

— Ложись, чертенок, убьют! — закричал он мальчику, который шел с высоко поднятой головой. — Ложись, дурень, слышишь? — и замахал ему рукой.

— А чего сам не ложишься? — Щеки мальчишки покраснелись, глаза горели.

— Тебя еще тут недоставало! Зачем пришел, Бошко?

— За винтовкой, — сказал невозмутимо Бошко. — И еще башмаки давайте, холодно все время босиком.

— Тогда ступай вон туда, — сказал Лазар. — Там у них в окопах есть и башмаки и сапоги. Иди отбери у них, что тебе надо, — шутил он, глядя мальчика по голове и прижимая ее рукой, чтобы она не торчала из-за кустов.

— Там, что ли? — сын показал на линию фронта.

— Там, — подтвердил Лазар.

— Ну, я пошел, — спокойно сказал мальчик и быстро зашагал вдоль опушки.

Далеко не уйдет, сейчас вернется, думал Лазар, по мальчик, видимо, воспринял его совет всерьез. Пригнувшись, он бежал в сторону окопов.

— Бошко, пазад! — закричал Лазар, но мальчик даже не обернулся.

Он уже выбежал из перелеска и припустил по открытому месту, через котловинку и ячменное поле. Его почти не было видно, среди колосьев мелькала только голова. Он подскакивал, спотыкался, приседал, снова выпрямлялся во весь рост и продолжал бежать вперед, к окопам.

— Если его заметят — конец, — сказала Эмира.

— Командир, я попробую его прикрыть, — сказал Райко, устанавливая на прицел.

— Давай, Райко! — закричал Лазар. — Бей по окопам!

— Дядя, я побегу к Бошко, — сказал малый.

— И я, — отозвалась Эмира.

— Ты остаешься здесь, — сказал Лазар. Ему стало не по себе: словно уже предчувствуя кровь, санитарка рылась в сумке с бинтами.

— За Косово, за Бошко Юговича! *

— Огоны! — закричал Лазар, не спуская глаз с мальчика, бежавшего по полю.

— Не заметили! — крикнула Эмира.

— Ну, я ему задам, пусть только вернется, — Лазар не отрываясь следил за черной головенкой, которая мелькала среди ячменя. Бошко, наконец, кажется, что-то сообразил и пополз. Это обрадовало Лазара.

— Огонь по окопам, — командовал Лазар, уже уверенный, что с той стороны мальчика не заметили. И вдруг выскочил из кукурузы рыжий жеребенок. Он остановился перед самым окопом в недоумении, одурев от пальбы, постоял немного, а потом повернулся и поскакал назад.

Бошко не было видно. Он затерялся в ячмене, как птенец, вышедший из гнезда...

11

Он шел вдоль Млечаницы по разъезженной, в колдобинах проселочной дороге, по которой уже протопало множество ног, оставив следы тяжелых солдатских сапог, набоек, шпиров, босых ступней и копыт. Он шел вдоль грязно-рыжей, набухшей от дождя горной реки, которая вырывала с корнями пни, увлекала за собой стволы и ветки деревьев и даже ворочала камни.

Без единого моста, без удобных переправ, озаренная сверху солнцем, Млечаница рассекает горы и образует долину, заросшую лесом, кустарником и высокой травой. По ту и другую сторону насколько хватает взгляд простираются сине-зеленые стены: молчат леса, замерли стройные стволы, густые ветви, мощные кроны, лишь кое-где среди темной зелени сверкают желтовато-белые зонтики цветущих лип...

Откуда на Козаре липы? — думает Лазар, но не решается спросить об этом вслух. Откуда буки, ели, сосны, оттуда и липы! Он поворачивается к черноглазой девушке. Она в форменной гимнастике, перетянутой ремнем.

— Как думаешь, Анджелия, сумеем мы набрать парней? Нам надо тридцать человек.

— Если надо, наберем хоть сотню, — говорит Анджелия, но лицо ее не светлеет, даже становится еще мрачнее.

Почему она всегда такая строгая? Почему никогда не улыбнется? Почему всегда молчит, будто только что похоронила

* Один из братьев Юговичей — легендарный герой битвы на Косовом поле.

отца? Ей не больше восемнадцати, по выглядит она старше и серьезнее самого командира Жарко, и товарищи в шутку говорят, что им надо поменяться местами: пусть Жарко руководит молодежью, а Анджелиня командует батальоном.

Он хотел спросить ее, почему она никогда не смеется, почему не взглянет ласково на кого-нибудь из его молодцов, но не посмел. Он знал — Анджелиня шутить не любит, а если разозлится, может и по щеке дать. Всегда серьезная, все о чем-то думает. А вдруг она такая и должна быть, потому что член СКМЮ. Но другие девушки тоже скоевки, а и шутят, и улыбаются, и, наверно, даже целуются с парнями по почам, в темноте, когда никто не видит.

— Анджелиня, ты откуда родом?

— Из-за Планиницы.

— А родители живы?

— Живы.

— А где они, здесь, в лесу?

— Не знаю, — говорит Анджелиня.

— Надо бы порасспросить, где они.

— Это не мое дело, — отвечает Анджелиня.

— Ну зачем ты так? — Лазару хочется, чтобы она хоть на минуту смягчилась.

— У тебя есть еще вопросы? — Анджелиня останавливается посреди дороги, не скрывая раздражения.

— Не сердись ты, ради бога, — улыбается Лазар. — Я, кажись, тебя не обидел?

— Не обидел, но ничего и путного не сказал, — рубит Анджелиня. — Комитет по обороне Козары во главе с Шошней заботится обо всех беженцах, позаботится и о моих, если они здесь. А у меня другие обязанности.

— Знаю, знаю, — бормочет Лазар, смутившись, и переводит разговор на другую тему. — Мне бы хотелось набрать побольше молодых парней. Все-таки парни лучше воюют.

— Их в первую очередь и будем брать, — говорит Анджелиня. — Молодежи тут полно.

— Я надеюсь, мы их сагитируем.

— Для того и идем, — говорит Анджелиня.

На этом разговор и обрывается.

Анджелиня шагает сосредоточенная и мрачная, словно внутри ее происходит какая-то борьба со страшным противником, борьба тяжелая и мучительная, а Лазар рассматривает окрестные леса.

Он не раз бывал в этих лесах, с тех пор как повесил на плечо винтовку: сначала с Младенем, в сорок первом, как только началось восстание, когда враг разгромил крестьянские за-

ставы вокруг городов и загнал партизан в горы. Тогда эти горы их спасли. Позднее они проходили здесь зимой вместе с другими частями. Тогда напали на Подграце и захватили более ста карабинов. А потом их отряд атаковал противника в Мраковице, уничтожил гарнизон в несколько сотен солдат и забрал первые минометы. И каждый раз, когда он попадал в эту долину, Козара казалась ему неприступной и величественной.

— Вон они! — воскликнул Лазар, заметив в роще людей. Он видел войлочные шляпы, папахи, кепки, платки и шали. Тут были и женщины и мужчины. Издали казалось, будто они шепотом о чем-то договариваются.

— Что делаете? — спросил он, хотя теперь уже ясно было, что одни из них подносят ветки и бревна, а другие рубят деревья.

Люди строили себе жилища: забивали столбы, прилаживали перекладины и балки, из веток плели стены, оставляя лишь щели вместо дверей. Домикки были похожи на шалаши, какио на случай дождя устранивали себе пастухи в горах. Правда, эти хижины были побольше и крепче.

Таких жилищ было уже довольно много: и справа и слева от него, на склонах у реки, на лужайках, поросших конским щавелем, белели вбитые в землю свежеструганные колья и виднелись лачуги, не обмазанные и не беленые, крытые вместо черепицы ветками и листвою. Перед хижинами и даже иногда внутри их горели костры. Колыхались язычки пламени, через листву пробивался дым, а вокруг очага жались ребятишки, сидели женщины. Над огнем висели на цепях котелки, струился горячий пар.

И где только они достали эти цепи?

Он обратил внимание на счастливое, улыбающееся лицо ребенка: малыш держал в руках огромный кусок жареного мяса и ел жадно, без хлеба.

— Как у вас с харчами? — спросил Лазар крестьянина в порванной шляпе.

— Пока есть у одного, и другим хватает, — ответил крестьянин. — Только вот соли нет.

— Делите, что ли, еду-то?

— Делим. Сегодня, к примеру, я режу скотину и несу соседям, а завтра сосед режет свою и дает нам. Слава богу, не перевелись еще и овцы, и телята, и поросята.

— Сколько сможете выдержать?

— Да кто его знает... Неделью продержимся, а там... Ты мне лучше сам скажи, долго ли еще продержатся эти гады?

— Мы их одолеем обязательно, — ответил Лазар. — Всех

перебьем, но не могу сказать, за сколько дней, больно уж много их, братец ты мой.

— Всыпьте же им, паразитам, как следует, чтоб им пусто было.

— А мы так и делаем, — отвечал Лазар, подумав, что настал удобный момент заговорить о добровольцах. — Но помогите нам и вы, люди: мне нужно тридцать добровольцев.

— Вечно тебе не хватает людей, — сказал крестьянин в порванной шляпе. — Неужто все еще мало? А просить нас незачем. Только что здесь был какой-то товарищ и читал приказ Шоши. Призывает идти в отряд.

— Чего же вы не пошли?

— Пошли, кто помоложе, и мы хотели, но он сказал, что мы уже старые. Сохрани боже и помилуй наших сыновей...

— Бога нет, товарищ, — сказала Анджелня.

— А помолиться-то не худо, дочка, — сказал крестьянин. — Надо с каждым по-хорошему обращаться, а с богом и подавно, даже если его нет.

— Я тебе говорю — нет бога, — отрезала Анджелня.

— Я этого не знаю, а только так думаю: и дождь ни с того ни с сего из неба не польется и гром не загремит, пока кто-то не распорядится.

— Послушай, товарищ, а куда пошел тот, что собирает людей? — спросил Лазар.

— К Саставцам. Там вроде бы будет митинг.

— А далеко Саставцы? — спросила Анджелня.

— С час ходу, — ответил крестьянин.

— Там и наши, — сказал малый, который до сих пор молчал, так как побаивался Анджелни. — Они там себе хижинку у ручья поставили.

— Ты должен выступить на митинге, — сказала ему Анджелня. — Такой малыш, от горшка два вершка, а с винтовкой на плече — самая лучшая агитация.

— Зря ты его обижаешь, — улыбнулся Лазар. Паренек надулся и шагал молча.

— Выступит, выступит, — повторила Анджелня.

А малый и не отказывался. Он был жилистый и тощий, совсем еще мальчишка, и вправду от горшка два вершка, по всегда с винтовкой, которая была к тому же больше его самого. На ногах — огромные башмаки, спятые с пленного. Чтобы они не спадали, он надевал толстые шерстяные носки, в которых уже развелись вши, да накручивал еще и портянки. Малый был самый щуплый, самый тощий и самый молодой боец в роте Лазара и его любимец.

— Ух ты, во народищу! — воскликнул он, заметив табор в лесу.

По обе стороны Млечаницы, на склопах среди деревьев, кроны которых зачастую служили им единственным кровом, копошились десятки и сотни семей с повозками, лошадьми, коровами, волами и овцами. Стучали топоры. Мужчины устраивали жилища, подносили ветки и жгли костры, женщины варили еду и пекли лепешки из кукурузной муки, предусмотрительно захваченной с собой, дети возились, шумели, играли или хныкали.

Люди жили под открытым небом. От дождя защищали их крыши из листвы и веток, набросанных на тонкие жердочки, только что срубленные в лесу. Но такие крыши быстро протекали.

Однажды, рассказывал малый, он пришел сюда навестить мать, улегся в хижине и заснул. А ночью хлынул дождь: он сразу же просочился сквозь ветки, с крыши потекли ручейки, огонь погас, и ливень обрушился на спящих. Все повскакали как ошпаренные; негде было укрыться, а дождь беспощадно хлестал по голове, по телу. Как назло, подул холодный ветер. Он сорвал с крыши мокрые листья и обрушил на людей целые потоки воды. Дрожа от холода, все устремились к огромным кострам, зажженным под открытым небом. Бросали дрова, пни, ветки. Каждый старался пробиться поближе, чтобы хоть немного обогреться и обсушиться. Ливень бушевал целую ночь, ветер выл, ломал деревья и стогнал набухшие водой тучи.

— Жалко лошадей, им тут нечего есть, — сказал Лазар, глядя на скот, который в поисках еды слонялся возле реки и в кустарнике. Овцы щипали листочки и притоптанную траву, что-то жевали вола, а кони стояли, опустив гривы, и время от времени вяло поднимали головы и смотрели голодными глазами, будто ожидая пучка сена.

— Дядя, а там что?

— Кто-то умер.

— Кого хоронят? — спросила Анджелия какую-то девушку.

— Дядюшку Симо, — сказала девушка.

Они приблизились к толпе, впереди которой шел человек с наспех сколоченным крестом в руках. Палки были грязные, кое-как обструганные, на них еще оставались куски коры. Люди шли молча, погруженные в свои думы. Ни плача, ни причитаний. Только шум шагов. Иногда хрустнет ветка под башмаком да из-под чьей-нибудь ноги отскочит камешек и сорвется в воду.

— От чего он умер?

— От горя, — ответила девушка, которую они встретили

на тропинке. — Убили с самолета его единственного сына. Как отец взглянул на мертвого сына, так с горя и умер.

Люди шли недолго. Остановились возле реки, метрах в пятидесяти от хижины, в которой старик провел, вероятно, свои последние часы и из которой вынесли его тело. Могила была уже выкопана; из земли торчали перерубленные заступом корни. Трава затоптана, в грязи. Покойника поднесли к могиле и без гроба опустили в землю. Ни попла, ни отпевания. Все молчали. Двое стариков перекрестились, сняв шапки. Какая-то женщина завопила. Кто-то сказал:

— Помилуй, господи, и его и нас. Не так бы надо похоронить, но по-другому не можем.

— Пусть пухом будет для него земля.

— Ой, Симо, Симо, на кого ж ты нас оставил! — причитала женщина.

Покойника закопали и направились обратно.

На маленьком холмике желтела свежевыкопанная земля и в ней крест. Взглянув на склон горы, Лазар заметил вереницу девушек, юношей и женщин. Они шли к реке, неся на плечах носилки. Раненые лежали на плащ-палатках или простынях, прикрепленных к толстым палкам и шестам. Люди шли парами: двое сзади, двое спереди. Тропинка была крутая и очень узкая. Они спотыкались и скользили, но ношу свою не выпускали. Лежавшие на носилках, не поднимая головы, стонали. Слышались тихие и слабые голоса:

— Товарищи, потише...

— Осторожнее, спина переломится...

Кто-то ругался, кто-то от боли скрежетал зубами.

— Откуда вы их несете? — спросил Лазар.

— Из монастыря Моштаницы, — ответила девушка. — Помогите, товарищи.

— Даница, это ты? — воскликнул Лазар. — Как ты сюда попала?

— Не спрашивай, папа, лучше подмени меня, — сказала Даница.

Он подставил плечо, но Даница уже передумала и не выпустила носилки. Через силу улыбнулась:

— Не надо, папа, я еще могу. Раз другие могут, и я смогу! Был у наших?

— Нет. А где они?

— Вон там, в Саставцах.

— Я как раз туда иду, — сказал Лазар.

Повсюду вдоль Млечаницы, забираясь поглубже в лес, копошились люди и клубился дым. Костры пылали, дым застревал в ветвях и клочьями прорывался в небо.

— Да Бошко.

— Ну как же, вернулся, герой, и всем рассказывал, как ходил на бункер. Говорит, разбежался и не заметил, как очутился перед самыми окопами, а солдаты, мол, начали по нему стрелять, но пули его не брали. И еще, говорит, наткнулся в поле на убитого солдата, снял с пего винтовку и сумку с патронами, а ботинки, мол, снять не смог, потому что мертвец окоченел и ноги у него не сгибались. Правду говорит, мошенник?

— Правду, — сказал Лазар.

— Я с ним вместе был, — сказал малый. — Точно, взял карабин, а сам едва удрал.

— Весь в Бошко, в прадеда, — сказал Новак.

— А как мать?

— Зайди, повидайся с ней.

— Времени нет.

— У тебя вечно его нет. Мы недалеко.

— В другой раз, старик. Некогда.

— А она расстроится, если узнает, что ты тут был. У нас все хорошо, слава богу, здоровы и не голодаем. Зерно есть и овец режем. Нет, правда, солп и муки, но кто об этом теперь вспоминает? Можно и так прожить... А твоя сноха, малый, вот-вот родит.

— Интересно, кто будет, мальчик или девочка?

— Дай бог, чтоб был здоровый, а мальчик или девочка, все равно.

— А что Джюрадж? — спросил Лазар.

— Да он теперь комитетчик, — улыбулся Новак. — Все ходит от сельбища к сельбищу, помогает молодым бабенкам да вдовушек навещает. Никогда ему лучше не жилось. Столько мяса жрет, что опять два раза осрамился.

— А моя мама как? — спросил малый.

— Все о тебе сокрушается. Без конца твердит, что больно ты молод еще, что слабенький и что дурень, зазря жизни лишишься.

— Это мы еще посмотрим, — заметил малый. — Ты ей передай, что у меня все хорошо, пусть не беспокоится.

— Идем, — сказал Лазар. — Передай, старик, привет всем нашим и берегись самолетов.

Новак стоял, опершись на палку, и смотрел им вслед. Он не сводил глаз с сына, сравнивал его с героями народных песен: широкоплечий, ноги длинные, шагает решительно, да и офицерская форма, снятая с убитого врага, сидит на нем ладно.

— Счастье, что у меня такой сын, — прошептал он, когда Лазар скрылся за деревьями. Потом старик повернулся в ту

сторону, где остались бабка Симеуна, Даринка и внуки, и пошел к ним.

— Привет, Скендер! — громко поздоровалась Анджелия, пожимая руку высокому, статному мужчине в деревенской куртке.

Они присоединились к Скендеру. За ним, перешептываясь, шли юноши, девушки и женщины.

Народ быстро прибывал. Толпа волновалась, покачивалась. Слышались оживленные разговоры. Люди были одеты по-разному — в домотканые пиджаки, кожухи, а то и в мундиры, принадлежавшие ранее полицейским. Мятые шляпы, крестьянские шапки и шахтерские кепки, сдвинутые на затылок, кое-где папахы и даже жандармская фуражка, линялая и заплатавшая, драные штаны, протертые локти, босые ноги — все говорило о лишениях, бедности, нищете. Но люди казались счастливыми: никто не унывал, не отчаивался. В своих отрепьях они выглядели веселыми, крепкими, полными сил...

Скендер прочитал приказ Шоши о всеобщей мобилизации. Лазар шагнул в толпу.

— Кто ко мне? Подходи сюда!

— Нам пужны парни, — сказала Анджелия.

— Почему это парни? — спросил женский голос. — И мы пойдем. Возьмешь меня, Лазар, будь ты неладен?

Он узнал голос.

— Анджелия, пиши меня — Лепосава Мачак идет на фронт.

Это была Лепосава, вдова, все еще красивая, несмотря на перепесенное горе. Лазар частенько думал о ней, особенно по ночам, когда его одолевала тоска.

— Подожди, Лепосава, — сказал Лазар. — Сначала мы запишем мужиков, а если не хватит...

— Хватит их или не хватит, а я иду с вами, — решительно отвечала Лепосава. — Сил нет смотреть, как вы отступаете. Докуда же бежать будете, горе мое горькое? Если вы не можете их одолеть, одолеем мы, бабы, вот те крест... Так, что ли, бабы?

— Твоя правда, Лепосава!

— Пойдем воевать?

— Пойдем, Лепосава!

— Товарищ, ты меня записал?

— Пиши и меня, товарищ, да сохранил господь твою руку.

— А ты знаешь, кто пишет? Это же турок!

— Да хоть и турок! Пиши, турок!

— Записывай и меня, благо твоей земле Скендербоговой...

— И меня, Скендер!

— Подождите, люди, не все сразу, — сказал Скендер медленно, как бы с трудом произнося слова, словно целую ночь он ворочал колоды. — Встаньте в очередь и подходите один за другим.

— Ой, люди, неужто это и впрямь турок?

— А как же, я его знаю. А ты что, поговору не слышишь?

— Как тебя зовут, товарищ?

— Трбулин Мирко.

— Иди к Лазару. А тебя как, парень?

— Божо Вукота.

Список рос, а добровольцы все подходили. Просплись и женщины, но Анджелия им объясняла (точно сказать — внушала), что пока такой надобности нет. Если будет необходимость, комитет по обороне Козары — товарищ Шоша и товарищ Словенец — сообщат об этом народу.

Лазар был доволен; он построил добровольцев по двое, подравнивал их, пересчитал. Бойцов было достаточно. Он мог пополнить не только свою роту, сильно потрепанную во время последних стычек, но передать часть бойцов и другим и уже представлял себе, как доложит командпру Жарко радостную весть о приходе добровольцев. Они сразу же получают винтовки, оставшиеся после погибших товарищей и добытые в боях.

Но что это?

Навстречу ему под конвоем ведут двоих бойцов, одетых в солдатскую форму, но без оружия и со связанными руками.

— Мон, — сказал Лазар. — Елисавац и Ступар. Но почему их связали? Что случилось? Вы что натворили?

Связанные опустили головы.

— Сбежали, — смущенно объяснил один из сопровождавших, словно он и сам в чем-то провинился.

— Сбежали? — Лазара передернуло. — Сбежали? — Он не верил собственным ушам. — Это правда, что вы сбежали, черт бы вас побрал?

— Правда, — сказал Елисавац.

— Как же это, сто чертей тебе в глотку?!

— Я бы не побежал, товарищ командир, — бормотал Елисавац. — Не побежал бы, чтоб мне сдохнуть, если б Згонянин не удрал.

— Его расстреляли, — сказал один из сопровождающих.

— Расстреляли? Кто его расстрелял?

— Шоша, товарищ командир. За дезертирство, — пояснил конвоир равнодушным голосом. Арестованные стояли молча, понурясь. — Згонянин первый побежал с позиций.

— Подожди. Пусть эти пройдут, — показал Лазар на повобранцев. — А ну, уступите дорогу! — крикнул он дезерти-

рам. — Проходи, проходи, — он торопил добровольцев, которые с любопытством глазели на арестованных. — Теперь говори, — сказал Лазар, когда добровольцы прошли.

— Згонянин, как увидел танки, так и побежал, а за ним и эти двое. Хамдия им кричал: «Назад! Стрелять буду!» Они его не слушают и все бегут, пока не наткнулись на Шошу. Он как рявкнет: «Стойте! Стреляю!» Они остановились. «Почему бежите?» — спросил он Згонянина, а тот отвечает: «Товарищ Шоша, эту силущу нам не одолеть». Шоша опять закричал: «Что ты сказал, трус?» А Згонянин опять: «Не одолеем мы эту силу». Шоша выхватил револьвер и выстрелил. Згонянин и упал, а Шоша закричал: «Сможем мы одолеть эту силу?» А сам смотрит на Елисаваца, а Елисавац сказал: «Я думаю, товарищ Шоша, что сможем». А Шоша опять кричит: «Чего же ты тогда побежал?» А Елисавац говорит: «Да и сам не знаю, как получилось». Шоша приказал ему сдать оружие. Тот снял винтовку. «Можно одолеть эту силу?» — спрашивает Шоша и Ступара, который стоит подле Елисаваца. Тот тоже отвечает, что можно. «Сдай оружие!» — крпкнул Шоша, а потом приказал обоих отвести сюда, в штаб.

— Так было дело? — спросил Лазар.

— Так, — сказал Елисавац.

— И почему он только вас не застрелил, трусы окаянные! — негодовал Лазар. — Осрамили перед Шошей и меня и своих товарищей. Кончайте сами с собой, шкуры! Плюнуть на вас и то противно! Попались бы вы в руки нашим бабам: до смерти бы вас палками заколотили, да еще и в грязи бы истоптали.

— Товарищ командир, нам пора.

— Позовите Лепосаву, — приказал командир, — она с них заживо кожу сдерет.

— Я не могу этого допустить, товарищ командир, — возразил один из сопровождавших. — Я не могу отдать их на расправу женщинам, Шоша приказал их доставить в штаб.

— Ну и веди, чтоб они сдохли.

Лазар считал, что допустил большую ошибку — покинул передовую, вместо того чтобы послать за добровольцами Хамдию или Ивана.

Я не имел права оставлять роту. Будь я там, ничего бы этого не случилось, укорял он себя, шагая за колонной добровольцев. Мать честная, как же я теперь покажусь на глаза Шоше? Он еще раз оглянулся. Дезертиры еле плелись, словно шли к собственной могиле.

Стройся, Шоша идет! Подтянуть ремень, застегнуться на все пуговицы! Шоша идет. Приготовить оружие, поправить ранец, Шоша идет. Голову выше, разговоры отставить. Шоша идет.

— Рота, смирно! Направо равняйся!

К строю бойцов стремительно приближался человек в безупречно сидевшей военной форме, с острым, прощипательным взглядом. Лазар уверенным шагом пошел ему навстречу.

— Товарищ Шоша, рота к бою готова, — рапортовал он. — Двести двадцать бойцов, десять ручных пулеметов, два ротных миномета. Вчера двое бойцов погибли и двенадцать рапено.

— Вы их вынесли?

— Всех вынесли, товарищ Шоша. При этом погиб боец Шурлан Петар.

— Сколько добровольцев получили впитовки?

— Тридцать два, товарищ Шоша. Остальных направил к Банияцу и к Филипповичу, а также в штаб батальона.

— Товарищи, смерть фашизму! — крикнул Шоша.

— Свобода народу! — грянула в ответ рота.

— Вольно, — сказал Шоша.

— Стоять вольно! — скомандовал Лазар так громко, что дрогнула листва на деревьях.

Тогда начал говорить Шоша. Он описывал положение, сложившееся в данный момент на Козаре. Рассказывал о ситуации на фронте, о размерах неприятельских сил, которые все прибывают и продолжают наступать, несмотря на большие потери. Говорил о самоотверженности партизан, о жертвах...

Лазар с трудом улавливал смысл его слов, которые сегодня как-то отскакивали от него, не доходили, как прежде, до самого сердца, хотя говорил тот самый Шоша, прославленный командир. Идя навстречу Шоше, он не испытал пычки того радостного подъема, который всегда вызывал в нем приезд командира. На этот раз он чувствовал страх и стыд, он рад был сквозь землю провалиться.

— Товарищи! — говорит Шоша.

Напрягая все свое внимание, Лазар старался следить за его словами, уловить их течение, понять смысл. И хотя это было не трудно — Шоша говорил простым и понятным языком, — Лазару казалось, что это говорит кто-то чужой, почти враг, и что слова его как-то мешаются и тяжким грузом давят на сердце. Он все ждал, что с минуты на минуту услышит самое

страшное, самое постыдное. Вот сейчас, сейчас Шоша это скажет — наверное, приберег под конец.

— Товарищи! — говорит Шоша.

Тот ли это Шоша, веселый, стройный и красивый, одетый как господин — в черном костюме и модных туфлях, который появился как-то с тросточкой в руках на горе Пошта, в роще за домом Лазара? Его провожали шахтеры Гойко Шурлап и Младжо Граонич. Лазар, приминая траву и раздвигая кусты, пошел им навстречу. Уж не агент ли это? Так не одевается ни один человек в округе. Не крестьянин, да и не шахтер, явно пришлый какой-то. Лазар поздоровался с шахтерами за руку.

— А со мной не хочешь? — улыбаясь, спросил незнакомец. — Здравствуй, товарищ.

— А кто ты такой? — Лазар смотрел ему прямо в лицо, а Гойко и Младжо объяснили, что это свой человек, приехал из города и останется здесь, в лесу, потому что скрывается от усташей. Они не сказали, как его зовут и откуда он родом, но Лазар и не спрашивал, потому что речь шла о человеке, за которым охотятся усташские ищейки. Они хотят его выследить, схватить, связать и отправить в тюрьму или на казнь. Уж конечно, он из ученых (как Вукашин Чук, его сосед, бывший студент, поручик испанской революционной армии), такие задают немало хлопот усташам, да и власти их остерегаются. Лазар искоса приглядывался к чужаку, а тот все расспрашивал об усташах, о крестьянах, о шахтерах. У него был какой-то странный выговор, в их краях так не говорили. Это настораживало Лазара, даже вызывало подозрение. Но Гойко и Младжо просят Лазара помочь пришельцу: накормить его, устроить на ночлег в своем сарае, а завтра до рассвета проводить в лес на условленное место, где его будут ждать. Лазар не возражает, хотя на душе у него тревожно: боится обмана, подвоха, опасается, нет ли здесь ловушки (кто этот человек — серб или католик?), но соглашается и спрашивает пришельца, не голоден ли и что ему еще нужно.

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, а о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, что в июле прошлого года среди бела дня вышел из леса и направился прямо к дому Лазара? За ним тогда шли наиболее уважаемые в селе люди. Некоторые из них имели винтовки с примкнутыми штыками. Лазар узнал Симу Ивановича, Лазу Десницу, Джурджу Трамошлянина, Милоша Вуяновича и других и только тут заметил, что его знакомый тоже вооружен — на поясе у него револьвер и гранаты. «Есть у тебя винтовка?» — спрашивает он, а Лазар тянет с ответом, потому что еще не все решил. «Бери винтовку и

пойдем с нами на Лешляны», — говорит пришелец. Он будто даже удивлен, что Лазар молчит, чего-то ждет. «Идем, нечего раздумывать», — он хлопнул его по плечу и указал, куда надо идти. И зашагал, а за ним остальные. Шоша идет все дальше, не скрываясь, прямо посередине дороги, проходит заросли, выбирается по откосу под Поштой, идет по самой опушке леса, и все идут вслед за ним. И Лазар слышит, как они ему кричат, чтоб не забыл взять ружье, а если нет ружья, пусть захватит топор, рогатину, вилы, косу, грабли или просто дубину. «Начинаем восстание!» — кричат они Лазару на ходу, и он спешит в хлев, расчищает под яслями яму, вытаскивает ящик, открывает крышку и вынимает карабин, который спрятан здесь еще в апреле, когда вернулся домой после капитуляции Югославии. Он спешит вслед за всеми, подтягивает ремень винтовки, выбирает из патронташа пули, заряжает на ходу.

— Товарищи, — говорит Шоша, обращаясь к бойцам, но о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, что с револьвером в руке смело ведет повстанцев на Лешляны среди бела дня, на виду у неприятеля? Идет Шоша на усташей, гремят выстрелы, Душан Машала падает мертвый (а еще раньше, почти возле дома, пал Вукашин), потом погибают Марин, и Павич, и другие, но Шоша идет дальше. Шоша поднимает шахтеров, Шоша возвращает в строй спасовавших и ведет их в атаку, бросается на здания с толстыми бетонными стенами, где засели усташы. Здания крепкие, каменные стены неприступны, но Шоша командует «вперед» и сам идет первый, а за ним крестьяне, бойцы и солдаты, и те, кто никогда не служил в армии, никогда в жизни не слышал разрыва гранаты. Идут даже женщины и дети! А Шоша командует, и, хотя многие в первый раз его видят, все беспрекословно подчиняются ему: люди окружают здания, обороняемые усташами. Шоша подзывает к себе шахтеров и велит им принести ящики с динамитом, которым они подрывали угольные пласты в шахтах: пусть побыстрее песут динамит и заложат его в подвалы занятых усташами зданий. И шахтеры спешат (двое падают, смертельно раненные), тащат ящики с динамитом в подвалы или к стенам, киркой или штыком подкапывают землю, а то и просто оставляют ящики возле домов, потом поджигают шнуры и бегут в укрытия, чтобы их не засыпало обломками разрушенного здания. Падают дома, погибают под развалинами усташы. Падают дома один за другим, и умирают усташы среди развалин, но защищаются до последнего, и никто не сдается. А Шоша кричит, отдает новые команды: «Ищите винтов-

ки, собирайте боеприпасы!» И люди повинуются. И идут за ним.

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, а о десертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, осунувшийся, с пересохшими губами, который просит у матери Лазара Симеуны глоток воды, а когда она предлагает ему поест, только отмахивается. Он чудом остался жив, он измучен ночным боем, в котором потерял двенадцать своих товарищей. Ничего не поделаешь, где восстановление, там и потери, и кровь. Его клонит ко сну, но тут вбегает Лазар, весь позеленевший от ярости, и докладывает, что привел пленного. «Давай его сюда», — говорит Шоша, и Лазар приводит девочку в одной рубашонке. Она испугана, плачет, в глазах растерянность и ужас: связанными руками она пытается прикрыть лицо и натянуть кончик платка, а сама вся дрожит. Увидев Шошу, она начинает громко рыдать. «Зачем вы ее связали?» — спрашивает Шоша. «Это турецкий ублюдок», — говорит Лазар и объясняет, что схватили ее над Благам, где девочка пасла овец. «Надо ей как следует всыпать», — говорит Лазар, сверкая глазами. «А за что?» — спрашивает Шоша. «За то, что турчанка, а турки все усташи», — говорит Лазар, но Шоша его уже не слушает. Он приказывает развязать девочке руки, потому что дети, мол, не виноваты, даже если их родители злодеи. Он спрашивает девочку:

«Как тебя зовут, девочка?»

Но девочка молчит, недоверчиво озираясь.

«Ты не скажешь мне, как тебя зовут?» — опять спрашивает Шоша.

«Хайра», — отвечает девочка.

«А чья ты?»

«Мехмеда».

«Какого Мехмеда?»

«Мехмеда Благайчевича».

«А твой отец хороший человек?»

«Очень хороший, как хлеб».

«Он усташ?»

«Нет».

«Почему говоришь — нет? Разве ты знаешь, что такое усташи?»

«Знаю. Они ходят в форме, и на шапках у них большая буква «У», а мой папа не носит форму и никогда не носил».

«Иди домой и передай ему привет. Скажи, что ему посылает привет Шоша».

«Какой Шоша?»

«Ты только скажи, что ему, мол, посылает привет Шоша», — говорит Шоша. Маленькая Хайра удивленно смотрит на него, потом губы ее растягиваются в широкую улыбку.

Тогда Лазар впервые услышал это странное имя — Шоша, и все спрашивал себя, что бы оно могло означать и какой же все-таки он веры.

Тогда Лазар не посмел признаться Шоше, что совсем недавно выследил учителя Татомира, связал его и убил, как предателя за то, что тот еще до начала восстания перешел в католичество и тем самым опозорил сербский род и православленную веру.

— Товарищи! — говорит Шоша, по о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, который был в Деветацах, на горе Поште и на прусадских высотах? Вот он разговаривает с крестьянами, подбадривает и обещает оружие, которое должно прийти из России. Вокруг люди с топорами и рогатинами. Их уже сотни и тысячи: кто с вилами, кто с косой, кто с дубиной. Заняли оборону по холмам, держат фронт, ожидают усташей, которые выйдут из села вдоль железной дороги и продвигаются от рек Саны и Уны через Петковац, Сводну, Водичево, Дервини в направлении Прусцев, Раковаца и Лешляна. Беженцы рассказывают, что усташе перебили всех вурунских, лопчинских, зеличеуских и лазаревичких крестьян. Убивают каждого, кто попадет под руку. Режут и жгут, а сами в фесках: красные фески с усташским знаком «U». «Это турки», — говорят беженцы. Но Шоша слушает и спрашивает:

«Сколько там этих в фесках?»

«Да, братец, сотня четыре будет», — говорит крестьянин.

«Ты в этом уверен?»

«Конечно. Сам видел, как вижу сейчас это солнце на небе. Истинная правда, братец, все это турки из Благай. Вот придет время, перережем их, клянусь жизнью».

«А сколько, товарищ, в Благае жителей?»

«Сколько? — разводит руками крестьянин. — Сотня, может, и того меньше».

«А сколько там мужчин, таких, что могут воевать?»

«Откуда я знаю? Каждый седьмой, поди-ка, солдат».

«Сколько же тогда Благай может дать вояк? Если каждый седьмой солдат, тогда, по-твоему, выходит, на сотню солдат там должно приходиться семьсот жителей. Так, что ли?»

«Да вроде бы так».

«А если так, братец ты мой, — улыбается Шоша, — то Благай, в котором живет не больше сотни людей, никак не может

выставить четыреста солдат, даже если бы мобилизовали всех кошек и собак. Так, что ли?»

«Так, если не по-другому как. Уж не знаю, откуда в Благая эти четыреста усташей в фесках, но только видел их своими собственными глазами».

«Значит, это не благайчане, а просто усташа своим солдатам напялили фески на головы, чтобы такие, как ты, думали, что их жгут мусульмане из Благая. Вот так усташа и разжигают в народе ненависть к мусульманам».

«Чего ее разжигать, если я о турке и подумать не могу спокойно, будь он из Благая или еще откуда? Наше дело — истреблять их до самого судного дня. Надо отомстить за все беды да пожары, а там будь что будет».

И Шоша начинает терпеливо и подробно объяснять, кто такие усташа, какими средствами они пользуются и какую цель перед собой ставят; а кто такие в отличие от них партизаны и повстанцы, собравшиеся здесь, в горах, с винтовками и рогатками.

— Товарищи! — говорит Шоша, но о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, стремительный, злой, что своим орлиным взором отыскивает среди повстанцев шахтеров и приказывает им задержать хлынувшие по благайскому склону толпы народа, готовые вот-вот обрушиться на Благай, чтобы сжечь его и перерезать все население, чтобы отомстить усташам? Шахтеры пытаются отговорить народ, но толпа их не слушает, а катится вниз, к Благая. Тогда Шоша, отчаявшись, посылает двух или трех своих людей незаметно, кратчайшими тропками забежать вперед и, встретив эту ораву на склоне, сказать, будто они только что из Благая и сами видели на шоссе возле Саны огромное войско, которое недавно пришло на защиту села. Пусть они так и скажут: «Ежели сейчас нападём на Благай, никому головы не сносить, потому что нас это войско подкосит и повалит как снопы». Разгоряченная толпа останавливается, колеблется, начинает отступать, а некоторые, пригнувшись, уже бегут без оглядки. Итак, на этот раз человеческая волна отхлынула, а на следующий день вообще все меняется, ибо со стороны Нового, Благая и Добрлина действительно наступает большая армия, и стихийный крестьянский фронт рвется и ломается, и каждый начинает уже думать о своей голове...

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, но о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, что после прорыва крестьянского фронта в Лешлянах и под Добрлином собирает всех, у кого есть винтовки, то есть стрелков, разъясняет им, что битва не

проиграна, хотя повстанческий фронт распался и что именно теперь начинается настоящая партизанская борьба? Вместе с Шошей и Ивицей Марушичем стрелки отступают на Козару, за тридцать километров от родных сел, и собирают отряд под командованием Младена Стояновича. Некоторое время они не подают никаких признаков жизни, но однажды ночью вдруг грянули выстрелы возле волиньского железнодорожного моста, который связывал Боснию с Хорватией. После этого партизаны дают о себе знать почти каждую ночь: полыхают казармы и железнодорожные станции, рушатся телефонные столбы, взлетают в воздух рельсы и шпалы, а усташские и домобранские гарнизоны в Сводной, в Ометальце и в Стрпжне вынуждены сложить оружие. Армия Младена и Шоши растет, увеличивается число отделений и взводов, и ни одна ночь не проходит без стычек, стрельбы, а пленных партизаны проводят по селам и показывают крестьянам, поднимая свой авторитет в народе и подтверждая слухи о победах.

— Товарищи! — говорит Шоша, но о дезертирах ни слова. Тот ли это Шоша, теперь уже командир и заместитель Младена, к которому бойцы привели как-то пленных, осужденных ими на смерть? «Их надо расстрелять!» — решают партизаны. «Их надо прирезать!» — говорит взводный Раде Кондич. «Кожу с них надо живьем содрать!» — говорит Лазар, а Перо Босанчич уже вытаскивает нож, ожидая сигнала. Но приказ оказывается совсем неожиданным: Шоша, к удивлению многих своих бойцов, начинает говорить, что домобраны совсем не усташы, что это насильно мобилизованные крестьяне из Загорья, Славонии и Боснии, что вся домобранская армия состоит из людей, которых принудили взяться за оружие. Лучшим доказательством того, что домобраны отличаются от усташей, могут служить их винтовки. Стволы чистые, почти без пороховой гари, части пригнаны и сверкают как повенькие, винтовки хорошо смазаны, магазины полны, а это значит, что из винтовок не стреляли. Потом Шоша обращается к домобранам, стыдит их за то, что служат усташам и немцам, рассказывает о партизанах и целях партизанской борьбы, в которой плечом к плечу сражаются сербы, хорваты и мусульмане да и другие народы, все, кто хочет, чтобы страна была по-настоящему свободной. И наконец, приказывает пленным домобранам досыта накормить обедом, угостить их даже ракей и табачком, под конвоем отвести к Уне и на лодках переправить на ту сторону, в Хорватию. Пока домобраны обедают (они получают и хлеб, и похлебку, и мясо, и пирог, и сыр), у Лазара начинаются прямо кишки в животе, все внутренности сводит, а рука сама тянется к ножу и

к винтовке: он мечтает, чтобы его назначили сопровождать пленных. Он пойдет с ними к Уне и там, уловив момент, перебьет их всех до единого, как собак. Об этом же думают и другие, тоже рассчитывая, что их пошлют конвоировать пленников. И как нарочно, происходит именно то, о чем мечтает Лазар: Шоша приказывает препроводить пленников до Уны ему, черному Лазару, Перо Босанчичу и еще несколькими бойцами из тех, кто всех громче требовал немедленной расправы с домобранами. И они отправляются к реке Уне, доводят пленников до берега, но, боясь друг друга, не смеют учинить самосуд, а молча ищут лодки, загоняют в них солдат, отталкиваются и так перевозят их почти целую ночь на ту сторону, а потом возвращаются, укоряя по пути друг друга за то, что не сообразили этих собак утопить в реке. И им уже кажется, что они обманули самих себя и сами себе навредили, потому что стоит этим домобранам добраться до дома, как они снова возьмутся за винтовку и двинутся на Козару. Некоторые так и сделают, но партизаны их снова захватят в плен и снова не расстреляют, а отберут винтовки, боеприпасы, снимут форменную одежду, ботинки и даже рубахи, взамен дадут им свою драную, кишашую вшами крестьянскую одежку и рваные опанки из сыромятной воловьей кожи, которая на дожде раскиснет, станет похожей на сырую печенку и будет липнуть к ногам. Пестрая гурьба домобранов снова направится к Уне (или к Саве), чтобы переехать на лодках в Хорватию, добраться до дома, а вскоре, может быть, они снова получат оружие и снова принесут винтовки козарским партизанам...

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, а о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша — взволнованный и плачущий, который рассказывает о деморализации в домобранских частях? Перед строем Шоша читает письмо, полученное им из города. Одному товарищу удалось перехватить донесение генерала Румлера, который жалуется командующему армией Павелича Квартенки на разлагающее действие партизанской пропаганды.

«Когда партизанам удастся захватить значительное число домобранов, они произносят перед ними пропагандистские речи, кормят их, угощают сигаретами, перевязывают раны (если таковые имеются) и потом отпускают по домам. У убитых забирают документы и деньги и отсылают семьям на родину. Это производит на солдат такое сильное впечатление, что они в будущем оказываются непригодными для акций, направленных против буцтовщиков».

Тот ли это Шоша, строгий и непреклонный, который отправился в центральную Боснию вместе с козарской пролетарской ротой Симо Ивановича из Малой Жулевицы? Рота пролетарцев выступает в поход против четников Раде Радича и Лазы Тешановича, а Шоша спешит на совещание партийных работников в Скендер Вакуф. Зима, глубокий снег, дороги занесло, но пролетарцы идут и достигают нужной цели. По пути по приказу Шоши, усталые и голодные, они нападают на Крупну на Врбасе, и это после двух дней непрерывного марша по холоду и снегу. Крупну защищают двести пятьдесят усташей и домобранов, но налет партизан внезапен и яростен: недаром козарчане славятся песнями и воинской доблестью. Усташки бегут, бросаются в Врбас, тонут, семьдесят человек гибнет, а сто шестьдесят сдаются в плен. Шоша, не колеблясь, приговаривает их к расстрелу. Рота идет дальше и вскоре вступает в бой с четниками Раде Радича и Лазы Тешановича. В отместку четники убивают в Йошавке Младена Стояновича, славного, воспетого в песнях партизанского командира из Приедора, а затем перебьют еще два десятка козарчан, в среди них Симо Ивановича.

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, а о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша, заместитель командира Второго краинского партизанского отряда имени Младена Стояновича, который издает приказ о нападении на окруженный Приедор:

«Учитывая, что наши войска впервые занимают город с преобладающим мусульманским населением, предупреждаем всех ответственных товарищей, начиная от командиров и политических комиссаров батальонов и вплоть до командиров отделений, а также всех сознательных бойцов как старшего поколения, так и молодежь, что они должны вести себя надлежащим образом по отношению к неповинным мирным жителям. Любое проявление мести со стороны наших бойцов по отношению к мусульманскому населению будет расцениваться как проявление четничских настроений и предательство и караться так же, как грабеж, насилие, трусость и паникерство, то есть повлечет за собой расстрел на месте преступления. Наше поведение в городе должно быть достойным имени Младена Стояновича и всех наших погибших товарищей...»

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, а о дезертирах ни слова.

Тот ли это Шоша — нос с горбинкой, взгляд острый, походка стремительная, который как-то после атаки решает: «Лазар будет командиром, а Иван — комиссаром!» Лазар ходит в меховой шапке с кистью, на шапке пятиконечная звезда и маленький полосатый сербский флажок. Раньше он еще носил патронташ, набитый пулями, но потом снял. Шоша подходит к нему и говорит довольно резко: «Шапку можешь носить, а флажок и кисть сними. Оставь только звезду. Партизан носит пятиконечную звезду, а кто он по национальности — неважно». Чтобы Шоша не сомневался, Лазар тут же срывает с шапки кисть и трехцветный флажок и уже прикидывает, не заменить ли шапку кожаной фуражкой, какие до войны носили лещлянские шахтеры и которые все больше входили в моду среди партизан.

— Товарищи! — говорит Шоша, обращаясь к роте, но о дезертирах ни слова. Голос его сегодня какой-то иной, мягче и добрей, чем прежде. В голосе чувствуется усталость. Он закончил свою речь, а о дезертирах так и не сказал ни слова. И велел Лазару скомандовать «вольно».

— Рота, вольно! — скомандовал Лазар, счастливый, что Шоша не упомянул о дезертирах.

— Пошли, обойдем позиции, — говорит Шоша дружески. В его тоне нет ни раздражения, ни укора.

Лазар подтянул ремень, поправил бинокль (ох, и любил же он бинокль, всякие там ремни и ремешки!), извинился, что небрит. В последнее время совсем некогда бриться.

Но Шоша спросил:

— Згонянина похоронили?

— Да, в роще, — ответил Лазар.

И Шоша заговорил о дезертирах. Он умышленно не упомянул о них перед бойцами, чтобы не вызвать злость и раздражение. Это очень тяжело, больно и неприятно. Сказал, что выпущен был стрелять в Згонянина. Потом спросил, каков он был как боец.

— Ничем особо не выделялся, — сказал Лазар.

— Не выделялся, но и слабаком не был.

— Не выделялся, — повторил Лазар, потому что ничего иного не мог сказать.

— Объясни он все по-другому, я бы не стрелял, — вздохнул Шоша с грустью. — Первый раз я стреляю в человека.

— Стрелял и раньше, в боях, — возразил Лазар.

— Это совсем другое. Во время боя все стреляют, и никто не знает, чья пуля в кого угодит. Тогда стреляешь по врагам, а я убил своего.

— И я бы его убил, если бы рядом случился, — сказал

Лазар и раскаялся, ведь тем самым он напомнил Шоше о своем отсутствии: оставил роту без особых на то серьезных причин, как будто не мог послать в тыл кого-нибудь другого.

Но Шоша не спрашивал, почему он так сделал. Его лицо выражало страдание. Резко обозначились скулы, зубы крепко сжаты. Бледный, осунувшийся, с покрасневшими от недосыпания глазами, он казался разбитым и усталым, будто возвращался с кладбища, похоронив брата.

13

Женщины появились на позициях неожиданно. Нагрянули среди бела дня, едва Шоша успел уйти. Выбегали из леса, из-за кустов, выскакивали из оврагов. Толпой мчались в зарослях, как охотники, травящие зверя. Они неслись по лугам, кукурузным и овсяным полям, по склонам и долинам от Погледжева до Патрии, до Виса, до Долов.

Сначала он слышал их крик. Глухое, сдержанное урчание разозленной собаки. Безостановочный поток гнева, который ничем не в силах было удержать.

Он глядел и не верил глазам: мужчины словно бы совсем не было. Женщины в шaliaх, девушки в белых косынках и черных безрукавках — п хоть бы один мужчина! На него двигалась целая армия девушек и женщин. Сосчитать их было невозможно. Они почти бежали сплошной толпой, обгоняли друг друга; спотыкались и падали, но тут же поднимались и рвались вперед еще быстрее и неистовей. Виптовок не было. На плечах сверкали топоры, белели рогатины и колья. Видно, многие на ходу срубали молоденькие буки и дубки, превращая их в оружие.

Но больше всего было топоров. Наверное, каждая третья несла топор на длинном топорнице. Женщины поднимали топоры, и металл вспыхивал над их головами. Те, что шли с кольями, были похожи на древних воинов. Заостренные вверху колья напоминали копья. Они были тяжелые, сучковатые. При известной сноровке и силе в руках с этим оружием можно было идти и на медведя.

Никто не произносил ни слова. Лавина женщин приближалась стремительно, вой, стоны и плач угрожающе усиливались. И все же этот шум состоял, вероятно, из отдельных человеческих слов — отрывочных, скудных. Но их нельзя было разобрать. Слова были лишними.

Зачем говорить? Что сказать?

Дни, проведенные в лесу, под ливнями и бомбежкой, без крова, без очага, без хлеба, — разве эти дни не говорят сами за себя? Бессонные ночи, плач детей, вздохи и стоны обессиленных стариков и убитых горем матерей, причитания над умершими, которых хоронили в наскоро выкопанных могилах, а то и просто оставляли под открытым небом, — разве этим не все сказано?

— А ведь они хотят атаковать вражеские окопы, — почти испугавшись, сказал он, потому что толпа женщин была уже совсем рядом. Но почему днем? Почему не могут подождать ночи? Ведь их всех перебьют.

Он видел их лица, пылающие и бледные. Видел яростные, гневные, горящие глаза. Но явственнее всего он видел топоры и колья, поднятые вверх и устремленные на врага.

— Чего ждете, чума вас заешь? — голос показался ему знакомым, но укор, а может быть, ненависть и презрение, прозвучавшие в этих словах, помешали связать этот голос с какой-то знакомой женщиной. — До каких же пор будете им уступать, горе-вояки?

— Ложись сейчас же, убьют...

— Лучше уж сдохнуть, чем так жить, — отвечала женщина с топором. Она бежала впереди, как командир. — Что нам, сложа руки, что ли, сидеть да смотреть, как нас бомбы крошат да пушки мелют? Сидеть и смотреть, как помирают детишки? А вы бежите да отступаете, ждете, пока злодеи нас всех перережут!

— Да кто бежит-то, Лепосава?

— Твои бесстыжие бегут, — Лепосаву душили слезы, — Двоих вон уж провели по Млечанице, оружие побросали, — она провела ладонью по глазам. — Если вы не можете одолеть врага, одолеем мы, бабы. Не дадим ему прорваться на Козару. Так, что ли, сестры?

— Да чего разговаривать, Лепосава, пошли, — бросила на ходу покрасневшая девушка.

— Даница! — закричал Лазар. — Слышишь, стреляют! Ложись, убьют...

— Сам ложись, а мы пойдем вперед, — сказала Даница.

— Вы лежите, а мы пойдем вперед, — повторили вслед за Даницей сотни женских голосов. С топорами и кольями толпа устремилась к окопам.

— Идем за ними! — крикнул кто-то. — Чего стали? Почему не идете?

Это была Анджелия: строгая, как всегда, хмурая Анджелия. Она обернулась к Лазару, готовая броситься на него.

— Райко! — крикнул Лазар. — Пошли!

Он только сейчас заметил, как много было женщин. Вероятно, не меньше тысячи. Сплошной лавиной катились они по нивам и садам, по тропам и пастбищам. Они рвались к Цвинча Гаю, к Виличу, к Хайдаровцам, к Дубицкому шоссе, к Планинице и Ютрогуште. Сердце влекло их к родным местам. До неприятельских окопов осталось метров пятьсот. Некоторые побежали быстрее, по-прежнему причитая и всхлипывая на бегу.

С той стороны их уже заметили, раздались первые выстрелы, но пока еще одинокие и недружные, словно устали не принимали всерьез того, что происходит. Казалось, эта бабья атака их скорее забавляла, чем тревожила. Но все же оттуда постреливали. Кто-то охнул, и вот страшная волна, до сих пор катившаяся ровно, вдруг всплеснула и хлынула с неудержимой силой. Послышались угрозы и брань, первые вопли о помощи, сразу взревели сотни голосов, все это еще больше разъярило толпу.

Противник почувствовал это и ответил залпом.

Многие женщины упали. Кто с испуга, кого подкосила пуля, но большинство еще стремительнее бросилось к окопам, уже изрыгавшим огонь.

Лазар с трудом поспевал за ними, на бегу отдавая приказания бойцам. Впереди него сверкали, колыхались, мелькали, развевались, замирали, падали и терялись из вида платки и шали, яркие девчьи косынки. Полушалки и платки пестрели среди полей, как внезапно распустившиеся цветы. Их косил огненный шквал, но тщетно: на месте одного упавшего цветка сразу возникало три новых, и поле цвело, как прежде...

Лазару удалось, наконец, пробиться в первые ряды. Длинноногий, огромный и плечистый, он был похож на могучий дуб, вырванный бурей из земли.

Бойцы стреляли на бегу, не целясь. От неприятеля их отделяло только небольшое поле примятой пшеницы.

Многих сразили пули, но никто не поднимал, никто не перевязывал их и не относил в тыл. Живые продолжали бежать вперед, на окопы. Шум голосов был так неистов, что почти перекрывал треск винтовок и ухапье гранат: смерть витала в воздухе.

Это была не схватка, а резня.

Устали дрогнули. Они не ожидали нападения в этот час. Первыми бросились в бой гранатометчики, но женщины их смяли. Разъяренные голоса были громче стрельбы:

— Держи! Бей! Руби!

Лазар видел, как, путаясь в жите, скатывался по откосу малый, рядом с ним, отстреливаясь, бежал пулеметчик Райко.

Слышал он и тяжелый пулемет, вероятно, верзилы Цветана Зелича, командира пулеметного взвода.

Кричал что-то сорванным голосом комиссар Иван.

Валились ветхие ограды вдоль дороги, ломались хрупкие стебли зеленой кукурузы. Казалось, сама земля разверзлась. Сверкали, как сабли, топоры, мелькали совки для углей, взлетали колья. Парни, черноволосые, с горящими глазами, кинулись в бой совсем безоружные, их кулаки были не хуже, чем палицы. Что-то кричал Иван, комиссар...

Как всегда, ухмылялся этот дурень малый.

На поле у самых окопов лежали мертвые и раненые, и никто их не относил. Раненые и мертвые прямо перед окопами..

Какая-то женщина с топором подбежала к брустверу окопа, поскользнулась на глине и упала. Она еще была жива. В ее руках прямо перед стволом пулемета взметнулся топор, женщина повисла на пулеметном стволе, прошитая очередью, а потом ее тело сползло вниз по насыпи.

Ярость нарастала, распаляемая ранами, стонами, гибелью товарищей.

Это уже не схватка, а бойня. Сверкают топоры, взлетают дубинки, трещат колья: бьют по спинам, по головам, по рукам. Лишь кое-где раздается одиночный выстрел, и вокруг стоны, мольбы о помощи, топот, вопли, брань, возгласы. Тупой удар и вздох, и тихо в окопе, как в могиле. Потом смех, неестественный, как звон разбитого стекла, смех возле трупов. Женщины, жаждущие мести...

— Бей гадов, чтоб им пусто было!..

Били всех подряд: и живых, и уже мертвых, и тех, кто сопротивлялся, и тех, что, бросив оружие, пытались сдаться в плен.

— Так их, кровопийцев! — орал, не переставая строчить, пулеметчик Райко. Вдруг он застонал и упал.

К нему подбежала Эмира:

— Райко, милый!

— Райко убит! — крикнул кто-то.

Тут и Лазар не выдержал. Бросился в самую гущу и бил чем попало. Солдат в зеленой гимнастерке, выскочив из-за куста, кинулся на него и начал душить. Лазар двинул его револьвером по голове (патронов уже не было). Тот не отскочил и не упал, а его руки все сильнее сжимали горло. Лазар ударил еще раз, но уже кулаком. Солдат не только удержался на ногах, но впился в горло еще яростней. Лазар пытался дотянуться до его шеи, но у него вдруг потемнело в глазах.

Задушит, с ужасом подумал Лазар, а сердце распирало

грудь. Позвать бы на помощь, да стыдно. И тут он вспомнил о ноже. Правая рука свободна: он выхватил нож и всадил его солдату под ребра. Тот сразу осел и опустил руки. Тело еще несколько минут вздрагивало и, наконец, замерло.

Лазар обернулся и сразу увидел, что надо выручать малюго. Тот дрался с усташем, орудуя карабином. Они колошматили друг друга — видимо, у обоих кончились патроны, но так как солдат был сильнее и вдвое выше, схватка выглядела уж очень неравной, даже смешной. Солдат замахнулся прикладом, намереваясь ударить парнишку по голове, но тот ловко увернулся, и приклад с силой врезался в землю, а солдат по инерции полетел вперед и растянулся во весь рост.

— До каких пор я должен тебя выручать? — крикнул Лазар.

— Дядя, я этого никогда не забуду, — малый чуть не заплакался.

— Хватит болтать, побереги лучше свою башку, — хмыкнул в усы Лазар.

Волна нарастала, расплата становилась все яростней. Матери вспоминали погибших детей, девушки — братьев.

Лазар радовался, глядя, как разъяренная толпа сводила счеты с врагом, вымещала свой справедливый гнев, заглушала свое горе. Он вспомнил отца, мать, сыновей. Он все время пытался отыскать глазами дочь Даницу. Он ничуть не удивился бы, увидев ее в самой гуще схватки. Он и сам был зол и беспощаден к врагу.

Возбужденная успехом, толпа разделилась на две части: одни двинулись налево вдоль окопов, другие — вправо. Фронт нападения расширился. Перескакивая через рывины, пни и трупы, наступающие теснили противника в окопы, добивали раненых, снимали с них оружие, ботинки, брюки и гимнастерки. Пленных не было. Солдаты прятались в кустарнике, в лесу, в густой пшенице и кукурузе. Враг оттягивал свои силы глубже в тыл, к белевшему вдалеке Дубицкому шоссе.

Охваченные безумным порывом, наступающие забыли об осторожности. Первая победа, щедро политая собственной кровью, словно околдовала людей. Им как будто уже мало было этой резни, женщины бежали за солдатами, требуя, чтобы они не уклонялись от борьбы и бились насмерть. Люди уверяли себя в том, что неприятель уже разбит, что нет у него больше сил сопротивляться.

Но противник как раз в это время собирал свои силы. Нетрудно было понять, что из тыла прибывает подкрепление. Гудели моторы, по шоссе, у подножья холмов грохотали танки. Очевидно, подходила и конница.

Вдали показалось несколько стрелковых цепей, развернувшихся по полям. Они шли в эту сторону — к Патрии и Погледжева. Ясно, что они спешили на помощь атакованным.

Но на них никто не обращал внимания. Крики не затихали, брань становилась все отборней, угрожающе блестили топоры. Сверкали штыки, вспыхивая на солнце, которое пробило, наконец, сквозь тяжелые грозовые облака.

Пулеметчики метались, подыскивая место, откуда было бы удобней стрелять. Они припадали к земле и строчили, но вскоре срывались и перебегали дальше. Они едва поспевали за наступающей толпой, которая постоянно перегоняла их и влекла за собой, как река. И вот разбушевавшийся людской поток столкнулся со свежими силами противника. Начиналось настоящее сражение. Мины взрывались одна за другой. Полетели вверх комья земли. Это действовали минометы. Такие минометы имелись у усташей в каждой роте, потом их приобрели и партизаны.

— Минометчики! — закричал Лазар. — А ну-ка, вдарь!

Он не мог лечь, потому что бежавшие увлекали его за собой. Он не стрелял — кончились патроны. Он просто бежал, чтобы не отстать. Сердце бешено колотилось, кровь кипела. Вокруг него падали мертвые и раненные. Лазар не мог понять, почему сам не падает и почему пули пролетают мимо. Казалось, неприятельские солдаты целятся прямо в него.

Враги приближались. Уже было слышно, как они кричали, что для партизан настал черный день. А когда грянул мощный залп минометов и они поняли, что опасность грозит и им, и даже значительно большая, чем можно было ожидать, они залегли и попытались обороняться. Но волна бегущих людей захлестнула их. Спеси как не бывало. Крики, брань, угрозы, вопли разъяренной толпы, похожие на волчий вой, ошеломили противника. Он уже и не помышлял об атаке. Толпы женщин нахлынули, как буря, как ливень, и прижали усташей к земле.

Не слышно было ни слов команды, ни приказаний офицеров. Доносились только стоны и крики о помощи. Женщины ворвались уже в первые ряды залегших солдат и ударяли их сверху по головам. Лазару казалось, что он слышит, как хрустят кости и со свистом бьет кровь из ран. Стоны, крики, мольбы, хрип. Солдаты гибли один за другим.

— Не убивать пленных! — Лазар хотел прекратить эту кровавую расправу.

— Бей всех подряд! — раздавалось в ответ.

— Пленных в сторону, — скорее просил, чем приказывал он, но его никто не слушал.

— Бей гадов! — раздавалось повсюду.

Судили без допросов, без приговоров, без снисхождения. Расправлялись тут же, прямо на поле боя. Все пленные безоговорочно осуждались на смерть — за лишения, за страдания беженцев. Пленных не расстреливали, а забивали до смерти топорами, кольями.

На холмах повсюду белели трупы. Солдаты по большей части были без рубашек, голые до пояса. Не ожидая атаки партизан, они загорали или просто разделись, чтобы поостыть и освежиться. Нападение было так внезапно, что они не успели даже падать гимнастерки, некоторые бросились в окопы даже без винтовок.

Немало погибло и женщин. Шали, платки, косынки обогрела кровь. Павших партизан можно было узнать по шапкам, на которых алели, как раны, звезды, и по одежде: крестьянские порты, куртки и опанки*, иногда на ногах были только подвязанные ремнями из дубленой кожи заскорузлые подошвы или рваные носки. У некоторых ноги замотаны тряпками и опутаны веревкой. Были и босые. Многие лежали, уткнувшись лицом в землю, словно целуя ее и даже после смерти крепко сжимая в руках винтовки.

Склоны, холмы, ложбины, овраги, жнивье, пивы, пастбища, огороды, дворы, картофельные и капустные поля, выгоны — все было усеяно мертвыми телами. Каждая пядь земли покрыта трупами.

Наконец дала себя знать усталость, послышались возгласы о том, что довольно пролито крови.

— Хватит уж, отомстили. Кого убили — убили, а кто сам сдался, отведем в плен. Поняли они, как мы умеем драться, а теперь пусть знают, что мы зла не помним.

— Ведите их в штаб! — уже кричали вокруг. — Ведите к Шоше, пусть их Шоша судит.

— Что с ними делать, командир?

К нему обращались, как к Шоше, и Лазар ощутил свою силу. Он слушал людей, для которых стал сейчас олицетворением всего партизанского отряда. С ним говорили, как с Шошей. Он чувствовал себя счастливым, потому что остался жив, но не давала покоя тревога за дочь. Ее нигде не было видно. Но тут он заметил Лепосаву.

— Что на меня уставился? — она взмахнула топором. — И тебе может достаться, как тем двоим. Вон они, на чистинке. Один офицер, с погонами и звездочками. А правда ведь офицер, если со звездочками?

* Опанки — крестьянская обувь, сплетенная из полосок кожи.

— Если со звездочками — офицер, — сказал Лазар.

— Вот это здорово, что я офицера уколошила, — улыбнулась Лепосава. — За своего сыночка — офицера. Ай да Лепосава, офицера кокнула!

Во рту у него пересохло, он молчал, хотелось узнать, что с Даницей. Жива ли она?

— Ну чего молчишь? — спросила Лепосава. — Дай мне руку-то, хоть здесь встретилсь. Дай мне руку, Лазар, и улыбнись! А уж как я рада, что мы живы остались, черт бы тебя побрал!

— Посмотри, — сказал ей Лазар.

Со стороны Козары шли крестьяне. Лошади и волы тянули телеги, груженные домашним скарбом. Люди шли с востока на запад, намереваясь использовать образовавшийся прорыв фронта.

Вереницы людей и упряжек, стада овец, коровы с телятами, свиньи, собаки. Люди торопились к шоссе, чтобы успеть перейти его и добраться до Ютрогушты, до Планиницы, до Равного Гая.

Да тут тысяч пять будет, сказал про себя Лазар. А что, если нам догнать и добить отступающего противника?

Его радовала победа и одновременно беспокоили мысли о семье и дочке Данице, которую он никак не мог разглядеть. Но он молчал и шагал на запад вслед за разбитым врагом. И среди этого неумолимо несущегося вперед потока он выслушивал людей, которые рапортовали, сообщали новости, требовали указаний, ожидали приказов. Он был счастлив оттого, что заставил противника отступить, что остался невредимым и избежал верной смерти.

Он потерял из вида Ивана, и посоветоваться было не с кем. Лазар не знал даже, какие партизанские роты участвуют в наступлении, где остальная часть батальона и что обо всем этом думает Жарко. Сам же принял решение неотступно преследовать неприятеля, гнать его как можно дальше на запад, к Планинице, к Ютрогуште, Равному Гаю и Асиной Страже, чтобы окончательно прорвать фронт и обеспечить крестьянам выход из окружения.

Его не пугал все усиливающийся грохот с фланга, от Приедора и Босанской Дубицы (похоже, что там шли танки и бронетранспортеры). Пускай лезут, упрямо твердил он, мы прорвали кольцо. Он не испугался и тогда, когда возле него, кроме нескольких сотен женщин, осталось всего каких-нибудь пятьдесят бойцов. Не могли же все погибнуть, а кто выжил, дорогу ко мне найдет. Он шагал рядом с Лепосавой, поглядывая на ее плечи и ноги.

Он был уверен, что враг разбит и давно подготовляемая злодеями операция уже не удастся.

К Востоку от Козары, на Лиевче-поле, по берегам Врбаса раскинулась Баня Лука, самый большой западно-боснийский город, когда-то, в древние времена, принадлежавший бану Радиславу.

В 1562 году через Баня Луку проезжал Эвли Челеби, турецкий летописец. Он рассказал, что видел здесь много домов, садов и виноградников. Записал он также, что местные жители отличаются красотой и стройностью, что носят они принятые в Крапие суконные одежды: кафтаны, штаны узкие с застёжками и плетеные опанки, а на головах зеленые, тоже особые крапийские шапки...

Францисканец Николла Лапшванни говорит, что в 1690 году в Боснии был страшный неурожай, что люди ели мертвецов и умирали с голоду.

В Баня Луке, рассказывает фра Никола Лапшванни, за ночь голодные люди объедали трупы повешенных. В те времена папа без конца казнил и вешал и ускоков* и райю** (кто попадал под руку), и жители всех их съедали...

В 1808 году, после того как из-за угла был убит градоначальник Баня Луки, тамошние мусульмане, хотя численно они и уступали христианам, взялись за оружие и изгнали последних из города. Дюжину православных они схватили, поставили на колени и долго плясали вокруг них коло, подскакивая и выкрикивая оскорбления, а потом отрубили им всем головы.

В 1868 году после очередного бунта турки схватили попа Джорджие из Баня Луки. Они повесили его на груше на берегу Црквены...

Бунты следовали один за другим:

Янчичев (1809),

Машицкий (1839),

Пецин (1858),

Пецин (1875),

и после каждого — пепелища, зачастую без единого уцелевшего домочадца, десятки сел бывали сожжены, сотни людей зарезаны, повешены, посажены на кол.

* Ускоки — беженцы из Боснии. Нередко составляли гарнизоны пограничных крепостей.

** Райя — так турки пренебрежительно называли порабощенные христианские народы.

Бунты следовали один за другим, и все больше гайдуков уходило в леса и горы.

Наряду с Миятом Харамбашей, наряду с Богое и другим атаманом гайдуков была и некая Мара, об отваге которой до сих пор поется в песне:

Подалась наша Мара в гайдуки,
девять лет в атаманах ходила.
На десятый схватили ее турки
и ведут ее в град Баня Луку:
— Скажи, Мара, где твоя дружина!
— Лучше головы своей лишуся,
чем открою, где моя дружина...

Из старых летописей

14

Встреча с фра-Августином всегда действовала на Рудольфа освежающе. Он завидовал его способности доводить начатое дело до конца, не задумываясь над последствиями. Фра-Августин обладал сильной волей и выдержкой, то есть теми качествами, которых не хватало самому Рудольфу. Поэтому они сблизились. Кроме того, с фра-Августином всегда было интересно поболтать. Тот мог говорить о чем угодно — о латинском языке, о древних греках и римлянах, о папе римском, о святом престоле, о церковной музыке, о войне с Россией, о выращивании репы и о разведении пчел. Казалось, фра-Августин смог бы написать книгу из любой области знаний. Рудольф особенно любил слушать его рассказы о древних хорватах, об их переселениях, о борьбе за свое существование на протяжении многовековой истории, борьбе, в которой они сумели сохранить свой национальный характер со всеми его отличительными особенностями.

— Слава Иисусу, ваше преподобие, — Рудольф поспешил навстречу священнику, приказав солдату отвести коня. — Я рад вас видеть и счастлив, что мы встретились на самых подступах к логову разбойников, которые, наконец, нами полностью окружены.

— И когда вы думаете с ними покончить?

— Первый этап завершен, — сказал Рудольф. — Мы приступаем ко второму.

— К истреблению разбойников?

— К уничтожению их логова и очистке местности от бунтовщиков. Козара будет возвращена нашей родине.

— Я слышал, атаки бунтовщиков были ужасны.

— Вы знаете, с тринадцатого июня бои не прекращаются ни на час. За это время мы ни разу не могли спокойно пообедать, не говоря уже о сне.

— Господь вознаградит вас за все, — сказал ф́ра-Августин, вознося очи горе и осеняя себя крестным знамением. — Вспомните Иваниша Хорвата. Ему было тяжелее. В 1394 году в Печухе Иваниша Хорвата привязали к хвостам коней и разорвали на части. Не забывайте об этом и молитесь, ибо всевышний — единственное наше упование; небо ведет нас к совершенству и радеет о том, чтобы мы не сбились с пути истинного.

— Вы к нам надолго, святой отец?

— Я пробуду здесь до полудня, — отвечал священник.

— Помните, я вам рассказывал об одной жепщине? Могу сообщить кое-что новенькое. Конечно, если это вас интересует.

— Ну, как же, как же.

— Садитесь, пожалуйста, — Рудольф показал на шерстяное одеяло, расстеленное на земле. — Не беспокойтесь, оно достаточно толстое. Здесь сухо.

— Ну так что же там? — спросил ф́ра-Августин.

— Как вы догадываетесь, речь идет о той жепщине, которую мы из Загреба направили на Козару, к партизанам. Так вот. Она там уже четыре дня, обошла с десяток сел и передала нам несколько донесений. Одну металлическую коробочку с запиской я нашел под порогом церкви, другую — у входа в разрушенную школу, третью — под дверью одного здания...

— Как же ей это удастся? — прервал его ф́ра-Августин.

— Она женщина героическая, — отвечал Рудольф. — Идет на невероятный риск. В крестьянском платье, но абсолютно не зная сельской жизни, она должна постоянно следить за своей походкой, и за каждым своим словом, и даже за тем, как ест. На днях ее допрашивал партизанский комиссар, и она в замешательстве употребила несколько чисто хорватских выражений. Это сразу же вызвало подозрения, и она вынуждена была вернуться к нам.

— А можно с ней познакомиться?

— К сожалению, нет, — сказал Рудольф. — Сегодня она отправилась выполнять новое задание.

— Куда вы ее послали?

— Туда же, — Рудольф показал на лесистые склоны Козары. — Нам никак не удастся выяснить их численность. По имеющимся у нас сведениям, партизан не больше четырех тысяч, а сопротивление оказывают такое, будто там несколько

дивизий. Главное, никогда нельзя угадать, где они находятся: иной раз думаешь: уже все, отступили, и вдруг они ударяют по нам с тыла.

— Они связали себя с дьяволом, но бог их покарает, — фра-Августин перекрестился и снова возвел очи горе.

— Их часы сочтены, — сказал Рудольф и повернулся к подошедшему солдату.

— Подполковник, какая-то женщина хочет вас видеть.

— Какая еще женщина?

— Да вроде бы... Боже мой, а как зовут, я и забыл.

— Эмма?! — воскликнул Рудольф, заметив женщину. — Так скоро?! Это та самая женщина, о которой я вам только что рассказывал, — пояснил он фра-Августину. — Я не понимаю, почему она вернулась. Что-то случилось. Мы договорились, что она останется на Козаре несколько дней, соберет сведения о расположении и силах противника и, если сможет, проникнет в поселения беженцев.

— Не слишком ли много вы от нее требовали?

— Я полагаю, что нет.

Женщина подошла ближе. Она была в крестьянской одежде: на голове полушалок, черный шерстяной фартук, опанки испачканы глиной.

— В чем дело, Эмма? — спросил Рудольф.

— Провал, — отвечала Эмма. — Едва поги унесла.

— Что такое?

— Один мужик опознал меня и чуть не убил.

— Какой мужик? — удивился Рудольф. — Кто тебя здесь знает?

— Я вышла, как было условлено, на рассвете с двумя солдатами. Они проводили меня до линии фронта, помахали рукой и пожелали счастливого пути. Я прошла еще немного и натолкнулась на людей. Бандиты...

— Так близко?

— Это была их разведка, — продолжала Эмма. — Они стали кричать мне. Я сначала хотела бежать. Потом вспомнила, что я одета как баба, подошла к ним и сказала: «Когда же вы, наконец, прорвете фронт? Мне туда надо. Там мой дом». Один из бандитов в кожаной фуражке и с огромной винтовкой загородил дорогу и заорал на меня: «Куда лезешь, дура?!» Я ему сказала, что на свой риск и страх пробовала перейти линию фронта, проползти между окопами. «Откуда ты, товарищ?» — уже мягче спросил он. Я что-то невнятно пробормотала. «Откуда, откуда?» — повторил он. Назвала село Равницы. «Из Равниц? — он даже рот раскрыл. — А как тебя зовут?» Я снова что-то пробормотала, но он переспросил: «Как,

как?» Я сказала, что меня зовут Милка Попович. Тогда он спросил: «Это ваш, что ли, дом возле леска?» Я подтвердила. «А ты чья? Не Перы?» Я не знала, что отвечать, и опять что-то сказала невнятное. Бандит сказал, что знает Перу Поповича, и, к счастью, больше ничего не спрашивал, а указал мне дорогу в лес и еще велел поторопиться, так как враги, мол, скоро пойдут в наступление.

— А дальше что? — перебил ее Рудольф.

— Я пошла лесом, моля бога, чтоб снова не попасться на глаза изменникам. Но бог не внял моей мольбе.

— Веруйте, и он услышит, — вставил слово фра-Августин.

— Их было много. Растрепанные, с винтовками, глаза у всех красные, опухшие. Видно, что долго не спали. Одежда мятая и рваная, штаны забрызганы грязью, обувь вся в глине. Как варвары, дикие, злые, хмурые. Начали расспрашивать, откуда я и зачем так далеко зашла в расположение войск, куда иду и почему не доложила о себе в штабе. Я отвечала наобум и уже представляла себе, что они меня схватят, свяжут и поволокут на расстрел, как Анджелку Сарич в Приедоре. Сначала я так перепугалась, что и вздохнуть не могла. Потом взяла себя в руки и сказала сама себе: «Какого черта мне бояться? Ведь ничего не случилось? Разве они знают, кто я? Разве я не одета, как все деревенские бабы? Держи голову выше и поступай так, как поступала бы на твоём месте любая крестьянка». И страх как рукой сняло. Я сумела все-таки их убедить, что здешняя, живу в лесу и хочу перейти линию фронта, чтобы добраться до дома.

— Отпустили тебя?

— Отпустили, да еще и ухаживать пытались, — улыбнулась Эмма. — Один даже пробовал обнять. «Ты, может, себе мужика пришла подыскать? Я не подойду?» Да еще уцепился, хам этакий. Тут уж я на него набросилась: «Ишь, лапы-то распустил, чертов сын! Я замужняя». Он начал извиняться: «Прощенья просим, товарищ. Я думал, что ты бобылка». Так я и выпуталась.

— И куда же ты направилась?

— Хотела пойти на Козару, к беженцам, но и тут дьявол вмешался...

— Не поминай нечистого, — сказал фра-Августин. — Лучше молись богу и чти имя его.

— Я хотела проскользнуть мимо партизанских постов, зарисовать расположение частей, проверить, роят ли они окопы и сколько их примерно стоит против нашего полка. Пошла вдоль по опушке, вместо того чтоб углубиться в лес. Вот тогда это и произошло.

— Тебя кто-то опознал?

— Да. Один бандит вдруг подбежал ко мне, схватил, трясет, чуть не загрыз живьем. Сначала я подумала, что я ему поправилась как женщина. «Откуда ты здесь взялась, чтоб ты сдохла?» — кричит, скрежещет зубами, а тем временем другие бандиты сбегаются, окружают нас, словно волчья стая. «Что вам нужно?» — спрашиваю я. Вот тут-то я и просчиталась. В трех словах две ошибки: произнесла слово «нужно», которое крестьяне редко употребляют, им привычнее «надо», и обратилась к изменнику на «вы», а у них это просто не принято. «Душу из тебя вытрясу», — а сам схватил меня за горло. «За что?» — кричу. «Еще спрашиваешь, усташиха проклятая». Я поняла, что этот ирод узнал меня, но не могла припомнить, где он мог меня видеть. Он сам подсказал: «Не забыла Баичевы ямы? Помнишь, стерва, как нас усташин расстреливали?» Я заревела, пыталась прикинуться дурочкой: «Чего ты говоришь? Я-то при чем?» — «Ты еще притворяешься, гадина? Когда нас вели на расправу, ты стояла с офицерами. С усташами стояла, я тебя хорошо запомнил. Добраться бы мне до этой сучки, — вот что я думал, когда меня ко рву гнали. Долго я па тебя смотрел и запомнил навсегда. Голову даю на отсек, это ты и есть». И все-таки мне казалось, что его ярость несколько ослабевает. Вероятно, подействовало выражение моего лица — я ведь не на шутку перепугалась. «Не понимаю, о чем ты говоришь, товарищ! — твердила я. — Пусти меня, если в бога веруешь». Вокруг закричали: «Райко, балда, задушишь бабу! Отпусти ее, дай слово сказать. Если усташиха, мы ей запросто шею свернем». Эта скотина немножко расслабил пальцы. И я стала объяснять, кто я, откуда и почему здесь очутилась. Мои слова, да и слезы, кажется, начали их убеждать. «Райко, не сходи с ума. Откуда взялась среди нас усташихе? Как она, чудило, сюда попадет?» Он вроде бы стал сдаваться, но продолжал глядеть на меня с ненавистью. Сказал, что так просто меня не отпустит, ему нужны доказательства, но поскольку остальные только улыбались и покачивали головами, он и сам начал сомневаться: «Надо же, до чего похожа па ту усташиху, мать честная! Как две капли воды! Святыми угодниками клянусь, это та самая, с Баичевых ям. Ну-ка, скажи...» И начал вынытывать все про мою жизнь. Чуть ли не со дня рождения. А так как я снова допустила несколько ошибок в речи, он заявил, что лично отведет меня в штаб, а там уж пусть решают товарищи. К счастью, он отправился со мной один. Он вел меня по склону, и я все думала, как бы мне сбежать. Я твердо решила бежать, потому что новые вопросы, особенно если

станет допрашивать кто-либо и поумнее и поопытнее, привели бы к еще большим осложнениям. Я улыбалась моему конвоиру, надеясь его смягчить. Но он был холоден как лед. И все рассматривал меня, словно хотел убедиться в том, что глаза его не обманывают.

— Как же ты сумела от него избавиться?

— Мою судьбу решил счастливый случай, о котором я даже и мечтать не могла. Когда мы шли по склону, пробираясь сквозь заросли и кусты, наши начали стрелять и один снаряд разорвался совсем близко. Мой конвоир упал, а я пустилась бежать, понимая, что это единственный шанс к спасению. Как нарочно, стрельба не прекращалась, но я летела вперед, твердо веря, что не погибну от наших снарядов. Мне казалось, будто какой-то рыцарь старается помочь своей возлюбленной.

— В лес вернуться ты уже не могла?

— А ты сомневаешься или мне не доверяешь?

— Доверяю и всегда доверял, — сказал Рудольф, — просто сожалею, что не удалось осуществить это дело. А задумано было чертовски толково.

— Это господь уберет тебя, — обратился к ней фра-Августин. — Все мы во власти всевышнего.

— Я беспрестанно молилась богу, повторяла его имя и призывала на помощь деву Марию.

— Избавлю его, потому что он познал имя мое, — произнес фра-Августин торжественно, словно перед алтарем, хотя из-за голенища у него торчала, как всегда, рукоятка ножа.

— Дорогие мои, — улыбаясь, сказал Рудольф. — Я приглашаю вас нынче на обед и очень рад, что могу, хоть и скромно, угостить своих друзей. Пожалуйста, прошу вас.

Он указал рукой на залитое солнцем поле. Желтела земля, зелела примятая пшеница. Нивы были изуродованы гусеницами танков, изрыты снарядами, перекопаны заступами и лопатами. Всюду на траве, на всходах виднелась выброшенная из окопов глина. На холмике неподалеку, рядом с дубовой рощей, стояла белая мазанка под красной черепичной крышей. Двор был обнесен частоколом. Вдоль стрехи полз виноград. Верхняя часть стены была опоясана венком из зеленых ветвей и листвы.

— Да это настоящий замок, — смеялась Эмма. — Кто его хозяин?

— Это мой штаб, — отвечал Рудольф. — Тут буду я принимать моих дорогих гостей.

Она ему снова улыбнулась. Она была удивительно хороша. Ее лицо напоминало портреты старых итальянских мастеров.

— Владелец, конечно, сбежал?

— Мы уже никого не застали, — сказал Рудольф. — Похоже, что все там, — он указал на Козару.

— Ничего, разыщем, — процедил фра-Августин. — Разыщем и позаботимся об их теле, ибо душу свою они давно продали нечестивому.

— Немцам нужна рабочая сила. Они хотят отправить как можно больше пленных в Германию на принудительные работы, — сказал Рудольф. — Зигфрид фон Каше прислал сюда своего уполномоченного, Рекварта, которому нужно тридцать тысяч пленных для отправки в Германию.

— Он их получит, только мертвыми, — сказал фра-Августин. — Мы выдадим ему трупы. Так я и ответил Зигфриду фон Каше в Загреббе.

— Требование Каше несколько противоречит приказам немецких военачальников, которые предписывают беспощадную расправу с бунтовщиками, вплоть до их массового уничтожения.

— Надо руководствоваться собственной совестью, дорогой мой, — сказал фра-Августин, и лицо его, желтое и изможденное, вдруг словно озарилось. — Наш святой долг — разорить и обезвредить змеиное логово. Нужно помнить, дорогой мой, что здесь решается судьба Независимого государства Хорватии: или не будет Козары, или не будет нас.

— Ты не можешь мне сорвать вон тот цветок? — попросила Эмма Рудольфа, прижимаясь к его плечу. — Откуда здесь такие красивые цветы?

— Не забывай, что ты находишься в Кнежполе, — сказал Рудольф.

— Это весьма плодородные земли, — заметил фра-Августин. — Они обрабатывались еще во времена римлян. Посмотрите вон туда. Видите ту гору, там, где дерево на самой вершине? Это Патрия. Так ее называли то ли римляне, то ли наполеоновские солдаты.

— Вот тебе ромашка, вот василек, — говорил Рудольф.

— Ах, еще и колокольчик... Спасибо, святой отец.

— Не стоит. Расскажите-ка нам лучше о бунтовщиках, — сказал фра-Августин. — Как они выглядят, чем вооружены, строят ли укрепления?

Эмма попыталась было продолжить свой рассказ. Но говорила она неохотно. Сухие и невыразительные слова произносила медленно, словно с трудом. Было видно, что мысли ее заняты совсем другим. Ее выдавали глаза, обращенные к подполковнику Рудольфу. Очевидно было, что красавец подполковник и Эмма не просто сотрудники, что их объединяет нечто большее. Они постоянно искали и находили один другого гла-

зами и едва отвечали на дотошные расспросы фра-Августина. Они обменивались улыбками, незаметными прикосновениями и оба думали о том, как хорошо было бы навсегда остаться в этом маленьком домике на опушке леса: днем, когда светит солнце, их могла укрыть роща, а ночью, когда дождь...

— Они в военной форме? Что у них на ногах? Они босые? — упорно продолжал допытываться фра-Августин, когда все уже входили во двор дома.

— А здесь чем-то пахнет, — сказала Эмма. — Откуда такая вонь, Рудольф?

— Прошли проливные дожди, припекло солнце, а во дворе куча навоза, — сказал Рудольф. — На такие мелочи уже не обращаешь внимания, да, по правде сказать, мы и привыкли к воню, как привыкаем к трупам.

Бедный мой Рудольф! Она почувствовала прилив жалости, когда входила в низкое, полутемное помещение. Издали дом на опушке леса был похож на маленький замок, но стоило открыть дверь, и перед вами представала его грязная, продыленная утроба. Казалось немыслимым здесь даже умереть, а не то чтобы жить или любить. Вонючая дыра, а не дом: повсюду мусор, объедки, кости, грязь, помой, помет. Какая уж любовь в такой берлоге? Зачем я вообще сюда приехала? — подумала Эмма.

Рудольф с нетерпением поглядывал по сторонам, точно кого-то ждал. Поручик Йоза, неповоротливый, хмурый, бродил по двору с мертвенным, пустым взором. Тут же слонялись еще какие-то офицеры. Они обалдело пялились на Эмму. Солдаты столпились посреди поля вокруг огромного костра. Столько дней без отдыха!

Но что это?

Стрельба, начавшаяся на Патрии и на Погледжеве, не похожа на обычные дневные перестрелки, в которых время от времени участвуют усталые солдаты, мечтающие только об одном — как бы выспаться. Ударили разом артиллерийские батареи и минометы, взлетели комья земли, горизонт уже подернулся пылью и дымом, разгорается бой.

Что же там происходит?

К командному пункту спешат связные. Рудольф чувствует их приближение инстинктом старого вояки — еще не слышит и не видит их, но уже торопится с обедом, а то потом и кусок в горле застрянет. Видимо, не суждено сбыться его сладким грезам, а он так мечтал повести Эмму в рощу и там унасть вместе с ней в высокую траву (так поступали все его праотцы, когда насажали сюда из далеких краев); он не сможет шепнуть ей на ухо ласковое словечко, от которого заки-

пит кровь и замрет сердце. Возможно, он не успеет даже сказать ей последнее «прости», если пуля попадет ему в грудь или в голову и размоет лобную кость, как поручику Лаушичу.

Нет, он уже ничего ей не скажет, бой разгорается. Действительно, скоро подбегают связные и сообщают подполковнику Рудольфу о невиданном прорыве, о чудовищном нападении противника по всей линии фронта от Погледжева до Патрии и Холма Юговича. Атакуют яростно, остервенело, напали вопреки своим привычкам среди дня, когда их никто не ожидал и большинство солдат отдыхало. Люди спали в кустах, мыли стертые до крови ноги, и противник воспользовался этим. Но что особенно удивительно — среди наступающих очень много женщин, которые со злобными криками, угрозами, воем и бранью налетели как ураган и орудуют топорами, рога-тинами, кольями, дубинами.

Что сказать связным?

Что приказать подчиненным?

Что делать с гостями, которых он пригласил на обед?

Он отдает самые необходимые распоряжения, а потом...

— Будьте добры, пройдите в укрытие, — обращается он к фра-Августину и Эмме, которая ему томно улыбается. — Мне очень жаль, что так получилось и что я должен отправить вас в убежище. Там вы будете в полной безопасности не только от пуль, но и от снарядов.

— Я не пойду в убежище, — сказал фра-Августин. — Я хочу лично наблюдать, как наши солдаты разделяются с этой бандой.

— Ваше преподобие, я убедительно прошу вас, — умоляет Рудольф, которого уже окружают новые связные, сообщают все более тревожные сведения. Он размахивал телефонной трубкой, ругался, торопил связных, потом снова оборачивался к Эмме и фра-Августину и просил их пойти в убежище.

Но фра-Августин наотрез отказался: он хочет остаться здесь, во дворе, и наблюдать за боем.

Эмма позевывала. В ее глазах застыла тоска, как у человека, который обманулся в самых радужных своих надеждах. Рудольф улыбался ей и хотел показать, что и он раздосадован, но ничего не может поделать.

— Эмма, иди хоть ты в убежище, — сказал он.

— Я останусь с вами, — ответила Эмма.

— Ладно, — не настаивал больше Рудольф. — Но я ни за что не ручаюсь... Что нового, Йозо?

— На левом фланге отступают, паника, — сообщил заморышным голосом Йозо.

— Приказываю во что бы то ни стало вернуться на исход-

зами и едва отвечали на дотошные расспросы ффра-Августина. Они обменивались улыбками, незаметными прикосновениями и оба думали о том, как хорошо было бы навсегда остаться в этом маленьком домике на опушке леса: днем, когда светит солнце, их могла укрыть роща, а ночью, когда дождь...

— Они в военной форме? Что у них на ногах? Они босые? — упорно продолжал допытываться ффра-Августин, когда все уже входили во двор дома.

— А здесь чем-то пахнет, — сказала Эмма. — Откуда такая вонь, Рудольф?

— Прошли проливные дожди, припекло солнце, а во дворе куча навоза, — сказал Рудольф. — На такие мелочи уже не обращаешь внимания, да, по правде сказать, мы и привыкли к воню, как привыкаем к трупам.

Бедный мой Рудольф! Она почувствовала прилив жалости, когда входила в низкое, полутемное помещение. Издали дом на опушке леса был похож на маленький замок, но стоило открыть дверь, и перед вами представала его грязная, продыmlенная утроба. Казалось немыслимым здесь даже умереть, а не то чтобы жить или любить. Вонючая дыра, а не дом: повсюду мусор, объедки, кости, грязь, помои, помет. Какая уж любовь в такой берлоге? Зачем я вообще сюда приехала? — подумала Эмма.

Рудольф с нетерпением поглядывал по сторонам, точно кого-то ждал. Поручик Йоза, неповоротливый, хмурый, бродил по двору с мертвенным, пустым взором. Тут же слонялись еще какие-то офицеры. Они обалдело пялились на Эмму. Солдаты столпились посреди поля вокруг огромного костра. Столько дней без отдыха!

Но что это?

Стрельба, начавшаяся на Патрии и на Погледжеве, не похожа на обычные дневные перестрелки, в которых время от времени участвуют усталые солдаты, мечтающие только об одном — как бы выспаться. Ударили разом артиллерийские батареи и минометы, взлетели комья земли, горизонт уже подернулся пылью и дымом, разгорается бой.

Что же там происходит?

К командному пункту спешат связные. Рудольф чувствует их приближение инстинктом старого вояки — еще не слышит и не видит их, но уже торопится с обедом, а то потом и кусок в горле застрянет. Видимо, не суждено сбыться его сладким грезам, а он так мечтал повести Эмму в рощу и там упасть вместе с ней в высокую траву (так поступали все его праотцы, когда наезжали сюда из далеких краев); он не сможет шейнуть ей на ухо ласковое словечко, от которого заки-

пит кровь и замрет сердце. Возможно, он не успеет даже сказать ей последнее «прости», если пуля попадет ему в грудь или в голову и разможжит лобную кость, как поручику Лаушичу.

Нет, он уже ничего ей не скажет, бой разгорается. Действительно, скоро подбегают связные и сообщают подполковнику Рудольфу о невиданном прорыве, о чудовищном нападении противника по всей линии фронта от Погледжева до Патрии и Холма Юговича. Атакуют яростно, остервенело, напали вопреки своим привычкам среди дня, когда их никто не ожидал и большинство солдат отдыхало. Люди спали в кустах, мыли стертые до крови ноги, и противник воспользовался этим. Но что особенно удивительно — среди наступающих очень много женщин, которые со злобными криками, угрозами, воем и бранью налетели как ураган и орудуют топорами, рога-тинами, кольями, дубинами.

Что сказать связным?

Что приказать подчиненным?

Что делать с гостями, которых он пригласил на обед?

Он отдаст самые необходимые распоряжения, а потом...

— Будьте добры, пройдите в укрытие, — обращается он к фра-Августину и Эмме, которая ему томно улыбается. — Мне очень жаль, что так получилось и что я должен отправить вас в убежище. Там вы будете в полной безопасности не только от пуль, но и от снарядов.

— Я не пойду в убежище, — сказал фра-Августин. — Я хочу лично наблюдать, как наши солдаты разделяются с этой бандой.

— Ваше преподобие, я убедительно прошу вас, — умоляет Рудольф, которого уже окружают новые связные, сообщают все более тревожные сведения. Он размахивал телефонной трубкой, ругался, торопил связных, потом снова оборачивался к Эмме и фра-Августину и просил их пойти в убежище.

Но фра-Августин наотрез отказался: он хочет остаться здесь, во дворе, и наблюдать за боем.

Эмма позевывала. В ее глазах застыла тоска, как у человека, который обманулся в самых радужных своих надеждах. Рудольф улыбался ей и хотел показать, что и он раздосадован, но ничего не может поделать.

— Эмма, иди хоть ты в убежище, — сказал он.

— Я останусь с вами, — ответила Эмма.

— Ладно, — не настаивал больше Рудольф. — Но я ни за что не ручаюсь... Что нового, Йозо?

— На левом фланге отступают, паника, — сообщил заморышным голосом Йозо.

— Приказываю во что бы то ни стало вернуться на исход-

зами и едва отвечали на дотошные расспросы ф-ра-Августина. Они обменивались улыбками, незаметными прикосновениями и оба думали о том, как хорошо было бы навсегда остаться в этом маленьком домике на опушке леса: днем, когда светит солнце, их могла укрыть роща, а ночью, когда дождь...

— Они в военной форме? Что у них на ногах? Они босые? — упорно продолжал допытываться ф-ра-Августин, когда все уже входили во двор дома.

— А здесь чем-то пахнет, — сказала Эмма. — Откуда такая вонь, Рудольф?

— Прошли проливные дожди, припекло солнце, а во дворе куча навоза, — сказал Рудольф. — На такие мелочи уже не обращаешь внимания, да, по правде сказать, мы и привыкли к воню, как привыкаем к трупам.

Бедный мой Рудольф! Она почувствовала прилив жалости, когда входила в низкое, полутемное помещение. Издали дом на опушке леса был похож на маленький замок, но стоило открыть дверь, и перед вами представала его грязная, продыленная утроба. Казалось немислимым здесь даже умереть, а не то чтобы жить или любить. Вонючая дыра, а не дом: повсюду мусор, объедки, кости, грязь, помои, помет. Какая уж любовь в такой берлоге? Зачем я вообще сюда приехала? — подумала Эмма.

Рудольф с нетерпением поглядывал по сторонам, точно кого-то ждал. Поручик Йоза, неповоротливый, хмурый, бродил по двору с мертвенным, пустым взором. Тут же слонялись еще какие-то офицеры. Они обалдело пялились на Эмму. Солдаты столпились посреди поля вокруг огромного костра. Столько дней без отдыха!

Но что это?

Стрельба, начавшаяся на Патрии и на Погледжеве, не похожа на обычные дневные перестрелки, в которых время от времени участвуют усталые солдаты, мечтающие только об одном — как бы выспаться. Ударили разом артиллерийские батареи и минометы, взлетели комья земли, горизонт уже подернулся пылью и дымом, разгорается бой.

Что же там происходит?

К командному пункту спешат связные. Рудольф чувствует их приближение инстинктом старого вояки — еще не слышит и не видит их, но уже торопится с обедом, а то потом и кусок в горле застрянет. Видимо, не суждено сбыться его сладким грезам, а он так мечтал повести Эмму в рощу и там упасть вместе с ней в высокую траву (так поступали все его праотцы, когда наезжали сюда из далеких краев); он не сможет шепнуть ей на ухо ласковое словечко, от которого заки-

пит кровь и замрет сердце. Возможно, он не успеет даже сказать ей последнее «прости», если пуля попадет ему в грудь или в голову и размозжит лобную кость, как поручику Лаушичу.

Нет, он уже ничего ей не скажет, бой разгорается. Действительно, скоро подбегают связные и сообщают подполковнику Рудольфу о невиданном прорыве, о чудовищном нападении противника по всей линии фронта от Погледжева до Патрии и Холма Юговича. Атакуют яростно, остервенело, напали вопреки своим привычкам среди дня, когда их никто не ожидал и большинство солдат отдыхало. Люди спали в кустах, мыли стертые до крови ноги, и противник воспользовался этим. Но что особенно удивительно — среди наступающих очень много женщин, которые со злобными криками, угрозами, воем и бранью налетели как ураган и орудуют топорами, рога-тинами, колями, дубинами.

Что сказать связным?

Что приказать подчиненным?

Что делать с гостями, которых он пригласил на обед?

Он отдает самые необходимые распоряжения, а потом...

— Будьте добры, пройдите в укрытие, — обращается он к ф-ра-Августину и Эмме, которая ему томно улыбается. — Мне очень жаль, что так получилось и что я должен отправить вас в убежище. Там вы будете в полной безопасности не только от пуль, но и от снарядов.

— Я не пойду в убежище, — сказал ф-ра-Августин. — Я хочу лично наблюдать, как наши солдаты разделяются с этой бандой.

— Ваше преподобие, я убедительно прошу вас, — умоляет Рудольф, которого уже окружают новые связные, сообщают все более тревожные сведения. Он размахивал телефонной трубкой, ругался, торопил связных, потом снова оборачивался к Эмме и ф-ра-Августину и просил их пойти в убежище.

Но ф-ра-Августин наотрез отказался: он хочет остаться здесь, во дворе, и наблюдать за боем.

Эмма позевывала. В ее глазах застыла тоска, как у человека, который обманулся в самых радужных своих надеждах. Рудольф улыбался ей и хотел показать, что и он раздосадован, но ничего не может поделать.

— Эмма, иди хоть ты в убежище, — сказал он.

— Я останусь с вами, — ответила Эмма.

— Ладно, — не настаивал больше Рудольф. — Но я ни за что не ручаюсь... Что нового, Йозо?

— На левом фланге отступают, паника, — сообщил замогильным голосом Йозо.

— Приказываю во что бы то ни стало вернуться на исход-

ные позиции и восстановить линию фронта! — заорал Рудольф в телефонную трубку. — Да, это я... Что? Не может быть! Да возьмите же себя в руки и возвращайтесь... Никаких разговоров! Я вас предам полемому суду. На исходные позиции во что бы то ни стало, стоять до последнего!

Рудольф, а за ним и все остальные выскочили из дома и побежали на холм, откуда можно было невооруженным глазом наблюдать за схваткой у шоссе. Множество солдат скатывались вниз по нивам и косогорам, бойцы выскакивали из окопов, прятались во дворах, крались вдоль заборов и живых изгородей, падали и снова поднимались, продолжая отступать.

— Во имя господ бога, что здесь происходит? — завонил Рудольф, повернувшись к Йозо Хорвату. Он уже совершенно забыл о фра-Августине и красавице Эмме. — Поручик, что происходит? Неужели наши люди отступают по всей линии фронта?

— Так точно, подполковник, — подтвердил Йозо.

— Введите в бой резерв. Возглавьте его лично. Любой ценой остановите солдат. Вы должны положить конец бегству, отбросить противника и занять исходные позиции! В вашем распоряжении рота пехотинцев, артбатарея и два танка.

— Слушаю, — сказал Йозо все с тем же выражением обреченности и безразличия и зашагал не спеша, словно его посылали на собственные похороны.

— Живее, Йозо, живее! — кричал Рудольф. Он немного успокоился, так как ему показалось, что отступающие части остановились и даже стали возвращаться на прежние рубежи. На правом крыле действительно так и случилось, по зато на левом... Боже мой, это же сущая резня! Зеленые солдатские гимнастерки затерялись в море пестрых фартуков, юбок, шалей и платков, которыми буквально было усеяно все поле боя.

— Что это? — он и ужасался, и негодовал. — Неужели и правда женщины? Откуда их столько взялось? Эмма, смотри! Это же просто невероятно...

— Вот еще одно подтверждение правильности нашего плана. Надо разорить это разбойничье гнездо и сровнять его с землей, — фра-Августин в волнении ломал пальцы. — Разорить, уничтожить, сровнять с землей...

Но Рудольф его уже не слушал. На какое-то мгновение он мысленно перенесся далеко отсюда, в Загреб, где осталась его жена-сербка. Вот кто мешает ему в продвижении по службе. Он, разумеется, уже начал бракоразводный процесс, но даже после развода ему придется всю жизнь скрывать нехорватское, некатолическое происхождение своей бывшей жены. Официально он мотивировал желание развестись тем, что

охладел к жене как к женщине, что они не сошлись характерами и что фактически они давно уже не живут вместе. Но она все еще там, в Загребе, она словно бы не теряет надежды. Она ждет. Столько раз выслушивала она прежде любовные излияния Рудольфа, искренние и пылкие. Эта женщина надеется, ибо знает, что она хороша собой, к тому же она рассудительна, терпелива и самоуверенна. Наконец, она мать его ребенка. Их сын Бранимир — здоровый красивый мальчик. Рудольф обожает сына, как, впрочем, обожает и ее, жену, без которой еще недавно не мог вообразить своей жизни. Да как же не любить ее, как же оставить женщину, которая дала ему все, о чем только может мечтать мужчина? Рудольф разрывается между любовью и долгом, между семейным счастьем и карьерой. А ведь теперешние законы запрещают смешанные браки, голубая арийская кровь не должна смешиваться с нечистой, православной, с цыганской или еврейской. Пришлось сделать выбор, и Рудольф скрепя сердце решился на развод.

Но к черту все это! На левом фланге полный развал, хоть поручик Йозо Хорват с подкреплением уже там. Подполковник Рудольф решает бросить в бой последние резервы. Он поведет их сам.

— Идите в укрытие, — говорит он фра-Августину тоном, не терпящим возражений. — В противном случае я не гарантирую вам безопасность и не отвечаю за вашу жизнь.

— А что, разве положение так серьезно?

— Вы же сами видите, — резко отвечает Рудольф, даже с Эммой он говорит тем же ледяным тоном. Он подтягивает ремень, вынимает револьвер и приказывает солдатам построиться. Затем командует «марш» и сам ведет их в бой.

Никогда еще ему не приходилось бывать в такой схватке. Женщины и девушки с топорами, кольями и дубинами яростно падают на солдат. Падают, вскакивают и снова устремляются вперед. Они визжат, сквернословят, вопят и яростно рвутся к шоссе, на запад, словно решили пробиться или погибнуть. Ничто не в силах их остановить. И крики — странные, дикие, неестественные возгласы обреченных, которые уже задыхаются, kloкочут, хрипят в предсмертных судорогах. Так воют голодные волки или бешеные собаки. Это не боевой клич атакующих мужчин, это неистовые, безумные крики и вопли, рожденные страхом, ненавистью и жаждой расправы. В них слышатся рыдания и похоронный плач над могилой, стон и причитания о близких, гнев, страдание, злоба — все разом. Это призыв к кровавой мести. Сила гнева оказывается страшнее артиллерийских батарей, страшнее снарядов и мин, страшнее...

Он столкнулся с потоком, который расшвырлял его солдат по холмам и взгорьям. Прошел почти час, но этот поток не только не ослаб, а все больше парастал, вскипал, рвался вперед, круша и снося все на своем пути и оставляя за собой трупы, кровь, стоны... Он пытается сделать невозможное: бросается со своими солдатами в неравный, отчаянный бой, может быть, последний в его жизни. А там будь что будет. Он полон решимости. Перекрестился, помянув и бога и богородицу. Прошептал имя матери, потрогал золотой крестик на тонкой цепочке, прижал его к груди. Вдохнул и, сдерживая слезы, крикнул изо всех сил, так, чтобы слышал каждый солдат:

— Вперед, в атаку!..

— За родину, за нашего поглавника! Вперед!..

— Вперед, вперед! — кричал он, готовый умереть или остановить неприятеля. Он слышал, как кричали и падали бежавшие рядом с ним солдаты. Навстречу им катилась смертоносная волна. Они бросались в нее, как с разбегу бросаются в море. Люди прыгают в волну, а она их сразу же захлестывает.

Сейчас и Рудольфа она захлестнет. Надо во что бы то ни стало удержаться. Он уже один. Надо спастись.

И Рудольф мчится вниз по склону, по которому только что с криком бежал вверх, уверенный, что остановит и оттеснит противника. Он несется сломя голову, ничего не видя перед собой, задыхается. Полководец без армии. Он один на один со смертью. Нет сил бежать. Ноги не слушаются.

Он падает, уже перестав понимать, кто он и почему очутился здесь, среди этой отвратительной, вдоль и поперек перекопанной глины. Саниги скользят, он спотыкается. Нет. Он уже больше не бежит, он упал, у него, как говорят, подкосились ноги (может быть, меня подстрелили и ноги перебиты?); ему уже кажется, что он и не бежал никогда, что он провалился в какую-то пропасть и навсегда в ней останется. И пропасть затягивает его, как засасывает трясина брошенный в нее камень...

15

ПОГЛАВНИК (ИЗ ДНЕВНИКА)

Я еду к поглавнику. Последний раз я видел его двадцать дней назад в Загребе, в Горнем Граде*, на совещании, созванном перед походом на Козару. Среди торжест-

* Горни (Верхний) Град — древний район Загреба.

венной тишины поглавник говорил о целях нашего похода и мерах, которые необходимо предпринять, чтобы уничтожить опасный очаг бунтовщиков.

Я еду к поглавнику и волнуюсь, словно это моя первая встреча с ним: сердце стучит и замирает от восторга, во рту пересохло. Полковник Франчевич, возьми себя в руки, подтянись, осмотри, все ли в порядке, подумай, как будешь докладывать...

Со мной фра-Августин.

— Дорогой мой, — говорит фра-Августин, — я понимаю, что ты волнуешься. Давай же побеседуем в этот счастливый час о нашем поглавнике. Я о его жизни слышал очень мало, знаю, что он родился 14 июня 1889 года в селе Брадина, на Иван-горе, на границе Боснии и Герцеговины. Отец его, Милан, работал на железной дороге Сараево — Мостар. Знаю, что жену поглавника зовут Марой и у него есть трое детей — Мпрьяна, Вишня и Желимир...

— А вам известно, что до войны он был адвокатом в Загребе?

— Да, да. В те годы я даже встретил его однажды на улице. Внешность у него незаурядная: он очень высокий, да еще эти руки большие, сильные и голова большая, с крупными, необычными ушами. Лицо широкое, лоб изборозжен морщинами. Своим богатырским сложением он производит впечатление какой-то неукротимости и даже грубости. Губы у него обычно сомкнуты упрямо и сердито, лицо усталое, как у человека, который сутками не спит...

— Но стоит ему заговорить... — перебил я.

— Да, да, это я и хотел сказать, — подхватил фра-Августин. — Стоит только ему заговорить, как лицо тут же преображается, становится добродушным, даже простоватым, и уже кажется, что этот человек — олицетворение христианского милосердия, самоотречения, бескорыстия, кротости и доброты. Во всем его облике есть что-то глубоко народное. Он принадлежит к тем людям, которые не ищут в жизни наслаждений и роскоши и которых маленькие человеческие радости делают счастливыми. Говорит он низким голосом, не спеша, весомо. «Я пришел сюда работать, а не властвовать» — были его первые слова в освобожденном Загребе. В нем есть что-то мученическое, что-то от распятого Христа.

— Это вполне естественно, — заметил я. — Вам, вероятно, известны обстоятельства его жизни во время вынужденной тринадцатилетней эмиграции. Тут бы и камень не выдержал...

— Расскажи мне об этом, Франия! Ты же долгое время был вместе с поглавником в эмиграции.

— Рядом с поглавником прошли лучшие годы моей жизни, — подтвердил я. — Поглавнику пришлось испытать немало — голод, побои, преследования, каторгу. Дважды он был приговорен к смертной казни: один раз югославским судом, второй раз — французским. В 1929 году он эмигрировал из Загреба и сделал в Софии заявление об отделении Хорватии и о правах македонцев на обособленное существование. Тогда в Белграде его приговорили к смертной казни. Второй раз ему был вынесен смертный приговор во Франции после покушения на короля Александра, которое наши люди организовали в Марселе в 1934 году. Говорят, будто итальянское правительство оказывало ему постоянную денежную поддержку. Правда, он получал в Италии жалованье армейского генерала (пять тысяч лпр в месяц), но довольно длительное время вынужден был просидеть в тюрьме, ибо Муссолини после убийства короля Александра приказал распустить усташские лагеря в Италии, намереваясь привлечь Югославию в тройственный союз. Тогда и наступила для нас черная пора. Четыре года мы скрывались в подполье.

— Расскажи мне о частной жизни поглавника.

— Во Флоренции поглавник жил замкнуто. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь и гулял со своими детьми. Столярничал, делал клетки для кроликов, возился в саду.

— А где он жил?

— На одном из холмов, на улице Pietro Тасса, номер пять, в двухэтажном домике с зелеными ставнями, окруженном маслинами и обвитом диким виноградом. Кругом царил тишина и покой. Он сажал капусту и картофель; в саду по травке среди цветов всегда гуляла курица с цыплятами.

— А чем он еще занимался?

— В течение нескольких лет пытался создать регрессивный mobile, то есть машину, которая вращалась бы сама по себе, без приложения силы. От печего делать учил турецкий язык. Много читал, особенно по истории Хорватии и Боснии. Много мог рассказать о Ливно, первый раз упоминаемом в 982 году, о грамоте хорватского князя Мутимира, о Трпимире, Домагое, Бранимире*, о боях Трпимира с болгарским князем Борисом к востоку от реки Врбас. Он рассказывал нам, что у хорватского короля Томислава была армия

* Мутимир, Трпимир, Домагой, Бранимир — древние хорватские князья.

в десять тысяч пехотинцев и шестьдесят тысяч всадников, а это свидетельствовало о могуществе его королевства...

— Говорят, он тогда немало писал.

— Да, писать приходилось много: директивы, воззвания, статьи. Тогда же написаны его известные брошюры.

— Я читал «Ужасы заблуждений», антибольшевистский памфлет.

— Да, эта книга вышла в 1937 году. Кроме того, на немецком, итальянском и французском языках опубликованы многочисленные статьи и манифесты поглавника о движении усташей, о политическом положении Хорватии, о так называемом хорватском вопросе.

— Он и стихи писал?

— Ну как же! В 1931 году поглавник написал наш марш.

Треск виптовок, пушек грохот,
Словно гром гремят.
За отчизну в бой кровавый
Усташь летят.
Треск виптовок, пушек грохот,
Орудийный смрад.
А на поле боя тихо
Умрел солдат.
О Хорватия родная,
День наступит твой!
Усташь идут отважно
За тебя на бой.

— Да, да, я их знаю, — счастливо улыбаясь, подхватил фра-Августин. — А правду говорят, что поглавник писал даже романы?

— И романы писал, — подтвердил я. — В тридцать пятом он опубликовал «Прелестную блондинку», там говорится и о борьбе усташей. Мы все воспитывались на этом романе.

— Какие черты его личности произвели на тебя особое впечатление?

— Твердость воли и скромность. Он уехал в эмиграцию один, не рассчитывая на чью-либо поддержку, без средств, уехал без свиты, без шумихи. У него не было ничего, кроме его возвышенной души и непоколебимой веры в наше дело, веры, которая способна сдвинуть горы. Одевался он скромно, в ту же форму, что и мы, не носил никаких знаков различия. Он воспитывал нас, готовил к борьбе. Он лично разрабатывал планы наших занятий, сам составлял уставы, разъяснял сущность нашего движения и необходимость решительной борьбы с врагом; он любил рассказывать о славном прошлом Хорватии, укреплял в нас веру в воскрешение Независимого государства Хорватии, по-отечески заботился о каждом. И это даже тогда, когда обстоятельства складыва-

лись совсем неблагоприятно и когда у любого бы опустились руки. По приказу властей он без конца перемещал наши лагеря (из Ареццо в Оливетти, оттуда в Липари, затем в Калабрию) и никогда не терял присутствия духа. Даже после приказа о полном роспуске лагерей он, уходя в тюрьму, заявил, что наша борьба продолжается и что мы будем призваны к оружию, когда придет время расправы со змеиным логовом в Белграде. Это, как вы знаете, произошло в апреле прошлого года. До тринадцатого апреля мы ждали приказа в Северной Италии, а тринадцатого, ровно в четыре часа утра, перешли границу. В это время дочери поглавника Вппиня и Мирьяна по радио обратились к хорватскому народу с призывом восстать против тирании Белграда. Отчаянное сопротивление югославской армии немцам на северной границе не дало результатов. Началось поспешное отступление. Упорствовали лишь отдельные части, состоявшие из бандитов и коммунистов. По всей Хорватии уже разгоралось восстание во главе с уставами. Мы почувствовали поддержку, едва ступили на родную землю. Нас встречали с радостью, народ выражал нам преданность и любовь. Наши колонны буквально осыпали цветами. На домах развевались хорватские стяги, а также флаги Германии и Италии, чтобы солдаты наших друзей сразу могли убедиться, что хорваты встречают их с открытым сердцем...

— Да это я помню не хуже тебя, — сказал фра-Августин. — И призывы по радио помню.

В армию, в армию, витязь отважный...

Берись за копье и седлай коня...

Восстань, мой любимый народ...

О Хорватия, будь непреклонной...

Наступает наш день, загорелась заря свободы...

Я видел, как немецкие части, пройдя через Загреб, направлялись в Боснию, — вспоминал и фра-Августин. — Хорватия приветствовала своих освободителей. Отряды усташей и «Хорватской обороны» разоружали сербских солдат и гнали их в лагеря для военнопленных. Я сам слышал по радио, как кватерник провозгласил Независимое государство Хорватии. Ты не знаешь, почему это сделал не поглавник?

— К этому времени он еще не прибыл в Загреб, — пояснил я. — Мы задержались по дороге в Карловаце, где поглавника ждали представители немецкого командования. Мы вели долгие переговоры. Потом стало известно, что немцы колебались, кого избрать — поглавника или Мачека*, так как тогда считали поглавника итальянским ставленником.

* Мачек — хорватский буржуазный деятель, сотрудничавший с немецко-фашистскими оккупантами.

— Говорят, при въезде в Загреб ты находился рядом с поглавником?

— Да, я был в первой машине и держал знамя. Поглавник со свитой ехал в пятой, украшенной гирляндами цветов.

— Мне хочется показать тебе одну статью о поглавнике, но это уж как-нибудь в другой раз, — сказал фра-Августин.

— Где она напечатана? — спросил я.

— В итальянском журнале «Документо».

— А кто автор?

— Курцио Малапарте, итальянский литератор и публицист, один из друзей Муссолини. Ты обязательно должен ее прочитать! Это самое лучшее, что когда-либо было написано об Анте Павеличе.

— Дайте мне эту статью, — сказал я. — Но к ней надо отнестись внимательно. В свое время Малапарте был в ссоре с Муссолини. Я непременно прочту ее и, если она стоящая, перепишу в свой дневник.

МАЛАПАРТЕ О ПОГЛАВНИКЕ (ИЗ ДНЕВНИКА)

Когда создаешь образ человека, нужно принимать во внимание весь окружающий его мир, все те зеленые, коричневые, голубые тона (трава, земля, вода, листья), которые составляют фон человеческого существования. Первый раз я увидел лицо Анте Павелича на простых портретах, которые крестьяне, как картинки, развешивают по стенам своих домов в селах Славокини, Фрушкой горы, Срема, от Земуна до Оспека, от Вуковара до Загреба. Глубоко посаженные глаза, полные, румяные щеки, складки на лбу, мясистые губы — признак независимого характера и сильной воли. Таков Анте Павелич на народной олеографии. Портрет правится крестьянам, они вообще любят яркие краски, узоры, широкие цветные юбки и пестрые вышивки.

Резиденция поглавника расположена в Загребе на площади святого Марка, в центре Горнего Града, во дворце, еще недавно служившем местопребыванием хорватского бана*, назначаемого ранее сербами. Пробило пять часов. И, словно вызванный глухими ударами колокола, в дверях дворца в сером свете зари появился Анте Павелич, высокий, худощавый. Я заметил блеск его глаз, похожий на тот, какой излучает спокойная гладь реки. Он медленно прошел по площади и, глядя прямо перед собой, исчез в тени церковного портала.

Много лет назад, в Сиенне, на улочке, что спускается на Пьяцца дель Камню, мои друзья указали мне на мужчину средних лет. Он шел с двумя маленькими девочками, в скромном

* Бан — верховный правитель.

строгом костюме. Голову он держал прямо, а выражение лица казалось жестким. Девочки что-то говорили ему, он время от времени одобрительно кивал, оборачиваясь то к одной, то к другой. Это Анте Павелич, сказали мне друзья...

Когда я, наконец, очутился в кабинете поглавника в его дворце, у меня перед глазами все еще стоял тот мужчина с двумя девочками, которого я видел в Сиенне, недалеко от Пьяцца дель Кампо. Кабинет поглавника — небольшая комната, половину которой занимает огромный письменный стол. От стола до двери всего один шаг, и посетитель, сидя перед столом, почти касается спиной двери. Через окно, выходящее на площадь, в комнату струится свет, зеленый от множества деревьев, растущих по склону, на котором расположен Горни Град. Комната казалась тесной, но уютной: особый уют придавали ей легкие движения, участливый тон голоса и пристальный взгляд поглавника. Но что-то в нем изменилось. Я искал и не находил в теперешнем Анте Павеличе каких-то черточек Павелича-эмигранта. Дело, очевидно, в окружающей его обстановке: каменная Сиенна не похожа на Загреб, где так много травы, листьев, воды...

Как-то утром мы встретились с ним на берегу Савы. Я видел его профиль на фоне зеленых лесов. Анте Павелич наслаждался, вдыхая свежий аромат раннего утра. Правильные черты лица, высокий, скорбный лоб. Глубокий, пристальный взгляд, чистая матовая кожа лица. Какая-то исключительная, всепокоряющая сила чувствуется в его глазах, в изгибе губ. Его сдержанная улыбка, серьезность, с какой он ведет разговор, полны достоинства и одновременно редкостной человечности.

Хочется несколько подробнее остановиться на той его черте, которую обычно называют угрюмостью. Я бы сказал, что влияние, которое он оказывает на людей, в значительной степени обязано этой постоянной угрюмости. Причину ее надо искать не только в том, что он пережил за десять лет эмиграции: в его угрюмости есть что-то не личное, что-то совсем иное.

Обычно угрюмость людей проявляется эпизодически и бывает обусловлена какими-то фактами биографии, то есть является чем-то преходящим. Но если сосредоточенность и угрюмость не связаны с конкретными причинами, если они становятся неким абстрактным качеством, определяющим все поведение человека, они свидетельствуют о его трагическом одиночестве и недюжинной силе.

Ранним утром по пути в Монфальконе, где Анте Павелич должен был встретиться с дуче и графом Чиано*, мы оста-

* Чиано — министр иностранных дел Италии, аять Муссолини.

новились в Постойпе, чтобы выпить по чашке чая. Заодно Анте Павелич решил побриться. Мы его проводили до маленькой парикмахерской на противоположной стороне площади. Возле стены в ожидании своей очереди сидело двое солдат и несколько крестьян. Парикмахер подстригал какого-то капрала, альпийского стрелка. Павелич взял газету, сел в уголке и попросил нас подождать его в кафе.

Мы оставили его в парикмахерской, но, выходя, дали знак одному из солдат следовать за нами и сказали ему, кто этот человек с газетой. Узнав, что среди них находится Анте Павелич, солдаты и крестьяне стали предлагать ему пройти вне очереди: они были явно смущены, но и Павелич тоже смутился. Капрал вскочил с кресла с салфеткой на шее, с растрепанными, недостриженными волосами, уступая ему свое место, но Анте Павелич категорически отклонил все предложения и не хотел нарушать порядок. Все в нем было просто и естественно. Мы стояли возле парикмахерской и наблюдали эту сцену сквозь витрину, в которой были выставлены щетки, расчески, помада и восковой жепский бюст с огромным, выгоревшим на солнце, пыльным париком на голове. Анте Павелич не знал, что мы это видим. Его смущение и краска, залившая лицо, были безыскусны, и все его поведение исполнено истинного достоинства.

Вечером, возвращаясь из Монфальконе, мы из-за небольшой дорожной аварии (на одном из поворотов машина Павелича задела передним колесом встречный автомобиль) остановились где-то между Постойпой и Любляной. Пока механики возились с колесом, мы прогуливались по обочине шоссе. Солнце уже садилось, становилось прохладно. Пустынная местность со всех сторон была окружена густыми лесами и тенистыми холмами. Внизу, и это хорошо было видно с шоссе, двое крестьян, муж и жена, обрабатывали свое крохотное поле: полоску рыжей земли на дне расселины, похожей на воронку. Горные породы вокруг Постойпы состоят из карста и изрезаны такими трещинами.

Анте Павелич остановился и внимательно смотрел на крестьян, следил за их неторопливыми осторожными движениями. Я спросил его, почему здешние крестьяне используют динца воронок и не обрабатывают склонов. Павелич объяснил, что дождь смывает землю вниз, и только там, на маленьком участке, сохраняются крохи хорошей земли. Указав на женщину, которая из какой-то посуды черпала горстью белый порошок и сыпала им землю, он сказал мне, что эта похожая на муку пыль — зола. Ее используют бедные крестьяне как удобрение. И он обстоятельно и серьезно начал рассказывать о здешней земле, о тяжелом крестьянском труде, о голоде...

— Это моя родина, — закончил он.

И я начал понимать, в чем секрет этой необычной простоты и достоинства Анте Павелича. Я вспомнил крестьян, которых мне довелось встречать во время моих поездок по Хорватии. Я наблюдал их в селах и на нивах, занятых мирным трудом или вооруженных, патрулирующих на дорогах, с винтовками и с красно-бело-голубыми повязками на рукавах. Мне казалось тогда странным, что государственная безопасность и порядок в стране, мир и честь дома и семьи, плоды урожая были доверены не только устам, но и самим крестьянам. Во всем этом проявилась его любовь к земле, его мечта о крестьянской Хорватии, о крестьянском государстве, которое бы явилось символом мира, чистоты и высокого достоинства. Я начал понимать, что тайна Анте Павелича — это тайна редкостного благородства: земля ведь тоже окружена тайной, может быть, даже большей, чем плоть человеческая и кровь.

ПОГЛАВНИК (В ДУБИЦЕ)

Оживленный шум голосов не смолкал на площади вдоль главной магистрали в Босанской Дубице, разливаясь из двора во двор, от окна к окну. Дорога окаймлена пестрой гирляндой фесок и платков, солнце сверкает в оконных стеклах и придорожных лужах. Из ворот и калиток высыпают новые толпы народа, дети бегут вдоль шоссе, пристально всматриваясь в даль, другие жмутся к матерям и все ожидают, когда произойдет нечто великое, нечто такое, что приведет в трепет души этих маленьких граждан, которые впервые становятся участниками ни с чем не сравнимых событий. Гул голосов звучит торжественно и волнующе, еще торжественней лица людей, окаймленные кумачом фесок, в глазах — умиление и теплота, напоминающая мягкую нежность свежей зелени. Очи искрятся, морщины собираются в улыбку, свет лучится в глазах, все вокруг залито солнцем, а сердца переполнены радостным ожиданием. Говор и праздничный гул, фески и минареты, крики детей и суета женщин, голубизна неба, зелень фруктовых садов, солнце и блеск глаз — и все это выражение души народа. Пульсирует и струится по жилам возбужденная кровь, клокочет как родник. От восхищения у многих на глазах слезы.

Нахлынули воспоминания, одна за другой мелькают страницы нашей борьбы: горе, страдания, муки, искушения, возрождение и над всем этим — образ человека, который верил в победу даже в те дни, когда ему выносили смертный приговор...

Я встретил поглавника в центре городка и отдал рапорт. Он поблагодарил и предложил сесть в его машину.

— Как дела на фронте? — спросил он меня озабоченно.

Я рассказал о плане окружения Козары.

— Когда думаете покончить с бунтовщиками?

— Мы ожидаем их окончательной капитуляции с минуты на минуту, — я почувствовал, что голос мой дрогнул.

— Готовы ли лагеря для пленных?

— Мы приготовили три лагеря: в Ясеноваце, в Градишке и в Земуне. Кроме того, имеются лагеря для женщин и детей и специально для мальчиков от пяти до двенадцати лет.

— Чем меньше пленных, тем верней победа, — сказал поглавник. — Нужно позаботиться, чтоб их поменьше осталось. У нас много раненых?

— Много, поглавник.

— Что предпринимается для их спасения?

— Не хватает транспорта, и часто мы с большим опозданием доставляем их в госпитали, многие в пути умирают.

— Как только вернемся в Загреб, — поглавник повернулся к одному из сопровождающих его офицеров, — распорядитесь, чтобы сюда, на этот участок, срочно послали как можно больше санитарных машин.

— Поглавник, разрешите задать вам один вопрос?

— Спрашивай.

— Почему немцы на Козаре взяли всю инициативу в свои руки? Почему они распоряжаются даже моими легионерами?

— Так нужно, — угрюмо ответил поглавник.

Машина проезжала по узкой улочке, со всех сторон — из садов, парков, с порогов домов слышались приветственные возгласы. Все были охвачены волнением, напряженным ожиданием. Взоры впились в обожаемое всеми лицо, голоса гудели, как вечерний звон колоколов.

Поглавник выходит из машины и в сопровождении своей свиты идет к толпе.

— Как тебя зовут? — спрашивает поглавник какого-то старика.

— Меня зовут Хасан, поглавник.

— Ты местный житель, Хасан?

— Да.

— Да здравствует поглавник! — раздаются возгласы.

Волна воодушевления нарастает. Поглавник пожимает руки, и будто какая-то волшебная сила рождается в сердцах. Люди проталкиваются вперед, как можно ближе к нему, а он минует старое мусульманское кладбище с черными столбиками на могилах и останавливается перед мечетью. Поглавник здоровается с престарелым муллой и говорит ему, что когда-то, в раннем детстве, посещал мусульманскую школу.

— Поглавник, а моего пану ранили на Козаре.
— Как его зовут?
— Иван Песо.
— А где он сейчас?
— В Загребе, в лазарете.
— Не волнуйся, все будет хорошо, — отвечает поглавник. — А это чей ребенок? Ты чей, малыш?
— Это, поглавник, мой внучек, Анте, — отвечает за ребенка стоящий рядом старик. — Я назвал его в честь вас, поглавник. Маленькая девочка потеряла в толпе мать.
— Как тебя зовут? — спрашивает поглавник.
— Хасния, — отвечает она, еле шевеля губами от страха.
— Милая девочка, мама сейчас придет, не бойся.
К поглавнику подходит заплаканная женщина.
— О чем ты плачешь? — спрашивает поглавник.
— Я плачу от счастья, поглавник, потому что вижу вас, — говорит женщина и рукавом вытирает слезы, а поглавник, как добрый отец, продолжает свою беседу с народом.
— Ух ты, какой толстяк! — говорит он малышу, которого держит на руках мать, а затем обращается к мальчугану с деревянным ружьем. — У тебя уже есть винтовка?
— Есть, — говорит мальчик. — Я устал.
— За тебя хорват жпзнь свою отдаст! — раздается песня.
К поглавнику присоединяется полномочный министр Германии в Загребе Зигфрид фон Каше. Он в парадной офицерской форме, в белой рубашке с черным галстуком. На левом рукаве свастика. Зигфрид фон Каше меньше поглавника ростом, он худощавый, но крепкий, у него острая борода и выдающиеся вперед надбровные дуги. Он держится предупредительно и скромно, как человек, который не хочет выделяться.
Возле дороги на Козару стоит военная машина, одна из тех, в которых усташы подвозят снаряжение. Заметив солдат, поглавник подходит к ним и здоровается за руку.
— Откуда вы? — спрашивает он.
Один солдат из Грахова, другой из-под Яйце.
Услышав, что один из-под Яйце, поглавник спрашивает, из какого села. Он хорошо знает эти края, потому что там жил, когда учился в начальной школе. Солдат отвечает, а поглавник грустно улыбается, вспоминая далекие годы детства.

ПОГЛАВНИК (В ЛНЕВЧЕ)

Мы посоветовали ему не ехать по шоссе от Дубицы к Приедору, так как это весьма опасно. Обойдя наши позиции в Беляйцах, мы направились на северо-восток. Ночь застала нас

в Славонии, а на рассвете мы двинулись к Босанской Градишке.

Над зеленью полей и рекой занималась заря.

Мы въехали в залитую утренним солнцем Градишку.

— Где решили возводить железнодорожный мост на линии в Баня Луку? — спросил поглавник коменданта города. — Обсуждение этого вопроса закончено. Линия пройдет здесь, — поглавник прочертил на карте направление, по которому должна была пройти новая дорога. — Довольно рассуждать. Работы необходимо пачать как можно скорее.

— Работы начнутся через восемь дней, поглавник!

— Правильно. Не заниматься болтовней, а работать! За нас будут говорить наши дела.

Мы движемся по шоссе, которое спускается вниз, вдоль Лиевчеполя. Видно, как группы солдат стягиваются к холмам. На одном из перекрестков все машины останавливаются. Большинство сопровождающих поглавника офицеров дальше не поедут; он берет с собой лишь несколько человек, чтобы осмотреть расположения ближайших частей. Здесь очень опасно, с правой стороны не прекращается перестрелка.

— Одна из наших частей сейчас ведет бой, — к нам подбегает офицер, взволнованный и бледный. — Очищаем район.

Стоит чудесное утро, окруженная зелеными холмами долина затянута прозрачной дымкой. Оттуда доносятся одиночные выстрелы.

— Поглавник, здесь особенно опасно, — напоминает встретивший нас офицер. — Нельзя идти всем вместе, мы должны разбиться на несколько групп.

Поглавник отважно шагает по изрытой снарядами дороге. Рассматривает в бинокль позиции, слушает донесения о боевых действиях на этом участке. Внезапно совсем рядом раздается резкий треск и свист снарядов. Все на мгновение останавливаются. Батарея, расположенная в нескольких сотнях метров от нас, открыла огонь по противнику, который находится на опушке леса, на расстоянии четырех-пяти километров. Шрапнель рассыпается в воздухе, облака дыма указывают место разрыва. Поглавник внимательно следит за стрельбой. Орудия бьют одно за другим, снаряды пролетают над нашими головами, устремляясь в долину, откуда через несколько мгновений доносится мощный взрыв.

Гремят батареи, рвутся снаряды. Поглавник смело идет вперед, к нашим позициям, и офицер докладывает ему о ходе боя.

— Желаю вам удачи, — говорит Поглавник.

Солдаты беспокойно перебегают от палатки к палатке, они

весело скидывают на плечо винтовки и замирают по команде «смирно». А на лицах светятся улыбки.

— Поглавник, разрешите доложить..

Кругом — разрушенные дома, обгоревшие крыши. Торчат одинокие, почерневшие столбы. Партизаны сожгли село, где до войны жили немцы. Здесь тринадцать наших солдат оборонялись до последнего патрона. Рассказывают, что старшего из них партизаны сожгли живьем. Я спрашиваю себя: вот это и есть их красное счастье — одинокий дом с выбитыми окнами, стены, изрешеченные сотнями пуль, мрачная, жуткая тишина?..

Машины мчатся вдоль лесов и лугов, на которых крестьяне косят еще влажную траву. Куда ни кинешь взгляд — ширь полей; волнуется золотые нивы. Кое-где уже жнут ячмень: мелькают серпы, сверкают косы, крестьяне собирают желтые охапки колосьев, вяжут снопы, ставят их в ряд для просушки. Первая жатва, будет хлеб: колосья покачиваются на утреннем ветерке, кукуруза шелестит вдоль дороги.

Две деревенские девочки приветствуют поглавника и немецкого посланника (на хорватском и немецком языке), преподносят им букеты цветов. Подходят священник и комендант поселка. Они сердечно здороваются с поглавником и фон Кашо и приглашают их выпить и закусить...

ПОГЛАВНИК (ИЗ ДНЕВНИКА)

Из этого поселка поглавник продолжает путь в сторону Козары. Машины огибают горный массив с северо-востока. Мы делаем крюк больше чем в сто километров. На нивах прилежно трудятся крестьяне, счастливые, что освободились, наконец, от партизан, которые распоряжались тут всю зиму.

Машины останавливаются перед крестьянской хатой, стоящей возле самой дороги, у южного подножья Козары. Гора угрожающе поднимается над ней, скрывая в своих лесах бунтовщиков, у которых нет никакой надежды на спасение.

— Кто прибыл? — спрашивает полковник Рупчич из третьей стрелковой бригады, ведущей бой на этом участке. — Неужели в самом деле поглавник? — Рупчич так поражен, будто ему сказали, что кончилась война.

К изумленному Рупчичу приближается сам поглавник. Рупчич замер, выпалил приветствие и отrapпоровал:

— Поглавник, имею честь доложить, на моем участке бой идет успешно. Сегодня мы снова продвинулись вперед, причем захватили два пулемета и обнаружили двадцать убитых партизан. У нас потерь нет.

— Спасибо, — говорит поглавник. — Как воюет противник?

— Поглавник, осмелюсь доложить, на некоторых участках сопротивляется отчаянно, как разъяренный зверь.

— Они несут большие потери?

— Никогда нельзя установить точное число их потерь, так как они или умудряются оттащить с собой трупы, или имеют специальные взводы, в обязанность которых входит быстрое захоронение погибших. На месте захоронения они не оставляют никакой отметки и, даже более того, по возможности маскируют могилы, так что мы не можем определить, сколько их погибло и где они закопаны. Таким образом они пытаются поддержать боевой дух своих людей, но это им не всегда удается.

— Как же вы сумели обнаружить двадцать убитых, о которых мне только что сообщили?

— Их трупы оказались на земле, прямо перед нашими окопами, — попытался выкрутиться полковник Рупчич.

— Козара в надежном кольце?

— Поглавник, смею доложить, мы их так окружили, чтомышь не проскочит. Партизаны предчувствуют свою неминуемую гибель и пытаются вырваться из капкана. Недавно несколько евреек, сбежавших на Козару, пытались проскочить обратно, переодевшись крестьянками. Затеяли жиды кровавую игру, а теперь думают, как спасти собственную шкуру. Но мы не дремлем.

— А что они еще предпринимают?

— Должен вам доложить, — продолжал полковник Рупчич, — они только и знают, что выдумывают всякие хитрости. То соберут перед атакой женщин и детей. Те примутся шуметь и отвлекут наше внимание, а партизаны в это время ударят совсем в другом месте. Иногда они гонят женщин и детей впереди, думая, что мы в них не будем стрелять.

— Но вы, разумеется, должны стрелять, — говорит поглавник. — Если они пользуются такими средствами, пусть и отвечают за последствия!

Поглавник садится на коня и направляется к холму, где расположены передовые посты. Холм этот находится в двух километрах от штаба полка. Он был занят за несколько часов до нашего приезда. Когда мы подъехали, солдаты рыли окопы. На небольшом возвышении установили тяжелый пулемет; на склоне холма сооружали укрытие. По ту сторону долины, метрах в четырехстах, уже можно было невооруженным глазом рассмотреть партизанские позиции.

Сойдя с коня, поглавник подошел к солдатам. Он расспрашивал их о ходе боев, осматривал укрепления. Неожиданно слева послышалась резкая пулеметная пальба. В пятидесяти

метрах от того места, где стоял поглавник, наш пулемет открыл огонь по врагу, затем затрещали винтовочные залпы, но поглавник продолжал спокойно, словно ничего не случилось, беседовать с солдатами.

— Поглавник, смею доложить, — говорит полковник Брозович, командующий бригадой, — вчера они забросили листовку, в которой предлагают нам сдаться. Любопытно, что воззвание подписано именем одного из их главарей, который уже давно убит.

— Кто такой?

— Доктор Младен Стояпович, врач из Приедора.

— Поглавник, разрешите доложить. Здесь, на южных склонах Козары, за нашей спиной находятся части четницкого воеводы Радослава Радича, убившего доктора Стояповича.

— Как велики его силы?

— Примерно один полк.

— Им можно доверять?

— Вполне, но они не будут играть решающей роли, так как основной удар примут на себя наши подразделения.

— Так и должно быть, — говорит поглавник. — Свою отчизну лучше всего сумеем защитить мы сами.

Солдаты и офицеры окружают поглавника.

— Особую радость, — говорит поглавник, — доставляет мне то, что я нахожусь среди вас, отважных офицеров и солдат, которые защищают наш строй и порядок и борются против величайшего врага нашего народа и всего человечества. Те, что укрылись там, в лесу, единомышленники большевистской России. Они хотят создать второй фронт. Но они должны быть уничтожены, так же как и все, кто им помогает. Хорватское государство объявило партизанам войну вплоть до их полного истребления. Выживем эту язву на нашем теле! Тот, кто не хочет трудиться на благо нашей родины и государства, должен погибнуть. Тот, кто рассчитывает жить в Хорватии, а служит еврейскому большевизму и Москве, должен знать, что ему не сносить головы. Усташки поднимут его на свои штыки.

Поглавник выражает благодарность личному составу соединений, которые плечом к плечу с немецкими частями храбро сражаются против партизан, причем особо выделяет полковника Брозовича, который в течение всей зимы отражал в этих краях атаки бунтовщиков. Затем он произносит отчетливо и громко:

— Здесь, на поле боя, я присваиваю полковнику Брозовичу чин генерала. Точно так же я выражаю благодарность полковнику Рупичу за проявленную отвагу и награждаю его орденом Железного трилистника третьей степени.

Поглавник поздравляет полковника Брозовича с присвоением ему чина генерала, а затем собственноручно прикалывает орден на грудь Рупича. Все растроганы. Брозович и Рупич срывающимися от волнения голосами благодарят поглавника за оказанную им высокую честь.

Лучи заходящего солнца заливают округу розовым светом.

ОТЪЕЗД (ИЗ ДНЕВНИКА)

Благословен край, где мы обитаем. Зеленые ветви тихонько колышутся и убаюкивают нас, словно песня матери. Медленно опускается ночь, и лунный свет серебрит кроны деревьев.

Я обошел окопы на опушке леса: наши ребята готовы биться не на жизнь, а на смерть; у каждого за поясом нож со свастикой, изготовленный по личному чертежу поглавника.

— Поглавник воскресил корону Звонимира, — говорит фра-Августин. — После смерти Звонимира хорватское королевство распалось. История не сохранила достоверных сведений о последних часах короля. По одним источникам, Звонимира убили словенцы, по другим — «проклятые богом изменники из хорватов», которые не хотели идти за море, куда их намеревался повести король, чтобы освободить от неверных гроб господень.

Я словно вижу перед собой эти слова священника написанными кровью, опаленными огнем. Он смотрит на меня с улыбкой. Он знает, что я ему верю: он помирил в моей душе бога и поглавника, усталость и католицизм.

— Милый мой Франчевич, — говорит священник, — ты, должно быть, не знаешь, что ровно семьсот лет назад, в 1242 году, в долине под Велебитом войска хорватского короля Белы отражали нашествия Батыя, племянника Чингисхана, а Степко Шубич, брибирский князь, храбро защищал Трогир. Хорватские полки в течение многих веков воевали по всей Европе, на территории теперешней Германии и Франции, на Средиземноморье. А известно ли тебе, что наши солдаты принимали участие в походах Наполеона?

— Вот этого я действительно не знал.

— В 1811 году хорватские воинские части собрались в Любляну, где их переформировали на французский манер. Потом они отправились в Париж: пятьдесят семь дней пешего похода и двенадцать дней отдыха. Их парадный марш перед Лувром наблюдала французская императрица Мария-Луиза. Оттуда хорватские солдаты двинулись на Берлин и далее на восток, в Россию. У каждого за плечами был ранец и мешочек с мукой,

ибо, как было предусмотрено, «всякому солдату с собой на восемь дней муки иметь должно». С Наполеоном отдельные хорватские части идут на Бородино. Другие остаются на берегах Двины. Позднее, при отступлении, они прикрывали арьергард. Отважно бьются и гибнут наши предки на Березине. Наполеон отмечает гренадера Марко Войновича и, потрепав его по плечу, говорит: «Превосходный солдат!»

— Но ведь немало повоевали наши предки и здесь, на реке Уле, на границе Востока и Запада.

— Об этом написаны целые книги, — перебивает его фра-Августин, стаскивая с себя сапоги. — Босния всегда считалась хорватской землей. Сербские короли, даже сам Драгутин, не заходили дальше Врбаса. Владения Степана Томашевича, последнего боснийского короля, составляли крохотное государство, *minusculo stato*, которое не могло противостоять туркам. Захватив эти края, турки заставили хорватов отступить на запад и на север. Сербы начали заселять освободившиеся земли и осели на них. Так сербы заняли и Козару, которая испокон веков принадлежала хорватам. С тех пор она стала вечным камнем преткновения.

— Смотрите, святой отец, звезда закатилась.

— Еще одним сербом стало меньше, — сказал фра-Августин. — Мы будем счастливы, дорогой мой, только тогда, когда в этих краях не останется ни одного серба. Эта земля принадлежит нам и нашей должна остаться.

Мы улеглись на постели из веток и листьев.

— О дорогой мой боже и пресвятая дева Мария, — зашептал фра-Августин.

— Господи, — молюсь и я, — поставь меня на путь истинный. Помоги мне до конца исполнить долг мой и возложенные на меня обязанности. Поддержи мой дух и укрепи тело, дабы я был верен нашему делу и смог отдать все свои силы для достижения указанной нашим поглавником цели, которая блистает перед нами, как звезда.

16

Он шел к небольшой речке, которая извивалась у подножья холма. Опушка ближнего леса вся заросла высокой густой травой. Ветер доносил запах перестоявших грибов, спелой земляники, отцветающих лип.

Пришло письмо, недавно полученное из России от брата. Он пишет, что дивизия Фрица Найдхольда, в которой он служит, находится на подступах к Сталинграду. Пишет, что занята большевистская крепость Севастополь, где взято в плен более пятидесяти тысяч русских. Между прочим, он сообщает, что в дивизии Фрица Найдхольда есть и хорватский полк, солдаты которого (в отличие от румын) хорошо воюют. Брата удивляет отношение хорват к русским: несмотря на то, что и те и другие славяне, хорваты за убийство одного своего солдата вешают по четыреста русских крестьян, жгут их дома, а усадьбы буквально сравнивают с землей.

Он там, я здесь! Зачем это все?

Вот и речка. Прозрачная, чистая вода струится по гальке, подмывает камни и пни, перескакивая через поваленные стволы деревьев. Он наклонился и увидел внизу, почти на дне, свое изображение. Вот как искажилось мое лицо. Я и не я. А может быть, это моя смерть?

Нет, лучше не думать об этом. Он снял сапоги, опустил в воду потные, усталые ноги со скрюченными пальцами и смотрел, как их ласково обмывает вода.

Уже двенадцать дней он скитается по этим холмам, грязный и обросший, в постоянном страхе за свою жизнь. Кругом раненые и мертвые. Атаки козарчан становятся все яростнее. Они любой ценой хотят пробиться из окружения. Раньше, пока здесь стояли одни хорваты, это, может быть, им и удалось бы, но теперь поздно. На фронт прибыла дивизия генерала Боровского. Кольцо замкнулось, с Козары не вырваться даже птице.

С Козары не вырвется даже птица; он улыбнулся. Каково блаженство — болтать голыми ногами в прохладной и чистой струе горного потока. С Козары не вырваться даже птице — на фронт прибыла дивизия генерала Боровского. А вообще все это лишено смысла, борьба бесплодна и беспредметна, и, сидя нынче на берегу этой речки, он пришел к выводу, что самое лучшее было бы сейчас лечь на траву и задремать или вернуться к своему мольберту. Что ж, он так и сделает.

Писать, только писать...

Меня абсолютно не интересует, свободно или не свободно Независимое государство Хорватия и что думает об этом Гиммлер. «Существование Независимого государства Хорватии обеспечивают проживающие в нем немцы», говорил Гиммлер офицерам, среди которых находился и майор Дитер. Оно будет с нами, пока фюрер не решит иначе. Что до нас, то сербы и хорваты могут перерезать друг друга до послед-

вал новые, мазок за мазком, потом снова все соскребал, смешивал и снова накладывал. И чем упорней он все это делал, тем дальше оказывался от своей цели и уже почти начинал верить, что никогда не сможет добиться успеха. Стремясь во что бы то ни стало воплотить свой замысел, он допускал все новые и новые ошибки и сталкивался с непредвиденными трудностями. Но он не сдавался: начинал все снова и делал мазок за мазком, злясь и мучаясь. А сверху, безжалостное, как судьба, палило солнце.

Скорее, скорее, думал он, пока не поздно...

— Господин майор, — подбежал к нему вестовой. — Вас вызывают в штаб.

— Что случилось, Ганс?

— Приказ подполковника Хеншеля. Вам приказано немедленно явиться лично к господину подполковнику.

— Хорошо, Ганс, — сказал он. — Помоги мне. — Пришлось снять холст, убрать краски, завернуть палитру, сложить мольберт. И это как раз в тот момент, когда, как ему вдруг показалось, он нащупал правильный путь: еще один мазок, один штрих, и картина бы ожила...

Хеншель приказал ему немедленно отправиться в Приседор. Он, хотя и добродушно, упрекнул Дитера за частые отлучки из штаба, за то, что солдатам приходится его постоянно разыскивать, а офицерам ждать. Дитер молчал, вытянувшись по команде «смирно» и всем видом своим показывая, что сознает вину.

— Возьмите это и прочтите в пути, — сказал Хеншель. — Сводка боевых действий.

Майор Дитер сел в машину. Ему все еще мерещилась картина, которую он начал на берегу горной речки. Сегодня бы она удалась, думал он, но мне помешали. Может быть, никогда уже я не смогу настолько приблизиться к цели. А теперь вот, хочешь не хочешь, читай эту сводку, и уже не до картины. Черт бы побрал все сводки и все военные операции!

...Окончательное поражение потерпела Первая хорватская горнострелковая дивизия, потерявшая большую часть личного состава, вооружения и боеприпасов. Используя лесистую пересеченную местность, противник в течение многодневных боев оказывал стойкое и мощное сопротивление. В боях принимали участие даже женщины. Противник оказался настолько упорным, что хорваты вынуждены были вывести орудия на линию огня и открыть сплошной огонь, но партизаны устояли. После атаки, предпринятой партизанами, хорваты в панике отсту-

нили, бросая оружие и пытаясь спастись бегством. Однако уйти удалось только небольшому числу кавалеристов.

Рассчитывать серьезно на хорват мы больше не можем. Они разбиты. Немецкие части берут все в свои руки, а остатки хорватских частей перебрасываются в тыл. Фриц нападает с юга, Путлиц и Ведель — с юго-запада, а принц Баденский — с северо-востока. Козара снова в кольце окружения.

Я это вроде бы уже где-то читал, думал он, откинувшись на спинку сиденья. Ничего другого от хорват не следовало и ожидать. Чего они, собственно, хотят? Стремление во что бы то ни стало выделиться делает их смешными в любой серьезной стычке с противником. Так было и на Банни. Кроме легиона полковника Франчевича и отдельных подразделений усташей, я не встречал ни одной части, которую можно было бы назвать боеспособной. Их атаки похожи на опереточные батальи.

Он отложил сводку и расстегнул китель. Было жарко. Хотелось выйти из машины, спуститься к реке, охладиться, взять в руки кисть. Но это было невозможно. Он пытался представить себе, зачем его вызывают в Приедор. Но внезапно его внимание привлекли солдаты, окружившие какую-то женщину.

— Останови, — сказал он шоферу. — Это священник?

— Это фра-Августин, — ответил шофер.

— Что тут происходит, ваше преподобие? — спросил Дитер, выходя из машины.

— Поймали бандитку, — сказали священник.

Он увидел девушку. Лицо ее выражало обиду и негодование. Руки были связаны. Легкое платье облегалo фигуру. Одежда и белизна кожи говорили о том, что это горожанка. Она была стройная и молодая. Из-под платка выбилась прядь волос. Дитер внимательно посмотрел ей в лицо, и ему показалось, что он ее уже где-то видел: лицо было прекрасное и свежее, как раннее утро.

— Где вы ее схватили?

— На шоссе, — отвечал фра-Августин. — Бродит в расположении наших частей и собирает шпионские сведения.

— Она созналась?

— Нет, но сознается, — сказал фра-Августин.

— Почему же вы заключили, что она шпионка?

— Нетрудно догадаться, — сказал фра-Августин. — Мы старые знакомые. Однажды она уже попала к нам в руки, но мы тогда отпустили ее, девчонка сумела выкрутиться.

— Как ее зовут?

— Матильда, — сказал фра-Августин. Услышав свое имя, девушка подняла голову, как ученица, которую вызвал учитель. — Выродок. Попадаются бандиты и среди хорватов.

— Мне не все ясно, — сказал Дитер. — Я бы хотел услышать доказательства того, что она шпионка.

— Она утверждает, что приехала из Загреба, — начал фра-Августин. — Вот я вас и спрашиваю, зачем сюда соваться девушке из Загреба? Говорит, идет повидаться с родителями, которые живут в Приедоре. Но идет-то она в самый разгар боев и именно по тем дорогам, где происходят самые ожесточенные схватки. Когда несколько дней назад схватил ее на берегу Уны, недалеко от Костайницы, она тоже говорила, что, мол, идет из Загреба к родителям. Но после того как мы на нее прикрикнули, начала плести невесть что, реветь, и не случись тут Муяги... Она даже упоминала полковника Франчевича, а теперь снова шляется в районе военных действий...

— А вы спросили, была она у родителей?

— И спрашивать нечего, — сказал фра-Августин. — Все эти рассказы — чистейший вымысел.

— А мне все же хотелось бы услышать какое-либо веское доказательство.

— Лучшее доказательство — ее сбивчивые ответы. Если бы шла к родителям в Приедор, то уже выбрала бы дорожку поспокойнее, а не шляется бы по шоссе, где идут такие бои.

— А разве в Приедор нельзя пройти этим путем?

— Если человек спятил, может идти и здесь, сквозь этот крошечный ад.

— А может, она как раз спятила? — улыбнулся Дитер.

— Спятила? — фра-Августин осклабился, как собака, у которой вырывают из пасти кусок мяса. — Не будьте паникеры, майор. Уверяю вас, это партизанская шпионка и вообще опасная штучка.

— Я должен вам заметить, что появление этой девчонки меня заинтересовало, — сказал майор Дитер. — Заинтересовало прежде всего своей загадочностью. Я не убежден, что вы связали действительно разведчика. Такие глаза не лгут. Это глаза перепуганного ягненка.

— Ну что вы говорите, господи боже мой! Заладили, как тогда Муяга, невиновна, невиновна.

Фра-Августин захохотал. Сложенные на животе руки его тряслись, и мутные зеленоватые глаза злобно поблескивали.

— Это хищный зверь, а не ягненок, — сказал он. — Я не могу ошибиться: она шпионка.

— Вы спрашивали, что она думает о партизанах?

— Говорит, что они авантюристы, но это она сейчас придумала.

— А как относится к немцам?

— Об этом мы не додумались спросить, — сказал фра-Августин не без иронии.

— Об этом ее спрошу я, — сказал Дитер. — Но не сейчас, а попозже, в более спокойной обстановке.

— Вы хотите ее забрать?

— Да, — сказал Дитер. — Я беру ее с собой.

— Она наша, — пробовал протестовать фра-Августин. — Мы сами отправим ее куда следует — в яму, как всех шпионов. Для этого я уже вызвал и Мате и Асима.

— Мы и сами с ней справимся, — сказал Дитер. — Немецкие офицеры умеют исполнять приговор, но надо знать, справедливо ли обвинение. Вину этой девушки необходимо доказать.

— Что это практически значит?

— Практически это значит, что я отвезу ее в Приедор, — решительно заявил Дитер. — Там мы все и установим, там я буду иметь возможность проверить ее показания.

— Столько раз мы расстреливали шпионов без всяких проверок, — сказал фра-Августин. — Зачем для нее делать исключение?

— А вот затем, — сказал Дитер. — Смерть одного невинного, если это будет обнаружено, принесет нам больше вреда, чем смерть сотни действительно виновных. Виновных люди не жалеют, а невинные жертвы превращаются в символы.

— Я бы ее все же прикончил, — упорствовал фра-Августин. — Она виновна хотя бы потому, что столько дней болтается возле линии фронта и шпионит.

— Если она окажется виновной, ее ждет неминуемая смерть. А теперь скажите, чтобы она садилась ко мне в машину. Она понимает по-немецки?

— Я не знаю.

— Sprechen Sie deutsch? — спросил Дитер.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Скажите, чтоб шла за мной, — повторил Дитер.

— Иди, — сказал фра-Августин. — Смотрите, чтоб не сбежала, — приказал он сопровождающим солдатам.

— Развяжите ей руки, — сказал Дитер, усаживаясь в машину.

— Господи, да вы понимаете, что вы делаете?

— Я сказал, чтобы ей развязали руки, — повторил Дитер.

— Она убежит, опять убежит, — уверял его фра-Августин.
— Это уж мое дело.
— Тогда я поеду вместе с вами до Приедора.
— Спасибо, ваше прендобие, — улыбнулся Дитер. — Мне ваша помощь не нужна. Мне не впервой ехать с...
— Как же вы будете с ней разговаривать?
— Разве это первая женщина в моей жизни, которая не понимает по-немецки? — сказал Дитер. — Как-нибудь договоримся.

— Вот балда, — процедил фра-Августин. — Балда.
Но майор не понял его и поэтому не рассердился.
Он смотрел на девушку и представлял свое будущее произведение: молодая женщина на опушке леса, среди колосьев, рядом с окопами. «Завтрак на траве» Ренуара поблик бы в сравнении с этой картиной. Он не отрывал взгляда от до-
ставшейся ему чудом натурщицы и восхищался ею.

Девушка на какое-то мгновение подняла на него свои усталые, измученные глаза. Ее платье, плотно облегавшее тело, словно бы и не предназначалось для того, чтоб прикрыть наготу, а, наоборот, дерзко подчеркивало линии фигуры. Но девушка смотрела на майора совсем недолго и тут же, как намокшая под дождем птица, бессильно опустила голову.

Он хотел заговорить с ней. Но как? О чем ее спросить? А тут еще прислушивается шофер, хмурый баварец. Ему очень хотелось сказать ей что-то ободряющее и значительное, чтобы она почувствовала в нем своего защитника и друга. Но она молчит и отводит взгляд, а он не знает ее языка и не может заговорить.

Когда приедем в Приедор и этот бульдог уйдет, я как-нибудь назначу ей свидание, думал он. Но где встретиться? В парке? Парка нет. На берегу Саны? Там хорошо — и кусты и трава. Растянуться бы на сене, на мягкой, только что скошенной траве. Он посмотрел на девушку.

— Sprechen sie deutsch?

— Nein. Ich spreche nicht deutsch, — ответила она легко и свободно.

Он очень удивился. Сразу же задал несколько вопросов, но все было тщетно.

Девушка молчала и только покачивала головой или повторяла одну-единственную фразу, что не говорят по-немецки. Но эту фразу она произносила безупречно.

Напрасно Дитер продолжал расспросы. Он размахивал руками и вращал глазами, стараясь сообщить ей свои мысли. Она его не понимала. Она казалась глухой и немой. В недоумении разводила руками, качала головой, в то время как

майор Дитер уже чувствовал, что с ним происходит что-то необычное и странное.

Нечто подобное он испытал, когда впервые увидел Изабеллу. Тогда это была любовь. Человек зрелый, Дитер понимал, что любовь редко приходит дважды. Он любил Изабеллу, по это только что встреченное им существо явно выбило его из обычной колеи. Он уже почти верил, что влюбляется снова. Это его привело в замешательство и испугало.

Он набрал полные легкие воздухом и махнул рукой. Ерунда. Я просто давно не встречался с женщинами, пытался он успокоить себя. Он припомнил встречу с той француженкой в Париже. Все выяснится уже сегодня вечером на берегу. Он обрел спокойствие.

Наконец они приехали в Приедор, смрадный, кишачный мухами. Он хотел расстаться с девушкой прежде, чем они доедут до комендатуры. Но что делать с этим бульдогом, который наострил уши?

— Останови здесь, — сказал он шоферу. — Поезжай в гараж и исправь аккумулятор, а после подъедешь прямо к комендатуре.

Машина рванулась, подняв за собой облако пыли. Дитер с девушкой остались вдвоем. Он осмотрелся по сторонам: на них уже обращали внимание. Пока это были только горожане, но каждую минуту мог появиться и кто-нибудь из военных.

— Вы боитесь, майор? — сказала девушка по-немецки. — Не бойтесь, я умею хранить тайну.

— Да вы отлично говорите по-немецки! — воскликнул Дитер.

— Не знаю, отлично ли, но говорю, — спокойно ответила девушка.

— Тогда вы поняли и то, что я сейчас сказал шоферу?

— Да.

— Вы очаровательны, — сказал Дитер. — На нас уже смотрят, и мы не можем стоять дольше, а я хотел бы назначить вам свидание. Вас зовут Марта?

— Матильда.

— Матильда, могу я вас попросить, — продолжал Дитер, — если вы свободны, прийти нынче вечером на мост? Вы знаете, где мост?

— Знаю. А когда?

— В восемь.

— Вы забыли о комендантском часе, — напомнила ему Матильда.

— Черт бы побрал этот комендантский час! — сказал Дитер. — Что же делать?

— Встретимся раньше, — предложила Матильда.

— Но где, черт возьми? Я же не хочу, чтобы о нашей встрече стало известно. Поэтому лучше, когда стемнеет, — в восемь или даже после девяти.

— Давайте встретимся у вас дома, — сказала Матильда.

— О, mein Gott! — воскликнул Дитер. — Это чудесно.

— Вы мне скажете адрес?

— Конечно, конечно, — повторял с восторгом Дитер.

— Я приду после шести, — сказала Матильда, записав адрес. — До свиданья, майор.

Вот я и в Приедоре, а как раз сюда меньше всего хотела попасть. Никого не знаю. Сесть бы в поезд — и в Загреб, подумала она. Но поезда не ходят, железную дорогу взорвали. Надо как-то выбраться из города, укрыться в поле, а с наступлением темноты...

Она смотрела на север, в сторону гор. Она знала эти края. До войны, еще ученицей, она побывала на Козаре, была на Мраковице и в монастыре Моштанице. Она вспомнила усталых, которые ее дважды пытали. Оба раза жизнь ее висела на волоске.

Садясь в автомобиль с Дитером, она была уверена, что едет в тюрьму и на верную смерть, но немец не бил ее и, казалось, не желал ей зла. Поэтому она решила не бежать, а искать иной выход.

Ровно в шесть она позвонила. Дверь тут же открылась, словно хозяин ждал, держа руку на защелке. Майор Дитер был одет по-домашнему, чисто выбрит, от него пахло одеколоном.

— Вы сдержали свое слово, — улыбнулся он.

— А вы сомневались?

— О нет! Вы видели родителей?

— Я их не застала, — сказала Матильда. — Вероятно, мы разминутись: они уехали ко мне в Загреб, а я сюда...

— Теперь вы в моих руках, не так ли?

— Дружеские руки не опасны, — сказала Матильда.

Он взял ее за плечи.

— Я и правда хочу, чтобы вы считали меня другом.

— Когда вы едете обратно в Дубицу?

— А вам зачем это знать?

— Возьмите меня с собой, — сказала Матильда. — Если отвезете меня в Дубицу, я поверю, что вы друг.

— Это слишком ничтожная цена, — сказал Дитер, прикоснувшись к ее волосам.

Он с трудом сдерживал возбуждение. Ему не хватало воздуха. Вдруг он крепко обнял Матильду. Она тихонько оттолкнула

нула его. А когда он все же поцеловал ее, слегка ударила по щеке.

— А вы не признаете шуток, — сказал Дитер.

— Такие уж у балканских девушек нравы, — отвечала Матильда.

— Их шутки всегда похожи на драку?

— Да, вроде того.

— А какие же они бывают, когда дерутся всерьез?

— Лучше вам этого не пробовать на себе, — сказала Матильда. — Она осмотрела хорошо обставленную комнату — кровать, диван, письменный стол, кресла; на полу яркий боснийский ковер. А где хозяин? Она прислушалась. Ни шагов, ни движения, ни голосов. Казалось, что в доме только двое — она и Дитер. Что же мне делать, если он разойдется?

— Вы так и не сказали, когда возвращаетесь.

— Это военная тайна.

— Ах да! Я ведь спрашиваю, чтобы предупредить партизан, — сказала Матильда и вызывающе засмеялась.

Дитер посмотрел на нее внимательней и даже с опаской. Лицо его на минуту нахмурилось, но тотчас же просветлело, и он тоже засмеялся.

— Имею честь разговаривать с рядовым партизаном или с партизанским офицером?

— Вы говорите с полковником, — ответила Матильда ему в тон. — Смирно. Вольно!

— Вы умеете командовать? Если бы я был настоящий немец, я бы вас уже арестовал и в доказательство вашей принадлежности к партизанам воспользовался бы словами, которые вы только что произнесли. Но я не настоящий немец. Меня не интересует, ни кто вы, ни к какому лагерю принадлежите. Сейчас я хочу лишь вам сказать, что вы мне очень нравитесь...

— Бросьте шутить, — перебила его Матильда. — Так вы мне скажете, когда едете в Дубицу?

— К сожалению, может быть, уже завтра.

— Возьмете меня?

— С большим удовольствием.

— Тогда я останусь у вас и здесь переночую, потому что мне некуда идти.

— А вы не можете переночевать в доме родителей?

— Там все закрыто. Я же говорю вам, что они уехали в Загреб, пока я сюда добиралась. Думаю, вы не откажете мне в гостеприимстве.

— Неужели вы можете сомневаться?

— Если бы я сомневалась в вас, я не пришла бы сюда, —

ответила Матильда. — У меня такое ощущение, что я попала в дом старого друга.

— А разве мы еще не друзья? — сказал Дитер, откупоривая бутылку. — Давайте выпьем за нашу дружбу.

— Я не пью. Вы живете один в этом доме?

— Нет, тут хозяин с женой и двумя детьми. Они дома, только в других комнатах. Когда я приезжаю, они замолкают и ходят на цыпочках.

— А где я буду спать? — спросила Матильда.

— У меня или у хозяйки, — сказал Дитер. — Если я поведу вас к хозяйке, нам придется объяснить, кто вы и что, откуда и куда едете. А если у меня...

— Лучше у вас, — решила Матильда.

— Тогда надо выпить, — сказал Дитер. — Хоть одну рюмку. Эта ракия — лучший напиток в Европе.

— Одну можно, — согласилась Матильда. — Но только одну. Вы будете спать на кровати, а я на диване. Согласны?

— В том случае, если вы не захотите спать на кровати.

— Я лягу здесь, — сказала Матильда, садясь на диван. — Дайте мне только одеяло.

— Я дам вам и простыню, — сказал Дитер. — Отдам и душу, если попросите. Душу, сердце, жизнь...

— Пока хватит одного одеяла, — спокойно прервала его Матильда.

— Но сначала мы должны поужинать, — предложил Дитер. — У меня есть мясо, сыр, помидоры, фрукты.

— О, тогда, если разрешите, я приготовлю ужин.

Пока Матильда накрывала на стол, Дитер выпил несколько рюмок. За ужином снова предлагал ей ракию, но она отказалась. Вскоре они улеглись: Матильда устроилась на диване, а Дитер на кровати. Погасили свет. С улицы в окно смотрела луна.

— Вы спите? — окликнул ее Дитер.

— Нет, — ответила Матильда. — Думаю.

— О чем?

— Думаю, какие наивные люди могут встретиться даже среди немецких офицеров. Привели к себе девушку, о которой ничегошеньки не знаете. А может, я прячу револьвер или гранату?

— Я уверен, что это не так. Поэтому я и вырвал вас из рук тех дикарей. Они готовы были вас разорвать на части, а мне захотелось вас спасти. И вообще, меня совсем не интересует, кто вы и чем занимаетесь. Я хочу, чтобы мы были друзьями.

— Разве это возможно?

— Все возможно, — сказал Дитер. — Все зависит от людей.

— Разве род человеческий не лишился рассудка?

— Вы, очевидно, имеете в виду немцев и полагаете, что они лишились рассудка, когда пошли за Гитлером. Я знаю, вы считаете нас злодеями, всех без исключения. А это неверно. Я хочу доказать вам, что не все немцы злодеи, что среди нас есть и люди. Я человек и хочу остаться им, несмотря ни на что.

— Разве можно остаться человеком на войне?

— Можно, даже в качестве оккупанта. Я это и хочу доказать. Мне хотелось бы быть честным хотя бы пред самим собой.

Дитер заговорил о войне, об ужасах, свидетелем которых был, о боях в Чехословакии, во Франции, на Украине, о русской зиме, изуродовавшей его пальцы, о своих товарищах, которые остались лежать под снегом в холодных степях.

— Итак, вы несправедливо относитесь к войне?

— Я ненавижу ее всем своим существом.

— Почему же тогда вы не откажетесь воевать?

— Это совсем другой вопрос, — ответил Дитер. — Бежать из армии — это значит обречь себя на верную смерть. Я решил остаться в армии, если уж вынужден был в свое время вступить в нее, но дал себе слово при каждом удобном случае делать что-то хорошее для людей, используя свое положение.

— Утопист! — сказала Матильда. — Вы случайно не правнук Томаса Мора?

— А кто такой Томас Мор? — спросил Дитер.

— Это человек, который верил людям. Но те люди, которым он верил, отрубили ему голову.

— Возможно, меня ожидает та же участь, — вздохнул Дитер, — но я останусь верным своим идеалам, потому что эта вера поддерживает меня и помогает жить.

— Почему вы решили, что я не шпионка?

— Я это понял по вашему виду, по глазам, по тону голоса, — Дитер заговорил монотонно, словно читая по книге. — Бандиты выглядят по-иному. По-другому ведут себя и разговаривают. А вообще вы, вероятно, уже убедились, что меня не интересует, ни кто вы, ни куда идете. Я вам поверил с первого взгляда. Я поверил вам еще потому, что вы очень хорошенькая, и потому, что напомнили мне мою жену Изабеллу, которой сейчас, возможно, уже нет в живых.

— А что с ней случилось?

— Она должна была родить. Случается, что женщины погибают при родах.

— Вы давно женаты?
— Уже год, — ответил Дитер. — И мечтаю о сыне.
— Ваш ребенок тоже станет солдатом?
— Если будет сын, станет солдатом, — сказал Дитер. — Это неизбежная судьба каждого немца.

— Это же страшная судьба!

— Конечно, страшная, но немецкий народ не в силах ее изменить, — продолжал он. — Немецкий народ не может или не хочет противиться этой судьбе. Немцы всегда утверждали свое право на жизнь в войнах и сражениях. Они не могут долго терпеть мир, потому что уверены, что это состояние предшествует разложению. Мы крепкая и сильная нация, а так как жизненного пространства нам явно недостает, мы уверовали в то, что наше спасение в войнах, даже если случится потерять и то, что у нас есть.

— Вы верите, что Германия победит?

— Германия уже проиграла войну, — мрачно ответил Дитер. — Судьба этой войны решилась под Москвой, в России.

— И все немцы так считают?

— К сожалению, большинство немцев все еще верят в Гитлера и победу. Это приводит меня в отчаяние. Я знаю, что эта война поглотит еще миллионы человеческих жизней и оденет в траур наших матерей, сестер и вдов.

— Ну, покойной ночи, — сказала Матильда, ей показалось, что майор запорошил бутылку и пьет из горлышка. Она боялась, что он совсем захмелеет.

Но майор встал с постели и подошел к дивану, на котором лежала Матильда. Он протянул вперед руки, в полутьме провел рукой по одеялу, ощутив под ним гибкое и молодое девичье тело.

— Что это значит, господин майор? — спросила Матильда, словно извиняясь, что должна разочаровать его ожидания.

— Фрейлейн, вы мне нравитесь...

Ей показалось, что он плачет. Она увидела черную тень возле дивана: Дитер стоял на коленях, скрестив на груди руки, как верующий перед алтарем.

— Я могу остаться у вас только при условии, если вы будете вести себя достойно, — сказала Матильда. — Разве вы не говорили мне, что немецкие офицеры...

— Немецкий офицер всегда рыцарь по отношению к женщине, — сказал Дитер, по-прежнему стоя на коленях. — Я не собираюсь нарушать эту прекрасную традицию. Я только хочу сказать вам, что вы мне нравитесь.

— Это вы могли сообщить мне и оставаясь в своей постели, — сказала Матильда и до самой шеи натянула одеяло. Ее начал

трясти озноб. Хотя захмелевший, борющийся с самим собой Дитер и вызывал в ней чувство жалости, Матильда все же побаивалась его. Она была в его власти, безоружная, беспомощная. Он мог сделать все, что ему взбредет в голову.

Но майор Дитер не настаивал. Он стоял на коленях, скрестив на груди руки. Потом поднялся. Некоторое время постоял в нерешительности, затем вернулся в свою постель.

— Я никогда этого не забуду, — сказала Матильда. — Спасибо. Вы действительно порядочный человек.

— Я человек и хочу остаться человеком, — Дитер тяжело вздохнул, словно только что опустил в могилу гроб.

Матильда продолжала дрожать от страха, но Дитер лежал неподвижно и больше не пыл. Потерпев поражение, он умолк. Вскоре послышалось его мерное дыхание. Уснул или только притворялся, что спит. Она настороженно прислушивалась. Но он не шевелился. До нее доносилось лишь спокойное дыхание спящего человека.

На следующий день прежней дорогой они ехали по направлению к Дубице. Они переглядывались, как старые знакомые и друзья. Если бы не присутствие шофера, все того же хмурого баварца, они бы весело и непринужденно болтали. А при нем им пришлось, как и накануне, молчать. Впрочем, они успели договориться о встрече в Загребе, куда майор, если все будет благополучно, собирался через неделю приехать.

Матильда радовалась, что приближается к Козаре, хотя ее пугала мысль о новой встрече с усташами. Надо бежать, думала девушка. Попрошу Дитера остановить машину, скажу, что мне нехорошо, выйду, как будто на минуточку, и сбегу в лес.

Но тут вдруг загрохотало... Дитер крикнул, машина остановилась. Майор открыл дверцу, выскочил и вслед за шофером бросился под насыпь. Они бежали, падали, поднимались и бежали снова, а затем свернули в кусты.

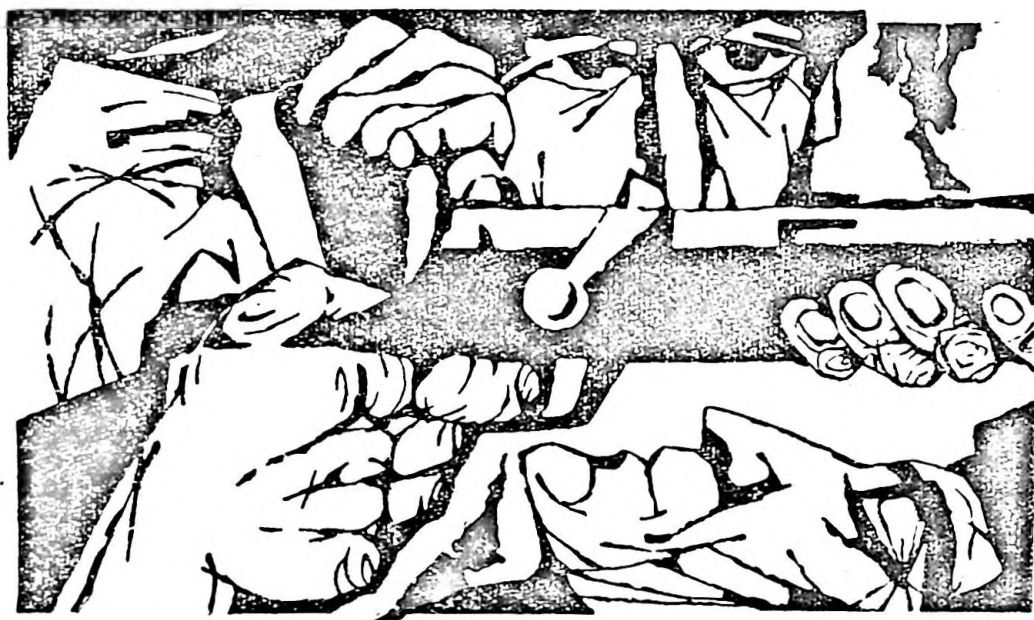
Матильда увидела тех, кто напал на машину: они были в крестьянской одежде, вооруженные винтовками, топорами и кольями. Она слышала их оклики. Девушка вышла из автомобиля и подняла руки.

— Сдаюсь! — закричала она. — Не стреляйте! Я — ваша.

— Всыпь усташихе! — крикнул кто-то.

Около автомобиля взвился дымок. Словно из тумана, выскочили люди с винтовками, топорами, дубинками. Они окружили девушку, которая и не думала сопротивляться, а спокойно стояла с поднятыми руками.

— До чего хороша, чертовка! — воскликнул один из них и замахнулся дубинкой.



КНИГА ВТОРАЯ *

На Козаре — могила к могиле;
Ищет мать, где сын ее милый...

Народная песня



В долине между холмами стоит монастырь. Стены сложены из тесаного камня, высокая колокольня увенчана крестом; он похож на живое существо, которое, заблудившись в лесу, замерло и притаилось в глубокой ложине подле ручья.

Это Моштаница.

По преданию, монастырь построили монахи еще во времена Неманичей*. Они приходили сюда из Рашки, спасаясь от турок и унося с собой церковные облачения, иконы, чудотворные мощи и святые дары. Это те самые приходившие сюда сотнями монахи, имена которых связывались потом с монастырями Гомьеница и Рмань и с которыми из далекой Рашки переносились рассказы о погибшем на Косовом поле сербском царстве, о деснице сербского князя Лазара.

Если верить другим источникам, монастырь построен позже, в пятнадцатом или шестнадцатом веке, а может быть, и еще позже, по образцу церковных зданий Неманичей; за тяжкую свою историю он несколько раз был разрушен, сожжен, снова отстроен и снова разграблен и осквернен — один из бастионов в вековой борьбе своего народа...

Перед той монастырской стеной, что обращена к востоку, склон холма порос папоротником, ежевикой, терновником и чертополохом. На каменистой земле, среди кра-

* Неманичи (вторая половина XII в. — 1371) — древняя сербская династия, названная по имени великого жупана Стефана Немани.

пively, подле ключа с прозрачной водой стоит памятник атаману Пеции, чей прах после подавления боснийско-герцеговинского восстания 1875 года тайно перенесен из Славонии и погребен здесь ночью, пролежав десять лет за Савой, в другом царстве.

Здесь годами конались заговоры и готовились восстания. Отсюда уходили в бой против угнетателей, за честной крест; случилось даже, что один из здешних архимандритов командовал повстанческим отрядом.

Здесь ископи сохранялся сербский дух.

Рассказывают, что юродивый Остоя после разгрома боснийско-герцеговинского восстания ходил по окрестным селам, говоря:

«Подыму я сербское знамя, соберу под него всех сербов, поведу их на Косово поле, чтобы вернуть наше древнее царство и отомстить за князя Лазара».

Здесь ружье всегда ценилось дорожке жизни.

Осенью, в храмовый праздник монастыря — преображение, к Моштанице с незапамятных времен стекались козарчане — стар и млад, женщины и дети. Сюда приходили из самых отдаленных сел — сплясать коло, попеть и выпить, подраться. — тут в ход шли секиры, дубинки, ножи, пистолеты — и те, что носили за поясом, и те, что возили в седельной сумке. Здесь вели дерзкие речи против государства, императора и жандармов, кляли законы и господ, солнце, бога и небо. Здесь влюблялись и ухаживали. Здесь в хороводе, под песню, музыку, взвизги и выстрелы, а иногда и с воплями, кровью и убийствами, похищали красавиц, если они не хотели добром идти за жениха.

Здесь, может быть, родилась и знаменитая козарская здравица, повторяемая с давних времен:

Дай бог, чтоб гордый был,
Как орел — высотой,
Как море — глубиной,
Как гроза — молниями,
Как Лиельче-поло — корнями,
Как Кнежеполье — бунтами.

17

Он разглядывал пленных. Их было много. Заняв всю поляну, они сидели на траве, дремали или в печальной задумчивости обламывали веточки с кустов. На лицах — ссадины, страх и напряженность; в глазах — безна-

дежность. Это были уже не солдаты, а какие-то голодранцы — без шапок, с растрепанными волосами, без гимнастеров и брюк, в рубахах и подштапниках или в крестьянских обносках. Большинство — босиком, из десяти один был в драных ботинках или опанках из дубленой кожи с дырявыми подошвами и разлохматившимся ременным верхом. Все мало-мальски годное с них снимали сразу после боя.

— Они пятьдесят бойцов наших убили, — сказал Шопша. — Ни у одного в подсумках патронов не осталось. Стволы раздались и почернели от пороха. Если их отпустить — снова возьмутся за оружие.

— Что же с ними делать? — спросил Иван.

— Веди в овраг, — сказал Шопша. — Только смотри, чтоб не сбежали. Стрелять нельзя.

— Понятно, — сказал Иван.

— Придумай что-нибудь без стрельбы, но чтобы ни один не сбежал, иначе узнают.

— Не сбегут, если с умом действовать, — сказала Анджелия позже, на поляне, когда они разглядывали толпу пленных. — Надо их собрать и сказать, что после ужина их направят в штаб нашей дивизии. Сначала, мол, в штаб дивизии, а потом по домам. Но сначала мы всех должны занести в список: имя, фамилия, год и место рождения и так далее. А потом поодиночке или маленькими группами будем их отводить в овраг...

— Список — объяснение того, что мы их разделяем и куда-то уводим. Чтобы не волновались. Так.

— Конечно, — подтвердила Анджелия. — Это их успокоит. Я их буду отсчитывать и отсылать в избушку, а ты занеси в список. Как запишем двоих-троих, отправим их будто бы на ужин, а там дальше, в овраг...

— Так и сделаем, — согласился Иван.

— Сначала надо им речь сказать.

— Есть ли у нас время на эту речь?

— Надо им объяснить насчет списка, — сказала Анджелия. — Если не объяснить, то как мы их будем уводить?

— Ладно, — сказал Иван. — Встанешь на пень и скажешь им, как решили. Надо и беженцев позвать.

— Народ уже собирается.

— Смотрите, как бы женщины свалку не устроили, — предупредил Иван. — Никто чтоб не трогал пленных, а то они разбегутся.

— Как наших расставим? — спросила Анджелия.

— Двое пусть встанут у входа в избушку, — предложил Иван. — Остальные с тобой, около пленных.

— Мало нас, — сказала Анджеллия. — Восемь всего.

— Народ зато есть, беженцы, — сказал Иван. — Кто попадет в руки к женщинам, не уйдет, будь он семи пядей во лбу.

— У входа надо бы поставить четверых, — продолжала Анджеллия. — Одни будут охранять вход, а другие — отводить пленных.

— Ладно, — сказал Иван. — Возьмите и несколько парней из беженцев, если понадобится. Только следите, чтобы были порядок и тишина. В избушку впускайте по одному: когда я его запишу и отпущу, тогда пусть входит следующий.

Бойцы все поняли; изнуренные, голодные, с красными от бессонницы глазами, они готовы были перестрелять пленных, лишь бы поскорее отделаться от них. Но стрелять было запрещено.

Иван вошел в избушку из еловых бревен. В полумраке, под низко нависшим потолком увидел стол и стул. Сел, раскрыл сумку, набитую книгами, брошюрами и листовками, достал несколько листов бумаги и авторучку — трофей, захваченный в бою на Погледжеве.

Разве мог я когда-нибудь предположить, что борьба будет вестись и такими средствами? Если бы я пошел вместе с Лазаром, эта омерзительная работа досталась бы кому-нибудь другому. Он вспомнил, как Лазар с толпой женщин и девушек устремился к Планинице в то время, как на него с левого фланга полезли танки. Так рота разделилась — большая часть осталась в отрогах Козары, с Иваном и Хамдией, а полсотни бойцов ушли с Лазаром.

Вошел первый пленный.

— Как тебя зовут? — спросил Иван.

— Рамиз Идризович.

— Занятие?

— Лесоруб.

— Откуда ты?

— Из Хан-Писака.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцать первый.

— Сказали вам, куда вы пойдете?

— Сказали, сказали... Ужинать, говорят, а потом в дивизию, а потом по домам...

— Можешь идти, — он записал последние слова Рамиза Идризовича, лесоруба из Хан-Писака.

Вошел второй пленный.

— Как зовут? — спросил Иван.

— Анте Замула.

— Откуда?

— Из Горского Котара.

— Занятие?

— Крестьянин.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцатый.

— Можешь идти, — и он записал последние слова Анте Замулы, крестьянина из Горского Котара.

Вошел третий пленный.

— Как зовут? — спросил Иван.

— Мате Новосел.

— Откуда?

— Из Герцеговины.

— Занятие?

— Кузнец.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот восемнадцатый.

— Можешь идти, — он записал последние слова Мате Новосела, кузнеца из Герцеговины.

Вошел четвертый пленный.

— Как зовут? — спросил Иван.

— Звонко Габровшек.

— Откуда?

— Из Славонии.

— Занятие?

— Почтальон.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцатый.

— Можешь идти, — он записал последние слова Звонко Габровшека, почтальона из Славонии.

И так один за другим: еще имена, еще профессии, еще даты рождения. Десятый, двадцатый, пятидесятый! Новые имена, новые профессии, новые даты рождения! Главным образом крестьяне и рабочие. Правда, кое-кто, прослышав, что партизанами руководят коммунисты, пролетарии, придумывал себе занятия попроще.

Как бы там ни было, Иван начал приходить в отчаяние, вспоминая ленинские тезисы о революции, о ее главных и побочных силах. Рабочие и крестьяне, естественные союзники, диктатура пролетариата! Что же это с ними? С кем они сегодня, эти рабочие и крестьяне? Неужели и пролетарии стали устахами? Куда девались сознательность и революционность? Ивану вспомнилось освобождение Приедора: партизанам тогда пришлось расстрелять довольно много рабочих. Он перевернул листок записной книжки и прочел несколько имен расстрелянных тогда:

Сафет Церич, колесник; Якуб Алихович, железнодорожник; Ибрахим Капетанович, железнодорожный рабочий; Юсо Бабич, рабочий; Йохан Биршл, железнодорожный рабочий; Идриз Ганич, рабочий; Миле Гопч, рассыльный; Осман Авдагич, кузнец; Любо Батоз, портной; Драго Станкович, рабочий; Ахмед Рамич, рабочий...

Что же это происходит с людьми, о добродетелях которых он столько читал и делами которых восхищался? Где эти славные знамена, под которыми человечество идет к своей подлинной истории, к окончательному освобождению?

Книги — одно, а жизнь — другое. Иван перевернул еще листок, но читать не стал. В конце концов не отдельные личности характеризуют класс, а он сам себя в целом. Лучшие сыны рабочего класса находятся в наших рядах, в отрядах, действующих по всей стране. Пролетариат как класс с нами, в партизанах, во главе народа, а это — сбитые с толку бедолаги, не имеющие понятия об исторической роли своего класса, повторял он себе, пока к нему приближался очередной пленный.

— Как зовут? — спросил Иван.

— Бранимир Сарич.

— Откуда ты?

— Из Требиня.

— Занятие?

— Механик.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот двадцатый.

— Можешь идти, — сказал он, записав слова Бранимира Сарича, механика из Требиня, но тот не двигался.

— Сударь, товарищ, как вас назвать... — начал Сарич. — Даю вам честное слово, я не преступник.

— Знаю, — ответил Иван. — Можешь идти.

— Я не резал людей, честью клянусь, хоть я и усташ.

— Мы это знаем, — сказал Иван. — Можешь идти.

— Не знаю, как вас назвать, господин или товарищ, но я хотел сказать, что я не преступник, клянусь матерью, а у меня только она и есть, она для меня все. Я никогда не был убийцей, и это может подтвердить наш поручик, который был председателем военно-полевого суда.

— Какого суда?

— Господин поручик был председателем военно-полевого суда, который меня судил за то, что я не хотел расстреливать пленных крестьян. Господин поручик Хорват может засвидетельствовать.

— Он здесь?

— Да.

— Приведите его, — сказал Иван и тут сообразил, что этот поручик однофамилец ему, Ивану Хорвату, студенту из Загреба, рождения тысяча девятьсот двадцатого года.

— Как зовут этого Хорвата? — спросил Иван.

— Не знаю точно, господин, то есть товарищ. Никогда не слышал его имени, потому что мы его называли просто «господин поручик» или «господин поручик Хорват».

Вошел новый пленный, и земля вздрогнула. Вошел новый пленный, и земля закачалась и разверзлась. Потолок рухнул ему на голову.

Увидев Ивана, поручик замер. Потом раскрыл рот, но ничего не сказал. Не проронил ни звука.

Долго они смотрели друг на друга.

Потом пленный воскликнул:

— Господи! Иван!

Тело его дрожало, плечи подпрыгивали.

— Йозо! — вскрикнул Иван.

— Все-таки я счастливчик, что на тебя здесь папал, — сказал Йозо. — Кто ты тут? Начальство?

— Почему на тебе усташская форма? — прервал его Иван.

— Ты знаешь, что мать умерла? — спросил Йозо.

— Не знаю, — сказал Иван. — Когда она умерла?

— С тех пор, как ты пропал, она не вставала с постели, — сказал Йозо. — А два месяца тому назад умерла.

Оба замолчали, опустив головы. Иван не знал, что спросить, а Йозо стоял, опустив руки, с бледной улыбкой.

— Когда ты успел стать усташем? — спросил Иван. — И не просто усташем, но и офицером. Зачем ты это сделал?

— Я был вынужден, — ответил Йозо.

— Ты с ума сошел, — сказал Иван. — Совершенно сошел с ума.

— Еще вопрос, кто сошел, — возразил Йозо. — Ты ведь знаешь, что политика меня никогда не интересовала. Я хотел быть физиком и заниматься наукой, сидел дома и занимался, а тут пришли за отцом и угнали его... в лагерь. Он в Ясеноваце. Я пробовал его выручить, но не смог. Я не мог этого выдержать. Явился к усташам, надел форму, прошел курсы, стал офицером — все это чтобы вытащить отца из лагеря.

— Ты в уме?

— Разумеется, в уме, — сказал Йозо. — Я решил вырвать его из лагеря, используя привилегии, даваемые усташской формой и офицерским чином.

— Офицерским чином?

— Не насмехайся, — сказал Йозо, — ты же прекрасно знаешь, что политикой я никогда не интересовался, а меньше всего меня привлекала армия и военная форма. Мне плевать и на армию и на форму, но я сделал все, чтобы спасти отца. Впрочем, Иван, не будь твоей политики, отца бы не угнали в лагерь. Из-за тебя он туда попал. В сущности, это ты загнал его в лагерь.

Ты загнал его в лагерь, загрохотало над головой.

Из-за тебя он туда попал, прозвучал приговор.

Если бы не твоя политика, отца бы не угнали в лагерь...

Бедный Йосип Хорват, отставной учитель, щуплый, сутулый человечек с дрожащим голосом. За всю свою жизнь он и мухи не обидел; долгие годы кочевал из села в село, учил детей, говорил о чести и порядочности, славил Степана Радича *, обучал крестьян выращивать сахарную свеклу, прививать деревья и кормить коров так, чтобы они давали больше молока. Вечно в работе, как шахтер, с двумя детьми на шее. В довершение всего тяжело заболела жена, мать Ивана и Йозо. И в самом деле — кому мог мешать Йосип Хорват, учитель на пенсии, который под старость, наконец, вернулся в Загреб, чтобы дать отдых старым, больным костям? А может, Йозо прав, если бы Иван не ушел в партизаны, с отцом ничего бы не случилось?

— Это ты упек его в лагерь, из-за тебя он туда попал...

— Черта с два, — сказал Иван. — А кто упек в лагерь всех остальных? Их там больше ста тысяч, хотя не у всех сыновья в партизанах и не у всех политикой занимались. Кто их упек? Сыновья или предатели?

— Если бы ты остался дома, с отцом бы ничего не случилось, — повторял Йозо. — Я это знаю. Я это слышал десятки раз.

— Неужели ты веришь устахам?

— Усташи и не знают, что отец в лагере, — сказал Йозо. — Я об этом молчу, как молчу и о тебе. Об отце я говорил только с друзьями, которым доверяю, потому что если бы устахам это стало известно, не знаю, что бы со мной было.

— Хуже того, что есть, не было бы, — сказал Иван. — Худшего и быть не может.

* Степан Радич (1871—1928) — выдающийся хорватский и югославский политический деятель, основатель и руководитель мелкобуржуазной Хорватской крестьянской партии, один из руководителей демократической оппозиции великосербскому режиму короля Александра Карагеоргиевича в 20-х гг.

— Почему? Никто же ничего не узнал. Я надеюсь освободить отца из Ясеноваца еще в этом месяце.

— Никого ты не спасешь, — сказал Иван мрачно.

— Это почему?

— Потому что ты осужден на смерть.

— Я? — вытаращил глаза Йозо. — Кто меня осудил?

— Молчи и не спрашивай, — ответил Иван.

Они застыли друг против друга, как два надгробных изваяния.

— Товарищ комиссар, — вбежал партизан с винтовкой. — Там один взбунтовался. Бросился на нас, и пришлось его кокнуть, а другие полезли... Вон они, перед дверями...

Иван услышал шум и голоса, схватил автомат и бросился к дверям, которые уже распахнулись под напором толпы.

— Чего вам? — крикнул он. — Чего расшумелись?

— Вы ответите за это, — сказал пленный с взлохмаченными волосами. — Я слышал стоны в лесу. Вы нас убиваете.

— Врешь! — крикнул Иван, сжимая автомат.

— Если вы убьете и меня, — продолжал лохматый, — знайте, что вы убили хорватского рабочего и коммуниста.

— Это ты коммунист, усташ окаянный? Будь ты коммунистом, не жег бы села по всей Козаре! — кричал Иван. — Будь ты коммунистом, не убивал бы козарских детей! — и он выстрелил в пленного. Тот упал. Иван направил автомат на остальных, строча по всем подряд, пока не кончились патроны.

— Разбежались, палачи, — услышал он голоса.

— Люди, держите злодеев...

— Бей кровопийц!..

Это уже был клич, поднявший на ноги всех беженцев. Лес ожил. Из него выбегали крестьяне с топорами, палками, дубинами, даже с головнями, выхваченными из костров. Они кидались вслед за беглецами, улюлюкая, как на волчьей облаве. Они перекликались друг с другом, грозились, ругались, ломились сквозь чащу и расправлялись со схваченными. Набежали и женщины с топорами. Обруч вокруг беглецов сжимался, и они падали без крика и стона.

— Народ, держи палачей!..

— Люди, бейте кровопийц!..

Обруч сжимался, беглецы падали один за другим.

Страшнее всего были женщины с топорами.

Расправа длилась недолго. Не прошло и часа, как все стихло.

На поляну выходили маленькими группами крестьяне,

собирались вокруг избушки и рассказывали о том, что делалось в лесу.

Иван вернулся к избушке, уверенный, что крестьяне и крестьянки с Анджелией и несколькими бойцами сделали свое дело. Только тут он вспомнил о своем брате Йозо Хорвате, усташском поручике. Он вбежал в избушку, но тотчас вернулся — там его не было. Оглядел поляну — нет. Он вертелся во все стороны, но напрасно: Йозо нигде не было видно.

Иван подошел к убитому пленному, лежавшему подле пня, и вгляделся в него; подошел ко второму, к третьему, думая, что тут где-то среди убитых лежит и его брат. Но брата не было. Напрасно он переходил от трупа к трупу, заглядывая им в лица. Он обыскал заросли папоротника, обошел все пни, разводил ветки, ожидая увидеть брата хотя бы мертвого. Но брата нигде не было.

Он встречал только людей, вооруженных дубинами, пересказывавших случившееся. Встречал женщин с топорами, возбужденно говоривших о том, как они отомстили за свои муки, за смерть своих детей...

Брата не было ни в кустах, ни в папоротнике, ни среди убитых. Напрасно Иван пытался его отыскать хотя бы и среди убитых. Его не было ни в кустах, ни в папоротнике, ни среди убитых.

18

Он выбрался на вершину Ютрогушты, задыхаясь, весь в поту. Тут он остановился, перевел дух и повалился на траву рядом с бойцом, который уже успел заснуть?

— Дядя, воды у тебя нет?

— Воды нет, и я тебе сто раз говорил, что я не дядя, а командир. Слышишь?

— Слышать-то слышу, да мне пить хочется.

— Вода там, — показал он рукой на сгрудившийся у источника под дубом народ. Глаза его посверкивали исподлобья.

Но малый не боялся. Он знал, что глаза эти сердиты только на вид, и помнил совет матери: «Когда тебе будет невмоготу, хватайся за дядицу полу и не выпускай, а то без него погибнешь». Это он запомнил.

— Сходи за водой, — сказал дядя. — И мне принесешь.

— Есть, — отозвался малый, ухмыльнулся, отдал честь, подняв кулак, и помчался к источнику.

— Товарищ командир, что будем с пленными делать?

— Приведите их сюда, — сказал Лазар. И добавил ему вслед: — Позови Баялицу.

Подошел парень, тоненький, хилый, но с живыми глазами, в глубине которых таилась усталость.

— Что с пленными делать? — спросил и он.

— Допросить, — ответил командир. — Раз комиссара нет, ты, как его заместитель, их и допросишь.

— Если они усташи, их надо пострелять, — сказал Баялица.

— Неважно, усташи они или нет, — сказал командир. — Важно то, вели ли они огонь и есть ли у них патроны. Если патронов нет, значит стреляли и их надо казнить.

— А если они растеряли патроны, когда бежали?

— Это надо проверить по стволам, — ответил Лазар. — Если стволы черные...

— Во всяком случае, надо их тщательно допросить, а то как бы не расстрелять кого-нибудь невиноватого, — сказал Баялица.

— Нету тут невиноватых, — сказал командир. — Разве негодяи невиноватые бывают?

Из леска выходили пленные. Это были парни в зеленой форме. Судя по значкам на шапках и гимнастерках, это были домobrаны. Лазара озадачил их вид: широкие плечи, румяные лица, крепкое сложение. Домobrаны, которых он встречал раньше, были не такие молодые, ядреные, сильные, не такие приглядные и отборные, как эти, а квелые, съезженные, скрюченные, точно обмоченные. А этих, видно, подбирали одного к одному по росту, силе, красоте и здоровью, а следовательно, предназначали для каких-то особых заданий.

— Как тебя зовут? — спросил командир первого из них.

Тот ответил, не поднимая головы.

— Иди туда, — командир указал в ту сторону, где стоял Баялица.

Пленного увели. Подошел следующий, с рябым лицом.

— А тебя как зовут, материн сын?

Из семидесяти восьми пленнх у тридцати девяти в под-сумках не оказалось ни одного патрона, в то время как стволы их винтовок были закопчены — признак того, что воевали они с усердием. Не будь у партизан убитых, можно было бы допустить, что пленные стреляли в воздух и намеренно расходовали боеприпасы, что домobrаны часто и делали, дабы позже, когда партизаны отпускали их по домам, можно было сказать, будто они сдались после тяжелого боя, в котором израсходовали все патроны. В этих случаях партизаны от-

пускали и тех пленных, у которых не оставалось боеприпасов. Но теперь перед Лазаром стояли головорезы с мрачными лицами, стиснутыми челюстями и глазами, глядящими исподлобья и полными бессильной ярости.

Их собрали в круг, и Баялица начал говорить. Партизаны, сказал он, обычно отпускают захваченных в плен домобранов, но те, что стоят здесь, убили семнадцать партизан и еще больше женщин и девушек. Поэтому тридцать девять человек, израсходовавшие свои боеприпасы, будут расстреляны в присутствии остальных для острастки.

— Надо бы всех вас пострелять, — сказал им командир. — Если еще раз попадетесь, так оно и будет. А сейчас глядите, каково приходится тем, кто убивает своих братьев, вместо того чтобы идти против оккупантов.

Он подошел к осужденным, тридцати девяти, которые стояли в лощине, не зная о том, что их ожидает. Они были полураздеты, без ботинок, шинелей и курток, без брюк, в одних подштанниках, даже без рубаш или в рваных крестьянских сорочках. Запавшие щеки и затравленно бегающие глаза говорили о том, что они, вероятно, догадываются о своей участи. Когда к ним приблизился командир с толпой партизан, они начали с ужасом озираться, точно признав в пришедших своих могильщиков.

— Еще одного поймали! — раздался крик.

Появилась группа крестьян и крестьянок с топорами на плече. За ними бежала стая ребятишек. Лазар заметил Лепосаву; ему показалось, будто она едет на низкорослом, медленно идущем коне. Но оказалось, что Лепосава едет верхом на пленном.

— Офицера, поймали офицера...

— Едем на нем по очереди от самой дороги...

— Сильный, гад, что твой мул!

— Меня уж тридцатую везет, — смеялась Лепосава, соскакивая на землю.

Пленный поднял голову и перевел дух. Он был средних лет, могучего сложения, в офицерской форме, с которой кто-то сорвал знаки различия.

— Имя? — спросил Лазар.

— Рудольф Римич, — ответил пленный.

— Чин?

— Подполковник.

— Ого! — воскликнул командир. — Подполковник? А не врешь, материн сын? Усташ или домобран?

— Домобран, — ответил пленный.

— Как идете по селам, все жжете и всех убиваете, а как в плен попадете, то все вы домобраны.

— Я домобрац, — повторил пленный. — Даю вам слово офицера, что я домобран.

— Помочись ты на свое слово, — сказал командир. — Ведите его к тем, — он кивнул в сторону осужденных.

— Я домобрац, — твердил пленный, — я офицер старой югославской армии.

— Мы не признаем бывшей армии, — сказал командир, подходя к группе пленных, приговоренных к смерти.

— Я честный человек, братцы, я...

— Стрелял, сукин сын? Где твои патроны?

— Он хуже тех, которые стреляли, — сказал Баялица. — Он отдавал приказы, а они стреляли.

— Туда его, — отрезал командир и указал на группу приговоренных.

— По трое на одного, — приказал командир.

— Братцы, что вы собираетесь с нами делать? — кричал подполковник Рудольф Римич, выкатив глаза. — Братья, что вы задумали?

— Увидишь, — сказал командир. — Снимай форму!

— Братцы, моя жена сербка.

— Снимай форму и не болтай.

— Моя жена сербка, а я — сотрудник...

— Разденьте его, дьявола болтливого.

— Братья! — кричал подполковник Рудольф Римич. — Никого у меня нет на всем свете, кроме жены Душанки и сына. Клянуся женой и сыном, я не устал, — и он показывал всем фотографию, вытащенную из кармана.

Командир увидел на фотографии круглое улыбающееся лицо в рамке черных волос, падающих на лоб. Лазару показалось, что он не видел лица красивее.

— Клянусь моей женой Душанкой, я не устал...

— Начинай! — приказал командир партизанам, теснившим пленных к леску.

Грянули выстрелы. Раздались крики.

— Разинь рот, чтоб я тебе зубы не попортил, — сказал командир подполковнику Рудольфу Римичу, с которого было снято все, кроме кальсон.

— Не стреляй, заклинаю тебя жизнью моего сына! — вскричал подполковник Рудольф Римич, не скрывая слез. — Я не устал, я знаю Ивана Хорвата, коммуниста из Загреба.

— Ивана Хорвата знаешь?

— Знаю, знаю! — зачастил подполковник Рудольф Римич. — Мы жили вместе, в одном доме...

— Он тоже был офицер?
— Нет. Он студент, революционер.
— Знаешь, где он сейчас?
— Этого не знаю, знаю только, что Иван Хорват исчез куда-то, то есть...

— Пошлем тебя к нему, — решил командир. — Он на Козаре. Если он тебя отпустит, значит ты честный человек.

— Отведите меня к нему, к Ивану, — просил подполковник Римич, умоляюще протягивая руки.

— Везет тебе, сукину сыну, — сказал командир. — Скажи спасибо, что знаешь Ивана. А не то получил бы пулю в лоб.

— Этого долговязого я убью, — сказала Лепосава, подходя к пленному в лохмотьях. — Он убил Райко Мачака.

— Разве Райко Мачак погиб?

— Погиб, бедняга, — подтвердила Лепосава. — А убил его этот пулеметчик. Ты ведь пулеметчик, выродок усташский?

— Пулеметчик, — ответил парень. — Я пулеметчик, но не хочу, чтобы меня убивала баба.

— А я вот тебя убью, выродок усташский...

— Я солдат и хочу, чтобы меня убил солдат, — деловито протестовал пленный, твердо и отчетливо выговаривая слова, точно речь не шла о его жизни и смерти.

— Если хочешь, чтобы тебя убил солдат, разевай рот, — сказал командир, вспомнив мать, отца, детей и жену, оставших в лесу, под открытым небом. — Разевай, сукин сын, чтобы зубы не портить!

Но кто-то другой выстрелил, и из шеи пленного брызнула кровь.

— Кто стрелял, мать его за ногу?!

— Я, — сказала Лепосава. — Я!

— Хочу, чтобы меня убил солдат, а не баба, — произнес еще раз пленный, удерживаясь на подгибающихся ногах. Но второй выстрел скосил его, и он без звука упал на груды трупов.

— Закопайте их всех в одной яме, — сказал командир.

— В одной, как собак, — добавила Лепосава.

— А где там подполковник? Где эта мокрая курица?

— Там он, с пленными.

— Смотри, чтоб не удрал!

— Не удерет, и так еле жив со страху.

— Пошли, — сказал командир, пытаясь разглядеть вдали между холмами сквозь моросящий дождь маленькое село, куда влекло его сердце. На Козару, за шоссе не пройти. Он ото-

рпался от своих главных сил и, не пытаясь связаться с ними, движется на запад, к селу, в котором родился.

Повсюду пустыня, все выжжено; он вздыхал, мрачный и подавленный, но полный решимости не останавливаться, пока не дойдет до своего дома или до его пепелища. Только там он ляжет и выспится. Он вспомнил о коне, оставшемся в окружении, по ту сторону шоссе, под Козарой.

Как бы дезертиром меня не посчитали, черт возьми!

Роты нет. Ивану сюда не дойти, а я иду все дальше, может, навстречу гибели. Назад не пойду, хоть бы и погибнуть; он смотрел перед собой, в хмурую даль.

— Товарищ командир, он сбежал!

— Кто, черт бы его драл?

— Подполковник.

— Говорил же я, что удерет. Говорил, чтоб стерегли, сто чертей вам в глотку! Всех перестреляю, клянусь святой пятницей.

— Лучше б ты и его застрелил.

— Молчи, молокосос, еще учить меня будешь, — оборвал он малого. — Если еще хоть один сбежит, расстреляю конвоиров. Миич! Усиль конвой, и, если еще хоть один пленный удерет, кому-то не сносить головы.

— Есть, — ответил вечно улыбающийся взводный Миич.

— Самое благое было бы перебить их, — пробурчал командир себе под нос, но малый его расслышал. — Все они устали! Вон что по селам натворили...

Повсюду пустыня, все сожжено. Нигде не видно целого дома, нигде не вьется дым над трубой. Только пожарища и пепел, порушенные ограды и вымершие поля; голоса человеческого не слышно — пустые улицы, безлюдные долины, чьи сады, иссохшие русла.

А хлеба уродились, пшеница созрела, из колосьев сжатого ячменя зерна высыпались на землю, перезревшая трава на лугах повалилась; а сливы, братцы мои, родили, как перед концом света, — гроздьями повисли чернослив и ренклед, благоухают золотистые ранние, а венгерка налилась, начала покрываться сизым налетом и падать; время от времени слышно, как сливы стучаются о землю; некому их подбирать, нет ни свиней, чтобы съесть их, ни ребятишек, нету ни корзин, ни бочек, куда бы ссыпала их хозяйская рука. Хозяин там, далеко в горах, и, может, никогда и не вернется в свой двор, в свой сад, под эти ветви. Эх, беда, беда, горе горькое. Лазар вздыхал и шел вперед, стремясь как можно скорее увидеть селцо, в котором родился.

— Товарищ командир, — подбежал старшой из высланного вперед дозора. — Мы около Маринской церкви какое-то войско заприметили. По всему видать, не ихнее, не в зеленой форме. Есть и в куртках и в кожанках, а похоже, что и крестьяне есть.

— Может, пленные?

— Не знаю, товарищ командир.

— Проверьте, — приказал он. — Проверьте, чье это войско, и сразу меня известите.

— Есть, товарищ командир.

— Дядя, ты что-то сердитый, — шепнул у него за спиной малый, ожидая взрыва ярости.

Но командир смолчал. Даже не оглянулся. Он с трудом передвигал погн, усилием воли заставляя себя идти вперед.

— Товарищ командир, — доложил боец из головного дозора, — мы партизан повстречали, бойцов Первой бригады.

— Что ты говоришь, Босанчич? Откуда тут быть Первой бригаде? Раткова бригада?

— Раткова, — подтвердил Босанчич.

— Бригада Ивицы Марушича-Ратко?

— Точно, товарищ командир, — подтверждал Босанчич. — Из Засанья пришли.

— Подтянуть хвост колонны! — крикнул командир, всматриваясь в Маринский холм, на котором торчала колокольня сожженной церкви. — Подтянуть хвост, живо, живо... Босанчич, говоришь, они около церкви?

— Около церкви, на площади, — сказал Босанчич.

— Подтянуть хвост колонны, быстро!

А вот и Стево, командир батальона, беловолосый и бледнолицый, бывший жандарм. Не раз за минувшие месяцы вместе атаковали неприятельские окопы. Он поздоровался со Стевой, поцеловался, скрывая набежавшую слезу, сжал его руку и долго тряс ее, улыбаясь во весь рот, точно не веря собственным глазам, а потом увидел и Ратко — рыжего и головастого командира Первой бригады, которого, как и Шошу, прислали из Загреба в эти края еще до восстания. Лазар кинулся ему в объятия, точно родного брата встретил, хотя когда-то, при первых встречах с Ратко, отнесся к нему подозрительно — он-де «католик и скрывает свое имя, боясь, что сербы его убьют».

— Здорово, Лазар! — крикнул Ратко своим тонким голосом, звучавшим всегда как-то укоряюще и бранчливо. С этим самым Ратко Лазар, переодетый в домобранскую форму, и еще пятнадцать партизан шестого января 1942 года напали

на усташский бронепоезд на участке Приедор — Босанский Новый. Ратко с шестью бойцами ворвался в бронированный вагон к устам и отобрал у них оружие и боеприпасы. Лазар вспомнил, как Ратко вернулся, зажимая рукой рану на шее. За ним ребята несли мертвого Милана Крнетича, шахтера из Лешлян. Перебивая друг друга, они рассказывали, как им удалось на полном ходу выскочить из бронепоезда, который мчался к Приедору.

— Смерть фашизму, товарищ Ратко! — приветствовал его Лазар.

Завязался разговор, оживленный, перескакивающий с одного на другое. Лазар рассказывал об окружении, о боях на границах леса, о множестве беженцев, а Ратко — о попытках Первой бригады пробиться на Козару, о страшной схватке под Пискавицей, на Кнежевича Гае, где погибло больше сотни партизан. Несмотря на все усилия, Первой бригаде не удалось пробиться через шоссе. Так она и оказалась здесь, за линией фронта, в тылу у неприятеля. Перейдя через Сану, бригада направилась к Маринам, завязывая бои с неприятелем на Равном Гае, Плапнице, Асиной Страже и Ютрогуште, чтобы по крайней мере облегчить положение партизан на Козаре, если не помочь им прорвать вражеское кольцо.

— Что это за войско с вами? — спросил Ратко, увидев пленных, сгрудившихся подле церковной стены.

— Домобраны, — ответил Лазар.

— Это здруговцы, — сказал Ратко, трогая рукоятку револьвера. — На них форма горного здруга. Поглядел бы ты, что они натворили в селах, через которые прошли, — ни одного целого дома, все сожжено и разрушено. Почему вы их не расстреляли?

— Расстреляли самых отпетых, — сказал Лазар.

— И этих надо пострелять, — настаивал Ратко, и лицо его передернуло судорога ненависти. — Пусть запомнят, как ходить на Козару.

— Мы им сказали, что отпустим их по домам.

— Эти домой не пойдут, — стоял на своем Ратко, неуступчивый, как всегда. — Стево, сейчас же отряди взвод бойцов и перестреляй этих мерзавцев.

— Есть, — ответил Стево.

— А ты ступай со мной, — обернулся Ратко к Лазару, точно и его осуждая на смерть. — Сколько у тебя бойцов?

— Пятьдесят два, товарищ Ратко.

— Пока ваши не пробьются из окружения, останешься в составе моей бригады, — сказал Ратко. — Сейчас двинешься

на запад, к Уне, и пошлешь мне донесение о положении в тамошних селах. Я пробуду здесь еще два дня.

— Ясно, — сказал Лазар.

— Можешь идти, — закончил Ратко.

Лазару хотелось отдохнуть, но еще больше — добраться до своего села, посмотреть, что от него осталось. Он шел и останавливался, объявлял короткий привал и, опустившись на пенек или на траву, впадал в полусон, так что его приходилось расталкивать, когда пора было двигаться дальше.

Когда перед ним появился пустой двор, ему показалось, что он видит сон; даже ограда была сожжена, и только местами торчали обгорелые колья, обугленные, съеденные огнем. Ни дома, ни конюшни, ни свиного закута, ни амбара для кукурузы, ни курятника — все испепелено, точно кто-то стоял и ждал, пока не догорело последнее бревно, последняя балка, последняя дощечка...

— С сегодняшнего дня будем разговаривать по-другому, — глухо простонал он, торопясь уйти от этого опустошения, как раньше торопился увидеть, уцелело ли что. Подавляя в себе гнев, он двинулся дальше по дороге, ведущей к маленькому леску. Здесь когда-то был лагерь его роты. Усташи атаквали его с таким упорством, что лесок в течение одного только дня раз пять-шесть переходил из рук в руки, пока рота после очередной контратаки не отступила к Деветкам, печально оглядываясь на рожицу, над которой поднялись дымь пожара...

Там его встретила та же картина. Землянки и хижины, дозорные вышки, склады, кухня — все, что было построено в лесу партизанами, было обращено в пепел. Угли и зола, вбитая дождями в землю, означали место, где стояли хижины. Даже деревья были опалены — или сгорели наполовину, или рухнули, оставив черные пни.

— Заплатите вы и за это, гады усташские, — стонал Лазар, думая о том, как поскорее отомстить поджигателям. — С нынешнего дня другой разговор пойдет...

— Командир, где будем почевать?

— В амбар Йована Беры пойдем, — сказал командир.

— А уцелел амбар?

— Уцелел, я видел, — ответил командир.

— Лепосава, разве ты не осталась дома? — удивился командир, увидев вдову.

— Я в роте остаюсь, — ответила Лепосава.

— Да ты же слабенькая, бедняжка, — посмеиваясь, поддел ее взводный Миич.

— Слабенькая? А вот давай поборемся, — предложила Лепосава.

— Ха-ха-ха! Давай, Миич, ты, чай, не баба, — загоготали весельчаки.

— Если мужик, выходи, — подзадоривала его Лепосава.

— Где бороться-то будем? — спросил Миич.

— Здесь, перед всеми, — велел командир.

Лепосава начала засучивать рукава. Блеспули ее голые руки. Выбирая место для борьбы, она вышла на покрытую выгоревшей травой полянку, провожаемая улыбками и перешептыванием.

— Уложит она Миича, как бог свят, — сказал Босанчич.

— А вот посмотрим, — возразил взводный Миич, не переставая улыбаться.

— Держись! — предупредила Лепосава и крепко обхватила Миича вокруг пояса.

— Матерь божия, да полегче! — сопел Миич, едва удерживаясь на ногах.

Вдова приподняла его и встряхнула, но не повалила, так как ему удалось вывернуться и встать устойчивее. Но Лепосава сжимала его все крепче, гнула, приподымала и трясла, а в конце концов подставила ему ножку и свалила.

— Следующий! — вызвала Лепосава.

— Давай я, — сказал Босанчич, прицелкнув пальцами.

— Так Королевич Марко вызывал Мусу Кеседжию, — сказал малый, с изумлением разглядывая женщину, повалившую взводного Миича. А та стояла как на ристалище, гордо подняв голову и раскинув руки.

— Иди, иди, сокол, — и она жестами показала Босанчичу, как обхватит его, поднимет и бросит оземь. Схватив медлительного и неловкого Босанчича, она и в самом деле встряхнула его, приподняла и бросила на землю.

— Кто следующий? — крикнула она громко.

— А со мной поборешься? — спросил было командир, но тотчас спохватился: если она и его одолеет, позор будет на всю жизнь!

— Поборюсь, только когда с глазу на глаз останемся, — ответила Лепосава. — С тобой перед свидетелями бороться не буду.

— Дядя, держись! — взволновался малый, встревоженно глядя на командира.

— Хватит шуток, — сказал дядя, но видно было, что слова Лепосавы ничуть не рассердили его. Ему было приятно, что она осталась в роте, рядом с ним, что они будут ночевать вместе и что она, не стеснясь, назначает ему свидание.

Но в амбаре ночь свалила их на сено в мертвецком сне...

— Товарищ командир, прибыл связной из Первой бригады, — разбудили Лазара рано утром.

— Смерть фашизму! — сказал связной из Первой бригады.

— Что ты принес, парень? — спросил Лазар.

— Письмо.

— Читай, Баялица, — велел командир, вынув из конверта лист.

Баялица начал читать:

«В ходе самого большого вражеского наступления на нашу освобожденную территорию силы Ударной бригады атакуют кровавый город Добрлин. Цель нашего наступления — нанести противнику удар в спину, отвлечь его от Козарского отряда и дать последнему возможность прорвать неприятельское кольцо.

Добрлин известен как кровавое усташское гнездо, из которого вышли известные усташские палачи, как город, где убиты сотни и сотни невинных сербских детей, женщин и мужчин. Из Добрлина вышли грабительские усташские орды, использовавшие каждое наступление для того, чтобы грабить наши села и убивать ни в чем не повинное, безоружное население.

Наша атака на Добрлин должна быть мощной, стремительной и смертопосной для неприятеля. Сегодня вечером все мы должны положить все свои силы на овладение усташским гнездом Добрлином...»

Пока Баялица читал приказ, написанный, вероятно, рукой Ивицы Марушича-Ратко (2 июля 1942 г.), Лазар тер подбородок и думал о том, как бы побриться. Он взял приказ и, держа его в руке точно меч, мысленно рисовал себе, как он сегодня ночью будет расправляться с врагами.

19

В конце концов стало ясно, что противник не случайно осаждает отроги Козары и что отряду грозит смертельная опасность. Уже больше трех недель противник и не помышляет об отступлении, а днем и ночью подтягивает резервы и атакует, не считаясь с потерями. Проритые партизанами бреши быстро закрываются, попытки прорыва пресекаются, а окопов на холмах становится все больше и больше. Ценой величайших усилий и жертв после каждой партизанской контрата-

ки неприятельские части быстро соединяют прорвавшее кольцо, не отступают, дерутся храбро, восстапавливают фронт и продвигаются вперед, к лесу, пядь за пядью захватывая новые территории. Танки несколько раз пытались прорваться через линию фронта, в лагерь беженцев, по Млечаницкому ущелью или прямо по горным склонам. Правда, их каждый раз отбивали, но упорство, с которым они снова пускались в наступление, обнаруживало их намерения. Беженский лагерь находился на расстоянии винтовочного выстрела от линии фронта; увеличение числа немецких и усташских самолетов в небе над лесом, внезапные налеты и частые бомбежки, сильный артиллерийский и минометный огонь и все более ожесточенные атаки пехоты подкрепляли предположение о том, что противник будет любой ценой прорываться в горы.

— Это ясно, Шоша, — говорил Словенец, секретарь окружного комитета, прибывший на Козару из центральной Боснии, где он выполнял обязанности политического комиссара банялупцкой партизанской работы, — ясно, что из окружения мы можем выйти, только прорвав фронт. Мы допустили ошибку, не сделав этого раньше, но и теперь еще не поздно.

— Будет поздно, если не пробьемся сегодня же ночью, — сказал Шоша.

Я бы отложил прорыв на сутки, пока не подойдут все батальоны.

— Нельзя ждать больше ни минуты, — сказал Шоша не без злорадства. Он вспомнил налет на Турьяк (давно это было); налет подготовил и начал было осуществлять Шоша, как вдруг ночью, перед самой атакой ему по телефону передали, что все откладывается. Он в бешенстве спросил, кто откладывает, и, когда ему сказали, что это приказ товарища Словенца и товарища Бошко из окружного комитета, получивших сообщение о том, что нападение на Турьяк преждевременно, ибо сил у партизан недостаточно, а турьяцкий гарнизон насчитывает свыше двух тысяч человек, Шоша сердито потребовал, чтобы они сами, Словенец или Бошко, подтвердили ему то, что говорят другие, и ответили ему на вопрос, почему они вмешиваются в дела непосредственного командования, когда это совсем не их дело. Разумеется, сейчас он допускал, что прорыв мог бы совершиться и сутками позже, когда все батальоны соберутся вместе, по все же обдумывал текст приказа, в котором не было ни слова об отсрочке. Вместо того чтобы послушать Словенца, которого он уважал, Шоша стал на сторону Обрада, которого недолюбливал и с которым столько раз ссорился.

Не буду тебя слушать из-за той турьяцкой операции, которую ты отсрочил без моего ведома, подрывая мой авторитет,

думал он, поглядывая на твердое лицо Бранко Словенца с коротко подстриженными усами. Не буду тебя слушать из-за Турьяка и из-за твоей критики в мой адрес (что-де я нетерпим, горяч, сварлив, легко вступаю в конфликты с товарищами, что я упрям и заносчив). Не буду тебя слушать и из-за того, ты знаешь... когда после гибели Младена командовать отрядом назначили Обрада, а не меня, хотя я в военных вопросах разбираюсь лучше, чем кто-либо, включая и Обрада, воевавшего в Испании. Я всех вас на голову выше. И он обдумывал приказ, уверенный, что его решение никто не может изменить, ибо речь идет о судьбе отряда.

А беженцы? Что будет с народом?

Никто не может нас упрекнуть, что мы предали народ, не защищали его и не сделали все, что могли, для его спасения, хоть это и навлекло на нас угрозу разгрома, думал он, судорожно сжимая рукоятку револьвера. Три недели я продержал отряд на склонах, спускающихся к шоссе, приняв фронтальную борьбу, хотя знаю, что фронтальная борьба для нас губительна (наш отряд до немецкого наступления в этом отношении был примером для всех краинских отрядов, это и товарищ Строгий подчеркнул на партийном совещании). Мы сделали все, чтобы отстоять Козару, и, может быть, следовало бы послушать товарища Словенца и отложить прорыв на сутки, пока не подтянулись наши силы, но я не хочу рисковать. Ибо если противник завтра прорвется в лес, кто будет отвечать? Словенец или я? Он умоет руки, а меня партия схватит за горло: «Почему ты не дал приказ о прорыве? Почему допустил, чтобы вас разбили и лишили боеспособности?» Нет, я не допущу, чтобы нас разбили и лишили боеспособности. И он начал диктовать приказ писарю Воину:

«Прорыв осуществляется атакой на направлении Еловац — Ютрогушта — Градина — Крива Риека — Каран...

Ударный батальон наступает...

Первый батальон движется...

Второй батальон атакует...

Третий батальон наступает...

Четвертый батальон в арьергарде...

Отступление невозможно...»

Времени в самом деле не хватало. Третий батальон получил приказ выступить третьего июля в шестнадцать часов и в тот же день в двадцать три часа выйти на Дубицкое шоссе, что было невозможно, так как пройти ему требовалось двадцать километров. В таком же положении оказался и Четвертый ба-

табун, остатки которого после отхода главных его сил на Грмеч находились на восточной стороне Козары. Никто лучше Шоша не знал, сколько надо прошагать этим людям ночью по лесу, чтобы добраться из такой дали до Дубицкого шоссе. Но все-таки он подписал приказ (от имени штаба отряда и окружного комитета), уверенный, что каждое мгновение промедления может привести к катастрофе. Оппозиция к товарищу Словенцу, если взвесить другие аргументы, не имеет существенного значения.

Это понимал и Шоша и ломал голову только над тем, что делать с ранеными. Если мы их понесем с Витловской горы, народ кинется следом за ними, догадываясь о прорыве, а эту толпу могут заметить с самолетов, и все сорвется. Будем переносить в сумерки, когда самолеты-разведчики перестанут летать, трясаясь в седле, думал он по дороге на Витловскую гору к раненым.

Его встретил седоватый, грузный человек в нескладно сидящей форме. Все выдавало в нем штатского — от расстегнутой гимнастерки и съехавшего ремня до чересчур большой шапки, нахлобученной на лоб.

— Доктор, сколько у тебя раненых? — спросил Шоша.

— Больше пятисот, — ответил доктор.

— О прорыве слыхал?

— Слыхал.

— Хватит у вас носилок и ребят-носильщиков?

— Хватит, — ответил доктор, явно запятый другой мыслью.

Шоша попытался угадать, о чем он думает. Наверно, оттого он такой рассеянный, что некогда сыграть партию в шахматы, думал Шоша, вспоминая зиму, долгие ночи и доктора, каждую свободную минуту проводившего за шахматной доской. Страсть к шахматам настолько владела им, что он уже давно стал предметом острот и насмешек. Когда в отряде появлялся новый боец, доктор не тратил времени на расспросы, откуда он и как зовется, а сразу спрашивал, играет ли он в шахматы, или прямо клал перед ним доску; даже когда приводили пленного, доктор не интересовался, домобран это, усташ или немец, а опять-таки спрашивал, играет ли он в шахматы. О них он, вероятно, думает и сейчас, жалея, что наступает время, когда шахматы придется отложить — будут дела поважнее.

— Семнадцать раненых умерло, — сообщил доктор. — Похоронили их в братской могиле на вершине, под деревьями. И Шенделера похоронили.

— Когда умер Шенделер?

— Не умер, погиб, — сказал доктор. — Погиб сегодня утром при бомбежке. Раздобыл ракеты и в подпитии начал кричать, что собьет по крайней мере одну «щуку». Взял ручной пулемет, влез на дерево, устроился на развилке и ждет. Вскоре самолеты начали бросать бомбы на землянки с ранеными. Шенделер давай стрелять. Крпчит и хохочет как сумасшедший. Палил, палил, а потом застонал и упал...

— Георг Шенделер, — с сожалением пробормотал Шоша, вспоминая пленного солдата, которого он допрашивал. Средних лет, подвыпивший и говорливый, пленный твердил, что он немец, а австриец, что он рабочий, наборщик и социал-демократ, в Вене у него семья; в силу стечения обстоятельств, так как Австрия присоединена к Германии, ему пришлось стать немецким солдатом. Говорил еще, что знает Югославию — отец его возил летом вдоль Адриатического побережья, что любит югославов и давно ждал случая сдаться. Его искренность расположила к нему Шошу и остальных, и его оставили при госпитале. Он умел делать все: тянул телефонный провод, пек хлеб, из трех старых, вышедших из строя шапирографов собрал один исправный, на котором Скендер размножал листовки с последними известиями.

— Он упал с дерева. Когда мы подбежали, был еще жив, — рассказывал доктор. — Бормотал что-то, хотел что-то нам сказать и даже как будто улыбнулся.

— Вместе с партизанами похоронили?

— Да, — кивнул доктор. — Положили между двумя бойцами из ударного батальона, а имя написали на кресте.

Подшли девушки, несшие раненых.

— Начинаем переброску, — пояснил доктор, глядя на девушек и юношей, шагавших с носилками. — Засветло доберемся до Млечаницы, а оттуда потихоньку следом за вами, к Боканам.

— Только организованно, — сказал Шоша, смотря на раненых. Прикованные к носилкам, беспомощные и понурые, с повязками, у кого на голове, у кого через грудь, со сломанными руками и ногами, они были зловещим напоминанием о тяжести борьбы и о том, что пули не щадят никого. Они движутся навстречу ночи, полной угроз и неизвестности, но верят своим товарищам и стараются не выказывать боли.

— Боюсь я этой реки, Млечаницы, — пробормотал доктор. — Народу там много. Боюсь, как бы там давки не получилось и не застопорилось движение.

— Постарайся, чтобы раненые добрались до Боканов раньше полупочи, — сказал Шоша. — Там остановитесь и ждите приказа.

— Удастся ли прорваться?

— Отступать нельзя, — ответил Шоша.

— Знаю, — сказал доктор и точно ждал еще кого-то.

Но Шоша уже пустил коня вскачь между деревьями и исчез в сумрачном лесу.

«Не спросил я его, как Рахела», — вспомнил Шоша о женщине, которую привез из города и определил на работу в госпиталь, ухаживать за ранеными и обучать неграмотных. Надо было его спросить, как Рахела, да где в такое время думать об этом? Он повернул голову, пытаясь разглядеть доктора сквозь чащу стволов и ветвей. Хотелось спать, усталость гнула к земле. Еще, чего доброго, наткнусь на дерево — и насмерть, думал он, яща доктора в темном лесу.

— Георг, хочешь обратно к немцам?

— Nein, — мотает головой Георг, а Вилько переводит. Георг говорит, что теперь он может быть только партизаном, потому что изменил армии, к которой принадлежал. Когда Шоша говорит, что его принимают в отряд, он прыгает, топает сапогами, обнимает доктора и трясет его за плечи.

— Что, Георг? Чего тебе?

— Шнапс, — объясняет Георг. — Много шнапса, — и он силится объяснить писарю Воину, зачем ему нужна водка, — для чистки шапирографа вместо недостающего глицерина, хотя все знают — Георг больше не скрывает, — что он отдает должное ракии и как напиток. Постоянно он ищет новую фляжку, чтобы восполнить то, что было израсходовано во время пения, болтовни и объятий с приятелями, которые весело глядят на него, посмеиваются и дружески хлопают его по плечу, слушая рассказы о том, как он, будучи солдатом немецкой армии, старался не угодить под пули во Франции и Греции.

Засну и треснувшись о дерево! Шоша пробует разогнуть тело, поникшее в седле, но что-то клонит его книзу, к земле, руки висят, голова бессильно качается, лоб касается конской гривы.

— А что с теми двумя? — спрашивает он Жарко на позиции. — С двумя разоруженными? Здесь они?

— Здесь, — отвечает Жарко.

— Под арестом?

— Под каким еще арестом? — диву дается Жарко. — Куда их сажать? Подвала у нас нет, замка нет. Разве что на дерево поднять да прибить гвоздями к стволу.

— Связапы они?

— Были связаны, да мы их развязали, — говорит Жарко. — Что с ними делать, со связанными-то? Ухаживать за ними? Подавать им все, что ли?

— Оружие им вернули?

— Нет. А зачем?

— Верните им оружие и отправьте в роту, — говорит Шоша. — Сегодня вечером у них будет возможность исправиться. Может, еще покажут себя во время прорыва.

— Черта лысого они покажут, — бурчит Жарко. — И лучшим-то бойцам невмоготу становится, а трусам и подавно. Они сегодня же уderут.

— И все-таки пошли их в роту, — настаивает Шоша. — А когда подойдете к Боканам, дайте им оружие.

— Если будет...

— Не будет вечером, будет ночью, в окопах, — заключает Шоша.

А в самом деле, что будет сегодня ночью?

Стонет раненый, кличет кого-то.

Шоша подбегает к носилкам:

— Тихонько, девушки, осторожнее...

Дрожит в сумраке лес, трепещут стволы.

Я страшно устал, страшно устал... Не спал три ночи. Он встряхивает головой, но она никнет, клонится к земле. Руки его обхватывают шею коня, а тело валится в пропасть, из которой какое-то существо, напоминающее пугало, машет объявлением:

Йосип Мажар, известный в лесу под кличкой Шоша, до войны унтер-офицер флота, позже — служащий, рожден в 1912 году от отца Николы и матери Марии, бежал в лес летом 1941 года, в первые дни войны Германии с Россией. В случае поимки передать его полицейскому управлению г. Баня Лука за денежное вознаграждение в сто тысяч кун *...

Но вместо страшилища, размахивающего объявлением (неужели узнают, схватят?), возникает высокая сгорбленная женская фигура.

— Шоша, — говорит высокая сгорбленная женщина, — я получила письмо от Ивицы, из тюрьмы. Посмотри, что он пишет: «Милая мама, ты много страдала, и теперь, когда подходит наше время, мы не должны терять самообладания. Будь тверда, как кремь». Будь тверда, как кремь, мама, хочется сказать и Шоше, таящему от матери вест, принесенную усташской газетой: Ивица Мажар, его брат, студент и коммунист, приговорен полевым судом к смерти и расстрелян. Но мать все-таки узнает о смерти сына. «Я займу место Ивицы», — говорит Бошко, старший брат Шоши, а мать плачет, и вокруг

* К у н а — денежная единица, введенная Павеличем в Хорватии.

нее дети — Шоша, Нада, Драго и Бошко, с которым Шоша когда-то ссорился, называя его мачковцем*, и гнал из дому.

— Я ищу смятения и бури, — препирается Шоша с огромным жандармом посреди улицы, а вокруг собирается толпа.

Но это уже не улица и не жандарм, это «Черный дом», банялуцкая тюрьма, тысяча девятьсот сорок первый год и апрельская война с Германией. Шоша арестован. Он колотит в дверь и кричит, требуя освобождения, грозит предателям, что им придется ответить.

— Хочу на фронт, бороться!

Надзиратель спрашивает, кому он угрожает.

— Всем, кто держит меня в цепях и не дает добровольцем идти на границу. И ты, стражник, заплатишься за то, что держишь людей под замком.

— Я зарабатываю свой хлеб, — отвечает стражник.

Но это уже не стражник, это офицер на корабле. Корабль плывет по Черному морю, а Шоша — мичман, только что закончивший Морскую торговую академию в Бакаре. Он принес на корабль запрещенные книги, Горького и Лепина, которые тайком читает; он учит русский, английский, итальянский. Офицер хочет просмотреть книги, Шоша не дает. Начинается драка. Офицер получает кулаком в подбородок, а Шоше приходится покинуть корабль и морскую службу. Он возвращается домой, в нужду: отец, Никола, финансовый инспектор, давно умер; Бошко служит механиком в гараже; Драго учится ремеслу; Ивица — в Загребском университете. Шоша не может найти работы, ему стыдно перед матерью, одолеваемой столькими заботами и вынужденной содержать еще и его, безработного сына. Он вступает в общество имени Пелагича**, декламирует стихи о борьбе, дирижирует хором. Встречается с рабочими из Дрвара***. Любит искусство, дружит с актерами, художниками, музыкантами, сочиняет с товарищами песню о банялуцких рабочих, руководит хором, в котором восемьдесят певцов. Его арестуют, бросают в тюрьму. После тюрьмы, не найдя службы, он работает на катке, утрамбовывающем мостовую.

Франковцы насмеются над ним:

— Эй, водитель, похоже, ты делаешь карьеру!

* Сторонник Мачека, буржуазного политического деятеля в предвоенной Хорватии.

** Васа Пелагич (1838—1899) — выдающийся сербский революционер-демократ и публицист, социалист-утопист, пламенный борец за национальное и социальное освобождение югославских народов от чужеземного гнета.

*** Город Дрвар (Босния) — центр лесопромышленного района, известен своими революционными традициями.

— Брось каток, садись и занимайся, — говорит ему мать. Но это уже не мать, это Бранко Словенец, с которым он познакомился в Баня Луке еще до нападения фашистов на Югославию и с которым столько раз говорил о революции, о преобразовании общества, о смысле жизни, о счастье и даже о созвездиях, ибо он увлекся астрономией.

— Верно, товарищ Словенец, я резок, нетерпим, хмур и вспыльчив. У меня больные почки. Легко раздражаюсь и тогда не помню, что говорю, а потом терзаюсь раскаянием. Не выношу канцелярщины. Лучше один день на позициях, среди бойцов, чем сто дней в канцелярии. А что касается моего отношения к Обраду...

— Обиделся, что после гибели Младена командиром отряда назначили его, а не тебя.

— Да, — признается Шоша, вспоминая о партийном собрании, на котором даже товарищу Строгому из областного комитета пришлось говорить о недоразумениях между Шошей и Обрадом.

— Эй, вы там, шевелитесь же, черт возьми! — крикнул он, очнувшись от дремоты. Он увидел вереницу беженских телег, к которым был привязан скот, застрявшую в узком русле лесной дороги, так что девушки и ребята, несшие раненых, должны были остановиться и опустить на землю носилки, ожидая, когда дорога освободится. Но дорога не освобождалась. Она была запружена телегами, коровами, овцами и лошадьми, вокруг которых сновали мужчины, женщины и дети, пытаясь дать проход. В теснине, между сжавшими дорогу обрывами, образовалась такая пробка, что обоз не мог двинуться с места, несмотря на все более яростные крики Шоши, пытавшегося прорваться на своем коне сквозь скопище телег, животных и людей.

— Стрелять за это надо, — услышал он чей-то голос.

— Скорей, скорей! — кричал он, боясь, что вот-вот появятся самолеты. Если налетят, устроят тут бойню, подумал он, но, к счастью, самолетов не было, а колонна, наконец, прорвалась сквозь теснину и потекла, увлекая за собой телеги и людей, проходивших по долине Млечапицы из Саставков и Грачаницы.

— Все знают о прорыве, — вслух подумал Шоша, торопясь к голове колонны, в сторону фронта, где его, наверное, ищут и ждут.

— Товарищ Шоша, раненый тебя зовет.

Он обернулся и увидел Эмиру, светловолосую девушку с карабином через плечо. Она подвела его к носилкам. Навстречу ему поднялось лицо, обросшее густой бородой.

— Райко, ты ли это?

— Я, — ответил Райко, пытаясь усмехнуться.

— Мне сказали, что ты погиб. Тяжелая рана?

— Да так...

— Счастливо отделался, — сказала Эмира.

— Товарищ Шопа, зачем вы тащите с собой раненых? — спросил Райко. — С нами вам будет тяжелее. Почему бы вам нас не оставить и, если прорвете фронт...

— Прорвем, — прервал его Шопа.

— Можно и перебить нас, чтобы мы вам не мешали...

— Не говори глупостей, — сказал Шопа с неприятным ощущением, что раненый винит его в происходящем. Но это не так. Раненый смотрит на него кроткими глазами, в которых видна только озабоченность.

— Не волнуйся, Райко, — крикнул он, направляясь дальше. — Мы обязательно пробьемся.

— Там все выжжено, — сказал Райко. — Надежнее всего нам было бы остаться здесь, в лесу.

— Было надежнее, а теперь нет, — возразил Шопа, — теперь нам надо туда, — и он показал на дома в низине, чьи красные кровли, как зрелые ягоды, алели на фоне леса.

Это были Бокапы, поселок в долине Млечаницы, вокруг которого собирались толпы раненых и крестьян с телегами, лошадьми, скотом и поклажей.

В ночи вздрогнул лес, вскинулась земля...

В атаку пошли только два батальона, остальные не могли поспеть к назначенному часу. В атаку повалила и толпа крестьян, парней и женщин с топорами и винтовками, взятыми у убитых. В бой кинулась ожесточенная, налившаяся гневом толпа...

От Погледжева до Патрии и Верхнего Еловаца, на фронте протяженностью в десять километров, все грохотало, гремело, ухало. Слышались крики. Призывы. Казалось, что стонут толпы, загнанные в котел.

— Мы должны прорваться, — повторял Шопа, ожидая вестников. Но вестников не было. Лишь гром и грохот.

Лишь грохот, и пламя, и стон, повторяемый эхом.

Вестники не появлялись, а темнота раздирала глаза. Со стороны Бокапов, от Млечаницы валили толпы, которых Шопа не мог разглядеть; он слышал скрип, стенания, мычание коров. Время от времени раздавалось ржание коня или блеяние овцы: тоскливое ржание и полное муки блеяние.

Он слышал крики и брань, вопли о помощи и стоны, все вперемешку с грохотом боя. Какой-то ребенок заплакал, зовя мать.

Этого он не мог выдержать. Он сжал ладонями виски, а потом начал бить себя кулаками по голове; ребенок продолжал отчаянно звать мать. Ребенок плачет, а вестников нет.

Шоша стоит один во мраке, а вокруг — грохот боя. Шоша стоит один в потемках, схожих с адом. Шоша стоит один в потемках.

Роты ушли в атаку, чтобы прорвать вражеское кольцо, а вестников нет. Как судьба, обрушились партизанские роты на линию фронта, на окопы, из которых плюется смерть. Этот грохот там и это пламя — это Шошины роты, идущие в наступление на холмы, кидаящиеся врукопашную на окопы.

— Или прорвем окружение, или погибнем, — твердит Шоша, ожидая вестников, но вестники не появляются. Не появляются вестники, но он их ждет, ибо они должны прийти. Они, может быть, уже ищут его во мраке, чтобы принести ему радостную весть, и просто не могут его найти в этой тьме.

— Сюда, сюда! — кричит Шоша и машет револьвером.

— Сюда, сюда! — откликаются горы.

Шоша стоит один во мраке, как в аду. Он призывает из тьмы людей, но его голос гложет в громе сражения.

— Сюда, сюда! — кричит Шоша, ожидая вестников, но они не приходят.

— Сюда, сюда! — грохочет битва, откликаются горы.

20

Добрлин взят и сожжен; полный строительного материала и досок из лесопилки, он полыхал, как факел, несколько дней, пока не превратился в груды обгорелых развалин и пепла. Но противник остался равнодушен к этому и не спял с фронта под Козарой ни единого солдата, чтобы послать его на помощь разгромленному гарнизону Добрлина. Вокруг Козары по-прежнему стоял грохот и гул капонады. Сражение не утихало; казалось, оно, напротив, ширится, становится все ожесточеннее.

Поэтому командир Первой бригады Ивица Марушич после взятия Добрлина отдал приказ двигаться к Дубишкому шоссе, чтобы напасть на противника с тыла. Таким образом, Лазар снова очутился на Ютрогупте, ведя за собой более четырехсот пленных.

— Вот еще один пленный, товарищ командир. Девушка какая-то. На шоссе взяли в немецкой машине. Мы открыли огонь, немцы бросили машину и удрали, а девушка осталась.

— Что с машиной сделали?

— Зажгли.

Перед группой партизан шла девушка со связанными руками, в красном платье. Голубой платок обрамлял красивое загорелое лицо.

— Смерть фашизму, усташка! — крикнул командир.

— Я не усташка, — возразила девушка.

— А кто же ты, если не усташка? Разве крестьянки с Козары ходят в таких платьях? Разве этот платок не городской?

— Городской, — согласилась девушка. — Но я уже объясняла, почему я попала сюда. Я ищу Ивана Хорвата.

— Вот как, и ты ищешь Ивана Хорвата? — Лазар вспомнил сбежавшего подполковника. — Тут один тоже искал Ивана Хорвата, да и оставил нас с носом.

— Я девушка Ивана, — сказала пленная. — Мы давно знакомы.

— Вот и подполковник говорил, что давно его знает, да удрал, но тебе это не удастся, — заявил Лазар. — С кем ты была в машине?

— С немцами, — сказал один из конвоиров.

— Была ты с немцами?

— Была, — подтвердила девушка. — Меня схватили усташки и повели на расстрел, а этот немец забрал меня и повез в Приедор.

— На свадьбу и венчание? — ядовито подсказал кто-то.

— Я думала, он меня везет на допрос, но он оказался добрым человеком.

— Разве немец может быть добрым?

— Этот оказался добрым, — стояла на своем девушка. — Не будь его, усташки бы меня убили, и не нашла бы я своего Ивана.

— Что это тебе вздумалось его искать в таком пекле? Тут же на каждом шагу головы летят, вся Козара огнем горит.

— Я не знала, что Козара горит, — сказала девушка. — Развяжите мне руки, если вы люди.

— С чего это мы тебя должны развязывать?

— Чтобы я вам показала Иваново фото, — сказала девушка. — У меня с собой его карточка. Если это не он, убейте меня. Вы его знаете, и если это не его фото...

— А может, ты пришла, чтобы его отравить, и потому захватила карточку? — сказал Лазар, но уже более мягким тоном. — Развяжите ей руки... Ну, девушка, давай показывай нам карточку. Это Иван?

— Иван, — подтвердила девушка.

— Оц, ей-богу, — озадаченно признал Лазар. — Будь он тут

одни, у меня бы и сомнения не было, что карточку ты получила в полиции, а так...

— Мы снимались два года назад в Загребе, — рассказывала девушка. — Вместе учились и полюбили друг друга.

— А не врешь ты, красавица?

— Да нет же, — ответила она. — Разве вы по фотографии не видите? Но все-таки где Иван? Он с вами?

— Он далеко, — сказал Лазар. — Как тебя зовут, товарищ?

— Матильда, — ответил товарищ.

— Проголодалась, наверно, Матильда?

— Проголодалась, — произнесла она. — Но ужинать не буду. Хочу поскорее поцеловать Ивана.

— Полегче насчет поцелуев, — пошутил Лазар, — целоваться у нас запрещено.

— Я его не видела целый год, — сказала Матильда, — мне бы только взглянуть на него, а там хоть умереть.

— Это будет трудновато, — заметил Лазар. — Придется тебе обождать — далеко Иван-то, по ту сторону фронта, на Козаре.

— Не вернусь в Загреб, пока его не увижу, — заявила Матильда.

— Только не сбеги, как тот подполковник, — сказал Лазар, разглядывая Матильду, которую он считал немного тронутой. В такое время пробираться на Козару!

— Вы авантюристы, да? — спросила Матильда. — Я сказала усташам, что считаю вас авантюристами.

— А это еще что такое?

— Вы же восстали против тех, кто намного сильнее вас. Разве это не безумие?

— Ты это, наверно, сказала усташам, чтобы они тебя поскорее отпустили? — предположил Лазар. — Наверно, ты, девушка, не думаешь так о партизанах.

— Думаю, — спокойно ответила Матильда. — Я и в самом деле считаю вас авантюристами. Восстать сразу против немецкой, итальянской и усташской армий? На это способны только сумасшедшие и авантюристы.

— Думай, что говоришь, девушка, — нахмурился Лазар. — За такие слова тут можно и головы лишиться.

— Не убьете же вы меня прежде, чем я увижу Ивана, — возразила Матильда. — Дайте мне встретиться с Иваном, а потом хоть убивайте. Я и ему сказала, что считаю его авантюристом, но все равно люблю.

— Ничего я у тебя не разберу, — сказал Лазар. — Будь ты бандитка, не стала бы ты говорить так открыто, а с другой стороны, черт его знает... Кликните мне Лепосаву.

— Тут я, — отозвалась Лепосава.

— Передаю эту девушку под твою охрану. Дашь ей поужипать, а потом отведешь на ночлег. Береги ее как зеницу ока. Если сбежит, головой ответишь. Поняла, Лепосава?

— Не бойся, — успокоила его Лепосава. — От меня разве только от мертвой сбежит. Слыхала, девушка? Со мной лучше не шути, со мной шутки плохи. Я шучу топориком.

— Ладно, ладно, — ответила Матильда.

— И чего ты, горемычная, сюда притащилась? Не знаешь, что на Козаре делается? Неужто Иван тебе так голову задурпл?

— Я его люблю.

— Ну, идем, дурочка, — сказала Лепосава. — Ты тут не ровен час погибнешь из-за него, а он, может, с другой милуется.

— Иван не такой. Я его знаю.

— А я знаю сотню Иванов, да не верю им, — сказала Лепосава, собирая ужжи. — Чего тебе, чертушка? — заметила она Лазара. — Чего подслушиваешь?

— Опасаюсь, как бы наша Матильда не осталась без ужжи-на, — подзадорил ее Лазар.

— А коли она наша, так зачем ты мне велел смотреть за ней и стеречь как зеницу ока? Если она наша, зачем ей бежать?

— Затем, что она женщина, — пояснил Лазар. — Затем, что вашему брату верить нельзя...

— Что это? Что это гремит? — спросила Матильда.

— Фронт вокруг Козары, — ответил Лазар. — Пушки и минометы.

— Бедный Иван, — вздохнула Матильда. — Что с ним будет?

— Пробьется сюда с товарищами.

— А долго мы будем ждать?

— Не знаю, — сказал Лазар. — Подождем.

— Товарищ командир, тебя вызывают в штаб бригады.

Ночь глухо стонала. Ночь гудела. Ночь полыхала огнями, потому что пушки, изрыгая снаряды, выбрасывали пламя, похожее на молнию, и оно освещало горы и леса.

Бухало и сверкало, как и много раз до этого, но Лазара не оставляло ощущение, что нынче совершается нечто особенное, решающее. Охваченный этим предчувствием, он на мгновение точно наяву увидел остатки своего отряда там, перед окопами, в вихре атаки, увидел, как бойцы, перескакивая через трупы, дерутся, пытаются прорвать вражеское кольцо.

Он ничуть не удивился, когда в рассветной мути возникли ссутуленные фигуры первых бойцов. Измученные ночным боем, они едва переставляли ноги.

— Из какой вы части? — спросил Лазар невысокого парня, согнувшегося под тяжестью ручного пулемета.

— Из Ударного батальона, — ответил парень.

— Сколько вас пробилося?

— Не знаю.

— Ранко Шипка вышел?

— Бога спроси...

— Что с Петром Бурацом?

— Не знаю. Вода есть?

— Дайте ему воды, — сказал Лазар и повернулся к другим, ковылявшим мимо. Они шли поодиночке или группами, по пять-шесть человек, и казалось — вот-вот упадут. Они тащились по склонам и оврагам, по тропинкам, ложинам, перелескам и полям, маленькие и разбросанные.

— Откуда вы? — спросил Лазар.

— Из батальона Жарко.

— Из какой роты?

— Из Куляпской.

— Сколько вас пробилося?

— Этого никто не знает.

— О Первой роте слышали?

— Слышали. Она тоже пробилась. Только чуть ли не вся полегла.

— Что ты говоришь? От кого ты это слышал?

— Я не слышал. Видел. Полегла на Цвиничевом Гае. Мы там вместе в атаку шли. Вон там кое-кто из Первой роты. Похоже, вон тот из Первой.

— Йован! — крикнул Лазар. — Йован, живой?

— Живой, — отозвался Йован. — А лучше бы погибнуть.

— Вышел ли еще кто из наших?

— Не знаю, — ответил Йован. — Всю ночь мы атаковали. Возьмем один ряд окопов и на другой кидаемся. Займем этот — и на третий. А оттуда, с неприятельской стороны, точно так же наваливаются, чтоб отнять захваченные окопы. Я сам видел, как упал Божо Оляча, да Милисав Шурлан, да Стеван Чугаль...

— Вынесли их?

— Кому их выносить-то, брат? Сами едва продрались.

— А что с Хамдней?

— Не знаю. Спроси вон тех. Может, они знают.

— Иди, Йован, ложись на сено. Поешь чего-нибудь и спи.

— Пить хочу. Во рту пересохло.

— Эй, товарищ, из какой вы части? — обратился Лазар к бойцу в надвинутой на лоб кожаной фуражке.

— Из роты Раде Кондича, — сказал боец.

— Сколько вас вышло?
— Кто это может знать?!
— А Раде Кондич с вами?
— Наверно, нет — его ранило.
— Вон наш взводный! — воскликнул малый. — Вон взводный Перо!

— Эй, Перо! — крикнул Лазар. — Иди сюда. Как ты выбрался?

— Вывел несколько бойцов, — сказал Перо. — Это все, что осталось от взвода. Полегло наше войско.

— А знаешь, что с Хамдией?

— Или ранен, или погиб, — сказал Перо. — Когда мы шли на третий ряд окопов, его ранило, и он упал. Вынести его мы не могли.

— А Иван-комиссар вышел?

— Нет, — сказал Перо. — Он тоже или ранен, или погиб.

— Ты уверен, Перо?

— Я видел, как он упал. Бросил гранату и побежал к окопу, и тут его свалило. Там и остался. Нельзя было ни подойти к нему, ни вынести... Попить дайте...

— Ступай туда, Перо, — указал Лазар на хлев. — Поедите и выпитесь, а там посмотрим, куда идти.

Тут со стороны шоссе появилась густая толпа народу вперемешку с телегами, лошадьми и волами. Кое-где люди тащили возы с поклажей и детишками на себе. Одни двигались по проселку, запрудив его, другие шли сбочь него, прямо по полям, топчя хлеба и опрокидывая изгороди, чтобы открыть дорогу телегам. Ничто не могло их остановить. Они подминали под себя все: и ограды, и бахчи, и хлеба.

В этом водовороте людей, телег и скота Лазар разглядел толстую, маленькую фигурку в черном. Идя за телегой, женщина тащила за собой рыжую телку.

— Лазар, братец! — обрадовалась она. — Малый-то мой есть где?

— Есть, Стана, — успокоил ее Лазар. — Вон он.

— А я уж думала, погиб он, горе мое.

— Не погиб, — сказал Лазар. — Кого это ты везешь?

— Сноха моя, родила вот...

— Неужто прямо на возу?

— А что делать, Лазар, раз беда такая? Всю ночь кричала, пока мы через фронт переходили. Она на возу кричит, кони, как пушка бабахнет, шарахаются, а я гоню овец да телку волоку. Волоку телку за веревку, а овцы возьми да разбегись, а я за овцами, а телку-то и выпустила, так моя Краснуха в темноте и пропала. Выбрались мы на шоссе, гляжу — нет моей

телки. Думаю — вернусь, поищу телку, пропадать так пропадать. Побежала я назад, а споха на возу уехала. Супостаты меня заметили и давай стрелять, а я нашла свою Краснуху, ухватила за веревку и веду, а вокруг земля дыбом встает, камни в воздух летят, кусты подскакивают, потому что супостаты-то меня заметили.

— Неужто гибнуть из-за телки, дурочка ты? — подошел к ней малый. — Неужто ты могла жизнь за телку отдать?

— Хорошо тебе, — обняла сына Стана. — Тебя войско кормит, а мне без Краснухи хоть помирай.

И, точно только сейчас сообразив, что перед ней стоит малый, самый любимый из ее детей, она снова схватила его в объятия и начала целовать, не скрывая слез. Казалось, она отнимает его у смерти. Сконфуженный малый отбивался и хмурился, уклоняясь от материнских объятий, отпихивая мать, точно она не ласкала его, а охаживала крапивой.

— Кого родила-то, сношенька?

— Сына, — ответила сноха.

— Пусть будет живой и здоровый, — пожелал малый. — Какое имя ему дашь?

— Не знаю еще.

— Пусть будет Петар, — предложил малый. — Дай ему дедово имя.

— Петар или Милан, — сказала сноха.

— Тяжелее всего было, когда она разродилась, — вставила мать. — Вокруг стреляют, люди гибнут, а в нашей телеге только что родившийся ребенок кричит, и пуповину перерезать нечем. Едва-едва я серп отыскала да и перерезала пуповину, а уж как мне это удалось, один бог знает...

— Расскажи-ка матери, как ты в Добрлине офицера в плен взял, — сказал Лазар.

— Захватили мы их тридцать пять человек, — начал малый, — и среди них одного поручика. Он спрашивает, кто старший. Ему сказали, что я (это я взводного Миича замечая), а он не верит. Чтобы ему доказать, я у него беру авто-ручку. «Водите меня в штаб дивизии», — кричит оп. «А я тебе штаб и есть», — говорю я и приказываю снять с него брюки и подштанники тоже. Остался офицер гол-голешенек. Ну, тут уже поверил, что я старшой, понял, что может головы липиться, если будет меня недооценивать.

— Видишь, Стана, какой сын у тебя? — засмеялся Лазар.

— Дурень! — спокойно заключила мать.

— А как мой, не знаешь? — спросил Лазар.

— Они следом за нами тронулись, а куда добрались и куда повернули, этого я тебе не могу сказать. Видела я Да-

ринку, и детей, и Новакова шапка мелькала, но потом они куда-то подевались.

— Уж не погибли ли?

— Молись богу, Лазар. Надо думать, не погибли.

— Дядя, вон Джюрадж! — воскликнул малый. Лазар кинулся вниз по склону.

— Сюда, Джюрадж, сюда...

— Перебил нас! — крикнул Джюрадж.

— Что с остальными?

— Не знаю, — сказал Джюрадж, — пошли мы все вместе, а тут налетели самолеты, и народ разбежался.

— Бомбили?

— Бомбили, — сказал Джюрадж. — Бегут люди, скотина мычит, женщины плачут, детишки кричат. На Косовом поле и то небось легче было.

— Что ж ты не вернулся искать их?

— А кто ж знал, что мы растеряемся? — вздохнул Джюрадж. — В давке да в суматохе и сам-то себя не помнишь. Я шел только вперед, то есть не шел, а бежал. Бежал до самой линии фронта, а как начали стрелять, маханул к окопам. Грохот был, братцы мои, как в аду. Как снаряд взорвется, пламя так все вокруг и озарит, а повсюду — мертвые, куда ни глянь.

— Что делать будем? Где их искать?

— Чего искать-то, — сказал Джюрадж. — Если выберутся, хорошо, а если не будет их, значит, либо на Козару вернулись, либо погибли, одно из двух. Это уж верно...

— А разве кто-нибудь вернулся на Козару?

— Вернулись, — сказал Джюрадж.

— Надо остаться здесь и подождать, пока подтянутся люди из окружения, — раздался чей-то голос за спиной у Лазара.

Это был Жарко, шахтер, командир батальона, с автоматом, хмурый и измученный, покрытый до колен грязью, в штанах, облепленных репьями, как пчелиным роем.

— Товарищ командир, в моей роте пятьдесят два бойца.

— За нами идут еще люди, — сказал командир. — Прихватите их и направляйтесь к Маринам.

— А что с ранеными?

— Не знаю, — сказал Жарко.

— Шоша вышел?

— Нет, — сказал Жарко. — Из штаба отряда вышел только Обрад и еще несколько человек. И товарищ Словенец тоже вышел. Разве ты его не видел?

— Не видел. — Лазар вспомнил секретаря окружного ко-

митета, который попал в эти края из Истрии, сбежав от итальянцев, как после краха Югославии бежал из немецкого плена и явился в Баня Луку организовывать восстание. «Лазар, что такое диктатура пролетариата?» — припомнился ему вдруг вопрос Словенца; Лазар тогда готов был сквозь землю провалиться и клялся, что ему легче в одиночку атаковать Дубицу, чем отвечать на такие вопросы.

— Не проходил тут Чоче-комиссар? — спросил Жарко.

— Не знаю, — ответил Лазар, — не видал его.

— А что было с вами в тот день? — спросил Жарко, накопец спохватившись. — Почему вы не вернулись на Погледжево?

— Не могли, товарищ командир, тапки перерезали нам дорогу назад.

— Об этом мы еще поговорим, — глухо сказал Жарко. — В Маришах остановимся. Там будет штаб.

— Там и штаб Первой бригады, — добавил Лазар.

— Разве и Первая здесь?

— Да. Здесь. Мы заняли Добрлин, надеясь помочь вам пробиться из окружения.

— Много вы нам помогли, — сказал Жарко. — Мы и сами-то себе не смогли помочь.

Он ушел, тяжело передвигая ноги, а Лазар остался стоять на тропинке, удивленный, расстроенный и встревоженный. За что Жарко упрекает его и грозит? Разве он не сделал все, что мог? Разве все эти три недели беспрестанных боев он не глядел в глаза смерти?

Он вздохнул, подтянул ремень и поправил револьвер, а потом начал осматривать в бинокль пространство, примыкавшее к Дубицкому шоссе. Оттуда группами двигались люди, торопясь добраться до западной опушки леса и холмов...

Слышали ли вы о дьяконе Аввакуме?

Он родом отсюда, с Козары. В монастыре Мопштанице, у духовника Геннадия Сувака, учился читать. Единственный сын у матери, родился он в 1794 году и красоты был несказанной. Двадцать лет ему сровнялось, когда, прослышав о восстании в Сербии, он отправился туда помочь братьям сербам. Отправились они вместе с матерью и Геннадием Суваком, который взял с собой и своего сына Стояна.

Прибыли в Сербию, в Трнаву, что подле горы Белицы, в Благовещенский монастырь, к игумену Паисию Ристовичу. Когда разгорелось в 1814 году восстание Хаджи-

Продана, на Трнаву напали турки, захватили в плен игумена Паисия, а с ним и дьякона Аввакума и мать его, а также и попа Геннадия с сыном Стояном, и связанных отправили в Белград.

Игумена Паисия сразу посадили на кол рядом с его родным братом перед крепостью Калемегданом, чтобы на них обоих глядела мать: они долго мучились, потому что колья были низкие, и они касались земли ногами. Вокруг бродили голодные псы, которые их обнюхивали, лизали и кусали.

Турки сказали попу Геннадию, что сохранят ему жизнь, если он переменит веру; оставят ему и сына Стояна. Видя, что спасения нет, поп Геннадий потурчился и получил имя Мулла Салия (горе его матери!). За ним потурчился и сын его Стоян, которому дали имя Реджет (горе его матери!).

Дьякон же Аввакум отверг предложение турок и не захотел менять веру. Турки велели ему самому нести кол, на который он будет посажен живым. Он взял кол и, идя к месту казни, запел назло туркам.

Видя, что ее единственному сыну суждено погибнуть в мучениях, Аввакумова мать заплакала, умоляя его перейти в турецкую веру, дабы спасти свою жизнь.

Но сын ответил ей песней:

Мать, за молоко тебе спасибо,
Не спасибо — за твою науку...
Скоро, скоро ты увидишь сына,
Вместе мы предстанем перед богом...
Смерть сама пас от беды избавит,
Счастлива тот, кто встретит ее раньше,
Меньше прегрешений и мучений...

Несет дьякон Аввакум кол, на который его посадят, подходит к месту своей гибели и говорит туркам, глядя на них:

Нету веры лучше, чем Христова!
Верен серб Христу, умрет с весельем.
Ждет и турок страшный суд господень,
Вот и делайте чего угодно...
Только скоро туркам будет плохо.
Бог свидетель, это божья правда... *

* Стихи переведены Вл. Коршиловым.

Измученный таким поведением узника, приговоренного к смерти, начальник турецкого войска приказал палачам не сажать дьякона Аввакума на кол живым, а сначала прознить ему сердце пожом, чтобы он не мучился на колу. Такой храбрец, сказал он, заслуживает легкой смерти.

Из старинных рукописей

21

Похоже было, что преследователи отстали. Из глубины леса, с той стороны, откуда он бежал, чуть доносились перекликающиеся голоса. Стрельба прекратилась. Постепенно стихли и голоса, а лес становился все мрачнее. Ему стало страшно — от одиночества, от леса. Он остался один в чащобе. Один в горах, где никогда не бывал.

Он не знал, где находится. Шел наугад.

Надо было двигаться на запад, к своим. Но где запад? Как отгадать, где запад? Вокруг толпятся замшелые стволы в потоках смолы — вековые стволы стройных елей и темно-зеленых сосен. Когда-то, студентом, он мечтал о таком лесу, месте отдохновения и грез, но никогда не мог предположить, что окажется в горах один, без единого спутника.

Не водятся ли тут волки? Если да, то мне конец, потому что я безоружен. В самом деле, смог ли бы я отбиться? Чем тут защититься? Голыми руками?

Когда-то он читал, как один человек, заблудившись в горах, набрел на волка и, не имея никакого оружия, сжал кулак и воткнул его в пасть кнувшегося на него разъяренного зверя так, что волк задохнулся.

Так и я сделаю, думал он, замедляя шаги, чтобы сберечь силы. Хорошо, что хлеб у меня есть, — и он похлопал себя по карману, где лежал кусок хлеба. Надо беречь и хлеб — неизвестно, когда я выберусь из леса. И выберусь ли вообще.

Ему послышалось что-то вроде разговора. Он и обрадовался (значит, он не один) и испугался. Это они, это, наверное, погоня. Если его схватят — конец, растерзают на части, он же в форме. Сбросить гимнастерку? Надо было бы снять и брюки, а может, и ботинки. Фуражку он потерял; он приглаживал волосы, вслушиваясь в отдаленные голоса.

Это, надо думать, Млечаница. Ему вспомнилась карта, на которой млечаницкое ущелье было помечено как направление движения частей. Надо держаться ущелья как ориентира, но

не спускаться слишком низко, чтобы не наткнуться на беженцев. Лучше всего было бы переодеться в крестьянскую одежду. Он озирался по сторонам, словно поджидая спутника. Крестьянская одежда, твердил он про себя, а усталость и сон валили его с ног...

«Йозо, сынок зачем ты ссоришься с Иваном?» — слышится ему далекий-далекий голос. Голос его матери. Вечно ты ссоришься с Иваном, укоряет его мать, а он в ответ твердит, что она его не любит, а любит Ивана. «Всегда я виноват», — говорит Йозо, а мать приближается и, грустно усмехаясь, пытается приласкать его. «Зря ты это, — говорит он в то время, как мать целует его волосы и щеки. — Ты больше любишь Ивана». — «Дурачок ты мой, до каких пор ты будешь выдумывать такие глупости?» — шепчет она, но Йозо не слушает, обиженный и несчастный, и больше всего ему хочется уйти из дома далеко-далеко и никогда не возвращаться. Но он не уходит, уйти некуда: мир мал, горизонты тесны, нет друга, нет товарища, приходится оставаться вместе с Иваном, подле матери и отца, которые все чаще выказывают ему свою не любовь. В самом деле, за что они меня не любят? Может быть, за то, что у меня лицо веснушчатое, а у него чистое и белое? Или за длинные и нескладные руки, которые вечно мне мешают или смешно и неловко висят вдоль тела? Но в чем я тут виноват? Разве это я выбрал себе цвет лица и форму рук?

«Йозо, сынок, что же ты опоздал в школу? — слышится снова тот же далекий голос. — Почему ты не берешь пример с Ивана? Он ни разу не опоздал в школу, а ты опаздываешь каждую неделю. Когда ты будешь таким же, как Иван, ты, увалень и лодырь?» Йозо молчит, понурясь, а как бы ему хотелось ответить ругательством и послать их к черту! Впрочем, это бы и не помогло: все равно он был бы увальнем и лентяем, все равно был бы ниже Ивана и оставался предметом насмешек, упреков и выговоров. Правда, отец во многих случаях пытался его переубедить: они любят Йозо, как и Ивана, они не делают никаких различий между детьми, он их любимый сын и должен выбросить из головы пустые и глупые выдумки. Кроме того, отец пытался защитить его перед матерью, от которой ему нередко доставались затрешины и тычки, а он должен был помалкивать, потому что у мамы слабые нервы. Но, может быть, это и в самом деле самообман? Ведь у него, у Йозо, было все то же самое, что и у Ивана, — новый костюм, новые ботинки, новые книги, подарок к окончанию учебного года, карманные деньги по праздникам. Иногда и правда все шло так, будто они близнецы, и он начинал забывать о мелких несправедливостях и маленьких детских

обидах, и казалось, что ни обид, ни несправедливостей не было вообще, что родители перед ним ни в чем не провинились и он сам преувеличивал, беспричинно обвиняя их в том, что они больше любят другого своего сына. И тогда ему хотелось видеть их, бывать с ними как можно чаще, использовать каждую минуту свободного времени, чтобы поболтать с ними за кухонным столом, попивая вино, угощаясь, играя в карты, слушая музыку и наслаждаясь другими приятностями хорошо налаженного семейного быта.

«Поздравляю, сынок, — говорит отец, — отлично сдал экзамен». Улыбающийся и счастливый, отец подходит к Йозо и целует его, всовывая ему в карман ассигнацию в качестве награды. «Иди развлекись, ты заслужил», — отец хлопает его по плечу, как равного себе. Не хватает только сравнения с Иваном, но в такой час радости и торжества Йозо стерпел бы и это, ибо быть приравненным к Ивану сейчас — не оскорбление, а честь, поскольку Иван принадлежит к числу лучших студентов Загреба.

«Йозо, сынок, что с нашим Иваном? — слышится снова далекий голос. — Разве он не сказал тебе, куда уходит?» — спрашивает мать и утирает слезы, а Йозо стоит перед ней, как памятник, прямой и гордый, ибо он остался дома, с отцом и матерью, а Иван ушел. Их любимчик бросил их и ушел, а он, Йозо, остался с ними дома, чтобы быть им опорой, утешением и защитой. Его не унесло вихрем безумных и самоубийственных идей, надерганных из наспех прочитанных книг. Он послушался голоса крови, а не лозунгов. Его удержала дома любовь к родителям. Именно так: любовь к отцу и матери, которой он все простил. Он сын, он настоящий сын, а не тот. Он будет с родителями в самое тяжелое время, когда вокруг летят головы с плеч. Бегство из дома не храбрость, а трусость, прикрываемая лозунгами о борьбе против чужеземцев. На самом деле герои спасают собственную шкуру. Гораздо опаснее оставаться в городе, вблизи фашистских штыков, чем бежать в лес, под его надежное укрытие.

Скажем еще и то: Йозо Хорвата никогда не привлекали теории о преобразовании общества. Человеческое общество, думал он, такая сложная и запутанная вещь, что исправить его смогут только века поступательного развития, а не какие-то там перевороты, хоть бы они и назывались революциями. Человеческое общество, подобно растению, может развиваться только спонтанно, без больших потрясений. И самый надежный путь его прогресса — это наука, познание, разум, культура и цивилизация, без которой нет движения вперед. К чему же братья за оружие и подвергать опасности жизнь лю-

дей? Зачем гибнуть, атакуя укрепления, хотя бы и немецкие? В истории было и сплыло столько оккупаций, а народы все-таки выжили и не вечно томились в рабстве. Неприятель окончательно уходил только тогда, когда его побеждали собственные слабости. Собственные слабости погубили уже столько завоевателей, погубят они и немцев. Так он думал и верил, осуждая уход Ивана в лес как самоубийство.

— Йозо, сынок, ты слышал, что Иван в лесу? Ушел и бросил родителей. Хорошо ли так делать?

— Не мне судить об этом.

— Йозо, сынок, если усташа узнают, что Иван в лесу, они нас поубивают. Ведь убивают и невинных. Сколько хорватов уже постреляли. Им ничего не стоит стрелять даже хорватов.

— Я ему не говорил, чтобы он шел в лес. Сам ушел.

— Бессердечный, даже мать не предупредил.

— Не плачь, мама, и молчи. Никому не говори, что Иван в лесу. Мы должны это скрывать.

— Надо это скрывать, — говорит и отец, предчувствуя беду и не зная, как ее предотвратить. — Надо скрывать.

Йозо подходит к матери, берет ее за руку и помогает дойти до постели; она должна лежать, так как тяжело больна. Мать идет и плачет. Йозо тщетно пытается утешить ее, повторяя как попугай, что она не одна, что с нею муж и он, ее сын Йозо, верный, хороший сын, который, несмотря на опасность, останется около нее, в родительском доме, хотя бы и пришлось поплатиться за это головой.

— Я лучше Ивана, я всегда был лучше Ивана, но вы этого не хотели признать.

— Милый мой, сыночек мой...

— Хорват тут живет?

— Да, — говорит отец.

— Это вы Хорват?

— Я, — говорит отец. — А почему вы спрашиваете?

— Идемте с нами...

— Извините, — нерешительно спрашивает отец, — с кем имею честь?

— Мы из полицейского управления и должны вас доставить в полицию, — говорят вошедшие и без лишних проволок связывают старому Хорвату руки и уводят его.

Йозо стоит и смотрит, как окаменелый. Он не знает, за что уводят отца, но спрашивать не смеет. Когда они остаются одни, мать плачет.

— За что они его? Он честный и порядочный хорват...

Спустя несколько дней жена и сын узнают, что старый Хорват арестован из-за Ивана, ушедшего в партизаны. Они тщетно пытаются вызволить его из тюрьмы. Ищут знакомых среди усташей, стараются узнать имя шефа полиции. Ничто не помогает.

— Йозо, сынок, ты знаешь, что папу угнали в Ясеновац?

— Не может быть, чтобы он был там.

— Мне сказали, что там, — плачет мать.

— Но туда же угоняют только евреев и коммунистов.

— И его угнали. Может быть, мы его никогда больше не увидим. Он погиб, живым ему не выйти.

— Я спасу его! — восклицает Йозо, как герой, от которого зависит исход сражения. — Я его спасу, хотя бы и ценой собственной гибели. Успокойся и наберись терпения, а я даю тебе слово, что спасу отца.

— Сын мой единственный, — плачет мать и гладит Йозо по голове, как гладила когда-то, сравнивая с Иваном. — Прости, сынок, что я была к тебе несправедлива.

— Успокойся, мама, перестань плакать, — говорит Йозо, уверенный, что, наконец, занял в ее сердце место, принадлежащее ему по праву, прекрасное место, которое могло бы всегда принадлежать ему, если бы не было захвачено Иваном. Теперь он воцарился здесь, в материнском сердце, на вечные времена. А уж когда он выпарапает отца из лагеря...

Йозо Хорват вступает в ряды добровольцев. Надевает форму. Он молод, не служил в армии. Едет на курсы в Штокерау. Идет впереди по всем предметам и становится одним из лучших солдат. Становится офицером. Он счастлив, к этому он и стремился: с офицерскими знаками различия ему легче будет выручить отца из Ясеноваца.

Йозо Хорват возвращается из Штокерау. Будучи проездом в Загребе, он узнает, что мать его умерла и похоронена на Мирогойском кладбище. Он идет на кладбище, находит свежий холмик, украшает его цветами и долго плачет, склонившись над материнской могилой. Потом уезжает со своей частью.

Отличившись в боях в Банни, Шумарице и на Петровой горе, Йозо Хорват становится поручиком. Его рота разгромила большую группировку партизан. Йозо отмечен. За храбрость, проявленную в боях, и за успешное командование он произведен в следующий чин и перемещен в штаб полка, помощником подполковника Рудольфа. Он отправляется на Козару, убежденный, что дойдет до Ясеноваца, где томится отец.

— Спасайтесь, люди, самолеты летят! — разбудил его голос из леса. Ему померещилось, что это кричат его преследовате-

ли, он вскочил, побежал и остановился, только услышав грохот в небе над головой. Это были самолеты, летевшие вдоль Млечаницкого ущелья. Их он не боялся. Ему казалось, что от Млечаницы он далеко и летчики не будут бомбить эти склоны, зная, что народ держится ближе к реке, близ воды, дорог и тропинок.

Иду я вверх по Млечанице или вниз? Если вверх, то мне никогда не выбраться. Надо как-то это выяснить, нельзя же блуждать до бесконечности. Пойду вниз, к реке, а там что бог даст, решил он, когда шум моторов стих.

Кто-то идет; он услышал хруст веток; показалось, что слышны и шаги. Кто-то идет — теперь он слышал и голос. Это был топяный, протяжный, печальный голосок. Точно это ребенок, который не то хнычет, не то напевает себе под нос, собирая грибы или ягоды...

Если это ребенок, он мне покажет дорогу. Мне бы только узнать, в какую сторону течет Млечаница. Он прислушивался к шагам и пению. Это ребенок, так поет только ребенок, он вытягивал шею и озирался по сторонам.

Протяжный и глуховатый голос походил не на песню, а на причитание и жалобу: он был надорванный, тоскливый и монотонный, точно исходил от существа, размышляющего о чем угодно, только не о радости и веселье.

Он лег за деревом и притаился, поджидая и вслушиваясь в голосок, звук которого трепетал в воздухе то явственнее, то глуше. Все же ему казалось, что голос приближается. Если голос начнет удаляться, он вскочит и бросится вдогонку, чтобы узнать, куда течет Млечаница.

Но это не ребенок, это женщина. Это женщина; он смотрел из-за бревна на призрак, возникший перед ним. Это была высокая и худая женщина с расплетшимися волосами, падавшими на лицо, грудь, руки; из-за этих волос лицо женщины казалось черным, как обгорелая сковородка.

— Ох, мой Младжан, яблочко зеленое! — повторяла она голосом, от которого становилось жутко. Это не была песня. Это были похороны без мертвеца. Женщина двигалась медленно и тупо. Она делала шаг и замирала, уставившись на лесную чащу, как на степу. Потом снова делала шаг, так же тупо и безнадежно. Видно было, что она не торопится, ничего не ищет, никого не ждет. Она блуждала по лесу без всякой цели, одинокая и несчастная, тоскуя о Младжане, яблочке зеленом...

— Эй, женщина! — крикнул он из своего убежища за стволом.

Женщина замерла, точно ожидая удара.

— Не бойся, это я, — шагнул вперед Йозо.

Но женщина не стала его ждать. Увидев человека в воспной форме, она ошрометью кинулась вниз по склону, ломая ветки. Послышался удаляющийся треск валежника.

Он хотел было кинуться вслед за ней, догнать, объяснить, что он не злодей, не преступник, а такой же человек, как и она, столь же, а может быть, и более несчастный, ибо мать у него умерла, а отец в лагере, а в этом самом лесу у него родной брат. Но тут он вспомнил, что па нем форма из желто-зеленой ткани, форма, которую этот народ прекрасно знает. Он посрыпывал пуговицы с гимнастерки, но форма осталась формой.

Если меня схватят в форме, с меня сдерут кожу. Он ждал визга, криков этой женщины, воплей о помощи, но ничего не было слышно. Прекратился и треск валежника. Она скажет обо мне; он высматривал ее между стволами, заглядывал в кусты и думал, что самое правильное было бы затаиться в зарослях папоротника или под ворохом палой листвы, а в дорогу пуститься, только когда стемнеет.

Но ничего не было слышно. Никто не появлялся.

Я набрел на беженцев, подумал он. Здесь беженцы; он пробовал найти какой-нибудь признак их присутствия, но признака не было — ни голоса, ни дыма, ни шалаша. Только лес, густой и черный, только ели и сосны, хвоя, папоротник и смола: свежо пахло смолой, а от папоротниковой пыльцы щежкотало в носу. Надо догнать женщину. Он побежал, подстегиваемый мыслью о том, что сам никогда не выберется из этого бескопечного леса. Сердце прыгало, под подошвами ботинок хрустели сучья, но он не мог догнать женщину. Она пропала в лесу. Он остановился и прислушался: ни движения, ни звука, ни песни, ни жалобы; только над головой, колеблемые востерком, шуршат сухие веточки...

Что мне делать, мама? Неужели я погибну здесь, в этой пустыне? Чем я провинился перед богом? В чем согрешил?

Ему вспомнилось первое причастие, церковь и старый священник. Он верил тогда, что принимает из рук священника кровь и тело Христова, а позже при каждом удобном случае перед священником или старшими, особенно перед родителями, старался выглядеть глубоко верующим, добрым христианином и благочестивым католиком. Бог мне поможет, повторял он и крестился, вслушиваясь в реявшие под сводами величественного собора звуки тяжелой церковной музыки, которая слетает па человека, гнет и давит, и сковывает его, внушая ему, что он — бременная и преходящая частичка вселенной, ибо всемогущ только всевышний, а вечно одно лишь небо. Неуже-

ли я все-таки провинился перед богом и небесами? — спрашивал он себя, ковыляя вниз по склону, отчаявшись догнать женщину. Может быть, ее вообще не было? Это всегда так: тех, кто нам необходим, мы чаще всего не можем догнать, а те, без которых мы не можем жить, часто далеко, слишком далеко.

Смеркается, близится темнота, наступает ночь...

Где я буду спать?

Он искал убежища. Под горной сосной, широко развесившей поникшие ветви, было сухо и чисто. Он забрался под хвойный шатер. Если пойдет дождь, я здесь буду как под крышей (хотя бы на некоторое время, пока не польет сквозь ветви). Он успокоился, но заснуть не мог — казалось, что кто-то в темноте подстерегает его, кто-то подползает с топором, которым разнесет его на куски...

— Кто здесь начальник? — спрашивает он строго.

— Макс Лубурич, поручик. Он главный.

— Он начальник полиции всей Хорватии, а я спрашиваю, кто командир Ясеноваца. Кто здесь главный?

— В Ясеноваце главный Любо Милош.

— Как он смеет держать в лагере моего отца? Да знает ли он, кто я такой?

— Здесь их много, поручик. Их тут тысяч, и мы не знаем, за что сцапали вашего отца. Спросите Матковича, может быть, он знает, почему ваш отец здесь.

— Маткович, где мой отец? Если вы не выпустите моего отца, вы будете иметь дело со мной. Вы поняли, Маткович?

Но видение расплывается, собеседники исчезают, а шум ветра в кроне над головой возвращает его к действительности; он не в Ясеноваце и не разговаривает с Матковичем. Он в лесу, под сосной. Закрыв глаза и заснул...

— Держи его! — раздается крик. — Держи усташа! — вопят у него за спиной, а он бежит, спотыкается и падает, вскакивает и снова бежит. Они бегут следом, улюлюкают, подзадоривают друг друга, перекликаются. Он бежит, а они следом — орут, грозят, бранятся. Загоняют его в овраг. Он не хочет в овраг, но бежит туда, как раз туда, потому что в другую сторону невозможно — вокруг толпы крестьян с топорами и дубинками. Свободен только путь, ведущий в овраг. Он бежит туда. Ноги отказывают, он не может сделать ни шагу. Топчется на месте, а хотел бы идти, бежать в овраг. Но вдруг он замечает, что и снизу, из оврага, приближаются, охватывая его кольцом, люди, размахивающие топорами. Топоры, топоры, топоры! Кольцо стягивается, толпа наваливается, топоры сверкают, острие опускается на его голову, он вскрикивает...

Но и это видение исчезает, а ветви над головой, тихо шумя, снова напоминают ему, что это только сон. А страх не проходит. Ему кажется, что кто-то приближается во мраке. Слышны голоса, бормотание, шепот. Люди это или ветки? Он съежился и не дышит. Слышит, как колотится сердце, боится, как бы этот стук не выдал его, стискивает грудь ладонями. Но ничего нет, страх его беспричинен. Это ветер гуляет в ветвях, это листва шелестит в ночи...

Он проснулся на рассвете, окоченевший от холода и дрожащий. Невероятно, что среди лета может быть так холодно. Даже земля мокрая. Может быть, шел дождь? Ноги болят, ребра болят, спина болит. Точно земля, на которой он лежал, разбила его.

Он поднялся и попробовал идти. Но куда?

Спуску в овраг, может, встречу хоть кого-нибудь живого. Мне не выйти из этого леса без чужой помощи. Я должен увидеть человека, пусть даже он кинется на меня с топором.

Он съел кусочек хлеба и пошел вниз по склону, в ложину, где пышно раскинулись опахала папоротников.

Он услышал стук топора и замер. Кто-то ударял топором по стволу. Он знал, что это топор, и был уверен, что кто-то ударяет топором по стволу. Это крестьянин из беженского лагеря, подумал он в нерешительности. Это крестьянин рубит дерево. Он заколебался: хотелось спуститься туда, к тому, кто рубит дерево, но он боялся топора. Надо спуститься, иначе я так и не узнаю, куда идти, подумал он и шагнул вперед. Спускаюсь к тому, кто там рубит, хотя бы он меня встретил топором. Он было побежал, но сообразил, что только попусту выдаст себя. Лучше двигаться осторожно, подкрасться к тому, кто там рубит, и застать его врасплох.

Он крался на дыпочках, как кошка, сгорбив спину. Стволы деревьев подстерегали его, как засада: темные, стройные, могучие стволы выглядели вечными и равнодушными. Он крался, озираясь по сторонам, а человек внизу стучал топором по дереву. Удары отдавались эхом, как выстрелы: большой топор, толстый ствол.

В чистом и прозрачном утре подымалось солнце. Он не видел его, но чувствовал в ветках, над кронами; наверно, оно выходило из-за гор, освещая верхушки деревьев и пробиваясь сквозь вечный сумрак, в котором жили бесчисленные стволы...

Вот он, подумал Йозо, завидев войлочную шляпу.

Надо подкрасться к нему сзади. Он подобрал с земли палку длиной побольше винтовки; это был круглый, только что срубленный ствол, дубок потоньше шеста, который втыкают

в середину стога. Если он на меня нападет, ударю его этой дубинкой, подумал он, но тут же сообразил, что крестьянин, увидев усташа и поняв, что не может садануть его топором, наверняка бросится бежать и подымет тревогу. Нельзя дать ему убежать, подумал он, сжимая дубинку, в то время как человек продолжал, равномерно взмахивая топором, рубить дерево.

Я должен заполучить его одежду, думал он; шагая все решительнее, но все так же беззвучно, как кошка, подкрадывающаяся к добыче. Возьму его одежду и, переодетый крестьянином, выберусь из этого проклятого леса, а потом уж что-нибудь придумаю, хоть бы пришлось пешком идти до самого Загреба. Он еще крепче стиснул дубинку, занеся ее над головой, а крестьянин по-прежнему мерно бухал топором по стволу.

22

Он сидел на поле, среди колосьев, освещенный заходящим солнцем. Наверно, где-нибудь набреду на паших, думал он, дожидаясь в хлебах сумерек. Вспомнил Эмму, которую потерял из виду, когда налетели партизаны. Может быть, ей удалось бежать с фра-Августином?

Больше всего жаль было потерять Эмму. Ее нет, и возможно, я ее больше никогда не увижу. Он вздохнул, блуждая взглядом по холмам, затихшим после боя. Если бы мы хоть провели ту ночь вместе, было бы не так жалко. Он раздвигал колосья, будто она могла быть где-нибудь тут. Но Эммы не было....

Снова возвращалась давнишняя мысль: война — проклятие, оружие возвращает нас к временам варварства, современный солдат ничем не отличается от доисторического человека, вооруженного палицей, камнями и топором. Убиваем и поджигаем, ожидая, что сами будем убиты и сожжены. Какой в этом смысл? Неужели человек и в самом деле кровожадное чудовище?

Он сидел посреди колосьев, отдыхая после бега, уверенный, что преследователи отказались от погони. А может быть, погони и вовсе не было: когда он вскочил и бросился бежать, отделившись от толпы, партизаны расправлялись с другими пленными, в него не стреляли — вероятно, даже не заметили, что он бежал.

Пойду к Дубице, решил он, встал и прислушался. В кустах щебетала птица, из низины доносилось кваканье лягушек. Больше ничего. Вокруг — ни души. Смеркается. Близит-

ся ночь, когда и человек и зверь думают об отдыхе. Но с тех пор как идут бои, здесь нет покоя, особенно ночью. Он знал, что если не будет осторожным, то может налететь на партизан, которые шастают по холмам, прилегающим к шоссе, пытаясь выбраться из окружения. Теперь попасться к ним в руки особенно страшно: они разъярены после бегства с Козары, где провели столько дней и ночей под открытым небом, без крова, в непрерывных стычках. Они стали беспощадными и начали убивать даже пленных; а раньше великодушно отпускали, пробуя этим переубедить их и привлечь на свою сторону.

Вон какая-то часть, прошептал он, глянув на дорогу из-за куста. По шоссе плелась длинная неровная колонна. Это были солдаты на марше. Они шли посередине дороги, гуськом, на небольшом расстоянии друг от друга, держа винтовки наготове. Похороше, падения из леса. Это его успокоило. Он боялся, что это неприятель. Надо было заранее дать знать. Но как? И он кричал:

— Я Рудольф, адполковник... слышат, я он кричал все громче, размахивая рукой.

— Домобраны... я Рудольф из полка поглавника... Не стреляйте, я ваш, братья... устали и домобраны...

Он заметил, что часть, идущая по шоссе, явно опасается нападения с востока, с отрогов Козары, к которой были прикованы взгляды солдат и обращены дула винтовок. Он почувствовал себя еще счастливее, когда встретился с солдатами, которые его узнали. Это были ребята из его полка. Точнее, это были остатки его полка, которого больше не существовало. Солдаты сказали ему, что полк разгромлен, а уцелевшая его часть присоединена к легионерам Франчевича.

— А где Франчевич?

— С нами, — сказал парень с ручным пулеметом. — А лучше бы его и не было, потому что он нас заставляет идти к Еловацу и Юговичеву Бриегу, в самое пекло...

— Думай, что говоришь, — по привычке одернул его Рудольф, понимая, впрочем, что солдаты и в самом деле возвращаются в пекло.

Добравшись до Франчевича, он рассказал, что с ним произошло. Тот слушал хмуро, точно не веря. Не выразил ни сочувствия, ни участия. Казалось, он презирает Рудольфа.

— Неужели ты так-таки должен был попасть им в руки?

— Их же было много, — объяснял Рудольф. — Я был окружен в гуще схватки, из которой не мог выбраться, и к тому же ранен. — И он показал руку. — Вот сюда мне попало... Вот рана...

— Разве это рана? — усмехнулся Франчевич. — Оспу болезнью прививают.

— Похоже, полковник, вам неприятно, что я остался жив?

— Мне неприятно, что ты позволил взять себя в плен, — отрезал Франчевич. — Почему ты не застрелился? Почему не пустил себе пулю в лоб? Разве так ведет себя усташ?

Рудольф молчал. Вместо того чтобы обрадоваться мне и похвалить меня за то, что я бежал из-под расстрела, он меня попрекает. Куда это годится?

— Надень форму и жди распоряжений, — сказал Франчевич. — В этом тряпье ты похож на чучело, а не на офицера.

— Не знаю, полковник, на что бы вы были похожи, если бы явился с места казни, из самой могилы...

— Я бы им не сдался, — ответил Франчевич. — Я бы им не позволил унижать меня, а застрелился бы сам.

— Это легко сказать, дорогой мой полковник.

— А я бы именно так и поступил. Впрочем, я дам тебе случай исправиться...

Случай вскоре представился. Об этом Рудольф писал из окопов:

«Соппротивление партизан невероятно стойкое, почти отчаянное. Наши пушки молотят их без пощады и попадают метко. Можно видеть, как тела партизан взлетают в воздух вместе с землей, но уцелевшие, однако, не сдаются. Кольцо становится уже и уже, а они думают только о прорыве, прорыве любой ценой, на запад, через Верхний и Нижний Еловац. Мы ведем тяжелые бои около Юговичева Брнега (Еловацкого кладбища), вся местность усеяна трупами...

Тяжелее всего была ночь накануне иванова дня. Тысяча партизан атаковала нас до самого рассвета. На заре завязалась рукопашная с гранатами и ножами. Партизаны врываются в наши окопы, но наши не отступают. Мы сходимся грудь с грудью. Пули взвизгивают и вьют, раненые стонут и зовут на помощь. Настоящий ад. Уже светало, когда партизаны снова подошли к нашим окопам: зубы скрипели, рвались гранаты, ножи сверкали. Среди первых пал с простреленным сердцем ротный Звошко. Надпоручика Винко разорвало гранатой, а поручика Сафета прошила пулеметная очередь...

Еще одну ночь нам пришлось выдерживать жестокий напор, когда весь Козарский партизанский отряд попытался пробиться через наше расположение. Это было в ночь с третьего на четвертое июля. Вскоре после полуночи началась яростнейшая атака на Долю и Юговичев Бриег. Партизаны бросили в бой все силы, которыми располагали. На этот раз они бились не по-людски — они напоминали бешеных собак, которые с налитыми кровью глазами рвутся вперед, на верную смерть. С гранатами и винтовками они лезли, как муравьи, даже на танки, а немецкие солдаты косили их автоматным огнем. Я видел: немецкий танк, охваченный пламенем, грохочет по шоссе, освещая дорогу и поля вокруг, а за танком, как черные муравьи, валят партизаны...»

Вокруг, на опушке леса, около окопов, вдоль живых изгородей, в хлебах и под заборами, он мог видеть трупы погибших в атаке партизан, которые остались лежать там, где упали. Рядом валялось их оружие — винтовка, револьвер или граната. Он встречал их на каждом шагу, но смотреть на них не мог: боялся их и мертвых, их поспевших лиц, выкачанных глаз и разбитых черепов. Они вызывали у него страх и отвращение, и все-таки что-то притягивало его к ним.

Между мертвыми он сразу заметил множество крестьян и женщин. Посреди дороги перед телегой с неподвижной упряжкой лежали мужчина, женщина и ребенок в окровавленных лохмотьях. Скорее всего их свалил снаряд: волны искромсаны, а мужчина, женщина и ребенок прижались друг к другу, точно спят. В первый момент, когда он их увидел, у Рудольфа сжалось сердце — не так он представлял себе борьбу с отступниками. Он отвернулся было, но тут же вспомнил, как его взяли в плен. Его схватили не бойцы, а женщины: когда он покатился по крутому склону, женщины поймали его, отняли оружие и связали, а потом поехали на нем, как на лошади, сменяя друг друга и прыгая у него на спине.

Чего ради мне их жалеть?

Он вскинул голову и начал озиаться вокруг, точно желал увидеть как можно больше мертвых крестьян и крестьянок. А они со всех сторон подставляли ему свои черные лица, вылезшие из орбит глаза и раздробленные черепа. Их становилось все больше, этих тел, то распластавшихся поодиночке, то сгрудившихся кучей. Время от времени попадались телеги без упряжки, нагруженные тряпьем, мешками, кожухами. На одном возу торчала пустая колыбель, из которой ветер разносил перья, рассеивая их по кустам. Перед другими стояли

волы, развесив уши и тоскливо озираясь, точно в ожидании хозяина. Солдаты подходили к ним, выпрягали и сгоняли в стадо, чтобы прирезать.

Шестого июля они, наконец, вступили в лес. Рудольфу казалось, что он идет на верную смерть. Он не знал, что его ждет. Лес гроыхал под утренним солнцем: артиллерия расчищала путь пехоте. Рвались снаряды, строчили пулеметы. Рудольф разобрал, что стреляют только со стороны усташей, противник перестал оказывать сопротивление.

Появились и первые пленные. Они выходили из леса с восточной стороны, оттуда же, откуда раньше толпами кидались в атаку. Партизан среди них не было: только крестьяне и крестьянки, безоружные и сломленные, с мрачными лицами и глазами, полными отчаяния. Их одежда была покрыта грязью и изодрана в клочья, руки и ноги облеплены грязью. Все были одеты по-крестьянски.

Мухлюют, подумал он, уверенный, что среди пленных должны быть и партизаны, переодетые в крестьянскую одежду. Наверно, есть и рапленные в предшествующих боях, которые прячут свои раны, надеясь как-нибудь выпутаться. Он приказал солдатам раздеть всех, осмотреть хорошенько и каждого раненого и такого, на котором будет найдено что-нибудь военное, поставить в особую группу.

Пленных становилось все больше. Это были крестьяне, попурые, с опущенными головами, обесспленные вконец. Некоторые шли с телегами, в которые были впряжены лошади или волы. Поверх поклажи сидели перепуганные дети, исподлобья разглядывая солдат.

Хотя перед ним были дети, ему казалось, что это коварные, притаившиеся звереныши, готовые вскочить, кинуться на него и растерзать. Он представлял себе, как бы это выглядело: его бы измолотили, разорвали на куски, оторвали голову, выкололи глаза...

— Боеспособных мужчин ставьте отдельно, — приказывал он, быстро идя вдоль колонны. — Всех боеспособных мужчин отводите в сторону и ставьте охрану.

Солдаты исполняли приказ.

Вслед им неслись причитания.

Женщины заклинали, чтобы им оставили мужей. Матери требовали, чтобы им вернули сыновей. Ребятишки плакали, глядя на уходящих отцов и братьев.

Но солдаты не слушали. Молча они исполняли приказ, без передышки работая прикладом. Всех мужчин отделили, невзирая на крики и плач.

Солдаты трудились не за страх, а за совесть, и Рудольф

Еще одну почь нам пришлось выдерживать жестокий напор, когда весь Козарский партизанский отряд попытался пробиться через наше расположение. Это было в ночь с третьего на четвертое июля. Вскоре после полуночи началась яростнейшая атака на Долю и Юговичев Бриег. Партизаны бросили в бой все силы, которыми располагали. На этот раз они бились не по-людски — они напоминали бешеных собак, которые с палитыми кровью глазами рвутся вперед, на верную смерть. С гранатами и винтовками они лезли, как муравьи, даже на танки, а немецкие солдаты косили их автоматным огнем. Я видел: немецкий танк, охваченный пламенем, грохочет по шоссе, освещая дорогу и поля вокруг, а за танком, как черные муравьи, валят партизаны...»

Вокруг, на опушке леса, около окопов, вдоль живых изгородей, в хлебах и под заборами, он мог видеть трупы погибших в атаке партизан, которые остались лежать там, где упали. Рядом валялось их оружие — винтовка, револьвер или граната. Он встречал их на каждом шагу, но смотреть на них не мог: боялся их и мертвых, их посиневших лиц, выкаченных глаз и разбитых черепов. Они вызывали у него страх и отвращение, и все-таки что-то притягивало его к ним.

Между мертвыми он сразу заметил множество крестьян и женщин. Посреди дороги перед телегой с неподвижной упряжкой лежали мужчина, женщина и ребенок в окровавленных лохмотьях. Скорее всего их свалил снаряд: волосы искромсаны, а мужчина, женщина и ребенок прижались друг к другу, точно спят. В первый момент, когда он их увидел, у Рудольфа сжалось сердце — не так он представлял себе борьбу с отступниками. Он отвернулся было, но тут же вспомнил, как его взяли в плен. Его схватили не бойцы, а женщины: когда он покатился по крутому склону, женщины поймали его, отняли оружие и связали, а потом поехали на нем, как на лошади, сменяя друг друга и прыгая у него на спине.

Чего ради мне их жалеть?

Он вскинул голову и начал озираться вокруг, точно желал увидеть как можно больше мертвых крестьян и крестьянок. А они со всех сторон подставляли ему свои черные лица, вылезшие из орбит глаза и раздробленные черепа. Их становилось все больше, этих тел, то распластавшихся поодиночке, то сгрудившихся кучей. Время от времени попадались телеги без упряжки, нагруженные тряпьем, мешками, кожухами. На одном возу торчала пустая колыбель, из которой ветер разносил перья, рассеивая их по кустам. Перед другими стояли

волы, развесив уши и тоскливо озираясь, точно в ожидании хозяина. Солдаты подходили к ним, выпрягали и стогнали в стадо, чтобы прирезать.

Шестого июля они, наконец, вступили в лес. Рудольфу казалось, что он идет на верную смерть. Он не знал, что его ждет. Лес громыхал под утренним солнцем: артиллерия расчищала путь пехоте. Рвались снаряды, строчили пулеметы. Рудольф разобрал, что стреляют только со стороны усташей, противник перестал оказывать сопротивление.

Появились и первые пленные. Они выходили из леса с восточной стороны, оттуда же, откуда раньше толпами кидались в атаку. Партизан среди них не было: только крестьяне и крестьянки, безоружные и сломленные, с мрачными лицами и глазами, полными отчаяния. Их одежда была покрыта грязью и изодрана в клочья, руки и ноги облеплены грязью. Все были одеты по-крестьянски.

Мухлюют, подумал он, уверенный, что среди пленных должны быть и партизаны, переодетые в крестьянскую одежду. Наверно, есть и раненные в предшествующих боях, которые прячут свои раны, надеясь как-нибудь выпутаться. Он приказал солдатам раздеть всех, осмотреть хорошенько и каждого раненого и такого, на котором будет найдено что-нибудь военное, поставить в особую группу.

Пленных становилось все больше. Это были крестьяне, попуры, с опущенными головами, обесспленные вконец. Некоторые шли с телегами, в которые были впряжены лошади или волы. Поверх поклажи сидели перепуганные дети, исподлобья разглядывая солдат.

Хотя перед ним были дети, ему казалось, что это коварные, притаившиеся звереныши, готовые вскочить, кинуться на него и растерзать. Он представлял себе, как бы это выглядело: его бы измолотили, разорвали на куски, оторвали голову, выкололи глаза...

— Боеспособных мужчин ставьте отдельно, — приказывал он, быстро идя вдоль колонны. — Всех боеспособных мужчин вводите в сторону и ставьте охрану.

Солдаты исполняли приказ.

Вслед им неслись причитания.

Женщины заклинали, чтобы им оставили мужей. Матори требовали, чтобы им вернули сыновей. Ребятишки плакали, глядя на уходящих отцов и братьев.

Но солдаты не слушали. Молча они исполняли приказ, без передышки работая прикладом. Всех мужчин отделили, невзирая на крики и плач.

Солдаты трудились не за страх, а за совесть, и Рудольф

был доволен. В это время совсем близко прогремели выстрелы.

— Что это? Кто стреляет?

— Подполковник, докладываю: мы расстреляли группу пленных отступников, у которых нашли оружие.

— Почему меня не известили?

— Подполковник, усташки докладываю, у нас не было времени, потому что пленные стали разбегаться, и мы...

— Сколько их было, Асим?

— Пятеро, — сказал Асим. — Мы их нашли в кустах; спят, а ноги торчат из-под листьев. Разоружили и повели, а когда они побежали...

— Вы их связали?

— Нет.

— В дальнейшем, Асим, всех пленных, взятых с оружием, немедленно связывать, чтобы не бежали.

— Не сбегут, клянусь верой, — заверил Асим. — Вон эти пятеро.

Рудольфу не хотелось смотреть. Он глянул и быстро отвернулся, но в памяти запечатлелось: пятеро убитых, в военной форме, лицом в опавшие листья.

— Здравствуй, Рудольф! — окликнули его.

— Здравствуй, Муяга, — отозвался Рудольф.

— Не встречал его преподобия?

— Нет, — ответил Рудольф. — А где его преподобие?

— Пошел вперед, — сказал Муяга. — Он и Мате соревнуются. Мате, хоть и хромым, не отстает.

— Что они, с ума сошли? — спросил Рудольф. — Они же на засаду могут налететь.

— Нет тут никого, кроме мертвецов, — сказал Муяга. — Даже крестьяне, выходящие из лесу, похожи на мертвецов.

— Партизаны разбиты, но Козара не очищеп, — возразил Рудольф, прислушиваясь к взрывам снарядов, раздававшимся в лесу далеко впереди, куда двигалось войско.

— Сюда, сюда! — кричал кто-то из леса.

Они двинулись узкой лесной дорогой, над которой нависли зеленые ветви буков, елей и сосен, даря земле вечную прохладу. Между тесно стоящими темными стволами, тонущими в сумраке, то там, то сям прорезались солнечные лучи, похожие на кинжалы.

— Сюда, сюда... Идите поглядеть на диковину...

— Идите поглядеть, чего еще не видели...

Солдаты сбегались, перекликаясь на ходу. За ними бежал Муяга, высокий и длинноногий, с огромным револьвером в руке.

Побежал и Рудольф, но с опаской, так как после пленения повсюду подозревал новые опасности, грозившие его жизни. Он двигался по тропинке, озираясь во все стороны, готовый в случае чего отпрыгнуть или упасть на землю.

Сначала он увидел группу солдат в зеленой форме. Они кричали, ругались и смеялись. Некоторые стояли нагнувшись и, казалось, не то разглядывали, не то перебирали что-то.

— Огня, огня! — кричал кто-то.

— Сожжем их!

— Огня, огня! — снова раздался крик. — Облить их бензином и зажечь! Дайте бензину...

— Что это вы делаете, ваше преподобие?

— Предаю огню нечестивого, — ответил тот.

Рудольф только теперь увидел телегу, в которую была запряжена лошадь. Телега стояла на дороге посреди леса, окруженная солдатами. В пей лежал человек — черный и неподвижный, с окровавленным лицом. Он не шевелился и не говорил. На лбу зияла большая рана. Это была яма, а не рана, черная от пороха.

— Кто это, кого вы жжете?

— Вот наткнулись на раненых, — сказал его преподобие. — Каждому сначала стреляем в голову, а потом сжигаем.

В овраге под деревьями стояло множество телег. Крестьян не было. Не было ни женщин, ни детей. Окруженные солдатами, телеги стояли без возниц: одни опрокинутые, другие скособоченные, третьи поломанные.

Большая часть раненых лежала на телегах. Лежали беспомощные, в тряпье и повязках. Некоторые сами себе стреляли в голову. Другие стонали и звали товарищей. Третьи призывали мать, детей, братьев. Некоторые, похоже, пытались выкарабкаться из телег, по повисли головой и руками вниз. Другие лежали на носилках; рядом с ними на земле лежали девушки, принесшие их сюда. Казалось, их вместе, в одно мгновение, накрыл снаряд или мина.

Солдаты находили раненых и в кустах, среди поломанных телег, разбитых арб, слетевших колес, рассыпавшихся ящиков. Им стреляли в голову, обливали бензином и поджигали.

Одного нашли в кустах, куда он забился, но так как он был длинноног, то снаружи оставались ботинки и обмотки. В голову ему выстрелить не могли, ее закрывали ветки. Его башмаки и обмотки облили бензином, кто-то поднес спичку. Когда вспыхнуло пламя, раненый вскрикнул и поджал ноги. Какими-то крючьями выволокли его из куста и распространили огонь по всему телу.

— Пусть живьем горит, к дьяволу!
— Вот еще один, ваше преподобие!
— Подожгите его, — приказал тот.
— Тут больше трехсот раненых, — подбежал раздумавшийся и запыхавшийся вестовой.

— Кто тебе сказал, что их столько?

— Подполковник, усташски докладываю, их даже больше, — говорил вестовой, поправляя шапку, съехавшую на правое ухо. Мы чуть не двадцать минут считали. Их больше четырехсот будет.

— Сейчас ты сказал — триста.

— По-моему, их и пятьсот наберется, потому что мы всех и не пересчитали, — с жаром говорил вестовой. — Мы больше двух километров прошли по лесу и всюду видели телеги с ранеными или носилки на земле... Повсюду раненые...

— Вы им стреляли в голову? — спросил его преподобие.

— Согласно приказу, — ответил вестовой.

— Обливайте бензином и жгите, — сказал фра-Августин, поглядывая на горевшего раненого. — Смотрите, чтобы никто не сбежал. Ни одного не оставляйте в живых.

— Ни одного, — повторил человек в зеленой форме.

— Ни одного, Мате, — поддакнул его преподобие.

— Ни одного, — добавил другой человек в зеленой форме.

— Ни одного, Асим, — сказал его преподобие. — Убивайте их и сжигайте, пусть горят, другого они не заслужили.

Их убивали и жгли повсюду: в телегах, на земле, на носилках, в зарослях папоротника, на листьях, под ветвями. Не было слышно ни вздоха, ни стога, ни крика. Солдаты старались перещеголять друг друга, позади них оставались костры, маленькие багряные пожары, в которых горели люди. Их убивали и жгли, точно боялись опоздать. Самыми проворными были фра-Августин, Муяга Лавочник, Мате Разносчик и Асим Рассылный. Они точно подзадоривали друг друга — кто скорее, кто больше! За ними оставалось яркое пламя костров...

Рудольф наблюдал за этой суетой, будившей представления о древних тризнах, на которых люди приносили своих ближних в жертву богам. Он не стрелял, не участвовал в поджигании костров, но и не противился этому. Пусть горят, думал он. Они хотели меня убить. Может, среди них и тот, который приставил мне револьвер ко рту. Пусть горят, это им заслуженная кара. Он смотрел на огни, загоравшиеся в лесу, как костры, которые разводят на петров день.

— Подполковник, усташски докладываю, схватили двоих с оружием, — подбежал солдат в сдвинутой набекрень фуражке. — При оружии и в форме.

— Ведите их сюда!

Он увидел человека — стройного и гневного, в немецкой гимнастерке и брюках, в черных сапогах. Волосы были взлохмачены, лицо заросшее и грязное. На лбу — повязка, потемневшая от грязи, земли и смолы. Руки связаны за спиной.

— Как тебя зовут? — строго спросил Рудольф.

— Иван Хорват, — ответил пленный.

— Иван Хорват? — вытаращил глаза Рудольф. — Неужели... Ты Иван Хорват? Узнаешь меня? Или ты меня забыл?

Пленный молчал, как каменный.

— Помнишь, как мы жили в одном доме?

— Подполковник, вот его сумка.

Подполковник поднял крышку из твердой кожи, под которой зашуршала бумага.

Раненый не отвечал. Он вдруг рухнул наземь. Обессиленный, он потерял сознание и несколько мгновений лежал неподвижно, как срубленное дерево.

— Господи, да ведь второй — женщина! — вскричал подполковник. — Как тебя зовут? Жанна д'Арк?

Схваченная молчала.

— Женщина? Правда женщина? Почему молчишь?

— Дерьмо, — проговорила схваченная.

— Зачем остригла волосы?

— Дерьмо, — повторила пленница.

— Зачем надела форму? Зачем взяла виптовку?

— Дерьмо, — повторяла пленница.

— Уведите их, — приказал подполковник.

— Не признавайся ни в чем, Анджелля, — прошептал Иван Хорват, подталкиваемый и пинаемый конвоирами.

— Ого-го, это что такое? — осклабился Рудольф, шаря в сумке Ивана Хорвата.

ИСТОРИЯ ВКП(б). РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА. ЗА ЧТО БОРЮТСЯ ПАРТИЗАНЫ? ПРОЛЕТАРИЙ, НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА И СОЮЗНИКИ ОККУПАНТОВ...

Он вертел в руках толстую тетрадку, на которой было написано:

ЗАМЕТКИ О РАБОТЕ СОБРАНИЯ И ПРОЧЕЕ.

Начал листать страницы:

РЕВОЛЮЦИЯ. ДЕЗЕРТИР. РЕАКЦИЯ. ПАНИКЕР.
ПОДСТРЕКАТЕЛЬ. ДЕМОРАЛИЗАТОР. АНТИФАШИЗМ.
СОЦИАЛИЗМ. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА. СЕКТАНТ.
ТРОЦКИСТ. ШОВИНИЗМ. КВИСЛИНГ.

БУРЖУАЗИЯ. КАДРОВИК. БОЛЬШЕВИК.
ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ.

Пока он читал, к нему подошел солдат в сдвинутой на затылок шапке и сказал, что пленных отвели на сборный пункт.

23

Козара побеждена, повторял он, но без всякой радости. Побеждены люди, а лес остался. Деревья стоят, а людские головы падают; он оглядывал пригорки, овраг, немое пространство. Листья и травы здесь, а людей нет; он шел все дальше в глубь леса, озирающийся и настороженный. Черное сияние леса страшило его, как ни неприятно было в этом признаваться. Он боялся холмов, ложбин, оврагов, склонов, замерших в мрачном блеске, под тяжелым солнцем. Кроны некоторых деревьев были белые, точно покрытые инеем; они резко выделялись среди зелени, как пряди седины. Горные склоны румянели от солнца. Похоже, что солнце заходит. Свет его слепит. Где-то щебечет птица; это производит странное, неестественное впечатление, усиливая у майора Дитера, которому казалось, что он заблудился, чувство одиночества.

Далеко впереди, где поднимались горные вершины, слышался грохот. Артиллерийская подготовка перед наступлением пехоты, прочесывающей лес. На самом высоком холме зеленый край леса касался голубой завесы неба и растворялся в синеве. Полотнища тени беззвучно застилали холмы все выше и выше, солнце медленно опускалось за спины гор, в пропасть. На восточном склоне были освещены уже только вершины, багряные от закатных лучей. К ним, будто залитым кровью, поднималась, как мутная вода, полоса тени, в которую погружались кроны деревьев и травы полян. Горы тонули в темном море...

Это, должно быть, Медняк, подумал Дитер и вынул карту, но смотреть на нее не стал. Его внимание привлекла огромная черная птица, летевшая вдоль долины. Это был ворон; он махал крыльями тяжело и устало; казалось, он вот-вот рухнет на землю. Он каркал, и Дитеру почудилось, что ворон летит с поля битвы, с кровавого побоища, наевшись падали. Именно так он и выглядел: пресыщенный, погребально черный, омерзительный стервятник.

Написать этот лес и птицу, которая летит над долиной, шелестя крыльями, точно кружит над разверстой могилой, думал он, запоминая движения ворона, шелест крыльев и

перьев. Разве эта зловещая птица не самое страшное предостережение?

Потом он увидел толпу пленных. Это были крестьяне, оборванные, промокшие, напуганные; опустив головы, они плелись, едва передвигая поги, не произнося ни слова. Наблюдавший за ними Дитер чувствовал, что им безразлично, куда их ведут и что их ждет; у них был вид людей, покорившихся судьбе.

Больше всего было женщин и детей. Дети держались за руки матерей, за их юбки или путались под ногами у взрослых, бегая вокруг колонны. Женщины окликали их, хватали и тянули к себе, чтобы они не убежали. Некоторые тащили детей на руках, иногда даже по двое. Одна женщина несла на плече колыбель.

— Что там, в колыбели? — спросил Дитер. — Не несет ли женщина вместо ребенка ручной пулемет?

— Bist du Mutter? Komm hier *.

Женщина остановилась в нерешительности. Она не поняла.

— Bist du Mutter?

Он хотел сказать ей, чтобы она поставила колыбель на землю и показала, что внутри, но ощутил, что это будет грубо и непужно. Все-таки он поднял руку и прикоснулся к гладкой поверхности колыбели, на которой было вырезано и покрашено зеленой краской изображение маленькой птицы на ветке. Женщина замерла, забыв о тяжести своей ноши. Видимо, от страха она отняла руку. Колыбель перевесилась у нее на плече и упала на землю перед Дитером.

Из нее выпал ребенок, запеленатый в тряпки, из которых выглядывала маленькая белая безволосая головка с черными глазенками. Майор отшатнулся — ему показалось, что ребенок упал ему под самые ноги, под подошвы сапог. Он почти закричал:

— Поднимите ребенка, возьмите его!..

Женщина медлила, не понимая его; он нагнулся и сам положил ребенка в колыбель, на подстилку, прикрыв его тряпьем. Почувствовав запах нечистых пеленок, он поднял колыбель и протянул ее женщине; но так как она по-прежнему не решалась подойти к нему, он шагнул к ней и поставил колыбель на плечо, с которого она только что упала.

— Die Mutter, nicht wahr? **

Женщина онемело глядела на него во все глаза.

Дитер сунул руку в карман и вытащил что-то завернутое в коричневую бумагу.

* Ты мать? Подойди сюда (нем.).

** Мать, не так ли? (нем.).

— Возьмите, — сказал он. — Это шоколад, это шоколад, — повторял он, суя плитку женщине, которая пятилась, мотая головой, точно ей предлагали змею. Она не хотела брать шоколад и была настолько упорна в своем нежелании, что даже заплакала. Тогда Дитер бросил плитку в колыбель, на пеленки; женщина всхлипнула, а он отступил, разведя руками в знак сожаления о том, что не смог ей объяснить, что хотел.

Он оставил женщину и пошел дальше.

Снова вперед, вдоль Млечаницы, в глубь леса...

Солдаты гнали пленных толпами. Крестьян. Женщин. Детей. Людей с оружием не было. Это его удивляло. Куда подевались эти сотни, даже тысячи людей, которые по нескольку раз в день атаковали их из леса? Где они? Неужели все прорвались на запад? Не окажется ли весь этот поход через горы пустым и бесполезным предприятием?

— Slavische Bagage alles muss weg *, — вспомнились ему слова Зигфрида фон Каше, немецкого посла в Загребе. Он подробно излагал Дитеру планы переселения в Хорватию двухсот тысяч словенцев на земли восьмисот тысяч сербов, убитых или изгнанных в Сербию. Перед поездкой Дитера на Козару Каше, правда, изменил свой первоначальный замысел: словенцы вместо Хорватии будут посланы на принудительные работы в Германию; то же относится и к сербам, которые не будут перебиты в боях; на работу будут принимать и хорватов, добровольцев; таких добровольцев в Германии есть уже свыше ста тысяч.

Дитер смотрел на колонну пленных, воображая, как она прибывает в Германию, на фабрики, которые задыхаются от нехватки рабочей силы, ибо почти все немцы на фронте.

— Господин майор, господин майор! — услышал он чей-то голос. Навстречу ему бежал запыхавшийся и простоволосый солдат с фуражкой в руке.

— Что случилось, Ганс?

— Господин майор, мы схватили крестьянина, который уверяет, будто он не крестьянин, а хорватский офицер, хоть на нем и крестьянская одежда.

К ним подходил человек в накинутах на плечи кожане, с растрепанными волосами. Лицо его, заросшее бородой, было черным и грязным. Похоже было, что он с трудом держится на ногах.

— Как тебя зовут? — спросил Дитер.

Человек пробормотал что-то, ища взглядом, на что бы присесть. Он и в самом деле выглядел измученным и несчастным.

* Весь славянский сброд надо выкинуть (нем.).

— Бапдит?

— Нет, господин майор, — ответил человек по-немецки. — Я хорватский офицер из полка Рудольфа Римича.

— Этого полка не существует, — сказал Дитер.

— Он существовал, господин майор... Полк поглавника... Разве вы меня не узнаете? Мы с вами встречались на банкете в Бана Луке, перед отправкой на Козару.

— И правда, черт возьми, — вспомнил Дитер. — Вы...

— Йозо Хорват, — подсказал человек.

— Как вы здесь очутились?

— Меня взяли в плен и вели на расстрел, но я бежал. Целую неделю скрывался в лесу, пока не выбрался.

— Где ваша форма?

— Я ее бросил — в форме идти было нельзя, крестьяне бы меня убили.

— Откуда у вас их одежда?

— Треснул крестьянин дубиной по голове, оглушил его и снял с него куртку и штаны. Фуражку я бросил, но его шляпу не подобрал, некогда было.

— Господи боже! — только теперь изумился Дитер. — Это и в самом деле вы! Неужели можно так измениться за одну неделю?

— Я точно из могилы вышел. Счастлив, что выбрался живым.

— Явитесь к Франчевичу, — сказал Дитер. — Он здесь. Надеюсь уже сегодня увидеть вас в форме.

— Господин майор, если бы мне кто-нибудь показал...

— Ребята, помогите ему найти своих, — приказал Дитер. — Они там, на тех холмах... До свидания.

Дитер двигался по ущелью, вдоль реки, вместе с солдатами, ехавшими на лошадях, на телегах с поклажей — провизией, боеприпасами, одеялами, посудой, плащ-палатками. На одной телеге он заметил подушки, скатерти, домотканые ковры, бидон и бочонок. Подъехала телега с Гансом, рядом с которым подсакивали на ухабах шахматная доска и этюдник майора. Если Дитер и ненавидел войну (был ли он, гитлеровский офицер, способен на это?), ненавидел ее из-за того, что она мешала ему стать художником. Ему казалось, что таланта у него сколько угодно, не хватает ему только времени, так как офицерские обязанности выматывают его и утомляют. Все же он не терял надежды: даже в этом аду он найдет в себе силы выразить себя и, возможно, сопричислиться к лику самых знаменитых художников своей страны, тех, которым больше повезло, так как они не шагали по трупам, а создавали свои произведения.

Снова он наткнулся на пленного. Это был крестьянин, малорослый и чумазый, с обтянутыми скулами и ввалившимися глазами, весь в лохмотьях.

— Господин майор, он утверждает, будто знает фюрера.

— Ja, jawohl *, — сказал человек в лохмотьях.

— Sprechen Sie deutsch? **

— Ja, ich spreche deutsch *** , — подтвердил пленный и сказал, что выучил немецкий язык в австро-венгерской армии, перед первой мировой войной. С Адольфом Гитлером познакомился в унтер-офицерской школе: он служил в коннице, Адольф — в пехоте. Шесть месяцев они прожили в одной казарме, их койки стояли рядом.

— Когда это было?

— В девятьсот тринадцатом.

— Значит, вы хорошо знаете Гитлера?

— Прекрасно знаю. Он часто нам рассказывал о своей тяжелой жизни, о мучениях... в детстве...

— Каков он был как солдат?

— Да солдат как солдат, сударь.

— Наверно, вы знаете об этом побольше?

— По правде сказать, сударь, поведения он был не наилучшего... Вы уж не обижайтесь.

— Говорите, говорите.

— Он был дерзкий, сударь, не хотел слушаться офицеров. Однажды пустил офицера матом. Его часто наказывали и сажали на гауптвахту за ссоры. Из школы его выпустили капралом перед самой войной. Больше я его не видел.

— Вы это не выдумали?

— Нет, сударь, — пленный начал шарить у себя за пазухой. — У меня и письмо есть. Вот! Письмо Гитлера, сударь.

Дитер узнал почерк. Это действительно было письмо Гитлера, написанное в давние времена из Вены в Боснию: капрал Гитлер пишет капралу Луичу. Пишет, как повздорил с унтер-офицером, дал ему пощечину и отправился на гауптвахту.

— Идемте со мной, — сказал Дитер. — Сегодня вы будете моим гостем.

— Не стоит тратить, сударь. Благодарю вас.

— Этот человек — друг фюрера, пожалуйста, имейте это в виду, — говорил Дитер, обрадованный, что нашел повод спасти еще одного человека.

— Друг фюрера? — таращились солдаты.

* Да, точно так (нем.).

** Вы говорите по-немецки? (нем.).

*** Да, я говорю по-немецки (нем.).

— А почему вы бежали от нас? — спросил Дитер.

— Нельзя было иначе, сударь. Если бы я остался в селе и дождался вас, меня бы убили партизаны. Об этом письме они не подозревают. Если бы они знали, что я храню письмо от Гитлера... Но я его сберег и, если бог даст, съезжу в Германию, к старому приятелю.

— Это будет трудновато, — сказал Дитер. — Фюрер занят государственными делами. Под его руководством Германия ведет войну... самую страшную войну в истории.

— Знаю, сударь, — ответил Луич. — Но я подожду. Не обязательно, чтобы это было сегодня. Я подожду. Не обязательно, чтобы это было в этом году. Я его могу поискать и после войны, когда вы победите.

Черта лысого мы победим, хотел сказать Дитер. Он собрался было сравнить Гитлера с Александром Македонским, Карлом Великим, Чингисханом или Наполеоном, но опять промолчал. Хотел сказать, что Гитлер послан немцам самим небом, чтобы осчастливить их и преобразить Европу, для чего и понадобилась война. Дитер столько раз говорил это раньше, но теперь, после того как он прошел почти по всем европейским фронтам и видел сотни и тысячи мертвых на полях битвы...

— Что это, сударь? — спросил Луич.

— Мертвецы, — ответил солдат.

— Кто их убил?

— Наши, — сказал солдат. — Какой-то болван бросил гранату в нашу колонну, и тогда подполковник Хеншель приказал... Они убили одного нашего, и тогда подполковник Хеншель приказал...

— Сколько их расстреляли?

— Сотню. Ровно сотню.

— Теперь вам ясно, — сказал Дитер, разглядывая мертвецов — крестьян и крестьянок, тела которых сплошь покрыли полянку близ реки. Они полегли, как снопы, опрокинутые ветром. Дитер видел их ноги: дырявые опанки, башмаки с протертыми подметками, грязные желтые ступни. Он видел их груди, прикрытые рубахами, куртками, кожухами. Видел лица, обращенные к небу, с зияющими ртами; волосы, рассыпавшиеся по траве, а рядом или чуть поодаль шляпа, свалившаяся с головы. Дитер не хотел спрашивать, как были расстреляны эти люди. Он это знал. Но, желая выглядеть в глазах Луича человеком, способным по крайней мере на сочувствие, если не на сострадание, он вздохнул и беспомощно развел руками. Он хотел сказать, что немецкие солдаты с тяжелым сердцем решаются стрелять в людей, что они делают это, только когда их вынуждают, бросая гранаты из засады.

— Виноват этот болван, — сказал Луич, словно угадав мысль Дитера. — Не брось этот болван гранату...

— Мы хотим вас спасти, а не убивать, — подхватил Дитер. — Партизанами руководят люди, которые приехали из России, чтобы натравить...

— Знаю, сударь, — сказал Луич, украдкой поглядывая на грудь мертвецов подле Млечаницы. — Но неужели они останутся незакопанными, чтоб дожди их, несчастных, мочили и звери растаскивали?

— Что бы вы хотели на ужин? — спросил Дитер.

— Дорогой сударь, — сказал Луич, сделав вид, что не слышал вопроса, — я вижу, вы добрый человек, и хотел бы вас попросить кое о чем.

— Пожалуйста, — сказал Дитер.

— Этих людей надо похоронить. Я надеюсь, вы не оставите их незакрытыми. Дорогой сударь...

— Я приказал, чтобы их закопали, — сказал Дитер. — Я это делаю как христианин, а также и как старший в части, которая будет здесь ночевать и должна остерегаться болезней и заразы.

— Да наградит тебя бог, сударь, — сказал Луич. — Вижу, что ты добрый и благородный человек.

— Вам жаль убитых?

— Люди они, сударь, — сказал Луич, чеша в затылке. — Грех оставить их незакопанными.

— Мы их похороним. Они будут похоронены в общей могиле.

— Награди тебя бог, сударь.

— Вы мне не сказали, чего бы вы хотели на ужин.

— Ничего, сударь. Ничего.

— У нас есть паштет, мясо и фрукты. И ракия есть. Любите ракию? Хотите выпить со мной по стаканчику?

— Спасибо, сударь. Я не пью. Клятву дал. Был я, сударь, пьяница и шалопай. Ничего не делал, только хлестал водку, заводил ссоры и дрался. Налакался я так однажды на юрьев день у нас в селе и начал с пьяных глаз приставать к людям, ругаться и кидаться на них. На родного брата с ножом полез, так что, если бы не развели нас, не сносить бы головы или мне, или ему. Тогда я и поклялся, что, пока жив, пить не стану.

— Один стаканчик можно.

— Ни капли, сударь, я уж себя знаю. Я, сударь, во хмелю буйный и как чумной.

— А ваша семья здесь, в лесу?

— Нет у меня семьи, — сказал Луич. — Жена умерла, а детей не было.

— Может быть, брат есть?

— Брат был, но и он умер.

— Не в партизанах погиб?

— Нет, сударь. Он умер до войны. Ночью замерз... Напился, бедняга, и заснул в снегу, у дороги, да так и не проснулся. Когда мы его отыскиали, его уж совсем занесло, заоченел, как ледышка... Царство ему небесное.

— Выпьем за упокой его души, — сказал Дитер.

— Если за упокой всех мертвых, тогда и я могу стаканчик, несмотря на клятву, — решил Лунч. — Оружие нас разделяет, сударь, а смерть — объединяет.

— Bravo! — воскликнул Дитер. — Вот и Ганс. Есть у тебя ракия, Ганс?

— Есть, — ответил Ганс.

— Отлично! Давай ракию!

— А эти мертвые, сударь?

— Они будут похоронены, — сказал Дитер. — Выпьем за упокой их души.

— За упокой души всех умерших па земле, — сказал Лунч, — души всех убитых на войне, несчастная их мать.

— Этот человек великолепно говорит, — сказал Дитер, подняв стопку. — За души всех погибших на войне! За упокой души всех людей, павших на полях сражений.

— Несчастная их мать, и мир праху их, — поднял свою стопку и Лунч; рука его дрожала. — А те мертвецы, сударь?

— Ганс, проверь, закопаны ли те мертвецы, — распорядился Дитер.

— Награди тебя бог, сударь, — сказал Лунч, осушив стопку.

Тьма сгущалась в оврагах, заглатывая деревья. С отвесных склонов сползал мрак и накрывал собою лес. Черные кроны сосен раскачивались в небе, как погребальные стяги.казалось, что под тяжестью ночи трескаются стволы и стонут ветви...

Лунч стоял и смотрел, как солдаты закапывают убитых. Они сбрасывали трупы в одну яму, друг на дружку, как попало. Лунч не мог разглядеть в темноте, кусты это на краю могилы или люди, могильщики или деревья. Напрягая зрение, он следил за движениями лопат и мотыг и за тем, как трупы сползали в яму. Их закапывали, как пададь, без отпевания, без хоругви с серебряным крестом. Но теперь это было неважно: он смотрел, довольный тем, что мертвецов погребают по-божески.

— Будем мы в конце концов ужинать? — спросил Дитер, когда Ганс доложил, что мертвецы похоронены.

— Теперь можно и поужинать, — сказал Луич. — Но я, сударь, охотнее всего лег бы и умер.

— Почему? Разве я не исполнил ваше желание?

— Исполнили, сударь. Но я все-таки охотнее всего лег бы и умер. Так, от радости... Когда исполнят твое заветное желание, хочется лечь и умереть... От радости. Вот и мне — лучше всего бы лечь и умереть.

— Этот человек сошел с ума, — сказал Дитер. — Я все для него делаю, а он хочет умереть.

— Именно так, сударь. Умереть.

— Ганс, как там с ужином?

Ганс зажег карманный фонарик, и в резком луче света возникла салфетка, разостланная на земле; на салфетке — банка мясных консервов, хлеб, несколько груш.

— Пожалуйста, — пригласил Дитер.

— Я же сказал, сударь, что не могу, — ответил Луич. — Не могу ни крошки... А лучше всего лег бы и умер. Радость меня охватила, задыхаюсь.

— Мясо, отличное мясо, — говорил Дитер. — Хорошее мясо, телятина... Почему вы не хотите? Обычай вашего народа требуют и съесть что-нибудь за упокой души. Здесь после похорон едят столько же, сколько и на крестинах.

— Знаю, сударь, но не могу, хоть убейте. Если проглочу кусок, так, кажется, сразу и упаду.

— Но почему?

— От радости, сударь. От радости.

— Я в самом деле не понимаю.

— Как не понять, сударь? Разве ты не видишь, до чего я счастлив? Разве ты не исполнил самое мое большое желание? Разве не приказал похоронить мертвецов?

— Приказал, — согласился Дитер. — Вот и ешь!

— Могу только лечь и умереть.

— Тогда ложись и умирай, — сказал Дитер. — Берн одеяло, расстели на траве, ложись и умирай, раз тебе так хочется.

— Только этого я и хочу, сударь, — подтвердил Луич, сдерживая слезы. — Лечь и умереть.

— Ганс! — крикнул Дитер. — Этот человек хочет умереть. Дай ему одеяло, пусть ложится и умирает.

— Держи! — бросил Ганс одеяло, светя фонариком. — Еще чего-нибудь хочешь?

— Больше ничего, сударь.

Луич поднял одеяло, перекинул его через руку и направился под дерево, чья крона, могучая и черная, подымалась высоко в небо.

— Ганс, этот человек сошел с ума, — сказал Дитер. — Этого человека надо было бы послать в сумасшедший дом.

— Может, он и историю про Гитлера в бреду придумал? — предположил Ганс. — Может, и письмо, которое будто бы от фюрера, он сам сочинил?

— Нет, письмо от фюрера, — сказал Дитер. — Я знаю его почерк. Письмо действительно от фюрера.

— Если так, то этот человек войдет в историю вместе с фюрером. Он уже вошел в историю...

В историю или в могилу, хотел сказать Дитер, но промолчал, так как с Гансом нельзя было говорить все, что думаешь. Фюрер — безумец, подаривший немцам пять миллионов погибших, а Европе — самую страшную войну в истории и бесчисленные жертвы. Может ли этот человек войти в историю иначе, чем преступником? И стоит ли входить в историю в обществе такого человека?

Он вылез из палатки, в которой остался Ганс, и пошел прогуляться по лесу. Вступил в лес, под черные и глухие кроны, молчавшие под темным небом. Зажег фонарь и возле толстого ствола обнаружил Луича: он лежал на земле, закрытый одеялом до подбородка; из-под одеяла выглядывали ноги в опанках и чуб, лицо было обращено к небу, руки подложены под затылок.

Заснул?

Заснул, даже храпит.

Что это я слышу? Его храп? Или что-то другое? Точно кто-то подкрадывался ко мне, бродит вокруг, подглядывает и подстерегает. Деревья качались, сучья потрескивали, развилки скрипели, ветки колыхались, как руки, простертые с угрозой. Лес ли это? Ветки ли? Ветер? Может, это люди? Не они ли это подкрадываются с ножками, винтовками, гранатами? Не мертвецы ли?

Встают ли мертвецы из могил?

Он в самом деле слышал какие-то шорохи, движения, звуки, хруст и потрескивание, точно невдалеке кто-то шел или полз, угрожая ему. Он отшатнулся — показалось, что вот-вот из мрака кто-то схватит его огромными лапами. Почудилось даже, словно кто-то крикнул:

— Ты здесь! Не убежишь! Попался!

Это только встер в ветвях; только колыхание леса.

Все-таки он повернул назад, освещая тропинку фонариком. Он ступал по опавшим шишкам, по сосновым иголкам, по мелким веточкам и пожухлой траве. Наверно, из-за близкого света фонарика ему мерещилось, то будто он упал в кадку, то будто идет по шахте, то будто он ослеп. Похоже, что небо

сплошь затянули облака, гонимые северным ветром. Небо было черное, как закопченный котел. Череп был и лес.

Разве не ужасно было бы погибнуть в этом мраке? Расстаться с жизнью в этом громадном лесу, как гончая, растерзанная волками, — разве это не было бы и глупо и бессмысленно? Пасть здесь, прорешеченным пулями, далеко от родины и обожжаемой Изабеллы, которая, может быть, родила сына и ждет моего возвращения? Погибнуть в котле, кипящем мертвецами, зверями и преступниками, — разве это не было бы горько и унижительно?

Он брел к палатке, подгоняемый страхом. Ему казалось, что ноги перестают слушаться и тонут в грязи, из которой их невозможно вытащить: тяжелые, отсеченные ноги в глубокой, густой трясине, из которой их невозможно вытащить. Ему казалось, что он на дне пропасти.

Лупча он больше не папел...

Вот уже два месяца, как идет бой с турками. Замирение с Турцией принесло бы нам позор и погубель. Поэтому, братья, будем в этой священной борьбе дружны и едины.

Считая всех людей и народы своими братьями, с которыми мы рады жить в братстве, равенстве и свободе, как одна великая человеческая семья... мы твердо уповаем на то, что все просвещенные и блюдущие справедливость государства и народы — братья во человечестве — помогут нам, что голос братства и общих интересов позовет на борьбу и на искреннюю солидарность с нами братьев болгар, греков, румын и албанцев, дабы сообща, как один, мы взялись за дело и дали обет бороться, пока не сбросим позорное ярмо стамбульских кровопийц...

Из письма боснийских повстанцев, направленного с Козары герцеговинским повстанцам во время восстания против турок в 1875 г.

В Боснии восстание вспыхнуло сначала в Градишском округе, подле Савы и Врбаса, затем в округах Дубицком, Костайницком и Новском, по реке Уне и в горах Козары и Пастирева. Все эти четыре округа поднялись третьего и четвертого августа. Турецкие власти тотчас же послали в повстанческие лагеря депутации, чтобы они спросили, почему народ взбунтовался. Повстанцы на это ответили: из-за великих тягот и беззакония, которое чинят над народом государственные власти, и потребовали отменить третину и десятину и признать равенство всех перед зако-

ном. Переговоры эти состоялись на четвертый день восстания под Козарой, близ города Градишки. Спахи ^{*} не хотели согласиться на требования повстанцев, власть не способна была их к этому принудить, хотя и была готова к примирению с народом на любых условиях. Вскоре пламя революции охватило территорию, протянувшуюся от реки Босны вдоль рек Саны и Уны и по сухопутной границе до самой Герцеговины...

Больше всего крови пролплось в Боснии около гор Мотаицы, Козары, Пастирева, Тисоваца и Грмеча, Черного Потока, Тишковаца и Пролога...

«История боснийско-герцеговинского восстания»

Турки очень хорошо знали, почему повстанческие отряды стянулись к Гашнице, и потому десятого сентября их войско с двух сторон атаковало отряды Пеции под Гашницей. Повстанческие отряды, находившиеся на склонах Просары, были вскоре разбиты и оттеснены. Н. стоящий бой разгорелся около полудня, так как Пеция с Корманошем и полусотней товарищей остался на берегу Савы. Повстанцы отстреливались из-за края обрыва, а турки несколько раз пытались, перейдя в атаку, сбросить их в Саву. Бой продолжался несколько часов. Увидев, что перед турецкой силой ему не выстоять, Пеция решил с оставшимися в живых товарищами погрузиться на паром под прикрытием берега и переправиться на славонский берег. Плывая через реку, повстанцы продолжали отстреливаться, но свыше тысячи винтовок осыпали пулями с боснийского берега тесно сбившуюся на открытом пароме кучку людей. Товарищи затолкали Пецию в середину и заслонили его своими телами, чтобы спасти хотя бы его. Остоя Корманош погиб на середине Савы, паля по туркам: достала его вражеская пуля. Из тридцати человек невредимыми добрались до берега четверо. Среди них был и Пеция. Но в тот самый миг, когда он выскочил на берег, его сразила турецкая пуля. Пецию, Корманоша и погибших бойцов из их отряда австрийцы похоронили у самой реки, близ того места, где пал Пеция.

«Боснийское восстание 1875—1878 годов»

^{*} Турецкие помещики.

Он поднялся с земли. Трава прилипла к штанам, мелкие прутики впечатались в ткань. Он стал лицом к западу и прислушался: из лесу доносились далекая стрельба, похоронный звон.

Сколько нас осталось?

Он смотрел и прислушивался, а к нему подходили и останавливались, ожидая приказа, бойцы.

Сколько их осталось?

Он хрустел пальцами, стискивая кулаки, изнуренный и беспомощный. Хотел пересчитать людей вокруг себя. Начинал: один, пять, двадцать. Пересчитывал людей и вспоминал обо всем, что было, что пронеслось, как ветер.

В первую ночь, с третьего на четвертое июля, из окружения пробилось несколько сот бойцов из Первого и Ударного батальонов. Комиссар Второго батальона Никола Лукетич пал на шоссе рядом с зажженным танком, в то время как его товарищи шли в атаку, озаренные пламенем; похоже было, что они ударили в центр немецких сил, может быть, по штабу дивизии, и много их полегло там. Третий и Четвертый батальоны (перее, то, что от Четвертого батальона осталось) не могли принять участия в схватке — слишком велико было отделявшее их от поля боя расстояние. На вторую ночь, с четвертого на пятое июля, когда атака возобновилась, через вражеское кольцо прорвались только отдельные маленькие группы бойцов этих батальонов, а остальные погибли или отступили.

Раненые остались в Грабоваце, в овраге, под деревьями. Шоша слышал их крики и мольбы о помощи. Он не мог им помочь, хотя и знал, что их ждет. И, продираясь впереди бойцов через лес, карабкаясь по склонам, ломая голову над тем, куда направиться и что предпринять, он не мог отделаться от ощущения, будто позади тащатся раненые — искалеченные и безоружные, с протянутыми им вслед бессильными руками. Это раздирало ему душу. Он карабкался вверх по склону, ломая папоротник, разгребая высокую и острую траву, похожую на осоку.

В тенистых местах под ноги попадались белые грибы. В самом ли деле это белые или какие-нибудь ядовитые грибы? Проверять было некогда, хотя он был голоден как волк и едва удерживался от искушения повалиться на землю и начать есть траву; однажды он сорвал на ходу горсть заячьей капусты, а через несколько шагов — пучок черемши. Он прожевал эту траву, часть проглотил, часть выплюнул, на зубах скри-

пели песчинки. Как было бы хорошо, если бы человек вместо хлеба мог заглушить голод глиной или листьями и ветками, подумал он, стараясь идти как можно скорее, ибо знал, что по пятам за ним гонится смертельная опасность. Переводя дух, он все туже затягивал ремень, чтобы меньше урчало в пустом животе, а в ушах у него не переставали звучать те клики о помощи, те протяжные вопли.

Сколько нас осталось?

Он вытягивал шею и вглядывался в стволы, точно ожидая кого-то. Он и правда ждал — своих бойцов. Одних — напрасно, они не придут. Других — с надеждой на то, что выберутся. Третьих...

Собственно говоря, он ждал командира Шпановича, которого отправил к Просаре посмотреть, что там делается, и проверить, могут ли остатки отряда как-нибудь пробраться на Просару. Он ждал Шпановича и вспоминал погибших командиров — Ачимовича, Алаука, Миятовича, Бановича. Десять командиров погибли. Отдали жизнь, а Козару не отстояли. Погибли они, погибли многие другие (Деретич и Кукавица, раненные, остались на послках), а теперь опасность грозит и остальным, грозит всем. Отряд разделился на две части: одна, во главе с Обрадом и Словенцом, пробилась через шоссе на запад, а другая осталась в лесу, с нею и Чоче. Теперь над ними нависло самое страшное: вряд ли удастся выжить, а не только бороться...

Стало известно, что по лесу вдоль Млечаницы, около Медпяка и до самой Войсковы блуждает несколько рот и множество мелких групп из разных частей, не вышедших из окружения. Всего тут было, по расчетам Шоши, больше пятисот бойцов. Раньше он с таким количеством людей мог бы напасть на Дубицу, а то и на Приедор, но теперь, в это полное отчаяния утро, самое большое, что он мог сделать, — это держать их всех вместе. Ему казалось, что выстрела, а тем более взрыва грапаты, хотя бы далекого и случайного, было достаточно, чтобы кто-нибудь из его бойцов, обезумев, бросился бежать сломя голову.

Страх стал неотвратимо закрадываться в людей после последней неудачи, когда сорвалась вторая попытка прорыва из окружения, а бойцы начали отступать к Витловской горе, бросая даже раненых. Видно, в то время каждому приходила мысль о том, что и он может быть ранен и оставлен под дулами вражеских винтовок. Отсюда и страх. Каждый думал про себя: «Если ранят, тащить меня некому, бросят, как и тех, что в овраге». И любой случайный выстрел обращал в бегство целый десяток людей.

Неожиданно объявился Раде Кондич, командир Ударной

роты: раненный, он ковылял сам, не позволяя себя нести и требуя, чтобы его оставили, «не теряли на него время», как он говорил. Все-таки его силком уложили на носилки, маленького, горячего и шустрого командира.

— Что будем делать, Раде?

— Пока есть патроны, солдат стреляет, — ответил Раде.

— Куда двинемся?

— Не будь я ранен, я бы с таким войском пробился через сотню окружений. Плевал я на ихние окружения.

— Но куда мы сегодня пойдём?

— Туда, — сказал Раде и показал рукой. — А можно и туда.

Одни считали, что надо идти на Мраковицу и дальше, к Лисице, и еще дальше, через шоссе Баня Лука — Приедор, к Гомьенице, а там — на юго-запад, к Грмечу. Этот вариант был отклонен: никто не знает, какие там силы у противника, дорога контролируется им, а от Гомьеницы до Мапячи все села заняты четниками Вукашина Марчетича. Другие предлагали, чтобы остатки отряда пробились к Просаре, вышли на Саву, отыскиали лодки и переправились в Славонию (как, видимо, и поступил Краинский пролетарский батальон после поражения на Мотайце, когда он потерял больше сотни бойцов). Хотя их ждал долгий путь, полный неизвестности, они решили двинуться в сторону Славонии, а там что бог даст. Поэтому все так же нетерпеливо, как Шоша, ждали Томицу Шпановича. Он, наконец, вернулся, но с самыми черными вестями: со стороны Градишки, Подградцев и Просары к Козаре приближаются (он сам видел) густые ряды войск противника. Все холмы ими заняты и все дороги перекрыты.

Что же теперь делать? — хотелось крикнуть Шоше, но у него перехватило горло. Люди онемели. Казалось, они вот-вот попадают на землю, и ни у кого не будет сил подняться, оторваться от нее. Шоша посмотрел на всегда жизнерадостного комиссара Чоче, студента из Черногории. Но и Чоче молчал. Все прятали глаза и опускали головы, а кое-кто уже, наверно, выбирался из толпы, считая, что в одиночку легче будет спасти свою шкуру. Наконец Шоша сказал:

— Товарищи, отряд больше существовать не может... Мы должны разбиться на группы по двое, по трое, по пятеро и так выбираться. Оружие закопаем. Оставим только гранаты и револьверы.

— Я винтовку не отдам, товарищ Шоша!

— Не перебивай, — без гнева сказал Шоша. — Тяжелое оружие закопаем, чтобы не тащить его, а также боеприпасы, пулеметы и винтовки.

— Я винтовку не отдам!

— И я не отдам, пока жив, клянусь честью.

— Я ее в бою взял и не расстанусь с ней, будь что будет.

— Не перебивайте меня, — сказал Шоша тихо и терпеливо, как мать, утихомиривающая ребенка. — Я из ума не выжил и знаю, что говорю. Лучше винтовку закопать, чем отдать врагу.

— А кто говорит, что я ее отдам врагу?

— Если тебя возьмут в плен, отнимут и голову, не то что винтовку.

— А без головы пусть и винтовка идет к чертовой матери.

— Хорошо. Кто хочет, пусть оставляет винтовку, а кому легче скрываться без винтовки...

— Если хотите знать мое мнение, товарищи, — заговорил Раде Кондич, — то я бы отряд не распускал и оружие бы не закапывал. Плевал я на солдата без оружия. Я бы, братцы, держался вместе, кучей, рота к роте и боролся, пока хватит патронов.

— Так нас было бы легче всего уничтожить, — сказал Шоша, не желая препираться, но увсеренный, что роспуск отряда — единственный выход. — Им это самое и нужно — встретить нас сбитыми в кучу и перемолотить. Наше спасение только в том, чтобы разбиться на группы.

— Зачем же мы воевали целый год и сколачивали отряд? Разве зря мы создали столько рот и батальонов?

— Если хотите знать, что я думаю, товарищи, — вмешался и Чоче, бледный и щуплый, — то я за Шошино предложение. Всем нам жаль отряда, но надо говорить прямо, по-коммунистически: отряд больше существовать не может, так как он расколот на две части и загнан в лес. Так ведь? Временно мы должны разойтись и скрыться, а когда части противника прокатятся дальше... Так?

— Что же они, по нас, как по снопам, прокатятся?

— Ладно, это твое мнение. Так? Пусть и другие выскажутся... Давайте! Все по очереди.

После долгого и бурного совещания было решено разбить отряд на группы. Тяжелое оружие и боеприпасы закопать. Когда противник прочешет лес, все оставшиеся в живых бойцы должны будут достать свое оружие и направиться на место сбора. Это место — Витловская гора, на которой до немецкого наступления находился штаб Второго батальона и где размещались склады хлеба, одежды и снаряжения.

Так отряд был распущен.

Расходились довольно крупными группами, даже по сорок человек; потом они постепенно рассыпались, таяли, так что оставалось всего пятеро или двое человек. Группы таяли быстро

и неприметно: на привале ложились соснуть, а когда просыпались, обнаруживали, что кто-то уже ушел.

Вместе с Шошей остались Чоче, Вилко и Скепдер, верные боевые товарищи, со своими бумагами, брошюрами, книгами и карандашам. Раньше они постоянно о чем-нибудь рассуждали (даже об астрономии и высшей математике), случалось, что спорили и ругались, а теперь молчали, голодные и понурые, точно боясь, как бы не обвинить друга друга в беде, которая с ними случилась.

С Шошей оказалась и Вукица, девчущка, пришедшая на Козару перед самым началом боев из ближнего городка. Она угнездилась в Шошном сердце, так что он и сам этого не заметил. Просто взяла его в плен. Он чувствовал себя несчастным, если в течение дня не встречал ее. Она знала это и всегда находила повод для того, чтобы подойти к нему, спросить что-нибудь и просто стать перед ним, улыбаясь, и долго молча смотреть в его глаза, на костлявое, грубоватое лицо, изборожденное невзгодами, но пленно потому и красивое, как лицо героя из песни. Теперь она могла смотреть на него сколько угодно, не боясь, что ее упрекнут в мещанстве (ибо она думает о любви, хотя любовь в отряде запрещена). Теперь, когда не стало одолевавших его командирских забот и дел, теперь и он мог смотреть на нее. Они шли, помогая друг другу. Иногда останавливались в коротком объятии на какой-нибудь полянке, под соснами, почти не замечая, что оторвались от своих, пока кто-нибудь не окликал их или не возвращался, чтобы их позвать. Они шли рядом. Вукица, более молодая и выносливая, помогала ему. Завидев на какой-нибудь прогалине землянику, она отбегала, собирала самые крупные и зрелые ягоды, срывала целые кисточки и подносила ему на ладони. Если он ложился отдохнуть, она укрывала его, чтобы он не застудил почки, которые у него иногда разбалчивались так, что он стонал и обматывал поясницу двумя шерстяными джемперами.

— Дорогая моя Вука, — шептал Шоша, глядя ее волосы, — ты все, что у меня осталось.

— Что мы будем делать, если нас заметят враги?

— Раздумывать не будем, — отвечал Шоша. — Сначала убью тебя, потом себя. Живые не дадимся.

— Не дадимся, — повторяла Вукица, счастливо улыбаясь, хотя по лицу ее текли слезы. — Но зачем думать об этом? Разве мы не можем разговаривать о чем-нибудь хорошем?

Они брели по лесу, меняя направление, прислушиваясь к стрельбе и гулу моторов. Неприятель приближался, свободное пространство вокруг них уменьшалось. Гул раздавался все чаще и сильнее и слышался уже со всех сторон — с востока,

с севера, с юга. Кольцо стягивалось. Ясно было, что вражеские части намерены встретиться где-то в горах после того, как основательно прочешут лес.

Шоша в полусне вздрагивал, взмахивал руками, вскакивал и кричал, расправляясь с врагами, а Вукица тянула его за рукав и успокаивала:

— Не бойся, Шоша... Это сон. Ложись, это сон...

Его успокаивал ее голос, нежный и ласковый, как голос матери, Марии, которую он давно покинул. Мысли его возвращались к прошлому, он вспомнил отряд, один из самых крупных отрядов в Боснии, а может, и в Югославии, воевавший под красной пятиконечной звездой и партизанскими знаменами и под командой Младена, Обрада и его, Шоши, командой. Теперь ничего этого нет. Теперь оставшиеся в живых члены отряда, по силе равнявшегося дивизии, жалко прячутся, как дорожные грабители, по кустам, по оврагам, ямкам и воронкам — напуганные зайцы перед сворой собак. До вчерашнего дня они тягались силой с Гитлером, а теперь признали свою немощь и разошлись — и как знать, встретятся ли, соберутся ли вместе? Они признали свою слабость, и более того: почти что признали себя побежденными, ибо не оказывают сопротивления и, может быть, катятся навстречу гибели...

— Мы будем бороться, мы не разбиты...

— Успокойся, Шоша... Ляг... Это сон...

— Мы не разбиты, мы будем бороться! — кричит Шоша и дико озирается вокруг, точно ища своих потерянных и разбредшихся бойцов. Сон путался с явью, давил его душу, душил его. Он не мог спать. Глаза болели, веки были воспалены, зрачки лихорадочно расширены. Виски жгло, голова, казалось, раскалывается пополам. От напряжения.

Они бродили по лесу туда-сюда, спускались в ложбины, карабкались по склонам, словно без цели. Нигде ни души. Только орудейный гул со всех сторон, все более громкий. Отступать уже нельзя. Некуда. Он хотел попасть в Просару, туда, наверно, бы и направился, но дорога отрезана. Туда нельзя. Там противник. Позади тоже противник. Противник на юге и на севере. От гула, доносящегося со всех сторон, сотрясается лес. Он в западне, с петлей на шее.

— Товарищ Шоша, — сказал командир взвода охранения, когда их блужданию пришел конец. — Отступать больше некуда. В Просару мы не попадем, назад не пройдем тоже. Придется тебя закопать. Выроем тебе тайник, сверху заложим поленьями.

— А как я дышать буду?

— Оставим дырочку для воздуха.

— В землю, как труп?

— В погреб, как картошку, — сказал командир взвода и начал копать яму рядом с поленницей.

Шоша озирался вокруг. Ждал Вукицу: она ушла поискать чего-нибудь съедобного, нарвать ягод и надергать черемши. Она все что-то говорила и о диких грушах и о сливах, которые сейчас как раз созревают в селах, далеко. Но напрасно Шоша высматривал ее — Вукица так и не вернулась.

Его заставили залезть в яму и сказали, чтобы он не выходил, пока его кто-нибудь не позовет. Принесли ему фляжку воды из ключа, покрыли яму ветками, толстыми сучьями, присыпали землей, а поверх всего аккуратно уложили поленья слоем в метр высотой. Молча ушли, а он остался.

Они ушли, чтобы спрятаться, а Шоша остался под землей. Он знал, что товарищи спрячутся поблизости, и если их не откроют, то как только пройдут вражеские части, прибегут помочь ему выбраться. Но что будет, если противник обнаружит их и схватит? Не выдадут ли его? Что, если немцы придут сюда с собаками? И если кто-нибудь выдаст его и без пыток, соблазнившись наградой и лъстивыми обещаниями?

Они ушли, а Шоша остался.

Тяжелее всего ему было без Вукицы, которую он потерял так скоро. Он не мог усидеть на месте. Пробовал подняться, но голова уперлась в покрывавший яму дерн. В гневе и бессильной ярости он пытался даже приподнять крышу тайника, чтобы выбраться из него. Но тщетно. Надо было примириться с судьбой. Он остался внизу, в темноте, одинокий и беспомощный.

Столько товарищей — и ни одного сейчас не было с ним.

Не было серьезного и рассудительного Словенца, которого он уважал. Не было и Обрада, которого он вечно задирали и вызывал на ссоры, точно тот виноват, что после гибели Младена его, при живом Шоше, назначили командиром отряда. Не было их хмурого, вечно задумчивого Мплоша Шплеговича, ни комиссара Чоче, улыбчивого черногорца, который вместе с Обрадом добрался до Козары из какого-то французского лагеря, принес с собой рассказы о гражданской войне в Испании, интернациональных бригадах и их подвигах под Мадридом, в Валенсии, на Эбро, Хараме и Гвадалахаре. Не было блестящих командиров батальонов Ранко, Жарко, Петара, Младжи и Мирко. Не было ни Скенера, ни шутника и лежебоки Вилко, с которыми он столько раз составлял прокламации, писал сообщения о положении на фронтах и калякал обо всем на свете — от политики и революции до музыки, грамматики и астрономии...

Они ушли, а он остался.

Остался один, в земле, как в могиле.

Неужели все этим и кончится? Вариться в самой гуще исторических событий и революционнейших процессов, чтобы потом остаться в одиночестве, как холмик гайдучкой могилы? Неужели в этом смысл самопожертвования: чтобы человек, который был как знамя, развевающееся перед неустрашимыми отрядами, который стал легендой, вошел в песню («Павеличу не везет, Шоша на него идет»), кончил свою жизнь, как шахтер, засыпавший в шахте? Неужели этим должны завершиться все стремления и все надежды? Можно ли достичь в жизни хоть чего-то прочного, вечного, непреходящего? Неужели пустыми были все эти речи о преобразованиях, революциях, массовых движениях, вся эта вера в мощь и силу убежденности, что победит лучшее, более счастливое, более справедливое общество, которое должно прийти, хотя бы и через кровь и трупы, — так же неотвратно, как рождается солнце? Что осталось от бесчисленных мечтаний, восторгов, речей и песен? Неужели только эта яма и земля, этот мрак и могила?

Он прислушивался, задыхаясь во тьме, без единого проблеска света, как в кротовой норе. Подымался, подтягивался на локтях, упирался головой в жерди и сырой дерн и снова бросался на дно ямы, сдерживая слезы. Вместо постели было одеяло. Он боролся со сном, но веки смыкались, сознание меркло — и вдруг он просыпался, спрашивая себя, как попал сюда и почему нет солнца.

Победа это или поражение? — разговаривал он с темнотой. Неужели Козара в самом деле побеждена?

Он отпивал несколько глотков из фляжки и пробовал отогнать черные мысли, разъедавшие мозг и сознание. Разве мы не сделали все, что было в человеческих силах? Разве не исполнили до конца свой долг перед народом? Могли ли мы сделать еще что-то? Не осудит ли нас народ?

Он бился, метался, стонал и вздыхал: сокол с поломанными крыльями, которого буря низвергла со звездной высоты, где он могуче парил и властвовал. Пал, не раненый, по сраженный насмерть. Пал без выстрела, в глухом молчании. Быть может, впереди позор: поимка, плен, жесточайшие пытки. Быть может...

Этого я не допущу, думал он. Если меня обнаружат, я знаю, что делать. Он стискивал зубы, точно в ознобе, пащупывал холодную рукоять револьвера на бедре.

Послышались голоса: сначала далекие и неясные, потом все ближе и отчетливей. Бормотание. Мужские голоса. Немцы. Он узнал их по резкому и отрывистому говору. Есть и паши. А, с ними есть и паши.

— Что-то мне эти дрова подозрительны, — сказал один из наших. — Почему тут написано, что они принадлежат Независимому государству Хорватии?

— Спроси лесника.

— С какой стати леснику это писать? Тут что-то нечисто. Лучше всего проверить.

— Переворачивать все эти поленья? Ищи дураков. Я не буду.

— Ну, а я, клянусь богом, буду.

— Берегись гранаты, дурень. Ты что, думаешь, этот, который там внизу, если он там есть, будет сидеть сложа руки? Взорвет гранату, и взлетишь вместе с ним в воздух, как пробка.

— Раскидывай, говорят тебе.

Шоша вытащил револьвер и задрожал. Выстрелить в висок! Мама, не плачь! Он сжимал револьвер, впиваясь взглядом в темный потолок.

Поленья, разлетаясь, казалось, бухали его по черепу.

— Ты что, рехнулся, Степан? Нету тут ничего.

— Есть, Звонко, бьюсь об заклад.

— Дурень ты, Степан. Козара полным-полна таких поленищ... Нету ничего...

— Кабы не было надписи, и я бы думал, что нету. Но эта надпись — это чертовски подозрительно.

О какой надписи они говорят? Кто оставил эту надпись? Какая наивная и прозрачная хитрость! Почему товарищи не сказали ему, что сделают надпись?

Поленья стучали, падая друг на друга. Еще громче стучало его сердце. Приходилось прижимать руку к груди, чтобы оно билось тише. В правой руке он держал револьвер. Как только наверху блеснет свет, это будет знак, что он обнаружен, и тогда останется только одно...

Значит, такой будет финал. Один-единственный выстрел — и в могиле навсегда останутся весь жар, все мечты, все надежды. Бесславный и жалкий конец, как у червя. И это он, Йосип Мажар (Шоша), который любил говорить о противоборстве с бурей и о безумстве храбрых? Где же буря, где храбрость? Быть засыпанным в могиле, вырытой, так сказать, собственными руками, — неужели это храбрость, неужели это смелость, неужели это слава?

Грохочут поленья.

С телом в могиле останется и мечта о победе, мечта о преображении рода человеческого, мечта о будущем, которого он так жарко желал и так ярко рисовал себе. Крах фашизма, революция, социализм, человеческая солидарность и братство, и новый мир — без несправедливости, без страданий, без слез, без кро-

ви и зла, — неужели все это исчезнет, как клочок пены среди прожорливых волн бушующего моря?

Не останется ли от всего этого только тело, изрешеченное пулями, а может, растерзанное, валяющееся у ног чужаков?

Значит так? — спросил он себя, сломленный, под стук поленьев над головой. Прощай, мама, прощай, Вукица! Он впился взглядом в потолок. Не видя ничего, вслушивался. Ему казалось, что он присутствует на собственных похоронах. Он крепко сжимал в руке револьвер и повторял, как ученик, затверживающий урок: «Как только блеснет свет, выстрелю себе в висок».

25

Склонясь над телегой, в которой лежал раненый, она протягивала к нему руки и успокаивала его.

— Почему нас бросили? — спросил он. — Разве мы за это боролись? За то, чтобы нас бросили?

— Успокойся, Райко, — сказала она. — Товарищи придут.

— Никто не придет, все кончено, — сказал Райко. — Мне надо встать и самому спастись.

— Как же ты встанешь раненый?

— Ничего не поделаешь... Все бегут, и я тоже...

— Но у тебя тяжелое ранение.

— Правду сказать, Эмира, я не так уж и ранен, — сказал Райко и слез с телеги. Долговязый, лохматый, в жеваной одежде, он походил на чучело. — По правде говоря, я не ранен. В тот день во время атаки я упал и немного ободрался. Полила кровь, я застонал. Тут меня подхватили на носилки и — на Витловскую гору, в госпиталь, а уж оттуда мне на фронт расхотелось. Маленько отдохнуть было охота.

Он разводил в стороны листья папоротника, продираясь через чащу.

— Хотелось отдохнуть да обсушиться. Ей-богу, не так артиллерия и авиация мне обрыдли, как дождь. Смерть до чего надоед. Что ни день, что ни ночь — все дождь и дождь, чтоб его черный черт унес! Ливень за ливнем, а мы без крыши. В первый день я еще как-то терпел. Лежим на позициях, а дождик сначала кап-кап, а потом полил как из ведра. Будто кнутом нас начало сечь. И лицо мокро, и шапка, и волосы. За воротник затекает, на спину, по хребту, до самых штанов и ниже, спереди и сзади, точно я обмочился. Как памок, так больше и не высушился. Целые дни под дождем. Мок я, мок, да и не выдержал.

— Выходит, ты симулировал?

— Из-за дождя, — сказал Райко. — Не из-за неприятеля, здоровьем клянусь. Нас... мне на неприятеля. А дождь мне всю жизнь отравил. Сил моих не было терпеть, чтобы за воротник заливало, вот я и выбрался посушиться под крышу. Отдохнул за милую душу, да и отъелся, — раненых-то лучше кормят; а когда повезли нас к фронту, пробиваться из окружения, я стал думать, что делать, — то ли встать и идти в роту, то ли остаться на носилках, чтобы не тащиться пешком? Полезу-ка, думаю, на телегу, пусть меня везут! Не буду дураком, находился, хватит!

— Не верю я тебе, Райко. Все-таки ты ранен.

— По правде сказать, чем-то меня в самом деле по голове трахнуло. Когда началась стрельба, какой-то чертовщиной меня звездануло — то ли камнем, то ли дубиной, то ли земли комом, то ли пулей. Одним словом, шарахнуло. Кровь полила, а я заорал, точно у меня глаза вываливаются. Хотел, чтоб вы подошли скорее и отнесли меня под крышу, чтобы не мокнуть. Знал я, что раненые лежат в землянках, под крышей, и хотел, чтоб меня поскорее отнесли туда — посушиться и погреть.

— Ах ты, ловкач ты этакий! — сказала Эмира. Она стояла и прислушивалась. — Как мы, одни пойдем или дождемся кого-нибудь?

— Лучше одни, — ответил Райко. — Толпой двигаться хуже — легче в капкан попасть. Сейчас самое умное в одиночку идти.

— И меня бросить хочешь?

— Ты меня не бросила, и я тебя не брошу, — сказал Райко. — Когда я лежал на телеге, видел, кто каков. Самые лучшие друзья мимо прошли, а ты осталась. Знал я, что ты меня не бросишь.

— А куда мы пойдем?

— Отступать будем, а как надоест, заберемся в канаву, в бурьян или в ежевику.

— Можно и на дерево залезть, — предложила Эмира.

— Ты как хочешь, а я не полезу. Я перед войной как-то залез на черешню, хотел нарвать ягод с верхних веток — они там самые зрелые и сладкие и обычно птицам достаются. Лез-лез, уже по тонким сучьям, пока один сук не подломился, а я вниз сверзился. Обе руки сломал. С тех пор на деревья не лазаю. Не дурак, чтобы гибнуть.

— Можно под палый лист забраться.

— Посмотрим. Хлеб у тебя есть?

— Есть, — сказала Эмира. — Полкаравая. Женщины ране-

ным принесли. Я взяла, чтоб не оставлять в землянке. Не взяла бы — все равно бы там остался.

— Вот и хорошо, что прихватила, — одобрил Райко. — А у меня такая есть.

— Откуда у тебя такая?

— Приберег па черный день, — засмеялся Райко и потрянул фляжкой. — Если придется умирать, хлебну глоточек перед судным днем. И на твою долю хватит. Хочешь?

— Потом, — сказала Эмира.

Они шагали среди деревьев. Лес пах смолой, прелым листом и влажной травой. Хмуро молчали могучие сосны. Казалось, ветви их реют в тумане. Местами сквозь листья рдяными снопами пробивалось солнце, рассекая сонный полумрак.

С запада доносился грохот.

Райко пытался представить себе, как враги соревнуются в охоте на людей по беженским обозам. Представлял, как они со штыками наперевес подбегают, может быть, и к его матери Видосаве, с которой он расстался в млечаницком ущелье, перед самым прорывом. Перепла ли она шоссе? Куда двинулась дальше? Добралась ли до дому или схвачена в каком-нибудь проулке, когда пыталась вытянуть из грязи перегруженную телегу? С ней мне надо было идти, а не с этой турчанкой, вздохнул он. Ее надо было спасать, а не эту. Похоже было, что он вот-вот расплачется. Почему я не слез с телеги и не пошел с нею? Он отломил ветку можжевельника и начал отрывать от нее кусочек за кусочком. Если бы я тогда слез с телеги, меня бы, может, расстреляли. Он бросил ветку и растоптал ее сапогом.

— Слушай, родимая, — сказал он Эмире. — Не говори никому, что я не был ранен и только прикидывался. А то не сносить мне головы.

— Не бойся, лохматый, — ответила Эмира.

— Если скажешь, мне не жить.

— Разве ж ты не раненый? — спросила Эмира. — Все-таки ты ранен. А повязка у тебя на лбу зачем?

— Правильно говоришь, — похвалил Райко. — Шандарахнуло меня.

— Давай отдохнем.

— Пройдем еще немножко, — не решился Райко. — Остановились они?

— Похоже, да. Пушек больше не слышно.

— Кто будет отвечать за это?

— За что? — спросила Эмира.

— За раненых. Их ведь перережут. Если бы они хоть могли

сами себя порешить. А у них ни оружия, ни сил. Какой-нибудь револьвер да граната, только и всего.

— Плохо их дело, — вздохнула Эмира.

Они торопливо шагали по луговине, заросшей можжевельником. Жесткая зеленая трава, покрытая после дождей грязью, опутывала ноги и резала щиколотки.

— Ты знаешь эти места, Райко?

— Не знаю, — признался Райко. — По-моему, мы идем к Витловской горе.

— Тамошные места я знаю, — сказала Эмира. — Если мы выйдем туда, то найду дорогу и до Мраковицы.

— Оттуда-то и я найду, — сказал Райко. — Но на Мраковицу мы не пойдем, потому что туда сейчас повалят все, а это не к добру. Сгрудятся в кучу, неприятель их и перебьет. Надо идти по склонам, где нет беженцев, потому что неприятель пойдет вдоль Млечаницы, Грачанцы и Моштаницы, где беженские лагеря, да по вершинам от Масли-Бапра до Мраковицы...

— Воп земляника! — воскликнула Эмира.

— Набери, — сказал Райко. — А я посижу маленько.

Он смотрел в долину, где текла Млечаница, окаймленная зелеными зарослями. Было тихо. В двадцати метрах от него лежало дерево, поваленное ветром: переплетения корпей, засохшие комья земли, зпяющая под ними яма. Вот и человек так же, подумал он. Растет-растет и падает, и остается после него пустота. Почему все, что живет, должно рухнуть?

— Держи, — подбежала Эмира с букетиком земляники. — Я не стала больше собирать, змей боюсь.

— Нету тут змей, — сказал Райко. — Змеи в камнях живут.

— Все равно боюсь, хоть бы их и не было.

— Должно быть, у немцев привал. Похоже, остановились.

— А может, в села возвращаются?

— Кабы они возвращаться думали, не заходили бы в лес. Не пойдут они назад, пока все горы не прочешут, зарок такой дали...

— Где мы почевать будем?

— Под деревом. Натаскаем листьев. Одеяло есть. Я его ношу с первых дней восстания.

— Где ты был, когда оно началось?

— Расскажу, давай только на ночлег устроимся. Пошли за листьями.

— А мы не слишком близко от неприятеля?

— Лучше остаться поближе, чтобы следить за его передвижением.

— Солоно нам придется, если он нас сонными застанет.

— Не солоней того, что уже со мной было. Да не люблю я говорить об этом, голова болит, — сказал Райко, сгребая сухие листья на разостланное одеяло. — А еще как подумаю, что ты турчанка...

— Не турчанка, а мусульманка, — возразила Эмира.

— Это все едино. Все вы турки и все на нас пожи точите.

— Может, тебе жалко, что ты не четник?

— Не бреши, — сказал Райко. — Турки самые первые насчет резни. Я им не верю и когда они с пятикопечными звездами ходят.

— Ну, а мне-то хоть веришь?

— Ты — другое дело. Тебя как будто кто-то из наших смас-терил.

— Расскажешь, что с тобою было?

— А то было, что я своего отца Николу зарезанным видел. Турок его зарезал, Муяга. В Костайнице.

— Когда это случилось?

— Во время восстания, после ильина дня. Мы были около Лешляп, держали фронт. Со стороны Добрлина и Босанского Нового армия начала жать, наши мужики с рогатинами разбежались, фронт развалился. Даже Шоша со стрелками побежал, истинный крест, а мой отец взял жердну, повязал на нее белый флаг и пошел собирать крестьян, сдаваться идти. «С восстанием ничего не выходит, — говорит, — заводилы сбежали, а нас на произвол судьбы бросили. Надо сдаваться властям». Кое-кто его хотел уговорить не сдаваться, но он, как все равно перед смертью, точно полоумный бегал от дома к дому, от хозяина к хозяину, собирал всех под белый флаг. Собрал двести человек, а то и больше и повел их в Добрлин. И меня тоже. В Добрлине похватили нас усташ, закинули в вагоны и в Костайницу. Отвели к Банчевой каменоломне и начали резать. Больше трехсот человек убили. Тут Муяга моего отца и зарезал...

Он опустил голову. Слышно было его шумное дыхание.

— Как же ты уцелел? — спросила Эмира.

— И сам не знаю. Когда повели нас на казнь, ко мне подошел усташ с киркой и сказал, что я буду могильщиком. И еще сказал, что они меня оставят в живых, если я дело как следует сделаю, потому что я из наших самый молодой. Взял я кирку, а когда они начали резать, я как окаменел. Зарежут человека и бросают в яму. А я его заваливаю. Потом нарежут другого и его в яму. А я заваливаю. Узнал я Младжена Вуруну из Водичева и братьев его Душана и Жарко. Когда зарезали

Младжена, Муяга выпил стопку ракии и крикнул: «Аферим! * Во здравнѐ!» Потом налил еще и кричит: «Следующий!» Так и зарезали Душана и Жарко, братьев Младженовых. Бросают их в яму, а Муяга знай кричит: «Аферим! Во здравнѐ!» — и опрокидывает стопку. Я смотрю и не понимаю. Что это такое, господи? За что нас режут? Загляделся и забыл засыпать последнего мертвеца, а устах ко мне подбежал да как наподдаст: «Засыпай, мать твою сербскую!» Кидаю я землю на мертвеца, а тут гляжу, мать честная, да это же ведут под нож моего отца Николу. Встретились наши взгляды. Показалось мне, что отец мне из-под ножа усмехнулся. Счастьем клянусь: из-под ножа мне усмехнулся. Так, бедняга, и в могилу ушел...

Зубы его, скрипнув, перерезали травинку. Он яростно водил глазами, точно ожидая, что из леса появятся палачи.

— Скажи мне, как же ты остался жив?

— Не знаю. Увидел отца под ножом, схватил кирку и треснул устаха по голове. Он упал, а я бежать. Бегу, а они знай палят, по так и не попали. Не допустил бог...

— А еще кто-нибудь спасся?

— Никто, горе горькое, — сказал Райко. — Я и сам-то не верил, что я жив. Ощупывал себя и щипал, чтобы убедиться. Ногтями кожу царапал, пока кровь не пошла. Жив, говорю себе, а потом все по ночам вскакивал, все мне эта резня снилась. Пошел в отряд и взял виштовку. Не положу ее, пока хоть один турок по земле ходит.

— Турок или устах?

— Турок, — повторил Райко. — Я турок бью.

— И меня убьешь?

— Уверен, что и та женщина турчанка была, — продолжал я, не слушая, захваченный мрачными воспоминаниями. — Когда нас резали, а Муяга опрокидывал чарочки, рядом с ним стояла какая-то женщина. Я ее хорошо запомнил: наш брат с жизнью расставался, а она смеялась. И лицо ее запомнил, и волосы, и глаза, и платье, и чулки. Смотрел и дивился: как она затесалась между усташей, почему нашей беде радуется? Убежал, а она навсегда в памяти осталась. И подумай, ведь что случилось: дней десять назад стою я на посту, и вдруг из леска женщина выходит. Я подумал было, что это какая-нибудь молодка пришла мужа или брата проведать, да пригляделся получше — и узнал эту шлюху из Бапчевой ямы. Она, здоровьем клянусь! Откуда она тут взялась, погань усташская? Сцапал я ее и только что не убил, а она давай верещать, и я ее, дурак, в штаб повел. Тут граната — бах! — а она вниз по склону,

* Правильно! Браво! (турец.).

только пятки засверкали. Удрала, мать ее усташскую. Я стрелял, да все зря. Удрала, а я, осел, в дураках остался.

— Хватит с меня этого смертоубийства, — сказала Эмира. — Расскажи о чем-нибудь хорошем.

— Я, коли живой отсюда выберусь, должен отомстить, хоть бы мне это головы стоило. Убью сотню турок и сожгу сто турецких домов.

— С ума ты сошел? А комиссар что скажет?

— Не люблю я комиссара, — сказал Райко. — Не люблю, потому что вечно он в хвосте идет, точно баба.

— Он и обязан там идти. Командир в голове колонны, а комиссар — в конце. Не виноват комиссар, что ему положено в хвосте идти. Таков приказ.

— Плевать мне па такой приказ.

— Знаю я, почему ты невзлюбил комиссара, — засмеялась Эмира. — Не из-за хвоста это, а из-за тех рождественских поросят... Ты ушел в село без спросу помогать женщинам поросят к рождеству резать и три дня в роту не являлся. Комиссар и приказал патрулю отобрать у тебя винтовку, связать и привести. Поставил тебя перед строем и потребовал, чтобы ты свой поступок подверг самокритике.

— Нас... мне на самокритику. Дураки это выдумали. Какая еще там самокритика? Кто это видывал, чтобы человек в здравом уме сам на себя помои лил? Пришлось мне перед всеми признать свою вину, но я и теперь считаю, что я прав. Что это за войско, если оно в сочельник валяется без дела в лесу, а несчастные бабы ждут не дождутся мужика какого-нибудь, чтоб он пм поросенка к рождеству зарезал? Не народное это войско. А я вот шесть поросят зарезал, и женщины меня угощали и благословляли, как родимого брата.

— Может, и целовали?

— И целовали, если хочешь знать, и это было.

— Тогда и я тебя поцелую, — сказала Эмира и обняла его. Он был небритый и бородатый, но именно это ей и нравилось. Он был совсем не такой, как безбородые молодые люди из города, которых она знала. Она обхватила его за шею, пригнула к себе его голову и целовала в щеки, в бороду, в глаза...

Он не упирался, как раньше, не стыдился, как в первый раз, а схватил ее за плечи и бросил на кучу сухих листьев.

— Лохматый, растрепка, — смеялась она, запустив пальцы в его волосы. Она была счастлива, как и в тот день, когда они поцеловались в первый раз в леске над ротным лагерем, трепеща, как бы их не увидели товарищи. — Лохматый, растрепушка, — и она вспомнила, как он сказал тогда: «Не знаю, цело-

вать ли мне тебя или зарезать за то, что ты турчанка». Ей и это понравилось, потому что было дико и дурашливо.

— Не была бы ты мне мила, зарезал бы тебя сейчас.

— Тише, родимый, — улыбалась она, — полегче, дурачина.

— Задушу тебя, турчанка, здоровьем клянусь.

От отдаленных раскатов подрагивала земля, лопотали листья, потрескивали сучья. Колыхался лес. Могучие кроны раскачивались в небе, наклоняясь над ними из синей высоты. В ветвях пела птица, а взъерошенный ворон, словно чувствуя, что ему тут не место, летел над поляной к западу, неуклюже взмахивая крыльями...

Они долго оставались обнявшись. Потом лежали рядом, подложив руки под голову, обращенные к небу и солнцу. Усталые, молча мечтали: она — счастливо улыбающаяся, он — победоносный и укрощенный.

В ветвях пела птица. Зловещего ворона не было.

Из сплывших высот, радостное, смотрело солнце.

Они отпили по глотку ракии и съели по кусочку хлеба, а потом снова начали целоваться, как перед смертью.

— Задушу тебя, турчанка, здоровьем клянусь, — повторял он, не умея сказать ничего другого. — Задушу тебя, здоровьем клянусь, потому что нехристь тебя зачал.

— Лохматый дурень, растрепка... После этого дня мне, наверно, и умереть будет не жалко...

— А я только хочу отомстить, а там хоть помереть, — упорно возвращался он к прежней мысли. — Не хотел бы я умереть, пока не отомстил.

— Дурень лохматый, растрепка...

— Турок ненавижу, а турчанки мне нравятся, черт бы их взял. Когда я парнем был, до войны, то как увижу шаровары, так и подмывает посмотреть, что там, под ними. Турчанки умеют ласкаться-миловаться, не то что наши бабы...

— Да что ты, дурень, знаешь о турчанках?

— Знаю, знаю. Рассказывали мне.

— Лохматый дурень. Молчи, пока я тебе глаза не выцарапала! — Она чувствовала, что любит его бесконечно. Вспомнила его рассказы: как он до войны дрался с жандармами и турками, как бездельничал, бродяжил, воровал, работал за гроши, сидел в тюрьме, как бегал за девушками.

Вздрагивала земля, лопотали листья...

В ветвях пела птица, а мрачного воропа не было.

— Ни разу ты меня не спросил, кто я, — сказала она грустно. — Знаешь ты, что я из бедной семьи, отец у меня железнодорожник, а матери нету? Умерла, бедняжка, от чахотки.

Брат у меня есть, почтальон. Сестра старшая — портниха. Она им готовит, отцу и брату.

— Какой черт тебя сюда приволок?

— Сама пришла. Услыхала, что в отряде и девушки есть, и пошла...

— Училась?

— Ходила в гимназию и собиралась изучать математику.

— А что это — математика?

— Дурень лохматый, — улыбалась Эмира. — В самом деле не знаешь, что такое математика?

— Не знаю, клянусь здоровьем. Я, брат Эмира, бревно кленовое.

— Математика — это паука о числах, а некоторые называют ее матерью всех наук.

— Глупость, — отрезал Райко и приложил ко рту фляжку.

Их ждала ночь. Солнце падало за холм, как летящий снаряд. Быстро почернел сине-зеленый ковер леса. Близился вечер. Солнце гасло, и на деревья опускалась мгла...

Пока они целовались, им казалось, что на свете нет ничего, кроме них: ни грохота снарядов, ни стонов, ни мертвецов, ни раненых. Казалось, что нет ни леса, ни неба, ни огромного мира, что есть только они, обнявшиеся под деревьями, их тела, прильнувшие друг к другу. И им казалось, будто это не два тела, а одно, слившееся: олицетворение всего, что в человеке есть прекрасного, доброго, великого...

26

Его гнали по дороге, за телегой, нагруженной мешками, ящиками, тряпьем и посудой. Над поклажей виднелись головы ребятишек, сидевших, как птенцы в гнезде. Он волей-неволей должен был слушать их плач, и ему в пору было умереть. Он был обезоружен, связан, волосы на непокрытой голове взлохматились, так что шедшие навстречу солдаты глазели на него, как на чучело. Ему мерещилось, что он парит в воздухе и вот-вот упадет на землю.

Никто не может ему помочь. Он знал, что нет на свете ни человека, ни зверя, ни чуда какого-нибудь, которые бы могли его спасти. Примирившись с судьбой, он плелся навстречу неизвестности. В конце концов после всего, что он перенес, ему нечего было бояться. Просто он хотел, чтобы эта мука, может быть последняя, кончилась поскорее...

Из козарских лесов по оврагам и склонам, как потоки, катились толпы людей, которых войско сгоняло к шоссе, в до-

лину. Людей становилось все больше, точно они валились с неба: землю сплошь закрыли кожухи, безрукавки, куртки, платья, фартуки, шали и платки, девичьи корсажи. Многие шли с узлами и, наверное, под тяжестью ноши спотыкались и падали, нарушая порядок в колонне. Солдаты подбегали к ним и грубо кричали, чтобы они догоняли остальных, и те, кто был покрепче, так и делали, ускоряя шаг в страхе перед карой. Но некоторые не в состоянии были подняться: они стояли, лежа на земле, глядя молящими глазами, просили смириться, причитали и заклинали:

- Добейте меня, если бога помпите...
- Сынок, благослови господь твою руку, стреляй...
- Благослови тебя бог, солдат, кончи мою муку...
- Не хочу жить, всю мою семью вы перебили...

Он слушал эти заклипания, и ему казалось, будто люди говорят не о смерти и гибели, а о торжествах — о крещении, о свадьбе, какой-нибудь славной годовщине или о деле, которое они должны безотлагательно сделать.

Солдаты подходили к ним и, не говоря ни слова, стреляли в их скорченные тела. Некоторые из солдат обращались к упавшим с последним предупреждением, устрашающе крича или срываясь на истерические вопли. Но люди лежали неподвижно, почти равнодушно ожидая конца.

Он не мог смотреть на это, но поневоле слышал и голоса и выстрелы, по всему склону до самых отрогов гор, откуда гнали все новые массы пленных. Теперь все подходы к шоссе, все тропы, лощины, дорожки были забиты людьми. Тут были сотни беженцев — мужчин и женщин; они понуро плелись следом за телегами, а то рядом с лошадьми или волами, с трудом вытаскивающими копыта из грязи.

Спускаясь к шоссе по крутому, заросшему кустарником склону, под которым желтело поле полегшего хлеба, напрасно ожидавшего жнецов (а прошел уже и петров день), он по знакомой шапке из козьего меха приметил Новака Бабича. Сначала он не поверил своим глазам, но это все-таки на самом деле был отец Лазара, сгорбленный и обессиленный, немой и неподвижный; он сидел на телеге, подперев голову ладонями. Неужели это тот самый старичок, который столько раз с волнением рассказывал о гайдуке Пеции и Голубе Бабице, утверждая, что с последним его связывают и родственные узы, ибо Новаковы предки родом из Черного Потока, откуда Голуб Бабиц выступил во главе повстанческих отрядов?

Телега Новака отстала, так что они поравнялись. Он увидел скорбное лицо старика, утонувшее в ладонях. Глаза их встре-

тились. Оба не могли промолвить ни слова. Он даже остановился, но конвоир пнул его в спину!

— Чего зазевался?

Он зашагал дальше, обернулся, снова стал и несколько секунд неотрывно глядел на сгорбленную фигуру старика. Ему показалось, что Новак Бабич только теперь понял, кто стоит перед ним, и не то собрался сказать ему что-то, не то махнул рукой. Затем все исчезло.

В колонне, приближавшейся к шоссе, он заметил еще несколько лиц, знакомых ему по восстанию. Увидел Даринку, жену Лазара: съездившаяся и безмолвная, она напоминала намокшую птицу. Рядом с ней шли сыновья Новак и Бошко, неся в руках узлы. Даницы с ними не было. Не было и бабки Симеуны, матери Лазара. Его взгляд задержался на мальчуганах в лохмотьях, Лазаровых сыновьях. Он долго смотрел на них с глубокой болью: знал, как им тяжело, а помочь ничем не мог.

Проходя мимо, он хотел сказать им что-нибудь, окликнуть, спросить, где остальные. Но не окликнул и не остановился.

Наконец они выбрались на шоссе. Оно было выщерблено, изуродовано выбоинами — следами разрывов и танковых гусениц.

Посреди дороги, перед воронкой, остановился грузовик с кузовом, набитым солдатами. Солдаты начали соскакивать. Они ругались и орали, вытаскивая заступы и лопаты, чтобы засыпать яму. Один солдат огрел лопатой пленного крестьянина, устало тащившегося мимо.

Только теперь, на крутом изгибе шоссе, он смог увидеть бесконечную череду женщин, мужчин и детей. Он разглядывал их спины, головы, плечи. Справа от Козары, спускаясь с пригорков, тянулись колонны людей, телег, скота, направляясь сюда, к шоссе. Казалось, они не торопятся. Двигутся медленно, шаг за шагом, точно приближаются к могиле. Можно было подумать, что они не идут, а стоят — статуи под открытым небом.

— Вон Крушковац, — сказал кто-то.

— А Дубица далеко?

— Нет. Час ходьбы.

— Там нас и прикончат...

По этой самой дороге, со стороны Приедора, думал он, валили в давние времена турецкие орды. В 1538 году, когда Хорватией правил бан Петар Кеглевич, здесь появился турок в чалме: копьё сверкало в лунном свете, а с седла свисали две окровавленные головы. Хорватские отряды ждали в засаде. Раздался выстрел. Турок упал, но за ним нахлынули дру-

гие, прорвались в Дубицу и захватили ее, а хорватские отряды бежали к Костайнице.

Он вспоминал то, что читал в книгах, и ему мерещилось, будто все это происходило не в те отдаленные времена, а теперь, сегодня, перед его глазами. Веками гибли люди под стенами маленьких замков, не стойвших и понюшки табаку. В 1565 году в небе появилась кровавая звезда: на Хорватию двинулся великий везир Мехмед-паша Соколович, нашего роду-племени. В 1566 году турки взяли Костайницу и Крпу на Уне. В Сигете был обезглавлен Никола Зриньский*. Сына его, Михайлу, турки захватили под Баня Лукой; в Чаковец прислали отрубленную голову хорватского бана. Хорват воювал за чужеземца, брат убивал брата. Перед церковью в Стубице Матия Губец** сдался в плен бану Алапичу, чтобы спасти жалкие остатки своего крестьянского войска. «Каждому отрежьте нос и левое ухо, пусть носят эту отметину на страх остальным», — приказал Алапич, а Губца повез в Загреб. Там рвали его тело раскаленными щипцами и в конце концов, живому — еще, надели на голову раскаленную корону...

Что такое история, как не рассказ о кровавой цепи расправ, смертей, слез и похорон?

С болью смотрел он на колонны пленных, тянувшиеся к северу, в направлении Дубицы, Уны и Савы. Веками гибли люди около этих городков и рек, повсюду, куда ступала нога солдата, но если кто-нибудь спросит себя, зачем это сделано, — вряд ли он сможет дать ответ. Убивали не задумываясь, так же как дышали. Люди рождались, чтобы погибнуть на поле битвы, не спрашивая себя, за что гибнут, так же как, не спрашивая, растет и погибает растение. И что самое странное — до сегодняшнего дня ничто не изменилось: люди рождаются и умирают, как и тогда, — без цели, подобно тому как идет снег и дует ветер...

Когда завиднелся город, в пыльном облаке перед Иваном встало лицо матери. Заплаканные глаза, испуганное лицо, полный тревоги взгляд: «Сынок, Иван, не играй со смертью! В какую пропасть ты катишься? Почему не успокоишься? Возьми книгу и учись — вот твое дело. Не вмешивайся в политику. Время настало страшное. Только безумцы могут

* Никола Зриньский (1620—1664), граф, бан Хорватии, Далмации и Славонии, крупный хорватский магнат, организатор борьбы против турецких вторжений, участник заговора против австрийского императорского дома. Вел переговоры с Людовиком XIV, ища у него поддержки.

** Губец Матия — вождь хорватско-словенского крестьянского восстания 1573 года.

думать о сопротивлении». Он, разумеется, не послушался, даже не задумался всерьез над ее советами, отбросил их с порога. К людям, которые боятся, надо относиться с состраданием, говорил он позже, не стесняясь причислить к ним и свою мать. Потом, от Йозо, узнал — она умерла. Это сразило его, особенно потому, что Йозо сказал, будто мать слегла из-за него, Ивана, убитая страхом и горем...

Сколько любви в слове матери, а дети не прислушиваются к нему, думал он, глядя на дорогу, по которой трясся и подсакивал грузовик, увозя его в Дубицу. Знаю, что меня убьют, вздохнул он. Комиссара в лагерь не погонят. Комиссаров всех растерзают или задушат и его тело бросят в Уну или в какую-нибудь яму...

Но что бы ни случилось, думал он, глядя на приближающиеся приземистые красные крыши городских домов, его ничто не застанет врасплох и не испугает. Его убьют, ничего другого он и не ждет. Смерть ничего не значит, а в этом случае похожа на избавление. Я не боюсь смерти, даже желаю ее, как Петр Зриньский, который перед казнью сказал палачам: «Вечно жив тот, кто погибнет честно». Смерть некоторых людей все-таки имела смысл, ибо становилась знаменем, указывала путь. Такой будет и моя смерть, думал он, убежденный, что боролся за честные и светлые цели и жил не напрасно.

Его бросили в кузов грузовика, и теперь по крайней мере не надо было идти пешком, спотыкаться, падать, подниматься и шагать, шагать по твердой дороге, как множество других, которые целыми днями идут, выбиваясь из сил. Теперь, сидя на досках кузова, он мог видеть лучше и дальше: взгляд его достигал горных отрогов, лесов, залитых солнцем. С глубокой болью прощался он с этими предгорьями и лесами, по которым без малого год ходил, улыбчивый и счастливый, с винтовкой за плечом. И это была самая прекрасная пора его жизни.

Потом он перевел взгляд на Анджелию, о которой чуть было не забыл. Она сидела связанная, как и он; волосы были растрепаны, белки глаз красны от усталости, лицо хмуро. С нее сняли ремень и оружие, и она осталась в немецкой солдатской форме, которую получила несколько месяцев назад, после нападения на поезд (когда дала по щеке тому партизану). Сердитая, вспыльчивая и резкая, какой она всегда была, она во время этой операции наткнулась на партизана, который снимал ботинки с взятого в плен солдата. Анджелия крикнула, чтоб он этого не делал, а вел пленного на сборный пункт. Вместо того чтобы подчиниться, партизан разозлился и обозвал ее усташкой. Анджелия подбежала и ударила его. Тогда он схватил винтовку и прицелился в Анджелию, но

Иван закричал: «Не стреляй, это руководитель СКМЮ!» Потом в отряде говорили, что Анджелии, чем работать с молодежью, лучше было бы командовать батальоном...

Не сносить бы ей головы, если бы не я, думал он, глядя на девушку, вызывавшую у него уважение и восхищение. Когда на войну идет мужчина, то, даже если он ведет себя героически, он при всем признании, которого заслуживает, только исполняет свой долг солдата. Но когда воевать идет женщина, да еще такая юная, почти девочка, школьница...

Ему вспомнилось собрание, на котором он, сидя рядом с Анджелией и малым, слушал, как крестьянские ребята говорят о борьбе и трудностях военной жизни. Один парень признался, что не любит почью в одиночку проходить мимо кладбища, так как боится мертвецов: «В детстве я часто слышал рассказы кума Богдана о покойниках, которые после захода солнца выходят из могил и шастают между крестов наподобие нечистой силы, пока не пропоят первые петухи. Я знаю, что это выдумка и ни бога, ни вурдалаков нет, но дьявол не дремлет, и каждый раз, как меня занесет на какое-нибудь кладбище, я начинаю озираться на кресты и памятники, точно вот-вот из могил вурдалаки и всякая нечисть полезет». — «Впятовка у тебя есть, пали в него», — заметил кто-то из ребят. «Да какой прок палить, — возразил первый. — Нечестивого пуля не берет. Кум Богдан рассказывал, как он выпул пистолет, спустил курок — и ничего, выстрела не было, потому что по вурдалаку оружие не бьет. Поэтому оборотня лучше не трогать, а обойти стороной, не оглядываясь, и ни в коем разе не бежать, потому что он кидается за теми, кто бежит». Тут Анджелия вскочила и схватила парня за грудки. «Да что ж ты это говоришь, товарищ? В нечистую силу веришь? Не покончил с религией? Разве скоевец может верить в бога?» Парень стал оправдываться, но напрасно. Анджелия прогнала его с собрания, а это значило, что его выгоняют из Союза коммунистической молодежи.

А как-то раз Анджелию укорили за то, что на ней новые сапоги, новые брюки и куртка. На ней все всегда было чисто, всегда она выглядела безупречно. «Одеваться таким манером — это мещанство, — сказали ей. — Это отрыв от масс». Не поняв, что товарищи шутят, истовая и ко всему относящаяся серьезно Анджелия взяла нож и изрезала сапоги, брюки и куртку, а потом залатала их старыми лоскутами и белыми нитками. Когда ее стали ругать за эту глупость, она вознегодовала: «Я же хотела стать ближе к массам. Изрезала сапоги и нашила заплаты на куртку, потому что большинство крестьян ходит в лохмотьях и заплатках, босиком или в драных опанках».

Иван посмотрел на Анджелию и улыбнулся ей. Она подняла голову и устремила сумрачный взгляд на далекие леса на горизонте, уверенная, что видит их в последний раз...

Грузовик катился под уклон. Впереди завиднелись крыши почерпелых от времени деревянных домишек. Это была Босанска Дубица, городок на Уне. Иван узнал ее южные улочки, которые зимой он с товарищами безуспешно атаковал. Городка они взять не смогли и вынуждены были отступить. Потом, на партийных курсах, Лазар, которому был задан вопрос, что такое диктатура пролетариата, сказал Словенцу: «Товарищ Словенец, лучше бы ты мне приказал, чтобы я прямо сейчас, один снова пошел на Дубицу; это бы полегче было, чем ответить на такой вопрос».

Здесь, у этих стен, побывала их рота. Да, здесь мы несколько раз переходили в атаку, пока не рассвело.

Он представлял себе, как грузовик остановится и их с Анджелией обступит толпа любопытных, таращась на них, как на какое-нибудь диво. Но грузовик не остановился. Он протарахтел по городу, по пыльной улочке с мечетью и кладбищем и сбавил скорость только перед въездом на мост через Уну. Доски моста хлопали, скрипели и прогибались под его колесами. Грузовик двигался медленно, чтобы не свалиться в воду. По обеим сторонам проезжей части вдоль перил из жердей стояли солдаты в зеленой форме, попеременно с вооруженными штатскими. Были тут и женщины и оборванные девишки, во все глаза глядевшие на грузовик.

Грузовик остановился.

На мосту кто-то кричал. Похоже, кого-то били. Кругом толпился народ. С грузовика невозможно было разглядеть, кого бьют, доносились только вопли и ругательства. Потом солдаты сбросили что-то в воду, не то мешок, не то бурдюк.

— Пять лет Козара вонять будет, — слышался чей-то голос. — Пять лет на Козаре смрад будет стоять от ваших трупов.

— Пятьсот лет будет шириться слава Козары, — раздался другой голос, и Иван понял, что это голос Анджелии, только когда увидел ее спину, выпрямленную, качнувшуюся над перилами. Она долго летела с высоты, от которой у него закружилась голова, и с всплеском вошла в воду.

Солдаты начали стрелять.

Голова Анджелии показалась на поверхности и слова ушла вглубь. Точно нырнула. Через несколько секунд она выплыла снова; солдаты усилили огонь, и тело снова исчезло.

На мосту начали кричать:

— Она уйдет по течению!.. Держи, держи!.. Уйдет!..

— Пусть себе в Сербию отправляется... Выдайте ей бесплатный билет до Белграда...

— Люди, да ведь она ушла...

Двое солдат ухватили Ивана под мышки и заставили сесть, и ему уже не было видно, что происходит под мостом. Стрельба прекратилась. Он слышал, как перекликаются солдаты, отдаются распоряжения, потом увидел, как двое солдат бежали по берегу, вдоль самой реки, то и дело нагибаясь к воде и высматривая что-то.

Грузовик тронулся и повез его через мост на северный берег, в Хорватскую Дубицу, о которой он много слышал. Этот городишко со своими хибарками внушал ему страх, так как он знал, что здесь творят суд и расправу палачи ф-ра-Августина и Муяги Лавочника.

Но грузовик, въехав на берег, не остановился; напротив, он даже увеличил скорость, так что стены глядящих с молчаливой враждебностью домов замелькали все стремительнее и живее, словно перегоняя друг друга и хлеща его по глазам.

Он с облегчением перевел дух, поняв, что в городе грузовик не остановится. Не зная, куда его везут, он тем не менее испытывал чувство, близкое к радости. Только бы не надумали пытать тут, в одной из этих воронок рядом с дорогой. Со всем близко пронеслись заросли лозняка, ольхи и еще какие-то кусты, торчавшие из высокой болотной травы, среди которой временами мелькали лужи.

Он подумал об Анджелии, утлившей по реке. Достали ли ее пули? А может, ее убили, когда она, связанная, летела с высоты; падая в воду спиной? Скорее всего она погибла. Плыть она не могла из-за связанных рук. Вода вынесет ее тело на илстый берег. Кто-нибудь, может, и предал бы его земле, но не посмеет из страха перед усташами; так оно и останется на берегу, в грязи, среди ивовых зарослей, чтобы вода его омывала, растаскивали собаки и клевали птицы...

Грузовик резко затормозил. Он увидел на дороге толпу людей. Услышал гомон, смех, шутовские выкрики. В нескольких метрах от грузовика стояла легковая машина. Из нее выскочил офицер, высокий, костистый, опаленный солнцем.

— Ребята, кого это вы связанного везете?

— Партизанского комиссара, полковник.

— Комиссара? — оживился полковник. — Как тебя зовут, комиссар?

— Полковник, докладываю, нам сказано, чтобы мы его отвезли на железнодорожную станцию Дубица. Это распоряжение подполковника Рудольфа.

— Приказываю вам отвезти его ко мне в штаб для допроса. Вместо станции отвезете... Видите вот то здание? Там мой штаб, туда и отвезете, ясно? — Тут он повернулся к Ивану. — Ну, скажешь, как тебя зовут, комиссар?

— Он хорват, полковник. Из Загреба.

— Хорват? — изумился полковник. — Знаешь ты, где настоящие хорваты? Настоящие хорваты — усташи.

— Усташи — предатели, — сказал комиссар.

— Эти слова тебе зачтутся.

— От предателя я другого и не жду.

— Мы еще посмотрим, кто предатель, — сердито бросил полковник.

Грузовик развернулся и повез Ивана назад, в Хорватскую Дубицу, мимо луж и болот с ивами, мимо кустарников, протянувшихся по дну корнями и сломанных веток с плавающими в воде прелыми листьями. Неужели здесь? — думал он, обшаривая глазами впадины, напоминавшие только что выкопанные могилы, ожидающие мертвецов.

— В подвал, — прозвучали чьи-то слова, но Иван не слушал их, приковавшись взглядом к болоту и лужам, в которых мокли узловатые стволы и сучья упавших деревьев. Он очутился в подвале, во мраке. Услышал, как поворачивается в замке ключ. Тьма была непроглядная. Он тщетно напрягал зрение, чтобы что-нибудь разглядеть. Не было видно ничего, кроме черноты.

Кто-то засмеялся. Ну конечно, перед дверью поставили часового. Кто-то выругался. Потом кто-то потоптался на месте, не отдаляясь от двери подвала; судя по звуку, это был человек в ботинках или сапогах с твердыми подошвами, под которыми хрустели прутья и скрипел гравий.

Неужели здесь он расстанется с жизнью — в такой вот тьме, в вонючем болотном окне, покрытом заплесневелыми листьями и гнилой травой, плавающей в воде, как пряди расплетенной косы? Расстанется с жизнью среди этих мрачных впадин, откуда и ворон-то спешит улететь, где зверь не живет и куда человек попадает не по своей охоте, а только когда вынужден или заброшен бедой?

Он ждал допроса, но его не было. Сидел, уставясь в подвальный мрак. Под ним была земля, сырая и холодная. Когда глаза привыкли к темноте, он заметил узкую полоску света, пробивавшегося сквозь трещину в двери. Он был один в небольшом помещении со стенами, сложенными из камня. В одном из углов он разглядел ушат, нащупал ручку, стукнул по обручу. Звук сказал ему, что внутри пусто.

Истомленный и отчаявшийся, он ждал допроса. Так и за-

дремал, без надежды, с уверенностью, что пришел его конец. Он повторял про себя слова, которые его успокаивали: я боролся не зря, не один я отдаю свою жизнь, нас много, мы должны победить...

Разбудила его возня у двери. Лязгнул замок, в подвал хлынул свет, от которого он точно ослеп. Ворвалась толпа солдат. Один схватил его за шиворот, другой вклепил затрепщину.

— Хорват, а бандит... Глаза ему вырву...

— Полегче, Степан... Надо его к полковнику отвести.

— Вперед, тучело...

— Глянь, Сульо, какой он — окоченевшее дерьмо...

Как ни странно, полковник недолго допрашивал его. И не бил. Только разглядывал. Стоял и разглядывал, не говоря ни слова, а потом объявил, что он приговорен к смерти и будет казнен. И это было все...

Его повезли по узкой улочке вдоль глинобитных и кирпичных стен. Окна были закрыты, а в домах точно все вымерло (было рано, совсем рано). Только изредка приоткрывался какой-нибудь ставень, из темноты комнаты с любопытством выглядывала чья-то голова и мигом исчезала, захлопывая зеленые створки.

Они снова выехали на шоссе. Ехали туда, к болотам. Он подумал, что его везут к какой-нибудь из этих илистых луж, чтобы пристукнуть или задушить, а тело бросить в воду. Но грузовик все не сворачивал с дороги. Так ехали долго, и ему начало казаться, что конвоиры забыли, куда отправились и кого везут. Они разговорились — перебрасывались шутками, брались, поддевали друг дружку, поминали женщин, о которых говорили в самом непристойном духе. Он не переставал изумляться, не в состоянии объяснить себе, куда его везут и почему не стреляют в него...

Навстречу часто попадались группы солдат. Встречались груженные с верхом крестьянские подводы. Судя по одежде, цвету и форме шляп, чакширам*, курткам, широким полотняным штанам и шапкам, это были крестьяне из околных сел, местные жители, а не пленные с Козары. Об этом говорили их лица — любопытные, оживленные и улыбающиеся. Это не были заложники, без сил и надежды.

Что бы они сказали, если бы узнали, что я хорват? Может быть, глаза мне вырвали?.. В самом деле, встал бы на мою сторону хоть один из них? Неужели никто не за-

* Крестьянские штаны из домотканой шерстяной материи, широкие наверху и плотно облегающие икры.

щитил бы меня? Неужели душа моего народа и вправду затмилась?

Снова он видел колонны крестьян — мужчин и женщин, но по их одежде и их походке сразу было видно, что это не местные. Это были угасшие, убитые, мертвые колонны. Понурые и изможденные мужчины и женщины брели под конвоем на север, к Саве, навстречу неизвестности. Их лиц он не видел. Видел только сгорбленные спины, плечи, затылки, жалкие, заросшие шеи. Они плелись рядом с телегами, придерживаясь за грядки, валялись на обочины и кричали под сыпавшимися на них ударами. Некоторые несли на руках детей и пытались увернуться от конвойных, колотивших их по спинам...

Это были угасшие, убитые, мертвые колонны людей, схваченных в селах и лесах и гонимых на север, к Саве. Эти самые руки, теперь обессиленные, пустые и желтые, когда-то кормили его хлебом. Эти губы, голодные, пересохшие и онемевшие, когда-то встречали его улыбкой и звонкой речью. Он благодарил их, красноречивый, быстрый, полный признательности, говоря о свободе и лучших днях, которые должны прийти, хотя бы и через трупы, если другого пути нет. И вдруг все нарушилось, перевернулось, рухнуло. Его участь смягчена только тем, что теперь, в этот час, он смотрит им в спину, тем, что не приходится смотреть им в лицо, в глаза, которые наверняка узнали бы его. Так лучше всего: миновать их глухо, тихо, немо, узником, минуты которого сочтены.

Но измученные колонны как будто останавливаются. По опушкам вдоль дороги во все стороны разбредаются кучки мужчин и женщин. Останавливаются и садятся, не идут дальше. Около них — солдаты с винтовками.

— Воды, воды... Умираем от жажды... Братцы, дайте воды...

— Подохни, скотина, пададь...

— Братцы, воды...

— Вот тебе, пей! — кричит солдат, и раздается выстрел. Человек падает на землю и затихает. Больше не просит воды.

Люди заполняют всю равнину. Рассеявшись по полю, они со стоном опускаются на траву; одни тихонько плачут, другие каменно молчат и смотрят в небо.

Сгущаются тучи. В довершение всех бед тут, как и во время боев, начинается дождь. Отвратительный, никого не щадящий, свирепый дождь. Крупные капли, подхлестываемые ветром и смешанные с пылью, поднятой с полей и дорог, больно бьют людей, налетая с севера. Свирепый, беспощадный, отвратительный дождь.

Грузовик остановился.

Иван увидел полковника. Потом, слева от дороги, — высокие столбы с веревками, которые оканчивались петлями. Рядом со столбами, под самыми петлями стояли пленные — с непокрытыми головами, связанные, в военных гимнастерках и крестьянских куртках. Лица были изуродованы и окровавлены. Знакомых лиц он не увидел. Хотел их пересчитать, остановился на мгновение, но конвоир подтолкнул его:

— Вперед, чучело... Шагай туда...

Одно место под столбом, с которого свисала веревка, было свободно. Только тогда он окончательно понял, что его ждет виселица.

— Все готово? — деловито спросил Франчевич.

Усташи подтвердили, что все готово.

Франчевич начал говорить о схваченных. Назвал их зачинщиками и объявил, что они приговорены к смерти через повешение.

Внезапно, словно сквозь дыру в небе, хлынул ливень. Люди сбились в кучу, женщин забила дрожь. Кто-то зарыдал, плач пошел по всей толпе. Закричали дети. Полосуемые дождем, засуетились солдаты.

Тихо стояли только люди под виселицами, точно не замечавшие ни дождя, ни палачей. Они были неподвижны и немые, как столбы, на которых им суждено было повиснуть. Хотя над их головами раскачивались петли, а за спиной стояли солдаты с винтовками, они казались невозмутимыми, крепкими и недвижимыми, точно были вкопаны в землю.

Слушая полковника Франчевича, слова которого мешались с шумом дождя и ветра, Иван Хорват вспоминал свою мать. Если бы можно было хоть раз ее увидеть, сказать, почему он не послушал ее, почему должен был уйти и ради чего ушел туда, куда ушло столько других, оставляя своих близких и жертвуя своей молодостью, своей лучшей порой, своей жизнью...

Хорваты вешают меня, мама, но они — не хорваты. Хорват — это я, а не они. Они предатели. Они не имеют права носить имя своего народа. Хорватский народ представляем мы, в лесах, в отрядах. Эти люди вокруг меня, мама...

Мысль прервалась: на шею ему надевали петлю. Он хотел сам опустить ее пониже, но не мог, так как руки были связаны; он только дернул головой, как птица, которая хочет взлететь, но крылья ее подрезаны. В последнюю секунду он хотел сам надеть петлю на шею, дернулся головой и руками — птица хотела взлететь, хотя крылья были подрезаны...

Он снова вошел в реку. Снимать ботинки, расстегивать ремень и стаскивать форму времени не было. Он только вынул из кобуры револьвер и поднял его высоко над головой, чтобы не замочить. Снова он переходил вброд Сану, мутную и полную водоворотов; вода местами доходила ему до подмышек и выше, до плеч и подбородка.

Позади барахтался малый. Одной рукой он держался за дынину куртку, в другой держал поднятый над головой карабин.

— Дядя, собьет нас течением...

Он не слушал. Не запрещал называть себя дядей, не старался стряхнуть с себя его руку. Всеми своими помыслами он был устремлен вперед, только вперед, к противоположному, правому берегу Саны, на котором он был десять дней назад, когда пришлось бежать сюда, к Грмечу. Тогда они перешли реку и попытались прорваться в Руишку, но противник опередил их, перерезал путь к отступлению и разделил их силы на две половины: одна часть отошла с Обрадом в Подгрмеч, а другая, во главе с Жарко, осталась между Саной и новым неприятельским кольцом, между Приедором и рекой Уной, заняв села от Любии и Сухачи до Япры и Новской горы. Здесь они отсиживались несколько дней, пока противник не обнаружил их и не погнался по направлению к Сане. Но они и сами собирались двинуться сюда, так как пройти к Грмечу было невозможно. Поэтому они не сопротивлялись, даже уклонялись от боя и только время от времени вступали в перестрелку с преследователями, заматавая след.

— Вот мы и снова на козарской земле, — мокрый и грязный, но сияющий, как человек, к которому в самый тяжелый час вернулась надежда, он ступил на правый берег.

— Дядя, мы в Деветки пойдем?

— Помолчи, — и он стал считать людей, которые выходили из воды, стаскивали башмаки и выливали из них воду. От могучего отряда, которым он гордился, от роты, пасчитывавшей двести двадцать бойцов, осталось всего пятьдесят человек. Да и пятидесяти не будет. Небритые и изможденные, с утасшими глазами, подавленные постоянным страхом и ожиданием новых наскоков врага, они больше походили на привидения, чем на бойцов. Но они были вместе, и это было важнее всего. Кроме троих отставших, которые, может быть, и не дезертировали, а заболели дорогой и остались в селе, ища там лекарства и спасения, все, похоже, держалось хорошо.

Казалось, что они способны даже выдержать новые испытания. Он видел это по выражению их лиц, прежде судорожно пахмуренных и мрачных, а теперь оживившихся от прикосновения к родной земле. Дух бойцов поднимался, вера возвращалась. Это была новая сила, родившаяся в беде, когда казалось, что все потеряно.

— А вот и Матильда! — воскликнул кто-то.

— Жива? — спросил он девушку. Волосы ее прилипли ко лбу, мокрая юбочка облепила бедра.

— Жива, — ответила Матильда.

— Рада, что возвращаемся на Козару?

— Не поверни мы сюда, я бы дезертировала, — сказала Матильда. — Одна бы пошла на Козару искать Ивана... Скоро мы туда пойдем?

— Потерпи, — урезонил он ее. — Там посмотрим.

— Ты уж сколько дней так говоришь, — приуныла Матильда.

— Главное, что мы добрались до своей земли... Люди, да не Лепосава ли это?

Она выходила из воды, одергивая подол рубахи, которая поднялась выше колен, открывая белизну ног.

— Заплатят они мне за это, — сказала Лепосава, сверкая глазами. — Первого же пленного отдайте мне, я его сама судить буду. Убивать их буду, как собак, чтоб мне здоровой не быть...

— Это Баялица? Зовите его сюда.

— Сюда, сюда! — кричали бойцы молчаливому парню, выжимавшему свою одежду. — Командир тебя зовет.

— Жив, приятель?

— Да вроде, — отвечал приятель. — Попал в водоворот и еле vyplыл. Если бы не взводный Мнич...

— А Жарко где?

— Не знаю, — сказал Баялица. — Куда мы теперь?

— Как можно скорее через железную дорогу, — ответил Лазар, как будто только теперь спохватившись, что рота его находится всего в сотне метров от железной дороги, на которой мог появиться бронепоезд.

— Скорей, скорей! — шагал он вновь по козарской земле, которая теперь, когда по ней ступали его башмачищи, казалась более твердой, прочной и надежной, чем та, оставшаяся за рекой, грозившая постоянной опасностью. Это наши села, думал он, видя взглядом по Петковацу, Сводной, Ахметовацам, отдельные дома которых виднелись между холмами. Все это партизанское, родина наша, хоть и обращенная в пепел. Как-

то там моя, мать моя родная? Оставил их на Млечанице с беженцами, оттуда только Джюрадж и выбрался. Лазар закинул голову, разглядывая опустошенные пожаром дворы, разбросанные по высоким склонам.

— Я бы тут устроил привал, — сказал Баялица после того, как они быстро перевалили через железнодорожное полотно и добрались до горы, заросшей кустарником, буком и дубами.

— Я так и думал, — ответил Лазар. — Дождемся здесь остальных рот и штаба батальона.

— Если штаб еще существует...

— Не знаю, существует ли штаб, но Жарко существует, а этого достаточно... Пока он есть, я ничего не боюсь... Садись и давай сушиться. Тише вы там... Без приказа никому не расходиться.

— А есть что будем, командир? — спросил кашевар, озабоченный более других, зная по опыту, что бойцы, как только отдохнут и высушат одежку, сразу начнут жаловаться на голод. И если обеда или ужина не окажется, виноват будет он, кашевар, на которого обрушатся и командир с комиссаром, не думая о том, что он тоже устал и проголодался, пройдя столько же, сколько и они. — Что на ужин дадим, командир?

— Это твоя забота.

— В запасе ничего нет.

— Нет, так сообрази что-нибудь, достань.

— У кого?

— Сам знаешь, у кого, — рассеянно ответил командир. Он смотрел на проходившую мимо полуодетую Лепосаву. Мать честная, вот это задница; он не мог оторвать взгляда от женщины, которую знал уже двадцать лет и которая всегда манила его, а в ту ночь, в конюшне на сене, наконец, бросилась в его объятия, когда он подкрался к ней в темноте...

— У кого же я достану, братцы мои? — сокрушался кашевар, румяный и пухлощекий. Он умел выбрать себе лучший кусок мяса, пирога, ломоть сыра или хлеба, да и ракия у него не переводилась во фляжке, о которой он говорил, будто бережет ее для товарищей из штаба или для раненых, а на самом деле потихоньку отпивал из нее сам, когда ему приходила охота.

— Иди, ищи по селам.

— А если не найду?.. Или если найду, а крестьяне не дадут?

— Дадут крестьяне, — возразил командир. — Только попроси получше.

— И объясни им, — добавил Баялица.

— А можно мне отобрать силой или убить кого, если не будут давать?

— Нельзя, — запретил Баялица. — Если это сделаешь, расстреляем.

— Что ж мне делать, братцы мои? — причитал кашевар, оглядывая лес, точно в ожидании того, что оттуда вот-вот появится стадо овец или коров.

— Вон Жарко! — воскликнул Лазар.

Он подбежал к командиру батальона и отрапортовал ему о положении роты. Жарко сказал, что через реку перешло еще шесть рот. Сборный пункт на горе, у Грабашницы. Казалось, все беды позади: сохранено ядро партизанской живой силы, а это залог того, что Козарский отряд вскоре возродится и ударит по неприятелю.

— Штаб батальона будет в Стойницах, — сказал Жарко, сидя в седле. На коне он выглядел выше, сильнее, увереннее, как настоящий полководец.

Несколько дней партизаны отдыхали по деревням: спали, сушили одежду, мыли ноги, перевязывали раны, брились, били вшей, резали мясо, пироги и сыр, пили ракию и утепали жепцин, которые одолевали их сначала слезами, а потом улыбками.

Наконец-то и Лазар побрился и, будто камень свалив с плеч, отправился на пустое пепелище родительского дома. Там пахло горелым навозом, стояли мутные от пзвести лужицы, напоминавшие черную кровь. Во дворе выгорела даже трава. Пламя, видно, было такое, что добралось до частокола и опалило стволы яблонь и слив, ветки которых со свернувшимися листьями жалобно устремлялись к небу, как култыпки безрукого. Лазара преследовал запах гари, тяжелый и кислый, хотя ветер давно разогнал его, а дождь смыл. Он вздохнул и понуро пошел прочь, думая о мщении, ибо теперь уже явственно почувствовал, что семья его домой не вернется: если бы они были живы, то выбрались бы вместе с другими, уже начавшими подымать рухнувшие кровли и разводить огонь в угасших очагах. Он шагал, полный горечи и тоски, с судорогой в горле и подступающими слезами, и в нем все увереннее крепла мысль о том, как страшно он отомстит за дом и родителей, если они не вернутся.

После этого ему часто стали сниться жена и дети. И каждый раз его охватывала такая радость, что он тотчас со счастливым вскриком просыпался, вскакивал и убеждался, что это лишь сон. Снова вздыхал он, подавляя боль; часами ворочался и метался, не в состоянии заснуть.

В это время он с отчаяния стал все чаще думать о Лео-

саве, которая маячила перед его глазами как единственная утеха и надежда. Если с моими, не дай боже, что случилось, то не останется у меня ничего, кроме Джюраджа и этой женщины. Он искал ее взгляда и встречал этот взгляд, всегда ласковый и лучезарный. Но они должны были скрывать свою тайну, на людях следить за каждым своим движением и словом. О свиданиях улаживались днем, украдкой. Встречались в темноте, когда остальные спали, в рощах и конюшнях, в сене и на кучах палого листа. Прячась от чужих взглядов, она ловко выбиралась из ротного лагеря, а он подстерегал случай пойти за ней и догнать ее в кустах.

Если об этом узнают, плохо дело: что скажут люди? — спрашивал он себя каждый раз, когда возвращался из леса. И ему казалось, что никогда больше не пойдет он к тому раскидистому, ветвистому дубу, окруженному зарослями папоротника, под которым ждала его Лепосава. Но уже на следующий вечер забывал о своем решении и снова украдкой уходил в темноту.

Когда они вошли в село Пастирево, с восточной стороны начался артиллерийский обстрел. Снаряды рвались в лесу, среди оврагов и пригорков. От Кривой Реки, Читлука и Подбурджан наступали войска, прочесывавшие местность. Разведчики донесли, что густые цепи пехоты приближаются к Стриговацким лесам, но движутся медленно, видимо, из-за того, что тщательно обыскивают села.

Как-то днем, когда они отлеживались на полянке под буками, подошла женщина с торбой за плечами. Она искала малого; найдя его и расцеловав с полными слез глазами, протянула ему торбу, и он достал пирог, сыр, жареного цыпленка, бутылку ракии и пригоршню орехов.

— Лазар, — говорила тем временем Стана командиру, — присмотри, Христа ради, за малым. Зеленый он, глупый, может того и гляди головы лишиться. Побереги его, Христа ради, не давай стрелять в пленных и снимать одежду с убитых, грешно брать у мертвого... А ты, молокосос, — обратилась она к сыну, — смотри, куда идешь и на что ступаешь, первый не суйся и последним не будь. Иди в середке, где народу больше. Слушай дядю во всем, а если беда какая, схватись за его куртку и не выпускай: иди за ним и держись за него, а там что бог даст...

— А если в меня пуля попадет? — спросил Лазар.

— Упаси бог, Лазар, — замахала руками Стана и, не зная, что еще сказать, стала вынимать из торбы гостинцы и раздавать бойцам. Потом она затихла и немо смотрела на сына, точно глядя на него в последний раз и навсегда с ним

прощаясь. По ее глазам, по слезам, которые она старалась удержать и скрыть, по скорбному выражению ее лица, по горестно сведенным бровям и судорожно сжатому рту видно было, как ей тяжело. Она долго стояла и молчала, точно ожидая кого-то, кто никогда не придет, потом вздохнула и тихо сказала:

— Ну, я пошла, пора уж... С богом, дети...

— Малый, проводи мать, — велел Лазар.

— С богом, и берегите себя, детки мои, — обернулась Стана, остановилась и печально поглядела на сына, которого подхватил вихрь войны и вот носит его, кувыркает и бросает, играя им так же, как играет столькими другими людьми и целыми народами.

— Ушла она? — спросил Лазар, удивленный слишком быстрым возвращением малого. Тот побоялся, как бы не пошли разговоры о том, что он долго прощался с матерью. — Сказал ты ей о письме?

— О каком письме?

— Сам знаешь, — Лазар с трудом сдержал улыбку, как и на том собрании, на котором Баялица рассказал о письме.

Малый написал Матильде, в которую влюбился. Он открывал ей свои чувства и страдания, умолял прийти на свидание: «Дорогая Матильда, я тебя люблю и не могу жить без тебя. Если и ты меня любишь, приходи сегодня вечером к источнику, под тот развесистый бук. Если бы у меня были часы, я бы назначил тебе точное время, а так приходи, как только зайдет солнце, то есть в первые сумерки». Изумленная этим посланием, недоумевая, почему малый не объяснился с ней на словах, Матильда решила, что все это подстроено для того, чтобы испытать ее и, если она придет на свидание, может быть, даже и расстрелять. Поэтому она побежала с письмом к Баялице: «Неужели вы думаете, что я пошла в лес для того, чтобы кружить головы парням?» Баялица прочел письмо и сразу созвал собрание, на котором завели длинный разговор о морали и о поведении в отряде. Малый признался, что письмо написано им. Его подвергли жестокой критике и «поставили па вид». Спустя некоторое время Лазар его спросил, зачем он писал Матильде и почему не поговорил с ней с глазу на глаз. «Потому что мне было стыдно ей это говорить», ответил тот, сконфуженный и растерянный вконец.

— Вон она, — сказал Лазар.

— Пусть ее черти заберут, — пробормотал малый и ушел в другую сторону, к лесу. Он стал сторониться Матильды, чувствуя, что ему легче провалиться сквозь землю, чем посмотреть ей в глаза.

Вечером они двинулись к Кривой Реке, так как противник подошел к ним на опасно близкое расстояние. Судя по кострам, горевшим вдоль холмов на востоке, от севера до юга, к ним приближался фронт, перешагнувший через Козару и теперь возвращавшийся к Уне. Неужели это весь фронт? Неужели противник не удовлетворился тем, чего уже достиг?

Было решено пробраться на Козару скрытно, без боев и стрельбы: незамеченными пройти между окопами противника, перейти через линию фронта и углубиться в лес. Разделились на две колонны; одна двинулась прямо, через Кривую Реку, держа направление на Дубицкое шоссе, а вторая пошла севернее, через Чптлук к Белайцам.

Лунный свет, похожий на туман, заливал все в эту летнюю ночь; их было видно как днем. Освещенные луной вершины вздымались вокруг, различные не хуже, чем в сумерки. По земле ползли тени. Партизанам приходилось двигаться вдоль полей, используя как прикрытие живые изгороди и деревья, прячась в их тени. Шаг за шагом, на цыпочках, как шпионы.

— Дядя, слышишь? Кто-то кашляет. Это наш боковой патруль?

— Молчи, дурень... Передай по колонне: идти на цыпочках. До противника сто метров.

Он шел в голове колонны, которая тянулась вдоль извилистого берега речки, прячась в тени. Полутьма, царившая под кронами прибрежных деревьев, скрывала их от глаз противника, но цепочка костров, рассыпавшихся по высоким склонам, вызывала беспокойство. Они приближались к этим кострам, поджидавшим их, как и дула винтовок. Надо было прокрасться между этими кострами, может быть, через огонь и через смерть...

Шуршит песок на берегу — камешки скатываются к воде.

Время от времени раздается ржание коня, на которого навьючены котел и тяжелое оружие.

— Тихо... На цыпочках...

— Дядя, кто это? Видишь?

— Вижу... Молчи... Тихо... Пусти куртку...

— Не пуцу... Что мать говорила?.. — Малый держался за его куртку и на цыпочках семенил за ним.

— Стой... Кто идет?

— Войско, — процедил Лазар.

— Чье войско?

— Не спрашивай, — скрежетнул Лазар, — а дай пройти. Шевельнешься — голова долой...

Часовой посторонился, опустив приклад винтовки к ноге.

При свете луны казалось, что он дрожит, надувается и растет, как мыльный пузырь. Он припал к кусту и безмолвно стоял, пропуская пришельцев на мостик, который охранял. Они сгруппировались у входа на мост. Их было много. Мостик скрипел. Только теперь часовой разглядел длинную колонну, растянувшуюся больше чем на километр и выходящую из тыла, из ночи.

На другом конце моста кто-то кашлянул; послышался скрип песка под башмаками. Шаги удалялись вверх по склону, все более частые. Раздался приглушенный оклик, точно кто-то заблудился и ищет выхода из мрака.

— Дядя, это наше боевое охранение?

— Тихо... Замыкающим подтянуться...

Он поспешно взбирался по тропинке, с примкнутым штыком на винтовке, взятой наперевес. Штык поблескивал в лунном свете. Высокий, голенастый, широкоплечий, черный и решительный, он походил на ствол дерева, вдруг оживший и устремившийся вперед. Малому мерещилось, будто они по трупам шагают навстречу смерти.

— Дядя, что это?

— Пулеметное гнездо... Спят...

— Куда мы?

— За мной...

Он метнулся вправо; под ногами зашуршали палые листья. Потом свернул влево и полез прямо через живую изгородь, раздвинув кусты и колючки и сделав таким образом проход. Выбравшись из кустов, он огляделся. Местность выглядела мирно, окопов не было видно; метрах в тридцати от них полыхал костер, чуть дальше справа — второй.

— Замыкающим подтянуться! Быстрее!

— Дядя, это пулемет? Что мы будем делать, если они нас заметят?

— Тихе... Скорее подтягивайтесь...

Он огромными шагами рванулся вперед. Если нас обнаружат, подумал он, то рассекут колонну пополам и уничтожат. Скорей, скорей, хотел он сказать, но уже неся, подгоняемый страхом, в долину, окаймленную виднеющейся вдали темной полосой леса, зубцы которого прорисовывались на фоне неба. Пекишен Гай? Если доберемся до Пекшена Гая, то там будет море по колено. Только бы не отрезали арьергард. Долговязый, он неся громадными скачками, не отрывая глаз от Пекшена Гая. Теперь он уже не стыдился бежать — за ним валило без малого пять сотен партизан, и ему представлялось, будто все они подгоняют его: «Живей, Лазар, живей, а то колонну заметят и рассекут пополам...» Первый раз он признался себе без

угрызений совести, что бежит, ибо так нужно; другого выхода нет.

— Позади неприятельская конница, — передали по цепочке.

— Кто видел конницу? — обернулся он к малому, который топал за ним по пятам, не выпуская из рук его куртку.

— Конница позади, конница позади...

— Пустишь ты меня когда-нибудь?

— Не пушу... Знаешь ведь, что мать говорила...

— Неприятельская конница позади...

Что нужно делать, если неприятельская конница нападет с тыла? — вспомнил он слова командира Жарко, который говорил как-то раз об этом: примкнуть штыки, налево кругом, приклады в землю, встань на одно колено и принимай копей на штык.

— Слышите вы, дьяволы глухие, что нас конница атакует с тыла? — нагнал их комиссар второй роты, испуганный и задыхающийся. — Я своими глазами лошадей видел.

— Ну и что из того? — рявкнул Лазар. — Не деморализуй мне бойцов.

— У меня двенадцать пулеметов, — сказал Станич, командир Ударной роты. — Встречу конницу, хоть бы это мне и головы стоило. Ударники, за мной...

— Рота, налево кругом! — скомандовал Лазар. — Примкнуть штыки! Разомкнуться в цепь... Без команды не стрелять, — он, пригнувшись, зашагал обратно, слыша позади лязганье штыков.

Комиссар второй роты оторопело застыл на месте. Он ожидал всего, только не возвращения в пасть врага. Зачем они повернули назад? С ума сошли, что ли? Ведь надо было без промедления двигаться к Пекшену Гаю!

Скоро, озаренные луной, показались первые всадники. Они двигались по полю, а малому померещилось, будто они стоят, отделенные друг от друга расстоянием метров в десять.

— Дядя, а мне что делать?

— Стать на колено! — крикнул дядя, недоумевая, как и малый, почему кавалеристы едут тихо, вместо того чтобы скакать во весь опор. Они неспешно трусили по полю, да и было их немного. Лазар пересчитал копей и просто не мог поверить, что их всего семь.

— Стой... Кто идет?

— Братцы, это вы?

— Мы... А вы кто?

— Кашевары... отбились от своих...

— Из какого батальона?

— Из первого... Жаркова...

— Живей, чтоб вас черти ели! — крикнул Лазар. — Как это вы отбились? Где отстали?

— На мостике, — наперебой стали объяснять кашевары, — копи не могли пройти по мостику, узок он, и нам пришлось вброд идти, а пока мы брод отыскали, вас и след простыл...

— В строй! — рявкнул Лазар.

— Что это происходит, чего вы остановились?

Лазар узнал Жарко, командира батальона, и крикнул:

— Рота, за мной! В колонну по одному! Во всем виноват этот засранец из второй роты... А насчет храбрости потрепать-ся любим.

На рассвете они вышли к Дубицкому шоссе. Еще задолго до того, как подойти к нему, они приняли все меры предосторожности, но шоссе оказалось безлюдным; только следы колес и гусениц остались на нем, как метки. Из придорожного кустарника и высоких хлебов доносился смрад. Это трупы, это падалью пахнет, подумал Лазар, перебегая дорогу с омерзительным ощущением, что его в засаде подстерегает верная смерть.

— Живей через дорогу, — услышал он голос Жарко, стоявшего, широко расставив ноги, с автоматом в руках. Лазар всегда любил его видеть в момент опасности.

— Через дорогу в лесок... Ложись... Танки...

Два чудовища прогромыхали мимо, земля под ними дрожала.

— Куда мы?

— Туда, — сказал Жарко, указывая на обрывистый склон по ту сторону дороги.

— На Козару, — добавил Лазар.

— Это Погледжево?

— Да... А справа Патрия.

— Проведи нас между Патрией и Погледжевом, но только прямо, без лишнего плутания. Хватит с меня этого.

— Товарищ командир батальона, на той вершине — неприятель.

— Веди нас прямо, хоть бы и на неприятеля, — стоял на своем командир. — Находился всласть.

— А каково мне с моим плоскостопием? — засмеялся малый, подымая отяжелевшую ногу. Подошвы болели, как будто их кто ножом резал.

Колонна двинулась по узкой долине.

Луга не скошены, хлеба полегли. Где-то хрюкают свиньи и мычат коровы. Малый увидел среди стеблей кукурузы поросенка: сытый, он лениво объедал молодой початок, из зерен которого вытекал млечный сок. Поросенок уже не мог есть:

пожевав зерна, он выплевывал их, словно с отвращением, бросал початок и шел к другому стеблю, обнюхивал его и принимался за молодой побег, думая, что он окажется вкуснее и слаще. Живя долгое время без хозяина, поросенок, наверно, отичал. Увидев малого, он хрюкнул, уставился на него, потом отскочил и исчез в кукурузе.

Из чьего-то двора вылетела, отчаянно кудача и трепеща крыльями, курица, но, увидев войско, повернула назад. Откуда-то вынесло и рыжего теленка с раздутым, видимо, от переедания брюхом: он замер на месте, облизнулся и зажевал жвачку, отгоняя хвостом мух и слепней.

Молчаливо зияли распахнутые ворота хлевов. Чернели окна с выбитыми стеклами; чудом держались обгорелые стропила с уцелевшей кое-где черепицей. С несжатого поля доносится рычание и лай собак, сбившихся в кучу, мотаются хвосты и сверкают хищные зубы. Должно быть, сцепились из-за какой-нибудь падали.

— Дядя, вон сливы! — малый кинулся в сад.

— Не нарушай строй! — крикнул ему вслед дядя, но на дерево лезть не запретил.

Малый живо вскарабкался по стволу, нарвал пригоршню слив и набил ими рот, не обращая внимания на попавшие вместе с ними листочки. Обобрать сливы как следует было некогда. Он отломил целую ветку, обвешанную зрелыми плодами, соскочил с дерева и пустился догонять колонну. Товарищи окружили его, как овцы, объедающие куст, со всех сторон к ветке потянулись руки, и партизаны начали торопливо жевать сливы вместе с оторванными в спешке листьями.

— Не нарушать строй... Колонне подтянуться...

— Передай по цепочке: командира вперед!

— Кто это стреляет, мать его за ногу?

Грянул залп, и колонна легла в пшеницу. Слева из-за оврага с высоты застрекотал пулемет, и спустя некоторое время на пшеничное поле высыпали, яростно вопя, какие-то люди в черном. Это были солдаты. Они бежали, крича, почти воя, но, когда по команде Жарко их встретили дружным огнем, солдаты заколебались, одни попадали, другие, пригнувшись, пустились наутек. Тут на левом фланге, на самой опушке леса, оглушительно загремело: открыли огонь пулеметы с разрывными пулями, которые грохотали дважды — вылетая из дула и ударяясь обо что-нибудь. Малому показалось, что они окружены, так как впереди строчили пулеметы, а позади, в хлебах, в кустарнике, в живых изгородях, с треском взрывались пули.

Левый фланг партизан, напорвшийся на пулеметы, начал

скатываться в долину, топча зрелые желтые овсы. Взводный Минч бесновался, стараясь удержать бегущих. Кто-то вскрикнул. Славко Глигич, проводник, упал раненым, а Марко Гарача, сваленный пулей в высокую траву, стал звать на помощь. Погиб Гойко Згонянин. Драгутина Ивановича живым схватили солдаты, пересекшие поле и смешавшиеся с партизанами. Сапитарка Мара, жена комиссара второй роты, на бегу сняла с себя ранец и стала просить малого помести его. Тот отказался, вспомнив жареного цыпленка, которого Мара три дня назад вынула из этого самого ранца и съела пополам с мужем и не подумав угостить малого.

— В овраг, под обрыв! — кричал Жарко. — Не бежать, дьяволы окаянные!.. В овраг, под обрыв!.. Стреляй!..

— Ударная рота, в атаку! — крикнул командир Стапич, рвавшийся в бой.

Противник начал отходить к окопам, из которых выскочил незадолго перед тем. Но когда грянули гранаты Станичевых ударников, впереди которых поспешал он сам, солдаты побежали и из окопов, рассыпавшись по полю.

— А ну, давай навались...

— Вперед, Козара!.. Бей их!..

— Вперед, братья, победа за нами! — затынул параспев пемного захмелевший Перо Босанчич, умудрившийся хлебнуть где-то сливовицы.

— Где это он ракию раздобыл, чертов проныра?

— Что это, люди? Что там творится?

На правом фланге, где сражалась рота Лазара Бабича, противник не отходил, а, наоборот, жал все сильнее. Солдаты падали в густую пшеницу, которая закрывала их. Убиты они? Останутся ли лежать, пока их не отыщут собаки и вороны? Одни лежали среди колосьев, другие вскакивали, бежали на партизан, спотыкались, падали и кричали, но в конце концов и они остановились и, не пытаясь зацепиться за окопы, пустились бежать вслед за своими по направлению к Дубице, на север.

— У нас шестеро убитых, двенадцать раненых и двое без вести пропавших, — сказал Жарко на вершине холма, в тишине сине-зеленого леса, через который все тропы вели на Козару.

— И двое пленных есть, — добавил Лазар.

— Где? — спросил Жарко.

— Да воп у Перо Босанчича.

— Как бы не прикончил их Перо, — сказал Жарко. — Приведите их сюда.

— Один усташ, а другой немец.

- Какой немец? Разве тут были и немцы?
- Да один какой-то немчик, офицер.
- Сейчас же ведите их сюда, — приказал командир батальона.

**БЕСЕДА ПОСЛА РУШИМОВИЧА С КАРДИНАЛОМ
ТИССЕРАНОМ, ПАПСКИМ ЛЕГАТОМ НА БАЛКАНАХ
(РИМ, 1942 ГОД)**

Тиссеран: Я француз, но уже 23 года живу в Риме. Как вы хотите говорить: по-французски или по-итальянски?

Рушимович: Лучше по-итальянски, ваше преосвященство.

Тиссеран: Откуда вы родом, синьор?

Рушимович: Из Далмации.

Тиссеран: Как же вы, далматинец, можете представлять Хорватию? Есть ли еще такие случаи в вашей общественной и политической жизни?

Рушимович: Ваше преосвященство, я вас не понимаю...

Тиссеран: Дело в том, что итальянцы утверждают, будто Далмация принадлежит им и что ее населяют итальянцы. Это верно?

Рушимович: Ваше преосвященство, в Далмации, кроме незначительного количества итальянцев, живут только хорваты.

Тиссеран: Но как же это случилось, что ваши большие друзья и союзники итальянцы отобрали у вас Далмацию? И это вы называете независимостью? Но разве вы не делаете все, чего хотят немцы, как это делают другие поработанные народы Европы? Разве это можно назвать свободой?

Рушимович: Простите, ваше преосвященство, но здесь я бы не согласился с вами. Хорватия имеет свои границы, своего главу государства, свое правительство, свою армию, свои дипломатические представительства. Мы вводим в нашем отечестве порядки, отвечающие духу и интересам хорватского народа.

Тиссеран: Ваша свобода похожа на свободу французского маршала Петэна. Он тоже свободен, но должен отдавать немцам 80 процентов всего продовольствия, в то время как французский народ умирает от голода. Это не рассказки, я это знаю очень хорошо.

Рушимович: Хорватия единодушно выступила на стороне Германии и помогла ей низвергнуть Югославию...

Тиссеран: Я знаю, что хорватский народ стремился к свободе и имел на это право. Этого права никто не мог оспорить. Я понимаю, что хорватский народ в наиболее благоприятный для этого момент восстал против сербов. Но, дорогой сударь, ваши друзья фашисты смеются над вашей независимостью и свободой и над существованием хорватского государства. Это я слышу от их политических руководителей. То, что о вас говорят итальянские офицеры, пахотящиеся в прибрежной зоне, просто ужасно. По их утверждениям, никогда в Хорватии не было столько зверств, как теперь, когда убийства, поджоги, разбой, грабеж и кровавые расправы вошли там в обычай.

Рушимович: Все слухи о Хорватии, распространяемые в Италии, отдают клеветой. Кому-то желательно изобразить нас стадом варваров и людоедов.

Тиссеран: Напрасно вы защищаетесь, сударь. Еще во время Тридцатилетней войны хорваты были известны как дикари; у меня на родине, в Лотарингии, они сожгли несколько городов и вообще считаются там плохими людьми.

Рушимович: Но, ваше преосвященство...

Тиссеран: Святой престол получил восемь тысяч фотографий, запечатлевших злодеяния над православным населением. Я точно знаю, сударь, что даже францисканцы, как, например, отец Шимич из Книна, принимали участие в нападениях на сербское население и разрушали православные церкви. Отец Шимич с оружием в руках руководил группой людей, разрушивших православную церковь в Книне. Кроме того, вы разрушили православную церковь в Баня Луке. Мне точно известно, что францисканцы в Боснии и Герцеговине вообще вели себя скверно. Это меня огорчает. Воспитанный, культурный и цивилизованный человек, в особенности священник, не должен делать таких вещей.

Рушимович: Я слышу об этих фактах впервые.

Тиссеран: Усташа убили огромное количество православных священников. После капитуляции Югославии в Хорватии уничтожено 350 тысяч сербов. Разве это не печально?

Рушимович: Боюсь, ваше преосвященство, что информация, которой вы располагаете...

Тиссеран: Когда к вам придет король, герцог Сполето?

Рушимович: Скоро.

Тиссеран: Ваш король никогда не придет в Хор-

ватию. Он сказал мне, что вы сделали его королем в стране, не являющейся королевством, ибо она зависит от Германии и Италии. Когда я спросил его, собирается ли он в Загреб, он ответил: «Как я могу думать об этом, когда итальянское правительство своими действиями и постоянными ошибками портит дружественные отношения с Хорватией? С каким лицом я появился бы перед хорватами?» Герцог Сполето, сударь, отказывается ехать в Хорватию.

Рушимович: Насколько мне известно, герцог Сполето с радостью принял титул хорватского короля.

Тиссеран: Я присутствовал на этой церемонии. Она была совершена восемнадцатого мая прошлого года в присутствии итальянского короля Виктора Эммануила III, Муссолини, Павелича, герцога Сполето (который после смерти своего брата принял имя герцога Аоста). Ваша корона была сначала предложена королю Виктору Эммануилу III, но поскольку он уже и так имел достаточное количество эфемерных корон, эту он перебрал своему двоюродному брату, герцогу Сполето, которого за день до того, как он был провозглашен королем Хорватии, принял святой отец.

Рушимович: Ваше преосвященство, хорваты с незапамятных времен были форпостом христианства...

Тиссеран: Название ANTEMURALE CHRISTIANITATIS хорваты получили потому, что были католиками, хотя и сербы, несмотря на то, что они принадлежат к православной церкви, пожертвовали Западу и католицизму тем же, чем хорваты, сражаясь в христианских войсках...

Рушимович пытается найти слова.

Тиссеран: Как вы думаете, сударь, чем закончится эта война?

Рушимович: Разумеется, победой стран оси.

Тиссеран: Думаете ли вы, что и Независимое государство Хорватия продолжит свое существование?

Рушимович: Естественно...

Тиссеран: Я все же полагаю, синьор, что Германия и Италия проиграют войну. Поражение стран оси уже сейчас не подлежит сомнению. После этого поражения, должен вам сказать, не станет и Независимого государства Хорватии, а Югославия будет восстановлена...

Собственноручная пометка доктора Младена Лорковича, нашего министра иностранных дел: ВНИМАНИЕ, ВРАГ!

Мое примечание: Кардинал Тиссеран, находясь в рядах французской армии, был во время первой мировой войны на Салоникском фронте. Отсюда его любовь к сербам.

Из дневника полковника Франчевича

28

На север, к Саве, двигались колонны, вдоль которых бегали туда и сюда солдаты в зеленой форме. Среди пленных больше всего было женщин. Они шли, неся детей на руках или в поставленных на плечо колыбелях. Мужчин отделили еще в предгорьях; некоторых сразу убили там, в рощах и среди спелых хлебов, на глазах родных и соседей; других увели в Дубицу и Градишку и там убили ударами молота по затылку; у некоторых обнаружили ранения и отделили их особо, чтобы подвергнуть пыткам, ибо предполагалось, что это партизаны и раны они получили в бою. Начали убивать и стариков, обессиленных от ходьбы, жажды и голода; убивали даже парней, годных для военной службы, пока не пришел приказ отделять их и по распоряжению генерал-полковника фон Лера отправлять на принудительные работы в Германию. Так остались в живых некоторые из тех несчастных, над головой которых уже был занесен кровавый топор...

Остальных толпами гнали к Саве, на север. Когда подошли к реке, на них накинулись усташы и палачи, охочие до расправы. Пленных убивали одного за другим и бросали в воду с глумливыми возгласами:

- Сербов на вербы!
- Плывите в Белград!
- Вот вам бесплатный билет...
- Вот вам пропуск в Сербию!

Прослышав, что Баня Лука «будет столицей Независимого государства Хорватии и из нее нужно железной метлой вымести инородческие элементы» (так говорили Гутля и Павлович), усташы ежедневно и еженощно, точно соревнуясь между собой, убивали десятки и сотни пленных, бросая их в воду под издевательские выкрики и ругательства. Река принимала их, проглатывала, а потом выбрасывала на поверхность и лепиво несла на восток раздувшиеся и черные трупы, облепленные илом и сгустками крови.

На берегу верховодил фра-Августин. Он бегал вокруг очередной группы пленных, пересчитывал их, заглядывал им в глаза и говорил:

— Этот отступник... Этот носил винтовку... У этого глаза говорят, что он был в партизанах... На тебя я смотрю, голова-стый, на тебя... Носил карабин? Сколько усташей перебил?

Крестьянин все отрицал, но фра-Августин не поддавался. Крестьянин должен был погибнуть. Жертва должна была умолкнуть, а фра-Августин бежал дальше, в чаении новых расправ.

Наконец мужчин больше не осталось. Тщетно он их выискивал. Их не было. Всех побросали в Саву и Уну. Трупы унесла вода.

Фра-Августину стало тоскливо. Чем заняться? Мужчин среди пленных нет. Кого убивать?

— Женщин и детей, — сказал он. — Нечего их тащить в Ясеновац, это на том берегу. Надо покончить с ними здесь. Перебить и побросать в воду.

— Неужто всех, ваше преподобие?

— Всех, — сказал фра-Августин. — Я думал, что их мы погоним на тот берег, в Ясеновац. Но зачем терять время? Зачем им есть наш хлеб? Еще, чего доброго, заразу занесут в здешние села.

— Много их, ваше преподобие. Около трех тысяч.

— Тем лучше, — сказал его преподобие.

— Когда начнем?

— Немедленно, — решил фра-Августин, точно речь шла об уборке урожая. — Будем подводить к Саве группу за группой и сбрасывать убитых в воду. Рудольф, ты что замолчал?

— Думаю насчет женщин, — ответил Рудольф. — Я рад, что смогу им отомстить. За то, что они на мне ездили. Ездили на мне, пленном, как на лошади.

— Хорошо еще, что в живых оставили.

— Если бы я не бежал, все бы могло случиться, — сказал Рудольф и потряс головой, точно не веря, что спасся.

— А что произошло с тем мрачным типом?

— Вы имеете в виду поручика Хорвата?

— Я слышал, что он сбежал. Это правда, что он дезертировал?

— Правда. Следовало бы его расстрелять, как только он вылез из леса. У него там брат был.

— Почему он сбежал от нас?

— Услышал, что мы повесили его брата — комиссара, и побоялся, как бы мы и его не повесили.

— Может, он собирается нам мстить?

— Может быть. Такой идиот, как он, вполне может возыметь такое намерение. Но долго он не протянет. Как только мы его схватим, он предстанет перед полевым судом.

— Какой еще суд? — ощерился фра-Августин. — Для та-

ких суда не требуется. Их надо прямо в реку... Сколько у вас солдат?

— Триста.

— Этого достаточно?

— Совершенно достаточно.

— Достаточно, — подтвердил и Муяга. — Я с тридцатью уставами перебил в Костайнице триста человек. В толк не возьму, почему они так покорно идут на казнь. Никто не взбунтовался, не защищался, только один сбежал. Похоже, что перед гибелью человеку отказывают и сила и разум. Если бы они взбунтовались, клянусь аллахом, все могло бы случиться.

— Не могут они бунтовать, потому что они мертвые, — сказал фра-Августин. — Это психологическая смерть. Человек мертв, хотя его тело и движется. Мертва его душа, а когда убита душа, только исключительные личности способны преодолеть страх и найти в себе силы для сопротивления.

— Женщины хуже мужчин, — сказал Муяга. — Когда они потеряют рассудок и обезумеют, женщины становятся как звери. Они храбрее мужчин, потому что сильнее привязаны к жизни. Когда мы в Еловаце расстреливали тех крестьянок, они так кричали и кляли нас, сыпали бранью и угрозами, отбивались руками и ногами, вырывались и кидались на нас, что я на всякий случай, перед тем как по ним дали залп, отошел в укрытие. Одна осталась цела и побежала. Мы открыли огонь, но напрасно, она убежала в лес и спряталась, а потом стала выглядывать из кустов, и мне показалось, что она даже рожится, бранит и прокликает нас.

— Начинать, ваше преподобие?

— Начинайте, — сказал фра-Августин.

— Я приготовил ракию, — сказал Муяга. — Перед казнью я всегда запасаюсь ракией и пью за убитых. Душа у всех одна, какой бы веры она ни была. Так ведь, ваше преподобие?

Фра-Августин не ответил. Он смотрел на реку. На правом берегу Савы огромное поле пестрело женскими рубашками, головными платками, платьями и блузами, передниками и корсажами. Этот покрывший землю пестрый узор был неподвижен. Только волосы девушек развевались на ветру да беспокойно вертелись кудрявые детские головенки.

С севера ветер нес облака, собирался дождь.

Фра-Августин стоял и разглядывал мертвое море, разлившееся по берегу реки. Странное море под облаками и ветром и готовящимся дождем...

Женщины сидели или стояли, а то и лежали прямо на земле, изнемогшие и разбитые, без признаков жизни. Слышался плач. Плакали женщины и дети в их объятиях, или в колы-

белях, или на траве рядом с матерями. Кто-то кого-то звал тонким голосом, просил о милосердии...

Расправа началась со всех сторон. Усташи разделяли женщин на группы, подгоняли их к воде и, ударив ножом или молотом, тотчас бросали в воду, без единого выстрела. Усташи с размаху всаживает нож, жертва безмолвно падает, ее хватают и кидают в реку. То же происходит и после удара молотом; жертва падает, руки палачей хватают ее и бросают в Саву.

Фра-Августин не замечал ни стонов, ни сопротивления обреченных. Он повернулся к Муяге и спросил его:

— Ты сказал, что женщины опаснее мужчин. Видишь, как они падают? Почему же они не бунтуют?

— А вот подожди, — ответил Муяга. — Выпей... Сегодня ты должен выпить. Это мой день.

— Почему?

— Потому что гяурские женщины убили моего отца, а я сегодня гляжу, как издыхают они, гяурские женщины. Это они его отправили на тот свет. Он спутался с одной, и она его прикончила. Гяурская шлюха. Полоснула его ниже пояса... Гяурская шлюха...

— Ты мне это уже рассказывал.

— Рассказывал и буду рассказывать, потому что у меня болит вот тут, — Муяга прикрыл ладонью гимнастерку над сердцем. — Вот здесь у меня болит, преподобный отец, потому что гяуры убили моего отца и у меня все отняли. Отобрали у меня землю, перебили скот, разнесли хлева и растащили домашнюю утварь. Когда в восемнадцатом развалилась Австро-Венгрия, я остался гол как сокол, а от могущественных боснийских бегов моих дедов и прадедов сохранилось только имя да несколько кафтанов на чердаке, одна чалма, несколько фесок и расшитые серебром чакширы, которые я носил, пока зад не протерся.

— Много ты отступников убил?

— Много, брат, — ответил Муяга. — Вон еще одну бросили... Выпьем за упокой ее души.

— Я не пью, — слова отказался фра-Августин.

— За упокой души стоит выпить, это не грех.

— Ладно. Налей немного.

— Хорошо, хорошо. — Муяга, вращая глазами, выпивает чарку. Взгляд его туп, сонлив и тяжел. Только временами, когда усташи сбрасывают с берега новую жертву, они вспыхивают мутным и диким блеском, как глаза голодного волка.

— Ты всегда пьешь в таких случаях?

— Всегда, — отвечает Муяга. — Пил и пью, пока не

искореню последнего гяура. Знаешь ли ты, преподобный, что все это мое? Сколько глаз хватает — все мое родовое.

— Было твое, а теперь нет, мой Муяга.

— Было и будет мое, — отрезает Муяга; глаза его мутны, челюсть отвисает. — Отсюда до Уны и еще дальше, до Крупы и Бихача, все это владения моих дедов, а я для того и взялся за винтовку, чтобы вернуть все, чтобы все было как прежде. Пока не добьюсь этого, не успокоюсь, хоть голова с плеч. Буду убивать и пить за упокой поганных гяуров, которые мне жизнь отравили и здоровье отняли, свиньи проклятые...

У него хоть есть причина, подумал фра-Августин, смотря на Муягу, мрачного и ожесточенного, со стаканчиком в руке. У него есть причина, а настоящая причина — это всегда утешение. А что я могу сказать?

Могу ли хотя бы перед богом, если не перед людьми, объяснить, почему я пошел этим путем? Почему я ополчился на этих крестьян? Неужели потому, что они другой веры? А разве их церковь не христианская? И разве богу в конце концов не все равно, как люди славят его имя? Разве эти женщины там, на берегу, не чтят бога почти так же, как и я, а может быть, и лучше меня, священнослужителя, вооружившегося кинжалом и пистолетом? А что, если эта расправа с христианами, которые крестятся тремя перстами (что в конце концов безразлично), на самом деле страшнейшее богохульство? И потерпит ли его бог? Не переполнят ли наши оргии чашу божественного терпения? Призовет ли нас всевышний к своему престолу, чтобы мы дали ему отчет?

Он смотрел на Муягу и видел в нем зверя, готовящегося прыгнуть на свою жертву и растерзать ее. На мрачном лице лежал отблеск безумия. Это было лицо разбойника.

А я ведь еще хуже его, подумал фра-Августин, уже близкий к тому, чтобы устыдиться и раскаяться.

Откуда взялась во мне эта жестокость? У Муяги по крайней мере есть причина для нее. А у меня?

Он попытался вспомнить самые отдаленные моменты своей жизни, раннюю молодость и детство. Вернулся в далекие и забытые часы беззаботного блуждания по полям, зреющим хлебам, пастбищам и сжатым нивам, когда он ребенком пас овец и коров. Отец часто бил его. Родители постоянно ссорились, и после этих ссор отец накидывался на маленького Августина, чтобы выместить на нем остатки того, что накопилось у него против жены, на которую он иногда бросался и с топором. Получив свою порцию побоев, маленький Августин, заплакавший и чумазый, отправлялся пасти скот; коровы злобно мычали и поддавали друг другу рогами; овцы блеяли и сбивались

в кучу под деревом, в холодке, прячась от зноя; как заколдованные, утыкались мордами в траву, жались друг к другу, терлись боками, так что вылезала запачканная пометом шерсть. Некоторые дошли от вертячки: начинали вдруг кружиться на одном месте, подскакивать и брыкаться, пока не валились на землю, дергаясь в предсмертных судорогах.

Он смотрел и дивился. Иногда смеялся.

Тогда и произошла встреча с той кошкой. Она выскочила из леса, когда он дремал рядом со стадом. Забитая, облезлая, голодная и почти одичавшая, она, сощурив глаза и поджав хвост, осторожно кралась вперед. Выследив полевую мышь, она кинулась на нее и воцпила когти в маленькое тело. Мальчик испугался и шарахнулся прочь, подумав, что кошка бешеная. Глядя, как она терзает мышь, которая страдальчески пищала, пока не издохла, Августин не сомневался, что кошка точно так же может прыгнуть и на пего и выцарапать ему глаза или изорвать лицо. Он начал пятиться назад, пока не наткнулся на палку с загнутым концом, которой оборонялся от собак. Схватив ее, он подбежал к кошке и ударил ее по голове. Удар оказался сильным. Кошка судорожно свернулась клубком. После второго удара она подскочила, как мячик, но упала на все четыре ноги. Он ударил в третий раз. Кошка перевернулась на спину, видимо, чтобы уберечь хребет. Чувствуя, что не может ее убить, ибо она умело обороняется, маленький Августин размахнулся еще яростнее. Он перестал считать удары и замахивался что было силы. Палка взлетала вверх и опускалась на тело кошки, которое извивалось под ударами, жилистое, живучее, выносливое. Он стал целиться в голову, но с ужасом заметил, что это еще безрезультатнее. Кошка только теперь начала по-настоящему сопротивляться: после каждого удара она быстро поднимала голову, отдергивала ее в сторону и мяукала, сначала с мольбой и страданием, а потом все резче, с ненавистью, в бессильном отчаянии (как поверженный враг, жаждущий мести). Маленький Августин бил, бил, бил, но тельце кошки не переставало отзываться на удары движениями, подергиваниями и другими признаками жизни. В конце концов мальчик утомился. Ему надоело это избиение. Он отбросил палку, повернулся и ушел, оставив измолоченную кошку. Придя домой, он забрался в сено, но заснуть не мог: как только веки его смыкались, перед глазами возникало свернувшееся в клубок тело кошки, съжившееся на земле. Ему захотелось не видеть ее больше. Он закрыл глаза и прижал ладонями веки. Но все было напрасно: свернутое в клубок тело избитой кошки корчилося перед ним и почти касалось его...

Выгнав стадо паутро, он решил было не ходить на поле, где осталась кошка. Но так как только это поле использовалось под пастбище, ему все-таки пришлось пойти туда. Придя, он почувствовал, как что-то тянет его к месту, где осталась кошка. Он даже припустился бегом и быстро отыскал скорчепное, разможенное тельце. Он подумал, что кошка издохла, так она была неподвижна. Но любопытство его подмывало. Он захотел удостовериться. Взял палку и толкнул ею кошку. Избитое тело шевельнулось, как еж под своими иголками. Он застыл в изумлении: тело двигалось, хотя кошка была не в состоянии подняться. Ему стало страшно. Он снова начал бить палкой. Бил, бил, бил, пока не уморился. Накопец ему показалось, что кошка мертва. Ее тельце больше не дергалось. Он ударил еще раз на всякий случай, бросил палку и ушел...

Но, вернувшись на следующее утро, он снова с испугом обнаружил, что кошка жива, что ее тело шевелится и лапы двигаются. Она подняла голову и даже судорожно шагнула, окровавленная и сгорбленная. Он испугался того, что она ходит, и схватил палку. Размахнувшись, он ударил сверху, по хребту и лопаткам, чтобы переломать ей кости, но кошка только упала, а не была добита. Тогда он принялся колотить ее по голове, по лбу, по носу, по глазам, по ушам. Но бил напрасно. Из рта и маленьких ран показалась кровь, но кошка все еще была жива.

Он не мог убить ее ни на третий, ни на четвертый, ни на пятый день, хотя и бил, бил, бил, бил. На шестой день, найдя на поле еще подававшее признаки жизни тело, он подцепил его на палку и оттащил к краю поля, где заранее выкопал яму. Бросив тело на дно, он завалил его землей, сделал маленький холмик и притоптал ногами. Только тогда он успокоился; но часто то во сне, то наяву без особого повода или при виде кошки на дороге в памяти его воскресало изуродованное, но упорствующее кошачье тело, корчащееся в мучительных судорогах...

А потом откуда-то взялась и странная, безумная, необъяснимая мысль. Так я мог бы убить и человека. Говорят, что кошка выносливее. Говорят, человек умирает быстрее кошки, уже после первого точно нанесенного удара. Хотя эта мысль казалась ему глупой и беспричинной, он вдруг захотел ее проверить. Хотел убедиться, кто живучей — человек или кошка?

Этот вопрос измучил его. Может быть, это он заставил Августина надеть сутану священника, чтобы спастись от своих болезненных мечтаний. Но и позже, в сутане и с крестом, исповедуя верующих или глядя в лукавые, вероломные, презрительные и вызывающие лица иноверцев, он подумывал о том,

что рано или поздно, если даже ради этого придется сменить сутану на оружие, ему придется проверить, кто живучей — кошка или человек.

Случай этот представился, когда после краха Югославии в город ворвались усташи. Он выбежал к солдатам в зеленой форме и кинулся их целовать, в то время как Муяга, Мате и Асим забрасывали их цветами. Сначала он хотел отомстить за колокольню, разрушенную снарядами, прилетевшим с той стороны реки. Он присоединился к усташам, которые отправились к Баичевой каменоломне, выкрикивая здравицы в честь поглавника. Оказавшись лицом к лицу с захваченным в плен крестьянином с Козары (где вспыхнуло восстание), он захотел проявить себя. Схватив крестьянина за чуб, он загнул ему голову назад чуть не до самой земли. Потом ударил молотом, как тогда в ярости ударял кошку. Крестьянин рухнул без единого звука, а фра-Августин чуть было не рассмеялся — наконец он на опыте убедился, что кошка во сто раз выносливее человека. Так как он именно этого и ожидал, ему было приятно, что он не обманулся. Та кошка, давно зарытая, наконец, перестала мяукать в его мозгу и скрестилась у него на душе, судорожно свиваясь в упругий комочек, который никак не хотел умирать. Она замолкла и исчезла насовсем. Казалось, что, убив пленного с Козары, он убил ее душу и только теперь может спать спокойно...

Так пошло и дальше. Убийство стало для него забавой.

Когда ему становилось скучно, он, вместо того чтобы развлечься чем-нибудь, отправлялся на охоту за бунтовщиками. Если не удавалось захватить человека с оружием, он хватал старика, женщину или ребенка. Опыт продолжался. Почти все его жертвы подтвердили, что кошка во сто раз сильнее человека.

— Подумайте, ваше преподобие, что случилось! — подбежал к нему Рудольф. — Только что на берегу заключили пари. В толпе оказалась одна беременная женщина. Ее огромный живот бросился в глаза Асиму Рассыльному. Он сказал Мате: «Давай поспорим. Если эта женщина беременна мальчиком, ты ставишь литр ракии, а если девочкой — то я». Мате согласился, но вскоре выяснил, что платить придется ему.

— Как он это выяснил?

— Просто взрезал женщину и убедился, что младенец — мальчик.

— Он варвар, — сказал фра-Августин и снова увидел ту кошку; ему померещилось, что она подпрыгнула и замаякала.

— Ваше преподобие, ваше преподобие! — кричал кто-то. —

Помогите, ваше преподобие, если у вас есть сердце, если вы в бога веруете!

— Что случилось, Михайло?

— Ваше преподобие, это же моя мать! — кричал Михайло, прижав к себе маленькую седую старушку, которая стояла, опустив руки, с растрепанными волосами; ее щедедушные плечи дрожали. — Это моя мать, ваше преподобие... Я не позволю, чтобы убили мою мать... — кричал Михайло, в то время как усташи срывали с него оружие и форму.

— Эй, стойте! — крикнул его преподобие, но не для того, чтобы помочь Михайле, которого он почти не видел, но чтобы прогнать из своего сознания кошку, которая скреблась у него в мозгу и не хотела умирать, а все мяукала, съезженная и окровавленная, открывая челюсти и показывая отвратительные зубы.

— Это моя мать, не отдам! — кричал Михайло, обезоруженный и окруженный усташами.

Фра-Августин не видел его. Он слышал только его крики и призывы, но не мог толком разобрать, что он слышит — человеческие вопли или мяуканье той кошки.

— Прикончили мы и его и старушонку, — сказал Асим Рассыльный.

— Они и пикнуть не успели, — добавил Мате Разносчик.

— На здоровье и за упокой их души, — опрокинул стопку Муяга. — Вот вам ваши греко-православные, ваше преподобие. Веру меняют, а душа остается та же: в скотском теле — скотский дух.

Фра-Августин как будто не видел и не слышал Муягу Лавочника, свою правую руку в походе на Козару и первого соратника во всех его начинаниях. К своему изумлению, он не мог отделаться от ощущения, что перед ним не человек, а та копка, жилистая, свернувшаяся в клубок, окровавленная, в предсмертных конвульсиях.

— Все-таки вы могли бы спросить у меня разрешения, — сказал он с усиливающимся ощущением, что стоит перед той кошкой: «В самом деле, с кем я разговариваю? Кто ты, человек или та кошка?».

— Я бы всех сербов, что крестились в нашу веру, отправил вместе с этими вниз по Саве, — сказал Асим Рассыльный.

— Крестились или не крестились, всех бы похватать, — добавил Мате Разносчик.

— Сколько их убито? — спросил Муяга Лавочник.

— Около трех тысяч, побочник.

— А сколько осталось?

— Да немного... Может, шестьдесят наберется.

— Эй, остановитесь! — крикнул вдруг фра-Августин.

Усташи гнали женщину, которая держала за руки двоих детей. Она была измучена, вся в грязи, а может, и в крови. Детей она держала крепко и, похоже, не хотела расставаться с ними.

— Это твои дети? — спросил фра-Августин.

— Мои.

Фра-Августин только сейчас разглядел, что перед ним два мальчюка. Со своими длинными, густыми, давно не стриженными волосами, в лохмотьях, они выглядели жалко и убого.

— Чьи вы? — спросил фра-Августин.

— Лазара Бабича, — ответил мальчик постарше.

— А где ваш отец?

— На Козаре, — сказал мальчик.

— Это ваша мать?

— Да, — подтвердили дети.

— Ее мы убьем, а вас оставим в живых, — сказал фра-Августин и схватил за руку старшего мальчюка. — Помогите мне! — крикнул он устахам. — Помогите мне увести детей!

Он оторвал от матери старшего, а младшего вырвать не мог. Женщина не отдавала его. Она крепко стискивала руку ребенка, молча сопротивляясь фра-Августину, пока на нее не набросились усташи. Она упала, но ручку ребенка не выпустила. Она выкрикивала имена детей и не хотела сдаваться. Усташ ударил ее ножом. Удар оказался смертельным. Женщина поднялась и, рыдая, звала сыновей.

— Бошко... Новак... Бошко... Детки мои...

Обливаясь кровью, она упала на землю, а детей уводили все дальше.

Вел их фра-Августин, усташи помогали. Он держал их за руки, как только что держала мать, когда ее гнали к реке. Малыши с плачем вырывались. Старший махал руками, колотил ногами, мотал головой и плакал, а младший во весь голос звал мать.

Почему фра-Августин вырвал их из материнских рук? Почему выбрал из стольких детей именно их? Куда он их ведет?

— Не бойтесь, не плачьте, — утешал он мальчюков. — Я вам ничего не сделаю... Отведу вас домой.

— К кому домой, ваше преподобие?

— К моему брату Габриэлю, — ответил фра-Августин. — Вы, вероятно, не знаете, что у меня есть брат Габриэль и спюха Люция. Мой брат страшно любит детей, а жена у него не рожает. Отведу ребят к нему, к Габриэлю. Он будет страшно рад, потому что наборняка, как и я, в жизни не видал детей

красивее. Когда он их увидит, таких хорошеньких, это для него будет, уверяю вас, великий праздник...

Малыши продолжали вырываться, но напрасно. Чужие руки не выпускали их.

Они кричали, но напрасно. Звали мать — напрасно.

Чужие руки стискивали их, чужой голос утихомиривал.

Фра-Августин сиял, точно одержал величайшую победу. Наконец эта проклятая кошка, похоже, исчезла, провалилась в землю и навсегда скрылась под маленьким холмиком, под которым давно зарыта. Больше она не скреблась у него в мозгу. Исчезла, наверно, на вечные времена: проклятая, отвратительная, окровавленная; на вечные времена. Поэтому фра-Августин так ликовал.

— Когда Габриэль увидит мальчиков, он страшно обрадуется. Это будет великий праздник и для него и для Люции, — без конца повторял он, счастливый, что больше не видит эту окаменевшую кошку. А мальчики продолжали вырываться из его рук.

29

Они прочесывали лес, ловили крестьян, хватали скот, искали среди беженцев партизан. Целыми днями карабкались по обрывам и склонам, забирались на вершины гор и ночевали под открытым небом, на траве и листьях, среди необозримого леса. Труднее всего было ночью, в густом мраке, под проливным дождем (лило как из ведра). Он ждал, что на них вот-вот нападут; лес наполнился звуками, загадочными и почти нереальными, как во сне. Сначала он принимал их за человеческие голоса, а потом открыл, что это звон и шорох дождевых капель, срывающихся с веток, колеблемых порывами ветра. Еще ни разу ему не приходилось встречаться с этим. Казалось, будто вокруг на расстоянии вытянутой руки во тьме пляшут дьяволы, вампиры и оборотни; и он падает в расстеленную ими сеть, чтобы быть низвергнутым на самое дно ада, бесповоротно исчезнуть...

Съежившись, он представлял себе, какой жалкой была бы смерть во мраке, вдали от родины, на чужбине, посреди глухой ночи, без свидетелей, без рыцарского надгробия; умереть в одиночестве, после того как тебя проткнут ножом, или оглушат молотом, или развалят череп топором. Ему почти осязаемо представлялась именно такая смерть, жалкая и постыдная, как последняя судорога издыхающего пса, которого хозяин волочит на свалку. В такие минуты его осторожность удваи-

валась: он напрягал слух, широко раскрывал глаза, всматриваясь в непроглядный мрак ночи, и молотил руками по воздуху, словно обнаружив невидимого противника.

Но противника не было. Человеческих голосов не было. Оставалось только шуршание, потрескивание, рокот и свист ветра. А когда он вставал, вытягивал руки и распрямлял тело, болевшее от лежания на твердой земле, ему казалось, что он после страшных мук возвращается из царства мертвых и рождается заново.

Он вспоминал родителей, думал о жене и ребенке: Изабелла наверняка родила мальчика, сына. Теперь он особенно остро ощущал бессмысленность резни, гнусность войны и жестокость разрушения; ему ничего не нужно, кроме его дома в Баварии с маленьким садом и цветником, полным цветов; здесь, на зеленой скамейке, рядом с Изабеллой, держа на руках сына, он будет сидеть и болтать, смеяться и вдыхать благоуханный воздух цветущего сада, заложенного еще его дедом в давние времена. Будет подкидывать на колене сына-первенца, а потом натянет холст, возьмет кисти и краски и займется своим прерванным делом, вернее, начнет его заново и будет писать, писать, только писать, чтобы выразить то, что он один знает и носит в себе, что принадлежит только ему, в чем причина и смысл, содержание и суть существования. Будет художником и только художником. Художником своей страны...

Когда он пересек почти всю Козару, углубившись в нее на тридцать километров с запада на восток, и когда он уверовал в то, что, наконец, завершена эта омерзительная облава, пришел приказ, чтобы части, прочесывавшие лес, двинулись обратно, на запад, теми же путями, по тем же дорогам, оврагам, вершинам и ущельям. Надо было как можно скорее достичь берега Уны, то есть крайней западной точки, с которой десятию июня выступили некоторые полки. Предстояло без промедления пуститься в поход и быстро пройти почти пятьдесят километров с полной выкладкой, ибо командование убедилось, что значительные силы партизан прорвались из окружения и вышли на запад. По предположению генерала Шталя, эти партизанские группы там и скрываются, переходя с места на место; их следовало загнать в угол между реками Уной и Саною, стянуть смертоносным обручем и окончательно уничтожить.

Значит, снова в лес. Снова ночевать под деревьями, спать на земле, сидеть на корнях деревьев, мокнуть, дрожать от страха, настороженно озираясь и держать под рукой заряженный револьвер на случай нападения...

Теперь его мучил еще и смрад. Дороги, тропы, овраги и склоны, по которым прошли их части, были усеяны трупами. Мертвые люди, павший скот, мертвые солдаты. Он не видел ни одного трупа, но угадывал их. Чувствовал их по запаху. Смрад исходил отовсюду: из глубины леса, из темных углов и куч прошлогодних листьев, из терновых зарослей и ежевики, из бурьяна и репейника, из кустов и молодого ельника, даже с кроны деревьев, от ветвей: какой-то беженец вскарабкался туда, там нашел смерть, да так и остался, привязанный чем-то к стволу (видимо, чтобы не свалиться во сне). Легко можно было догадаться, где скрывается мертвец, по смраду, который становился непереносимым. Он останавливался, зажимал ноздри, закрывал рот ладонью и старался как можно быстрее перебежать полосу зловония; но долго оставаться с заткнутым носом и зажатым ртом было невозможно, приходилось дышать, хотя бы и смрадом; он был счастлив, когда на минуту попадал в полосу чистого, напоенного запахом леса воздуха. Однако радость эта длилась недолго: откуда-то снова начинало тянуть смрадом. Сначала будто случайно, с перерывами, а потом все сильнее и чаще, все упорнее, до превращения в отвратительное и непереносимое удушье; и снова надо было бежать, зажав ладонью рот, стараясь не дышать как можно дольше.

Никогда он не переживал ничего более ужасного. Зловоние, казалось ему, чувствовалось и тогда, когда он шел по неоскверненному лесу. Хуже всего становилось, когда налетал ветер — даже не сильный, порывистый, а ветерок, дуновение, тот, что едва веет, колышет ветви и приподымает листочки. Мертвец лежал далеко, но ветерок приносил о нем весть, приближал его.

Спасаясь от смрада, он радовался, выбравшись на какую-нибудь полянку — чистую, солнечную, прозрачную. Тут он останавливался, начинал жадно дышать всей грудью. Вспоминал Изабеллу и задавался вопросом, сына ли она родила. Вспоминал и брата Пауля, который мается где-то на Восточном фронте, у Дона, затерянный в далеких просторах безбрежной России, откуда, может быть, никогда не вернется...

Но долго задерживаться на полянке было невозможно. И он шел дальше по громадному лесу...

Что происходит с Германией? — спрашивал он себя в ночном одиночестве, окруженный тьмой и зловонием, все более невыносимым. Почему мое отечество на протяжении веков ввязывается в войны, затевает конфликты и терпит поражения? Неужели большая часть немцев рождается на свет для того, чтобы погибнуть на полях сражений? Неужели им суж-

дено умирать в боях, оставляя свои кости и могилы в чужих странах?

Он все больше убеждался в том, что за сетованиями об устои немецкого жизненного пространства кроются совсем иные замыслы. В первые годы войны, когда он с энтузиазмом устремлялся в бой, он был уверен, что армия Гитлера старается выполнить почетную задачу: она борется за существование немецкого народа и возвращает ему области, которые принадлежали ему раньше... Как и многие другие, он шел в бой радостно, с песней...

Впервые сомнение зародилось в нем в Чехословакии, когда молодой офицер Йозеф Дитер отдал своим солдатам приказ вступить в Прагу. Почему в Прагу? Разве Прага немецкий город? Прага никогда не была немецкой. Что общего между захватом Праги и созданием условий для существования немецкого народа?

Новые сомнения возникли позже, когда солдаты майора Дитера отправлялись в Польшу, а затем во Францию. Он, наконец, понял, что Германию затягивает водоворот новой мировой войны и что разговоры о немецком жизненном пространстве прикрывают, в сущности, самые обыкновенные захватнические цели. Однако он был еще далек от отчаяния. Армия Гитлера одерживала одну победу за другой, перед нею капитулировали все новые и новые страны, а наблюдать за бесконечными веренищами пленных было иной раз даже интересно...

Потом начался поход на восток: необозримые равнины России, как отверстая пасть с ненасытной глоткой, начали пожирать одну немецкую дивизию за другой. Сверстников Дитера, под дождем и снегом рвавшихся к Москве, начал бить наряду с русским оружием мороз, отгрызавший им уши, пальцы, куски кожи и тела. Это было ужасно. Иногда майору Дитеру казалось, что он не на поле битвы, а в самом аду. Самым страшным был день, когда из двухсот своих солдат он потерял почти всех — рядом с ним осталось всего шестеро, да и те были изранены...

Его вынесли из-под огня бесчувственным и почти замерзшим, с окоченевшими пальцами и спящими ногтями. Он очнулся в госпитале, весь в бинтах. Но как ни жалко он выглядел с отмороженными и перевязанными пальцами, он радовался, что остался в живых. Вышел живым из страшного боя; вышел живым из ада, поглотившего почти всех его солдат.

Из госпиталя его отправили домой в отпуск. Он было уверовал, что война, по крайней мере для него, кончена. Женится. Проводил ночи, держа в объятиях Изабеллу, целуя ее с тайным страхом, что ее вот-вот отнимут. Спусти несколько

месяцев она сказала, что ждет ребенка. Он был бесконечно рад, но радость эта длилась недолго. Пришла повестка о возвращении на фронт...

Вскоре он был послан в Югославию, навстречу новому противнику, совсем неизвестному, о котором он только слышал. Он знал, что югославского фронта не существует и что именно в силу этого обстоятельства смерть будет подстерегать его со всех сторон, как на Украине, когда немецкие армии ушли к Москве, а украинские партизаны начали возникать повсюду, расставляя капканы...

Он приехал в Загреб, немного отдохнул с дороги и тотчас отправился в Банию, а затем в Баня Луку и на Козару. Каким бы бессмысленным, ненужным и напрасным ни казался ему этот поход в области, столь отдаленные от Баварии и столь мало значащие для судеб Германии, он еще не противился, и ему в голову не приходило, что он катится в пропасть, ибо возвращение на Восточный фронт казалось ему куда страшнее и опаснее. Если бы его послали на восток, думал он, он бы этого не перенес, пустил бы себе пулю в лоб. А теперь он был уверен, что ему повезло, хотя впереди ждала неизвестность. Он верил, что на его долю выпало меньшее зло: он может погибнуть от пули или от ножа, но по крайней мере там тепло и он не замерзнет в бескрайней степи.

Он утешал себя и тем, что отправляется в страну, где не совершал никаких преступлений, в страну, которую увидит впервые. Он явится туда не для того, чтобы разорять ее, а, наоборот, попытается действовать как миротворец, добрым примером; куда бы он ни попал, он будет отделять крестьян от бунтовщиков, штатских от вооруженных, невинных — от преступников. Таким образом, он изолирует повстанцев, сломит их и вынудит сдаться.

Я не преступник, думал он; я немец, но не преступник. Я хочу показать, что не все немцы преступники и не все они одобряют гитлеровские свинства, хотя и слепо подчиняются фюреру, следуя исконному инстинкту послушания. Я не убивал, не жег, не разрушал. Я ненавижу войну, хотя и участвую в ней. Я человек, хотя и ношу форму офицера немецкой армии, поправшей Европу и справедливо называемой захватнической. Я хотел бы остаться просто человеком; да, именно — просто человеком. Надеюсь, что смогу им остаться, ибо не запачкал свои руки, как мне кажется, ни единой каплей...

Правду ли ты говоришь, Дитер?

Или говоришь то, что, в сущности, сам хотел бы слышать?

Не сдается ли тебе, Дитер, что ты кое о чем умалчиваешь?

Часто он думал о том, что, когда окончится война и Германия заключит перемирие (она должна будет это сделать, ибо поход на восток остановлен и почти провалился), он доберется все-таки до холста, кистей и красок, вернется в Баварию, домой, чтобы начать жизнь сначала, построить ее на более прочных и человеческих основах.

Но вместо перемирия, вместо завершения войны...

Он возвращался теми же тропами, оврагами и темными чащами, где несколько дней назад почувствовал себя затерянным, беспомощным и обманутым; снова надо было заниматься делом, которое, как ему казалось, он уже закончил. Он шел через лес назад, на запад, как раньше шел на восток, через тот же самый лес. Снова подстерегала его смерть. Снова его одолевали вопросы: что его держит? есть ли надежда?.. Вот он, человек, хрупкий и недолговечный, поставленный лицом к лицу со временем и обреченный на смерть; жалкое топтание по кругу, бессмысленная гибель, бесцельная гонка, неудержимое скольжение в пропасть, лишенное какого-то оправдания, рождение — жизнь — смерть, свирепое зияющее рядом Ничто, к которому приговорено любое живое существо. Неотвратимо, несмотря на все сопротивление, надвигающееся Ничто. Напрасно человек пытается оттолкнуть его. Спасения нет, что бы ни предпринимать. Спасения нет.

И может быть, только искусство способно что-то вырвать у бренности, уберечь то, что не дано сохранить недолговечному человеку, ибо искусство соединяет в себе настоящее и будущее, преходящее и длительное, мгновение и вечность. Может быть, только искусство способно сохранить частицу человека для грядущих поколений, оставить им завет и поучение: человек именно потому разумен, что в состоянии осознать свою смертность; и если он поймет это вовремя, то, может быть, станет лучше, благороднее, человечнее, увидев, насколько бесплодны, глупы и позорны грызния и расправы с себе подобными, алчность, ненасытность, соперничество, захваты. Поймет он, может быть, и то, что все люди братья, родом из одной и той же человеческой семьи, в которой они прозябают, мучаются и стараются отдалить час ухода в Ничто...

Вот тот свет на дальней темной стене, свет, что пробивается с востока, подумал он. Вот та крохотная звезда, сияющая и переливающаяся желтым светом, от которой во тьме остается блестящий, как золотое лезвие, след. Ради этой звезды и этого света, ради этого золота вдалеке, ради сияющего звездного лезвия, которое, может быть, все же укажет кому-нибудь путь, думал он, и стоит жить, стоит бороться и жертвовать собой. Ради этого стоит быть художником и писать

картины, возвращать людям их душу, спасти от них же самих человеческую сущность, указывать им на изначальные ростки добра и зла, на неизбежный конец, ожидающий каждого: царя и нищего, солдата и маршала, слугу и господина, раба и владыку. В этом, кажется, и состоит назначение искусства. Вот единственная задача, которую он мог бы поставить перед художником и его произведением: спасти человека от него самого...

Он вамакнул кистью над полотном, начертил круг и несколько раз пересек его крестами, стремясь как можно точнее выразить чувство, которое его охватило.

Я буду счастлив, если воплощу это. Он смешивал и накладывал краски, распределял их, усиливал, дополнял, соскабливал и заменял другими, ища ту истинную, единственную, неповторимую...

И тут поднялась стрельба.

Он и оглянуться не успел, а тем более понять, что происходит. Он увидел группу людей в военной форме, с черными винтовками. В первый момент он вообразил, что это его солдаты (потому что никаких других не было) решили грубо подшутить над ним и вот ведут связанного Ганса. Он пошел им навстречу сказать, что они будут отвечать за это. Он не бежал. Хотел крикнуть, укорить их за то, что они занимаются глупостями в неподходящее время, — и только тогда понял, что люди, которые приближаются к нему и ведут связанного Ганса, одеты не только в защитную форму немецких солдат, но и в крестьянскую одежду, черные штаны и куртки, а на головах у них войлочные шляпы и барашковые шапки.

Они что-то кричали ему, но он не понимал. Он только что не потерял сознания. Они подбежали и схватили его. Кто-то толкнул его в спину. Ударил под ребра. Потом снова по спине. Он слышал грубые голоса, не понимал слов, но чувствовал, что его осыпают бранью и хотят убить.

Я немецкий офицер и требую, чтобы со мной обращались согласно международным конвенциям о военнопленных, хотел он сказать, но понял, что это ни к чему. Что же это, господа? Я ненавижу войну, я не преступник, я пытаюсь помочь вашим людям, чуть не сказал он, но сдержался.

С него сняли ремень, гимнастерку и сапоги. Взяли даже брюки — просто стащили, как с мертвеца. Он остался в нижнем белье. Как ни странно, фуражку не тронули. Она так и осталась у него на голове. Он решил, что фуражку оставили нарочно, в насмешку. Но какой-то усач схватил ее, швырнул на землю и наподдал башмаком, сказав что-то, очевидно, издевательское. Фуражка откатилась, а вокруг засмеялись.

Тут Дитер заметил, что смеются и в толпе, обступившей связанного Ганса. Его осыпали насмешками, а он дергал головой, пытаясь стряхнуть с себя партизанскую пилотку с пятиконечной звездой, которую нахлобучили на него, чтобы оскорбить и унижить.

— Партизан, партизан! — кричали вокруг.

— Найн партизан! — рычал Ганс, сляясь сбросить пилотку. Наконец это ему удалось. Пилотка упала, но усач подобрал ее и снова нацепил на Ганса. Он опять начал брыкаться, чтобы скинуть пилотку. Подпрыгивая, тряс плечами и всем телом, закидывал голову, сгибался чуть не до земли и мотал головой, как лошадь, которая отмахивается от мух.

— Партизан, партизан...

— Найн партизан... Найн...

Игра продолжалась. Как только пилотка сваливалась, кто-нибудь поднимал ее и снова напяливал на голову Ганса, а он снова начинал ее сбрасывать со все большим ожесточением и яростью. В конце концов он дошел до полного иступления. После того как он несколько раз сбросил с себя партизанскую пилотку, он наступил на нее ногой и начал, приплясывая, втоптывать в землю.

— Хайль Гитлер!...

Грохнул выстрел.

Ганс упал, но не сдавался. Он все еще дергал ногами, точно напаривая пилотку, которую хотел уничтожить, чтобы показать партизанам, как ненавидит их и презирает.

Дитер вздохнул, но не тронулся с места.

Его связали.

Он предчувствовал, что его ждут беды и унижения, но стоял не шевелясь, покорившийся судьбе. Убьют ли они и его тоже? Усач с гневно выкачанными глазами и огромным револьвером подошел к майору Дитеру, как только что подходил к Гансу, сраженному его выстрелом.

Партизанскую пилотку нацепили и на майора Дитера. Но он не сопротивлялся. Он стоял, не пропуская ни звука. Его начали бить. Он вскрикнул удивленно, точно не ожидал ударов.

— Почему вы меня бьете? Я не преступник, я ненавижу войну, я хочу быть художником, я хочу людям...

Наконец у него развязался язык. Его били, а он говорил. Но говорил по-немецки, и они не могли его понять.

— Неужели никто из вас в самом деле не понимает по-немецки? Черт возьми, знает ли тут кто-нибудь мой язык? Я хочу вам сказать, люди, я не преступник, не убийца, не... Я художник, я не похож на настоящего немца, каких вы при-

выкли видеть на Козаре в эти страшные дни, — говорил майор Дитер.

Но они не могли или не хотели его понять. Сбили его с ног и топтали сапогами и башмаками.

Как ни странно, майор Дитер даже не пискнул. Ему казалось, что топчут не человека, а бревно. Он не хотел верить, что топчут человека.

Они топчут дерево, простонал он. Они топчут бревно, а не меня. Они люди, и я человек. Разве люди могут топтать человека? — бормотал он, уверенный, что его не поймут, не могут понять. Он знал, что они не поняли бы его, если бы даже знали по-немецки. Не в языке дело, ибо иногда не понимают друг друга люди, рожденные от одной матери. Язык не существует. Дело в основе, думал он, а его топтали. У нас нет основы для разговора. Война уничтожила все мосты...

Каким-то чудом голова его осталась цела. Покрылась только пылью и грязью. Щека была вымазана в навозе, он чувствовал запах.

Что сказать этим людям? Если бы найти хоть одно слово, которое они могли бы понять! Всего одно слово, какое угодно, лишь бы поняли. Одно слово...

Его повели со связанными руками в глубь леса, через овраг. Он знал, что идет на смерть, но у него не было ни сил, ни воли к сопротивлению. Он шагал покорно и немо.

Они ненавидят меня животной ненавистью, думал он, не замечая ударов в спину и под ребра. За что они так меня ненавидят? Почему хотят убить каждого из нас, точно мы все одинаковые? Неужели мы в самом деле разрушили мосты, соединяющие нас с людьми? Люди, можем ли мы с вами вообще разговаривать? Неужели все немцы заслужили, чтобы Европа принимала их так?

Мутится в глазах майора Дитера, качаются деревья, зияет овраг, в который его ведут откуда-то издалека, как в зеркале поблескивает его жизнь...

Детство, начальная школа. Деревенька у дороги, над которой поднимаются холмы, а вдали темнеют вереницы гор. Голос матери Эльзы. Отец Франц и брат Пауль. Гитлер. Германия бурлит. Немцы думают только о фюрере: он гений, он вождь, он спаситель... Йозеф Дитер, закончив среднюю школу, отправляется в Фонсхофен, где его учат быть жестоким, заставляя вырывать глаза кошкам... Годы захватов, фанфар, залпов, знамен, барабанов, маршей, кличей, команд и солдатских песен, звуки которых мешаются со стонами, криками о помощи и плачем; морозы, от которых отваливаются ногти и пальцы. Солдаты Йозефа Дитера маршируют по Европе, и их командир

старается не переступать грани, за которой начинается преступление, однако и ему случается шагать по трупам.

Они рвутся к Праге, к сердцу Чехословакии. Дитер молод, стремителен и смел. Он может все. К нему приводят толпу чешских военнопленных. Это жалкие, обезоруженные, промокшие люди, может быть, и вшивые. Они еле стоят на ногах. Глаза мертвые, воля сломлена. Один из них связан.

— Почему этот связан? — спрашивает Дитер.

— Он убил Карла, нашего унтер-офицера.

— Вот это ничтожество? Убить такого человека...

Он кинулся на пленного и начал бить его кулаками.

— Du bist Jude! — кричал он. — Ты еврей, грязный еврей!..

Пленный терпел и молчал.

— Расстреляйте его, — сказал Дитер.

Солдаты расстреляли пленного, а потом говорили, что он вол себя дерако, называл их разбойниками.

Выходит, ты все-таки виноват в смерти одного человека, майор Дитер?

Он сам виноват, оправдывается Дитер, которого ведут в овраг, связанного и беспомощного. Он сам виноват в своей смерти, потому что он сопротивлялся.

А те русские тоже виноваты?

Виноваты, говорит Дитер.

Но ведь это были русские крестьяне, безоружные. Были там и женщины, тоже безоружные. Были даже дети, лохматые русские дети с глазами голубее неба.

Я не виноват, что фюрер отдал такой приказ, оправдывается майор Дитер. За одного нашего солдата мы расстреляли сотню русских. Так было приказано. Я исполнил приказ.

Почему ты расстрелял женщин и детей?

Потому что не было мужчин. Приказ гласил, что в таком случае можно расстреливать женщин и детей. Сотню за одного.

Значит, ты убил сто русских крестьян, крестьянок и мальчишек?

Я не убил их, а только отдал приказ о расстреле. Незадолго перед тем они убили одного моего солдата, и я должен был издать приказ о контрмерах, ибо этого требовали правила и мое начальство. Я сожалел, что мы не можем пайти достаточного количества мужчин и что мои солдаты, выполняя приказ, расстреляли женщин и детей. Но так должно было случиться.

Неужели именно так?

Я не виноват, что русские пошли в партизаны. Зачем

они ушли в лес? Разве они не могли лояльно признать оккупацию?

Бороться за свое отечество — значит быть нелояльным?

Наши действия определялись целями немецкой политики, говорит майор Дитер. Офицеры не имели права впутываться в политику. Офицеры должны были только выполнять приказы. Личные чувства должны были подавляться.

Но, майор Дитер, разве вам не было больно, когда вы давали приказ расстрелять пятнадцать русских детей, лохматых русских детшек с глазами голубее неба?

Было, хотя вы мне и не поверите, говорит майор Дитер и оборачивается, точно ища свидетеля, скрывшегося в лесу. Да, сердце у меня болело. В голове помутилось. Я не мог смотреть на это. Попросту сбежал. Я никогда не забывал об этом. Одна только мысль о расстрелянных детях причиняла мне боль и все новые и новые страдания. Теперь мне ясно, что мои первые сомнения зародились тогда.

Какие сомнения, майор Дитер?

Сомнения в справедливости нашей борьбы. Кажется, до этого самого случая я верил в необходимость военных мер Германии. Я был убежден, что мой народ имеет право на жизнь, что история обошлась с нами, как мачеха, поставив под угрозу само наше существование, что поэтому мы имеем право на исправление исторических несправедливостей и расширение нашего жизненного пространства, хотя бы для этого и пришлось пустить в ход огонь и меч. Поэтому в первые схватки я кидался радостно, как и многие другие немцы, уверенный, что мы завоюем победу, что мы должны осуществить справедливые требования нации. Но война затянулась. Война становилась все более ожесточенной. Война неудержимо ширилась. Ужасный пожар разгорался, а когда немецкие войска, наконец, вторглись в пределы Украины, я понял, что речь идет уже не о справедливых требованиях немецкого народа, а о чем-то другом...

О чем другом, майор Дитер?

Я понял, что речь идет о мировой войне, которая не имеет ничего общего со справедливыми требованиями немецкого народа, говорит майор Дитер. Я понял, что мы ввязываемся в чудовищные бои и кровавые расправы, жертвами которых падут миллионы людей.

Но все-таки ты шел вперед, на Смоленск, на Киев, на Москву?

Шел, потому что таков был приказ, говорит майор Дитер, опустив голову, уверенный, что нет свидетеля, которого он

ищет и который не придет. Я шел в Россию, как идут навстречу могиле, вырытой собственной рукой.

До тех пор, пока чуть не замёрз?

До тех, подтверждает майор Дитер, глядя на пальцы своих босых ног, ступающих по прошлогодним листьям. Я дошел почти до самой Москвы; в двадцати километрах от нее наш танк был подожжен, я выскочил и скатился в канаву, полную снега, и тут за меня взялась русская зима.

Она-то и сохранила тебе жизнь, эта русская зима?

Может быть, отвечает майор Дитер, уверенный, что теперь спасения ему нет.

Он увидел речку, журчащую меж острых камней, сияющих трав и почерневших ветвей поваленных деревьев, почти обглоданных водой, поднимавшейся во время проливных дождей. Здесь меня убьют, подумал он. Узнают ли когда-нибудь мои близкие, где я погиб? Неужели я кончу тем же, чем кончил отец?

Сзади закричали и замахали руками. Он понял, что ему приказывают остановиться. Слов он не понимал, но по злым лицам врагов догадывался, чего они требуют и что его ждет.

Мама, вздохнул он. Неужели никак нельзя объяснить им, что я уже не тот, каким был в дни молодости, юноша с горячей головой и одурманенным рассудком, что я другой человек, не похожий на настоящего немца, что свою будущую жизнь я представляю только как наведение мостов от человека к человеку? Он попробовал все-таки сказать что-то, хоть что-нибудь...

На него даже не взглянули. Поставили его над речкой, на берегу и, отойдя, начали целиться. Все молчали.

В небе крикнула птица.

Тяжелее всего было сознавать, что он умирает так глупо (точно червяк под колесом). Он посмотрел на свои босые ноги; ниже края кальсон желтая кожа, покрытая волосками, казалась, оцетинилась: страх, горе, нагота. Отвалившиеся ногти...

Теперь он точно знал, что мог бы им сказать и что они наверняка бы поняли: то, что им недавно сказал Ганс, прежде чем упасть мертвым. «Хайль Гитлер!» — вот что они наверняка бы поняли, хоть и не знают по-немецки. Это было единственное, что он мог бы им сказать с уверенностью, что его поймут.

Но может ли он это сказать? Может ли теперь, в эту минуту, в последнее, предсмертное мгновение?

— Матильда! — крикнул майор Дитер, в то время как пар-

тизаны прицепились в него. — Матиль... — хотел он сказать что-то, увидев и узнав девушку.

Но черные дула прервали его слова. Выстрелы прервали мысль Дитера, а над его головой, в ветвях, вспорхнула птица.

30

ПОБЕДА (ИЗ ДНЕВНИКА)

Козара пала. Главный штаб поглавника объявил об этом в своем приказе номер шесть от 21 июля с. г., в котором говорится:

Против повстанцев на Козаре, именующих себя партизанами, проведены боевые действия, которые начались окружением 10 июня и завершились 18 июля полным уничтожением противника при незначительных собственных потерях. У противника насчитывается свыше трех с половиной тысяч (3500) убитых; взято в плен около восьми тысяч (8000) пособников партизан. Взяты значительные трофеи. Кроме большого количества различного оружия и боеприпасов, обнаружены крупные склады продовольствия и иных материалов, награбленных партизанами у населения. Этот успех достигнут под германским командованием доблестно и героически сражавшимися хорватскими домобранскими и устапскими, а также германскими частями при содействии венгерской дунайской флотилии, в верном боевом содружестве...

22/VII 1942 г. (ИЗ ДНЕВНИКА)

Поглавник сегодня вручил орден Железного трилистника первой степени немецкому командующему в Западной Боснии генерал-майору Фридриху фон Шталю. Оркестр Второго домобранского полка играл торжественный марш. Присутствовали немецкий генерал-майор Глайзе фон Хорстенау, рыцарь Эдмунд и воевода доглавник Славко рыцарь Кватерник. Поглавник заявил, что с особой радостью награждает генерал-майора Шталя за исключительно успешное проведение им боевых действий на Козаре против общего врага, не менее упорного, чем тот, против которого сражаются на Восточном фронте. Поглавник поблагодарил генерал-майора Шталя за познания и труд, вложенные им в руководство хорватскими и германскими частями в этих операциях, и собственноручно прикрепил

к его мундиру высокую награду — Железный трилистник первой степени, высшую награду за военные заслуги, дающую ее носителю звание рыцаря...

Генерал рыцарь Фридрих фон Шталь принадлежит к тем поколениям германских воинов, которые высоко подняли славу и авторитет Германии. Он сражался на многих фронтах, на западе и на востоке. Ему лет пятьдесят, он среднего роста, коренастый, крепкий, подтянутый. Манера держаться у него типично военная, полная решительности, чувства собственного достоинства и уверенности в себе. Походка чеканная и легкая. Генеральская фуражка, слегка надвинутая на белый и широкий лоб, придает ему строгое и неподкупное и в то же время справедливое выражение. Примечательно, как быстро изменяется на вид суровое и беспощадное лицо генерала Шталя, когда этот военачальник снимает фуражку и расстегивает мундир. Перед наблюдателем оказывается лицо, которое производит добродушное и бесхитростное впечатление, очевидно благодаря большой гладкой лысине во всю голову, почти совершенно лишенную волос (немного их осталось над ушами, но и там они коротко подстрижены). Когда он расстегивает воротник, показывается широкая шея и полный подбородок; лицо светится твердостью и уверенностью. Нос мясистый, у губ — тени трудов и страданий, которые может прогнать только улыбка. Широкая улыбка делает генерала Шталя человеком обычным, простым и доброжелательным, какими всегда были люди, чья скромность является одним из доказательств их величия.

В ЯСЕНОВАЦЕ (ИЗ ДНЕВНИКА)

Тщетно я искал Макса Лубурича. Всем говорю, что оп свинья и трус. Дерьмо он, а не усташ. Поплатится он еще за то, что жаловался на меня поглавнику и сказал, будто я ворчу на немцев и не признаю их старшинства. Я и в самом деле говорил так, но у меня были на то основания. Ибо если мы создали свое государство, то имеем право в нем распоряжаться. Здесь хозяева мы, а не кто-то другой. Мы кровь проливали. Мы голодали, сидели под арестом, умирали. Мы бились с жандармами и томились по тюрьмам. Мы дети этой страны, и справедливо, чтобы мы были ее хозяевами. Такова моя позиция, и я ее высказал поглавнику еще до того, как этот боров на меня донес. Болван пустоголовый! На что он рассчитывал, когда ябедничал? Разве кто-нибудь может занять мое место при поглавнике? Точно поглавник не знает, что за человек полковник Франчевич!

Нехорошо хвалить себя, но все-таки я должен это записать. Еще в сентябре 1932 года я командовал отрядом усташей на Велебите. Мы взорвали казарму в селе Брушанах. Четырнадцатого сентября, на Ядовном мы в горах вступили в бой с жандармами. Разгорелась перестрелка, сошлись на близкую дистанцию. Тяжело ранев Стипе Девчич, мы его несем на руках. Чтобы не обременять нас, он подрывает себя гранатой и присоединяется к усташам, которые пали раньше: Храниловичу, Сольдину и Росичу. Неся с собой четырех раненых, мы остановились на ночлег у крестьян, которые нам говорили: «Хорватский народ терпит крестную муку. Один наш усташ стоит в бою целой роты сербов». К ужину нам натащили картошки, яиц, сыра, молока, а когда мы собрались расплатиться, они и слушать не захотели, а потом пошли вместе с нами резать телеграфные провода. После нашего перехода на территорию Италии жандармы похватали многих крестьян с Велебита, заковали их в цепи, били, мучили голодом и жаждой — все во имя этого насильника и презренного цыгана, короля Александра Карагеоргиевича. При этом им показывали усташскую пилотку и плащ, найденные на мертвом Девчиче.

Все это хорошо известно этой свинье Максу Лубуричу, как известно ему и то, что я в 1941 году возглавил колонну усташей, которая пересекла итало-югославскую границу и направилась к Карловацу и Загребу. С нами был поглавник. Я стоял в первом самовозе *, держа усташское знамя, несмотря на то, что население призывало нас быть осторожнее, ибо Петар Кватерник погиб от руки предателя, провозглашая Независимое государство Хорватии. Я держал знамя, подвергая свою жизнь опасности, как это было и позже, когда я сражался во главе черного легиона в Боснии и на Козаре, где моя голова висела на волоске, в то время как он, Макс Лубурич, пьянствовал по славонским селам и увивался за девками.

Поэтому, прибыв в Ясеновац, я начал его разыскивать — настало время рассчитаться. Но его не было. Услышав о моем появлении в лагере, он удрал, как заяц, а ко мне подослал Милоша и Матковича, своих двоюродных братьев. Они мне сказали, будто Лубурича командировали в Загреб, но я знал, что они врут и он просто сбежал. Я спросил, сколько в лагере заключенных. Мне сказали, что раньше их было около трех тысяч, а теперь, после разгрома Козары, прибыло еще свыше десяти тысяч (кто их будет считать!). Так как в бараках, под крышей места для них уже не было, они оставлены снаружи,

* Усташский неологизм взамен слова «автомобиль».

под открытым небом. Там они умирали, под дождем, голодные и завшивевшие. Некоторые без задержки переправлены в Градину, не зная, что идут на казнь. Там их перебили. Убивали их усташи, а когда уставали, поручали свое дело цыганам, которых потом тоже перебили и покидали в Саву вслед за козарчанами. Больше всего тут было старух и стариков, были женщины и девушки, и дети тоже. Часть девушек и женщин помоложе отправлены на работу в Германию, а другие разосланы по славонским селам работницами в семьи, сыновья которых находятся у усташей. Я узнал, что свыше трех тысяч козарчан отправлено в Земун, в особый лагерь, построенный немцами у впадения Савы в Дунай. Дети частью оставлены в Ясеноваце, частью отправлены в Сисак, а около восьмисот мальчиков от семи до четырнадцати лет переброшено в Ястребарско, в специальный сборный пункт, которым заведует сестра Мерцеда при содействии усташского сатника * Степана Фистровича.

Я пошел осматривать Ясеновац. Бараки были набиты битком, в некоторых люди просто задыхались. В большой проводочной клетке сидел старик, похожий на пугало. Говорят, он бунтовал, кричал, грозился и ругался, требуя, чтобы его убили. Но его не убили, дабы не избавлять от мучений. Бросили его в клетку подыхать без пищи и воды, под открытым небом. Когда я приблизился, он встал и посмотрел на меня из клеточки, как попугай. Лет ему, наверно, за семьдесят. Седой, иссохший, с голодными глазами, полными ненависти, он выглядел как сама смерть...

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Новак Бабиц, — ответил он.

— Сколько тебе лет?

— Семьдесят семь.

— Почему бежал на Козару?

— Потому, что все туда бежали, а моя старуха там и осталась, царство ей небесное, померла там...

— За что тебя в клетку посадили?

— За то, что я сказал, что и для усташей черный день настанет. Настанет, клянусь честным крестом, ничья власть вечной не бывает, бог и солнце на небе свидетель...

— Знаешь ты, что умрешь в мученьях?

— Не я один, — ответил старик. — Раз столько народу погибло, почему не погибнуть и Новаку Бабицу, который хоть пожил на свете достаточно? Если господу угодно, пусть меня приберет, а вам мой сын уже покажет... Покажет вам мой

* Сатник — командир роты.

Лазар, проклятые... Отомстит он и за меня, и за мать свою Симеону, и за детей своих...

— Если ты нам сообщишь, кто из этих пленных был в партизанах и носил оружие, мы отпустим тебя домой, землю обрабатывать.

— Землица у нас, значит, разная: супесь, суглинок, и комковатая и рассыпчатая, и холодная, и мокрая, а та, что похуже, называется заячьим загоном, а на целике растет у нас, к примеру, дикий клевер, да подорожник, да повилка, да горчица, да дрок с ежевикой...

— Что это ты городишь, старик?

— Вспомнилсь мне груши в нашем краю, — продолжал старик. — Всякие у нас груши есть: чернушки, медуницы, зимние, овсянки, лисички, земляничные, те, что на петров день созревают, те, что к плыну дню, тыковки... И яблоки есть: краснухи, зеленухи, беляки, и крупа-дробленка, и отруби, и помол, и каблуки, и квашни, и шоры, чтобы лошади не пугались... А как снаряд угодил в котел, кто-то как закричит: «Спасайте, братцы, мясо пропадает!» — а кашевар Душан как заголосит: «Кто это меня уговорил в партизаны пойти, мать его дуру...» — и еще говорит, что ранило его и мы его должны нести, а как вынесли его из-под огня, он сознался, что не ранен, а соврал, чтобы товарищи его несли, пешком, мол, ему осточертело... А лошади в болоте увязли, не могут ноги вытянуть, тряспна вокруг, а наш Джюрадж, бедняга, держит штаны руками, обмарался, несчастный, жирной баранины облеся, штаны из рук не выпускает...

— Что ты несешь, старик?

— А гайдук Пеция выхватил саблю да на турок, а турецкое войско от Гашницы налетело и загнало гайдуков в Саву...

— Да он с ума сошел.

— Старик, что ты плетешь?

— Хватит болтать, — сказал Милош и выстрелил.

Старик обмяк, пошатнулся и рухнул на землю. Хотел сказать еще что-то, открыл рот и взмахнул руками, но не издал ни звука. Потом вытянулся, сложил руки на груди и закатил глаза к небу.

— Умер, — сказал я и спросил, с Козары ли остальные.

— Их тут с Козары больше десяти тысяч будет, — ответил Милош. — Мы уж не знали, как их разместить. Некоторых и до лагеря не довели, по дороге перебили или в Градину отправили. Там цыгане с кувалдами. Они бьют, а мы только диву даемся. За день по две тысячи приканчивают. А вон там ребята, — указал Милош на дощатый барак. — Там их несколько сот, а может, и тысяча. Мы их не стали убивать, хо-

тим перевоспитать и сделать из них усташей-янычар*. Учим петь наши марши.

— Не задохнутся они в такой тесноте? — осведомился я, глядя на видневшиеся в каждом окне маленькие, черные, съезжившиеся фигурки в лохмотьях, косматые головенки, протянутые руки и прижавшиеся к стеклам лица.

— Дети выносливее взрослых, — заверил меня Милош, стукнув по стеклу, за-за которого смотрели на нас бесчисленные глаза, полные страдания и страха. — Чего уставились? Осади назад...

— Врач у вас тут есть?

— Даже не один. А вчера еще одного прислали. Какой-то еврей с Козары.

— Все вместе живут?

— Живут вместе, а работают в разных местах.

Мы направились к бараку, указанному Милошем.

— Эй, мошенники, выходи! — крикнул Милош, бухнув кулаком в дверь.

Равнодушные и оцепеневшие, с бессильно повисшими руками, заключенные появились в дверях. Они точно выходили из могилы.

— Как тебя зовут? — спросил я самого старого.

— Самуило, — ответил он.

— Врач или санитар?

— Врач... Тридцать лет практики.

— Это тот самый жид, — пояснил Милош. — Его жена тоже тут. Оба с Козары.

— Она тоже врач?

— Я врач, а Рахела пет, — сказал Самуило. — Рахела мне, правда, помогала во всем, и должен сказать...

— И вы врачи? — спросил я, обращаясь к группе людей, похожих на привидения.

— Да, — ответило одно из привидений.

— А вы почему не отвечаете? — обратился я к остальным. — Чего молчите? Мне нужны врачи. Пусть врачи выйдут вперед. Станьте здесь в ряд... Один, два, три...

— Живей, мошенники! — скомандовал Милош. — Живей, живей!

— Шестеро, — подсчитал я.

— Шестеро, — подтвердил Милош.

* Янычары — род войск в Османской империи. Рекрутами для них были мальчики из порабощенных турками земель, с раннего возраста воспитывавшиеся в духе преданности султану и ненависти к «новерным».

— Слушайте, свиньи вонючие, — начал я. — Перед вами задача, от выполнения которой зависит ваше существование. У меня больна мать. Шесть месяцев лежит в постели при смерти, но я не теряю надежды и пытаюсь ее спасти... Если вылечите мне мать, я вам подарю жизнь... А умрет она, перебью вас, как собак.

— Чем больна ваша мать, сударь? — спросил Самуило.

— Если бы я знал, то не обращался бы к вам. Чем она больна, вы должны сами установить, иначе голова долой. Я вас отвезу к ней, чтобы вы ее осмотрели, и если вы ей не поможете, готовьте шею под нож.

— Я уж о них позабочусь, — сказал Милош. — Слыхали, жида? Не вылечите мать полковника Франчевича, я вас в лапшу изрежу и покидаю в Саву.

— А где находится ваша мать? — спросил Самуило.

— Тебе-то что за дело, осел? — встряхнул его Милош. — Не лезь с вопросами, а слушай.

— Тронемся в путь на рассвете, — сказал я.

— Можно и мне с вами? — спросила женщина, похожая на ворону, так она была закутана черным платком.

— Ты не врач и нам не нужна, — отрезал Милош и выстрелил в женщину.

— Негодяй! — завопил Самуило. — За что ты убил мою Рахелу?

— И тебя убью, жид! — надвинулся на него Милош.

— Постой! — крикнул я. — Никто нам не помешает его прикончить, если он не спасет мою мать... Так будет со всеми вами, если вы мне мать не вылечите, — сказал я заключенным, показывая на мертвую еврейку.

— Это еще ничего, — вмешался Милош. — Я их еще живьем исполосую... Слыхали, жида проклятые? Не вылечите мать полковника — всех вас искрошу...

ПОЕЗД ИЗ ЗЕМУНА (ДНЕВНИК)

Сегодня к нам прибыл состав из Земуна, полный пленных о Козары, которых немцы направили к нам из лагеря при устье Савы. В этом поезде было свыше двух тысяч крестьян (столько же осталось в Земуне), главным образом женщин и стариков. Перед отправкой из Земунского лагеря, узнав, что их повезут куда-то, заключенные зашевелились, загалдели, начали перешептываться и даже кричать, что немцы истолковали как проявление недовольства и подстрекательство к бунту и тут же перебили кольями свыше двухсот пленных, а остальных загнали в вагоны для скота и отправили в Ясеновац.

Им не давали ни хлеба, ни воды. В вагонах было набито битком. Сесть было некуда, можно было только стоять. Пленные теснились, падали друг на друга и чувствовали, что вот-вот задохнутся. От Земуна до Ясеноваца состав, охраняемый усиленным конвоем, шел пять суток. Двери вагонов были закрыты. К пленным никто не подходил, никто не заговаривал, а из вагонов неслись крики, стоны, проклятия, удары в дверь. Люди сходили с ума и умирали, требуя воздуха, хлеба и воды...

Смрад стоял страшный.

Когда эшелон остановился и мы начали открывать двери вагонов, оттуда, как мешки, повалились полумертвые и потерявшие сознание мужчины и женщины, едва подававшие признаки жизни. Одни просили воды и хлеба. Другие кричали. Находились и такие, которые кидались на нас, и мы вынуждены были стрелять.

Увидев рядом со станцией колонку, те из заключенных, у кого еще сохранились какие-то силы, устремились к ней, выпрыгивая из вагонов прямо на головы товарищей. Теснясь и толкаясь, они окружили колонку, вырывая друг у друга котелок, который не успевал наполняться. Некоторые ловили воду ртом, высывая язык, другие ложились под струю и подставляли под нее голову, их отпихивали и топтали третьи, стремившиеся занять их место.

Кто-то выстрелил, но толпа, облепившая колонку, не обратила на это никакого внимания. Устали стреляли (Милош и Маткович действовали криком), но заключенные продолжали продираться к воде, отталкивая друг друга и не обращая внимания на пули. Они падали и оставались лежать около колонки, но не расходились. В то время как одни гибли, другие бежали из вагонов к колонке, гонимые жаждой, не замечая выстрелов. Вдоль всего поезда валялись на земле корчившиеся в агонии пленные.

Мы хотели загнать заключенных в лагерь, но почти никто не мог идти. Обессиленные и полудохлые, они ни на что не годились. Мы их перестреляли тут же у поезда, приказав местным жителям закопать их или бросить в Саву.

Смрад был страшный.

7/VIII 1942 г. (из дневника)

Встреченный бурными приветствиями поглавник прибыл в Костайницу на Уне, сопровождаемый немецким послом, его превосходительством Зигфридом фон Каше, немецким полковником Функом и военным атташе графом фон Шнее, а также генералом Перчевичем, полковником Пребогом, воеводой Ква-

терником и министрами: Сушичем, Петричем, Буличем и Беплагичем. На железнодорожной станции гостей встречали оркестр, юноши и девушки из усташской молодежной организации, певческое общество «Король Томислав», пожарная дружина и множество местных жителей. Генерал фон Шталь отдает рапорт поглавнику, немецкий военный оркестр исполняет хорватский государственный и усташский гимны, а немецкие солдаты, домобраны и усташы, стоя в безукоризненном строю, отдают честь поглавнику. Волнующий момент. Поглавник обходит строй и здоровается с солдатами, которые громко приветствуют его. Поглавника приветствует также градоначальник Костайницы Анджео Жлицарич. От лица населения он благодарит поглавника за освобождение этого края от рабства и иноземного гнета, равно как и от преступников, намеревавшихся безнаказанно грабить народ. От имени населения он заверяет поглавника в полной преданности и верности. Поглавник произносит благодарственную речь:

«Здесь, на берегах Уны, всегда решалась судьба хорватского народа, и не удивительно, что этот край и теперь борется в первых рядах. Сыны хорватского народа, которые ценой неустанной борьбы и при помощи союзников восстановили свое Независимое государство Хорватию, сумеют очистить от врага всю страну до последней пяди, чтобы в ней воцарились мир и благосостояние».

К поглавнику подходит девочка Божена Алиуп и вручает ему букет полевых цветов. Хор в это время поет:

В бой, в бой,
меч из ножен, братья!

Девушки и дети забрасывают поглавника цветами. Ряды встречающих ломаются. Женщины и старики бросаются к поглавнику, раскрывая ему объятия...

Около 19 часов поглавник в сопровождении немецкого посла его превосходительства Зигфрида фон Каше, командующего немецкими вспомогательными частями генерала Фридриха фон Шталя, немецкого генерала Боровского и других посетил хорватских и немецких солдат, которые как раз в это время собрались на ужин. Поглавник беседовал с ними. Все прошло в образцовом порядке, без каких-либо упущений.

Перед красным каменным зданием, стоящим за вокзалом на возвышенном месте, расстелен ковер и поставлены цветы. На фронте дома — хорватский и немецкий флаги, а поодаль уже выстроен немецкий оркестр. Перед ним немецкий почетный караул. Все подходы к площади заполнены горожанами, домобранами, усташами и девушками и юношами из усташской

молодежной организации. Сегодня здесь состоится молебствие. В начале одиннадцатого появляется поглавник со своей свитой. Тишину прерывает команда, обращенная к почетному караулу. Немецкие солдаты стоят по стойке «смирно». Слышатся первые ноты мелодии, служащей увертюрой к церемонии. Окруженный высокопоставленными особами, стоит поглавник; взгляд его устремлен вдаль, а звуки оркестра, исполняющего мелодию с большой теплотой и чувством, тают в ночной тишине. Солдаты снимают каски, оркестр исполняет церковные песнопения. Отданы почести павшим, восславлены живые воины, борцы и создатели новой, честной и счастливой жизни. Здесь немецкие солдаты, чью грудь украшают хорватские ордена и медали, здесь домобранные и усташи; все они борцы; пламя пылающих факелов озаряет их неподвижные лица с блестящими и ясными глазами.

На следующий день утром поглавника встречает офицер из полка Анте Павелича.

«Ну как? — спрашивает его поглавник. — Довольны ли люди?»

«Довольны, поглавник... Вы сами в этом убедитесь».

Затем поглавника приветствует глава общины Адилл Колич, заверяющий его в поддержке и преданности всего населения. В ответ слышатся слова поглавника:

«У вас хотели отобрать ваш город, ваши дома, разорить ваши родные очаги, осквернить святость порога мусульманского дома и семьи, хотели отнять у вас веру и честь, которые вы всегда берегли и защищали, как и ныне. Но тот, кто лишен чести, — не человек, у него нет ни веры, ни души, ни отечества. Поэтому мы и дальше будем бороться, чтобы очистить всю нашу страну до последнего ее уголка от партизанских банд, ибо не будет или нас, или их! А я говорю вам, что мы до сих пор побеждали их и, будьте уверены, сумеем одолеть навсегда. Босния нам не чужая, не партизанская. Босния — хорватская и хорватской останется...»

Поглавник останавливается возле мусульманки, держащей двух маленьких детей. Бедность и нужда их очевидны. Поглавник отдает распоряжение оказать нуждающейся женщине вспомоществование в сумме тысячи кун. Бедная женщина потрясена и пытается поцеловать руку поглавника.

Поглавник садится в машину...

Мы едем долиной Улы. Справа и слева видны сожженные дома. На пастбищах — стада коров и овец. Пастухи оставляют стада и подбегают к дороге, машут руками в знак приветствия. Справа от нас — железнодорожное полотно, разрушенное во многих местах. Сейчас на нем ускоренным темпом ведутся вос-

становительные работы. Мы видим поднятые из развалин мосты, но в то же время повсюду вокруг опустевшие очаги.

Скоро мы будем в Добрлине, разрушенном городе, где не осталось камня на камне, где развалены стены, сожжены кровли, разорены очаги, дома превращены в руины и разграблено все, что можно было унести. Мы въезжаем в Добрлин, и перед нами предстает незабываемая картина — свидетельство того, что намеревались учинить над хорватским народом его злейшие враги; теперь они несут заслуженную кару.

При въезде в Добрлин поглавнику представляется командующий немецкой группы войск Карл Шварц. Он, а за ним командир Первой ударной роты Четвертого горного полка ротмистр Юрай Болинац рапортует поглавнику. Проводится смотр войск. Поглавник вручает награды офицерам и солдатам: надпоручику Мплану Юричу (Малая серебряная медаль Анте Павелича за храбрость); подпоручику Мишко Видецу и прапорщику Впнко Сватошу (то же); поручику Марьяну Светецу (Корона короля Звонимира с лавровым венком); прапорщику Мирославу Балецу (Малая серебряная медаль за храбрость) и прапорщику Александру Рукавине (то же); разводящему Ивану Задро, разводящему Степану Жугаю, обер-ефрейтору Эрвину Вильфану, Хасану Дурмишенпчу, унтер-офицерам германской армии Генриху Пауэру, Иоганну Тольксдольфу и Шонфельду Манбуру и рядовому Готцу (Бронзовая медаль поглавника).

В селе Полявницы, близ Босанского Нового, поглавник сделал смотр частям Второго горного взвода, которыми командует полковник Мишко Грегориц, а также немецкому полку подполковника Хеншеля. После смотра поглавник беседовал с немецкими офицерами. Многие из них носят на своей груди хорватские отличия, которые они получили за геройство, проявленное в борьбе против партизанских банд. Вручив награду подполковнику Ирике (Железный трилистник), поглавник подходит к Артуру Халлику, немецкому солдату, и вручает ему Медаль за храбрость, говоря:

«Прошу вас носить этот знак как память о борьбе немецких и хорватских солдат за Германию и за Хорватию, за лучшее будущее всей Европы. Носите его как знак признательности хорватского народа брату по оружию».

Обходя выстроенные хорватские подразделения, поглавник приближается к унтер-офицеру Азизу Шечербеговичу, грудь которого украшают два отличия, полученные за храбрость в боях на Козаре и в Приедоре, и говорит ему:

«Как хорват и как воин, ты исполнил свой долг перед народом, перед Хорватией и перед своей религией».

Сатнику Звонмиру Здуничу, который отдает ему рапорт, поглавник говорит:

«Сражайтесь храбро и доблестно, вы будете славой и гордостью хорватского народа».

В БОСАНСКОМ НОВОМ И ПРИЕДОРЕ

В Босанском Новом поглавника приветствуют от имени мусульманского населения этого города Ибрагим Муфтич и Мухарем Абдиходжич. Поглавник награждает группу хорватских офицеров и унтер-офицеров «за храброе, подлинно воинское, разумное и образцовое поведение при обороне Босанского Нового» (полковника Томашича, подполковника Вуксана, надпоручиков Демешича, Цестара и Бартовича, поручика Бркича и бойника * Мплетича).

В Приедоре поглавника встречает и рапортует ему майор германской армии Путлиц, командир городского гарнизона и один из героев битвы на Козаре. Поглавник обменивается сердечным рукопожатием с немецким офицером. От имени усташской молодежи поглавника приветствуют Рудольф Вельчовски и Анкица Кардум, племянница покойной Анджелки Сарич, зверски убитой партизанами во время взятия ими Приедора. Затем поглавник обходит госпиталь, в котором лежат солдаты, раненные в сражении на Козаре, и вручает награды за проявленную в боях храбрость следующим раненым: Махмуду Алибеговичу, Деде Пивачу, Шабану Таличу, Джюре Шатовичу, Мухарему Окановичу, Осману Црноличу и Джюре Мадарасу. После этого поглавник встречается с группой железнодорожных рабочих, которые приветствуют его в своей рабочей одежде, держа на плечах лопаты, грабли, кирки и ломы.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОГЛАВНИКА (ИЗ ДНЕВНИКА)

За обедом поглавник говорит нам

О положении на фронтах:

«Великая и славная германская армия вместе с войсками союзников, в том числе и нашими домобранами, на широких и пустынных полях необозримой России ломает кости большевистской армии, русскому и московскому жидовскому большевизму, который объединился с английскими капиталистами и

* Бойник — чин в усташских войсках, соответствующий майору.

еврейским масонством. Скорее остановится солнце на небе и Сава потечет вспять, чем большевистская армия придет сюда».

*Об Анте Старчевиче, отце отечества *:*

«Отец отечества хотел быть похоронен в крестьянских опанках, в крестьянской могиле. Величайший из хорватов, он смотрел через Саву, видел до самой Дрины, видел нашу страну, нашу Боснию, нашу Герцеговину...»

О короле хорватском:

«Я восстановил корону Звонимира. Теперь она — символ хорватского государственного суверенитета. Хорватский народ принял закон, которым устанавливается новая хорватская династия. На престол взойдет потомок славного савойского дома герцог Аоста, и на Дуваньском поле будет обновлено великое и славное королевство хорватское».

О боях на востоке:

«Взят Севастополь, величайшая в мире крепость... Захвачено в плен свыше пятидесяти тысяч большевиков. Генерал Майнштейн произведен в фельдмаршалы».

О Боснии:

«У римлян существовало название Басанте, что означало область по ту сторону горных хребтов. Название это они взяли от пллиров. Около 950 года Босния упоминается в сочинении Константина Багрянородного «De administrando imperio» **, где она названа небольшой областью, маленькой страной всего с двумя городами. Затем ее упоминают Кинам и поп Дукляниц. В 1058 году, освободившись от власти Византии, Босния попадает под власть Петра Крешимира...

Боснийский хорват светлокож, темноволос, с лицом, опаленным горным солнцем, высок, широкоплеч, со спокойным, но уверенным взглядом. В Боснии лишь местами попадаются вкрапления сербско-влашского племени, предки которого пришли сюда с турецким войском как мартолозы. Они отличаются от остального населения, как сорпяки от хлеба: мрачные, коварные, лживые и ненадежные, как в прошлом, так и ныне, циндарско-влашские втируши. Мы их или истребим, или выселим в Сербию и Сибирь...».

* Анто Старчевич (1823—1896) — хорватский политический деятель, основатель и идеолог хорватской буржуазно-националистической партии права, борющейся за расширение автономных прав Хорватии в рамках Австро-Венгрии.

** Об управлении империей (латин.).

О драке с жандармами:

«Поглавник подозвал меня к себе. Сердце у меня запрыгало. Я вытянулся и застыл, как статуя, а поглавник спросил:

— Сколько ты, Франьо, проспел в Митровице?

— Пять лет, поглавник.

— Говорят, что ты был горяч и каждый дець дрался с жандармамн. Правда это?

— Мне неудобно хвалить себя, поглавник... С жандармами я сцеплялся почти каждое утро. Если я не мог им дать оплеуху, то плевал в них, но и они в долгу не оставались; повалят меня на землю или на бетонный пол и топчут башмачищами, как лошади на молотбе. Почти каждое утро меня так отделявали, пока нам не дали статуса политических заключенных.

— Это было тогда, когда вы сотрудничали с коммунистами?

— Мы не сотрудничали с коммунистами, поглавник, а независимо от коммунистов, в одно с ними время, устроили голодовку, чтобы добиться статуса политических преступников и чтобы тюремное начальство не приравнивало нас к уголовникам. Вот и получилось, что мы во время голодовки оказались заодно с коммунистами.

— Коммунисты тогда перетянули на свою сторону Балена и еще кого-то.

— Да, поглавник, — подтвердил я. — Бален тогда перешел к коммунистам вместе с Марушичем и еще кое с кем.

— А где теперь этот гад и предатель?

— Я слышал, что он партизан, где-то в Славонии.

— В какой еще Славонии?! — нахмурился поглавник. — В Славонии нет партизан!»

31/VIII 1942 г. (ВСТРЕЧА С ЛЕРОМ)

Сегодня в Загреб прибыл командующий XII германской армией и германский командующий юго-восточной Европы генерал-полковник Александр фон Лер. Это человек лет пятидесяти, небольшого роста, остроносый, с черными волосамн.

Его встретил воевода Славко Кватерник, тот, что 10 апреля 1941 года от имени поглавника провозгласил на площади св. Марка в Загребе Независимое государство Хорватию, за два дня до этого получив от Мачека заявление о лояльности, в котором лидер хорватской крестьянской партии подчеркнул, что хорваты, не оказывая сопротивления немцам, должны принять новую власть и сотрудничать с пей. Силы хорватской городской и сельской обороны тотчас начали разоружать части югославской армии, захватывать оружие, обмундированно, продовольствие, спасать склады, охранять мосты и железнодорожные ан-

нии от разрушения, в то время как немецкие войска продвигались на юг, к Греции. В селе Гудоваце мачековцы истребили 194 серба, за что воевода Кватерник присвоил им почетное звание егерей хорватской обороны. Кроме воеводы Кватерника, на встрече генерал-полковника Лера присутствовали генералы Эдмунд Глайзе и Фридрих фон Шталь, затем немецкий посол в Загребе Зигфрид фон Каше и итальянский военный атташе полковник Пе, а также итальянский посол Рафаэло Казертано...

Генерал-полковника Лера сразу же принял поглавник, который при этом заявил следующее:

«Я рад, что могу приветствовать на территории Независимого государства Хорватии генерал-полковника фон Лера, которому фюрер доверил великую военную миссию в юго-восточной Европе. Пользуюсь случаем поблагодарить генерал-полковника Лера за то, что он в качестве командующего воздушным флотом фюрера в войне против Югославии столь способствовал освобождению Хорватии, как и за все, что он сделал для нашей авиации и наших летчиков, которые под его командованием сражались на Востоке и одержали около сотни побед на фронтах большевистской России. Группы хорватских летчиков, которыми командует подполковник Джал, вчера в сто первый раз добились победы в воздушном бою, о чем Джал нас известил по телеграфу...»

Вручив генерал-полковнику Леру орден Большой короны короля Звонимира, дающий право на звание Рыцаря, поглавник устроил во дворце на площади св. Марка прием. Разговаривая с генерал-полковником Лером, поглавник сделал мне знак приблизиться. Представив меня, он велел мне рассказать о боях на Козаре. Я говорил совершенно откровенно. Сказал, что битва на Козаре — самое страшное, что мне довелось пережить.

Поглавник, точно это ему было неприятно, перевел разговор на свою предстоящую поездку на Восток, в Главную ставку Гитлера, затем через Украину на фронт под Ленинград, туда, где находился фон Паулюс, командующий VI германской армией. В составе этой армии в дивизии Фрица Найдхольда находится и 369-й полк хорватских легионеров. Кроме них, на Востоке воюют и солдаты нашего вспомогательного полка, а также хорватские летчики и моряки, прошедшие победоносный путь от Харькова до Дняца и Дона. Поглавник подчеркнул, что эти полки храбро сражаются, и на территории, которую очищают хорваты, не остается ни одного большевика.

«Те части, которые вели бой на Козаре, тоже должны были отправиться на Восток», — сказал поглавник и показал книжечку с символическим названием «Козара — могила парти-

зан». Потом, загадочно усмехаясь, принес корзинку, в которой я увидел металлический сосуд с крышкой. Поглавник вынул из этого сосуда нечто вроде ожерелья не то из слив, не то из рябины.

«Знаете, что это такое?» — спросил он.

— Нет, — ответили мы.

«Это ожерелье из девичьих глаз с Козары, — пояснил поглавник. — Я получил его в подарок от ффра-Августина, в знак того, что Козара побеждена и это большевистское гнездо ликвидировано...»

Есть посреди козарских лесов место, называемое Живодером. Другое место, подле этого, называется Могилками.

Откуда взялись эти названия?

Во время боснийско-герцеговинского восстания 1875 года пошел паша с войском к Моштанице, чтобы сжечь монастырь, о котором слышал, что там собираются повстанцы. На Козаре в густом лесу наткнулся паша на одного пастуха, схватил его и приказал вести турецкое войско к монастырю.

Узнав, что турки хотят сжечь монастырь, на стене которого было три кольца (а во время восстания супостаты жгли все такие монастыри), пастух начал водить турецкое войско кругом да около по лесу, все не теми дорожками. А сам дал знать моштаницким монахам, чтобы они убрали одно кольцо со стены, дабы турки не сожгли монастырь.

Пока монахи снимали со стены третье кольцо (то ли среднее, то ли то, что под крышей), пастух водил турок по лесу туда-сюда, вокруг да около, так что они только зря время теряли и вечером возвращались на то место, с которого утром тронулись в путь.

Догадавшись, что пастух водит их за нос, паша разгневался и приказал содрать с него живьем кожу и распять его на дереве. Турки так и сделали. Место, на котором с этого пастуха содрали кожу, названо Живодером...

Ворвавшись в Моштаницу, турки разграбили и подожгли монастырь, а потом двинулись по подкозарским селам и похватили множество детей от семи до пятнадцати лет. Этих детей они пригнали в лес, к монастырю, и перерезали их. Место, на котором дети похоронены, называется Могилками.

Рассказ лесника

Вдоль Млечаницы, вдоль самой воды они бредут, едва передвигая ноги; и вот перед ними множество мертвецов на носилках, на ветхих, истрепанных плащ-палатках. Разлагающиеся трупы.

Он обнаружил их по смраду. Он шел впереди колонны, и ветерок из леса время от времени доносил волны зловония, на мгновение заполнявшего весь лес. Тогда все зажимали рот ладонью и задерживали дыхание, а некоторые пускались бежать, чтобы уйти от смрада. Но уйти было невозможно, да и он им не позволил, так как мертвецов надо было похоронить. Когда-то это были бойцы, раненные при обороне Козары, что можно было заключить по их шапкам, на которых еще виднелись пятиконечные звездочки, почерпелые от дождя, грязи и крови, засыпанные листьями и лесной трухой.

Ему представилось, как он лежал бы на носилках, беззащитный, среди остервенелых врагов. И меня легко могла постигнуть их судьба, думал он, отдавая бойцам распоряжение подобрать трупы и похоронить их.

Их клали в ямы, вырытые наспех; трудились из последних сил, с нескрываемым неудовольствием. Заталкивали в ямы вместе с носилками, даже не пытаясь отделить от них. Некоторые не могли вынести запаха, бежали прочь и издали Христом-богом просили товарищей обойтись без их помощи. Страшнее всего было зрелище кипевших на трупах червей и муравьев.

Тогда он приметил стаи ворон и сорок. В вышине, над вершинами деревьев, в голубизне неба, эти стаи кружили над мертвецами, следя за тем, как их уносят и закапывают. Даже после похорон птицы не переставали кружить над могилами: вороны каркали, сороки ловко увертывались от кидавшихся на них ворон, чаявших от них получить то, чего больше не оставалось внизу, на поляне.

Каркающие черные стаи кружили в лазури над его головой, точно дожидаясь, чтобы и он пал, а они бы расклевали и разнесли его тело на все стороны. Напрасно он приглядывался, закидывая голову: черные стаи не редели, а мпожались, появляясь из леса и летя низко, то над самыми деревьями, то между стволов; вестники зла, несчастья и гибели...

А смрад все ширился и ширился. Смрад встречал колонну, как разбойник путника на большой дороге. Он подстерегал их в засаде и налетал, возвещая, что и тут, поблизости, лежит мертвец или, может быть, целая куча трупов.

Надо было бы проверить это, но ни у кого не находилось ни сил, ни решимости. Они останавливались, зажимали рот ла-

донью, задерживали дыхание; некоторые пятались, бежали назад, вправо или влево, стараясь обойти зловонно стороной. Но все было напрасно. Смерд наступал и разрастался, заполняя лес, отягощая ветви. Казалось, что он бьет отовсюду — из оврага, от реки, со склонов, из леса...

Закопав еще несколько трупов, колонна двигалась в путь. Ему стало ясно, что больше им не выдержать. Смерд вызывал рвоту. Это было страшнее гибели: отвратительно, невыносимо, ужасно. Дышать было невозможно. Их рвало па ходу, они шатались, хватаясь за живот, в котором кишки точно лопались. Непонятно было, что смердит сильнее: трупы людей или животных. Им казалось, что мертвого человека можно узнать по томительному, кисловатому, странному запаху, который душит и проникает во внутренности и в самые кости...

К счастью, через несколько километров, когда они выбрались на склон горы, смерд исчез. Его не стало. Ветер не приносил его, и черные стаи не указывали уже на его близость. Он остался внизу, в долине, вместе с черными стаями. Но каждый нес его в своих ноздрях, в легких, в мыслях. Если запах опять вернется, они не выдержат, попадают на землю и умрут в мучениях. Однако смерд не возвращался, а свежая прохлада под густым навесом ветвей как будто предвещала, что его больше не будет, что он исчез и может вернуться только в кошмарном сне.

— Привал на десять минут, — сказал Лазар.

И вот одни падают на траву лужайки и тотчас начинают храпеть, а другие отправляются собирать ягоды или кислицу. Кто-то отыскал пучок черемши, похожей на лук-порей, ест и давится, длинный лист застрял в горле.

Вот до чего они дошли. Когда-то неудержимые, стремительные, многочисленные, они превратились теперь в жалкую горсточку лесных разбойников. Отряд рассеялся. Нет штаба, нет Обрада, нет Шоши, нет окружного комитета и товарища Словенца. От многочисленного войска Младена, от почти четырех тысяч бойцов осталось только несколько рот, да и те обчищенные и разбросанные, блуждающие по лесу, истерзанные, измученные, не способные к бою. Даже без единства в мыслях: одна группа перешла через шоссе на Козару, а другая исчезла без следа...

Что это там в папоротнике?

Он увидел белую рубаху и черный фартук. Мертвая женщина? Но запаха нет. Раз не пахнет, значит, живая, подумал он и побежал к елке, под которой лежала женщина. Но тут его обдало смердом, он отшатнулся, зажимая рот и поздри, и пятился назад.

Отдалившись на достаточное расстояние в густую еловую поросль, он осознал, что женщина лежит во вспоротом воле, в брюхе мертвого животного, так что наружу торчат только ноги и кусок рубахи с черным фартуком.

Женщина в брюхе вола? Откуда это? Может быть, ее убили и бросили? Или задушили таким образом? Или она пробовала так уйти от смерти, спрятаться? Или, изголодавшись, в свой смертный час пыталась насытиться сырым мясом, может быть, уже разлагавшимся?

Выбравшись на тропинку, он увидел среди папоротника колыбель. Пустая, она стояла, накрываясь пабок. Часть соломы, на которой когда-то лежал ребенок, вывалилась на землю и лежала помятая, желтая, истлевающая и влажная. Подле соломы землю устилали перья белее снежных хлопьев; они были рассыпаны повсюду вокруг, около колыбели и дальше, под деревом, куда их унес ветер. Лазар увидел и подушечку с вмятиной в том месте, где когда-то лежала голова младенца. Колыбель и перья белее снега — слезы и судорога в горле...

Что сделали, гады!

Заглянуть в колыбель он не смог. Отвернувшись и ускорил шаг со странным чувством, что сейчас откуда-нибудь из папоротника услышит детский голосок, плач и жалобу: «Дядя, дядя!.. Почему ты меня оставляешь? Где моя мама? Дядя, куда ушла моя мама?»

Вот что такое Козара: пустыня с черными стаями ворон, пресыщенных и мерзких, реющих над трупами. Вот что такое Козара: смрад, поднимающийся из леса, из оврагов, из земли...

Лучше было бы нам погнаться, чем увидеть все это. Вставайте, люди! Он глядел на бойцов, которые лежали в папоротнике, на траве, на листьях и выступивших из земли корнях — кто на животе, кто на боку, кто на спине. Одни спали, другие дремали, прислонясь к стволу дерева, с винтовкой на коленях, опустив голову и приоткрыв рот...

Нет, мы должны были прийти сюда, подумал он. Если бы мы не вернулись на Козару, враг бы нас уничтожил. Мы пришли сюда, чтоб отыскать своих (если они еще есть), отыскать и собрать воедино блуждающие по лесу группы и одиночек, которые вылезут из своих нор. И еще мы пришли сюда, чтобы отыскать своих домочадцев — родителей, детей, жен и братьев, которых еще не перебили палачи. Он всматривался в глубь леса, шаря взглядом между стволами, в густых зарослях, в ветвях и листьях, уверенный, что кого-то встретит, найдет кого-то...

— Подъем, подъем...

— Эй, подымайся... Слышишь?

— Подъем, подъем...

— Что ты меня будишь, туда тебя растуда!..

— В поход, в поход...

Они подымались, как из могилы, с мертвым взглядом, а он знал теперь, что вернулся на Козару из-за семьи, убедиться, не осталось ли кого. Бойцы могут собраться вместе и без него, если они тут есть; но если он останется без родителей и без детей — мука горькая...

— В колонну по одному... За мной...

Он снова шел впереди тяжелым шагом, подымаясь по склону холма, прочь от долины с черными стаями и невыносимым запахом мертвечины. Голод терзал его, ломала усталость; но он бывалый солдат, он одолеет усталость, и голод, и вшей, и грязь (сколько уж я не брился, мать моя!) и исходит Козару вдоль и поперек, заглянет во все лощины и овраги, лишь бы найти хоть кого-нибудь из своих.

— Что мы есть будем, командир? Где будем ночевать?

— Подожди! Увидим...

Может, мы идем навстречу засаде? Не подстерегают ли нас там, паверху?

Пусть! Одолеем и засаду.

Если раздастся хоть один выстрел, рота кинется врассыпную, и все побегут, как тогда, под Пекшеным Гаем. Страх вас распатал. Идете вместе, а сами точно на ногах не стоите. Один выстрел из засады — и только пятки засверкают.

Не мели ерунду! Если рота разбежится, я один пойду искать своих. Или найду их, или погибну. Должен найти хотя бы Бошко, Новака, Даницу. Я пошел воевать, чтобы сохранить их, а не затем, чтобы потерять. Я не знаю, что такое революция. Того, что говорят комиссары, я большей частью не понимаю. Но знаю, за что воюю и зачем ношу винтовку. Я восстал против ворогов, чтобы или одолеть их, или погнать. Если не найду никого из своих — пусть знают, что новая пора настала: Лазар никому больше не будет прощать, а пленных живыми отпущать и не подумает. Будем резать друг друга до судного дня...

Уж не собрался ли ты в четники, Лазар?

К чертовой матер! И четников буду резать — я ведь я так уж их малую толнку укокошил за Младена и за бойцов пролетарской роты, которых побили в Йошавице.

Тогда сбрей бородищу, Лазар! Если ты не четник, сбрей бороду!

Не лезь ты, слышишь? Как я обреюсь, коли нету ни бритвы, ни зеркала, ни мыла, ни воды. Обреюсь, если жив буду, как только станем на почлег у ручья.

Обреет тебя пулемет из засады!

А у меня у самого десять пулеметов.

В самом деле, куда мы идем? Разве не все равно, куда пойти, где остановиться и на сколько задержаться?

Обыщем горы, думал он; вдоль и поперек, всю Козару, от Маслин-Баира до Мраковицы, от Медняка до Лисины и Войсковы и еще дальше, до Подградцев. Будем собирать своих братьев — бойцов, раненых, разных несчастных и безоружных, которые, может быть, спаслись, закопавшись в землю или попрятавшись в пещеры, на деревья, в заросли ежевики, под кучи палого листа или в дупла...

Пойдем наверх, в горы. Наверху меньше смердит. Наверху наверняка нету трупов, потому что беженцы двигались по долинам, вдоль рек — вдоль Млечаницы, Моштаницы и Грачаницы. Пойдем наверх, к вершинам. Он поднял голову и сквозь ветки увидел в вышине стаю птиц; они вяло кружили в воздухе, а потом поворачивали в сторону долины (за добычей). Уходят — видно, наверху трупов нет. Он расстегнул ремень, сунул руку под куртку и начал чесаться, гонять вшей, нагло сновавших по телу, покрытому волдырями и расчесами.

Наверху устроим привал и переночуем, дальше идти нельзя, ноги отваливаются, помираю с голоду, мать честная... Он пытался понять, где он находится, что делает и чьи голоса слышит. Наконец понял, что ему говорят:

— Бери, бери, командир...

— Откуда у вас сливы?

— Нарвали в селе...

— До чего же хороши, братцы!

— Еще принесут... Послали две десятки по селам.

— Кто вам разрешил посылать бойцов без спросу?

— Ты, командир! Разве не помнишь?

— Я? Ты что, бредишь? Я такого приказа не давал.

— Давал, командир! Только не помнишь. Может, ты спал.

— Я спал?

— Хватит на сегодня, командир! Переночуем здесь.

Он говорил с Баялицей, комиссаром, которого мог бы поднять одной рукой. Но странно, в эту минуту Лазар стеснялся и побаивался Баялицы, хоть тот был щуплее, ниже и неказистее его. Откуда у него, ледащего, такая сила? Точно и не шел, и не голодал, и страху не видал, точно все ночи спал на мягком сене и чистых простынях! Или он притворяется мастер, или в самом деле выносливее его, Лазара, о чьей силе по отряду сказки ходили.

Годы это, подумал он. Я вдвое старше его, в отцы ему го-жусь. Бессонница меня ухайдакала. Надо спать, спать, спать. Он назначил караульных, выбрал места для часовых, разослал патрули и только тогда увидел, что рота не отделилась и на

сотню метров от Млечаницы и стоит в пизине, на поляне под соснами, а снизу слышится журчание воды по камням.

Дальше мы идти не можем и не пойдем. Он повалился на постель из веток, которую приготовил ему малый. Повалился и в тот же миг захрапел; он слышал голоса, и не мог проснуться, и не хотел вставать до самого утра, хотя его и пробовали поднять.

Утром он встал, съел пригоршню слив, по голода этим не заглушил. Только сейчас он почувствовал, насколько проголодался и как сводит кишки. С каким наслаждением умял бы он сейчас краюху хлеба, или кусок мяса, или пирога с горячей похлебкой. Но ни хлеба, ни мяса, ни пирога не было. Не было даже слив. Ту пригоршню сберег для него малый, чтобы утром похвалиться, как он заботится о командире, о своем дяде, в то время как другие старались урвать как можно больше для себя.

— Дядя, дядя, потише маленько... — услышал Лазар голос малого.

Они спускались по склону, раздвигая ветки, подминая папоротник, Лазар впереди, а малый за ним. Бойцы равнодушно поглядывали на них; одни сидели, кляня носом и поминутно засыпая, другие храпели на траве, третьи давили вшей. А Лазар хотел поднять их в поход как можно скорее.

Он заметил палаш из веток, побывавший под дождем. Колья, на которых он держался, покосились, часть крыши из увядших веток провалилась, некоторые ветки свисали до самой земли. У входа в палаш чернел очаг с угасшими углями, обгорелыми пнями и колодами. Судя по пеплу, развеянному вокруг, огонь был погашен давно. Лазар увидел и два вывернутых кола с котелком на перекладные, закопченное дно которого выделялось на зеленом веток...

— Подъем! Выступаем! — скомапдовал Лазар, и бойцы потянулись одни за другим вверх по склону, трудным, медленным шагом изголодавшихся людей.

В гору шли долго, хватаясь за ветки деревьев, за корни, за траву. Двигались медленно, как на похоронах, понурые и безмолвные от усталости, страха, голода. Мучимые неизвестностью, они все же шли, хоть и тяжело, хоть и сломленно, хоть и голодно и безнадежно. Взялись по склону среди темно-зеленых стволов и крои и были счастливы, что по крайней мере не чувствуют вчерашнего смрада. Нет смрада. Лес его поглотил. И можно продолжать мучительный, горький и неловкий неизвестности путь, подтягивая ремни, чтобы утихомирить разбухший желудок, вздыхая о хлебе, о сне, о воде, о семьях, о том, что имели и потеряли, может быть, безвозвратно.

Но они продолжали идти, упорно, как на похоронах. Почти

песя мертвеца к могиле и не смея вернуться, что бы ни случилось. И шли вверх, к кладбищу, к вершине Витловской горы, к густому лесу, окружающему поляну, на которой и в самом деле находилось кладбище — первое кладбище на этой горе, партизанское кладбище, где они оставили десятки товарищей и среди них Георга Шенделера, рабочего из Вены, который погиб, стреляя по немецкому самолету. Они шли вверх, к кладбищу. Не перерыто ли оно? Может быть, враги выкопали погребенных, раскрыли могилы, разбросали кости? Они шли вверх, к кладбищу, по крутому склону, чуть живые, но и не думали остановиться или вернуться, точно несли мертвеца, которого надо похоронить до захода солнца. Взирались вверх по крутизне, едва живые, но не помышляющие о том, чтобы остановиться или вернуться...

На Витловскую гору, на Витловскую гору! На вершину! Как можно скорей на вершину, на ту поляну, к кладбищу, на котором остались десятки схороненных! Как можно скорей на вершину, на гору! Как можно скорей...

Они спотыкались, падали, останавливались, с трудом пересаживали дух, оглядывались, бессильно всматриваясь в стволы, в равнодушные, бесчувственные ветви, в тупое небо. И снова шли, не допуская и мысли об остановке или возвращении.

Шли все медленнее, карабкаясь по крутизне, уверенные, что на Витловской найдут зарытое в землю зерно, что, может быть, найдут и Шошу и раненых; а может быть, и маленький отряд, который готовится к новым боям, не признавая поражения...

Но снова их встретил, поколебал и заставил остановиться смрад. Смрад, доносящийся сверху, с горы, из леса: тяжелый и всепроникающий трупный запах. Они не могли больше двигаться вверх и свернули влево, не ожидая команды, зажав рот и нос: сначала в сторону кинулся один, за ним второй, третий и, наконец, вся колонна, не ожидая приказа. Так они изменили направление и пошли влево, вместо того чтобы подыматься на вершину. Пустились бегом, по сил было мало. Падали, стонали, подымались и продолжали удаляться, бежать от смрада (хотя им только казалось, будто они бегут — сил не было даже на то, чтобы идти).

К счастью, смрад перестал их душить. Они выбрались на чистую, светлую поляну. Повеяло свежей лесной прохладой, запахом перезрелой земляники и перестоявшихся грибов, ароматом смолы, которая струями стекает по сосновой коре к корням, зарывшимся в землю. Вместо смрада их обдало благоуханием свежей сосны, вечнозеленой хвои, листвы. Это вернуло им силы и укрепило дух. Не надо было бежать, стая и зажимая ладошкой

рот. Они пошли влево серединой лощины, глядя в долину, над которой кружили черные стаи.

Тут кто-то сказал, что на сегодня хватит. Это был Лазар, паверпо, он, если не Баялица, а может, и Жарко, который вынырнул откуда-то и приказал им остановиться, расположиться в лесу и устроиться на ночлег, поставив часовых и выслав патрули. Это и в самом деле оказался Жарко, командир батальона.

— Пошли патруль на Витловскую, — сказал Жарко. — Там около госпиталя склад. Пусть насыпят в сумки зерна, если его не пожгли, и принесут сюда, будем кашу варить.

— Сколько мы тут пробудем? — спросил Лазар.

— Посмотрим, — ответил командир батальона.

Расставили часовых, выслали дозоры и начали готовить постели из листьев и веток. День был ясный, августовский, на небе ни облачка. Солнце лежало на верхушках деревьев онемелое, оглохшее и сонное.

Через несколько часов вернулись патрули с мешками и торбами, полными кукурузы. На Витловской они, кроме зерна, нашли и группу партизан. Говорили, что и Шоша жив и собрал уже много бойцов. Развели костры, подвесили котелки.

Вода из источника, прятавшегося в папоротнике, вернула им бодрость и расшевелила голод. Но теперь была надежда — котелки, доверху наполненные кукурузным зерном, уже кипевшие! Они дожидались каши, веря в то, что это последнее лишение, которое они терпят. Не пройдет и двух дней, как отряд снова соберется и воспрянет.

На ужин каждый получил по горсти вареной кукурузы. Поскольку у малого горсть была самая маленькая, ему дали две порции.

Пужинали быстро и повалились на ветки и листья, уверенные, что мукам пришел конец. Но на следующий день утром загрели выстрелы, начали рваться гранаты. Патрули допесли, что с Маслин-Баира двинутся немцы. Их много, и идут они сюда, к Витловской, Млечанице и Медняку. Если бы их встретить, пойти наперерез... Но кто-то заметил, что это было бы бессмысленно, потому что роты небоеспособны: бойцы и сами-то еле передвигаются, куда уж им раненых после боя тащить.

Решили не принимать боя с немцами, а повернуть вниз, к Млечанице, перейти реку и добраться до Медняка. Спускаться с горы было нетрудно, нетрудно было и перейти через реку, хотя в ущелье смердило, как в разрытой могиле. Но когда они стали подыматься в гору, к Медняку, узкой и крутой тропой, по которой санитары раньше пронесли столько раненых, их охватило отчаяние, гнев и тоска, до того тяжело давался каждый шаг. И все-таки надо было идти не задерживаясь.

Немцы были совсем близко, они входили в реку, будто обнаружили их след. Не выдал ли их кто? Или немцы так просто пошли на разведку?

Только они успели немного отдохнуть на Медняке, как заметили немцев и с другой стороны, от Дубицы. Они шли несколькими колоннами к Медняку, точно им кто подсказал, что здесь скрываются уцелевшие роты.

— Подъем, подъем...

— Эй, люди, куда мы теперь?

— На Палеж... В Войскову...

— А если на нас нападут и там? Тогда что будем делать?

— Распустил нюни!.. Там увидим! В Войскове есть хлеб и мясо, а может, и соль есть.

— Кто тебе сказал, дурень?

— Сам ты дурень, если сомневаешься...

— Люди, а ведь сегодня ильин день!

— Второе августа? И правда второе... Ильин день...

— К чертовой матери и второе августа и ильин день! Как раз на этот ильин день у нас неудача получилась, как и в прошлом году, когда подняли восстание.

— У тебя всегда неудача, потому что ты боишься! Трусы...

Отступали и попросту бежали весь день, держась плотно утопанных троп вблизи вершин. Когда приходилось спускаться в лощины, на влажной земле оставался глубокий след папозады бороды. Бойцы, замыкавшие колонну, должны были прикрывать этот след ветками, чтобы немцы не заметили его и не пустились за ними в погоню.

Так двигались до вечера, без хлеба и воды, без остановок, ибо немцы точно соревновались с ними в быстроте. За день пересекли почти всю Козару.

Ночь застала их на холме над Войсковой. Безлюдное село, трупы партизан, перезрелые сливы, пустые дома, ягнята, бродящие по полям! Каждой десятке бойцов было разрешено заколоть по ягненку. Разгорелись костры, завращались самодельные вертелы, вкусно запахло бараниной.

Все неотрывно глядели на огонь и жарящиеся тушки. Но когда мясо было готово и каждый взял по куску и начал было есть, спохватились, что нет ни соли, ни хлеба. Мясо без соли и хлеба! Они откусили раз-другой, быстро насытились этой безвкусной пищей и стояли с кусками мяса в руках, колеблясь, то ли съесть еще, то ли бросить несоленое мясо.

Вечером двинулись назад лесом, вдоль предгорий. Долго шли молча и уже начали ворчать, что пора бы уж остановиться на ночлег. Куда это они идут и почему возвращаются? Неужели

зря прошагали весь день и отмахали такое расстояние, чтобы снова его пройти, только в обратном направлении? Уж не рехнулся ли тот, кто идет там впереди и командует ими? Кто это? Жарко, или Шоша, или какой-нибудь полоумный, который окончательно спятил?

— Эй, куда идем-то, мать вапцу...

— Молчи... Не нарушай строя...

— Ей-богу, они там с ума посходили.

— Тебя что, силой в партизаны-то гнали? Теперь знай сяду-шай да терпи.

— Да куда нас ведут, мать их...

Около полуночи, а может, и позднее (как узнаешь, который теперь час?) приказали остановиться. Одни выслушали приказ стоя, другие попадали на землю и, лишь прикоснувшись к траве и листьям, начали храпеть и бормотать во сне. Те, что остались на ногах, поставили часовых, выслали патрули. Скоро сон одолел и их.

Их разбудило солнце. Наверняка спали и часовые, хоть и на ходу: шагнут шаг-другой по лагерю, прислонятся к дереву и вздремнут на минуту, а потом испуганно встрепечутся и снова зашагают взад-вперед, вспомнив, что они на посту.

И так три дня: вверх-вниз, туда-сюда. То вперед, то назад. Без смысла. Счастье еще, что было мясо, хоть и несоленое и без хлеба. Была кукуруза и фасоль. Это вернуло им силы и надежду. Петь даже начали, правда, тихо и поодиночке, точно стесняясь друг друга и точно песня сейчас — самое постыдное.

Еще несколько дней так: туда-сюда, без смысла. Потом сказали — на Палеже будет смотр. Какой смотр?

Подготовиться! Вычистить одежду! Вывести вшей, чтобы не скрестись в строю, не ловить и не стряхивать их, когда комиссар или командир будут речь держать.

Какой комиссар? Какой командир?

На Палеж начали сходить с раннего утра. Большое плоскогорье, поросшее деревьями с толстыми стволами и широко раскинутыми ветвями, приняло их, залитое солнцем, точно обрадованное. Со всех сторон появлялись партизаны; из долины, из чащи леса, из папоротниковых зарослей. Некоторые даже шли с песней, хотя это было запрещено из опасения, что немцы услышат и обнаружат их (если они где-то здесь, в горах). Но песня вырывалась сама собой, и к полудню, когда солнце вовсю запылало над горами, на Палеже собралось семь или восемь, а может, и все девять сотен партизан.

Кто их пересчитает? Кто угадает, сколько их тут?

Рота за ротой подходили и строились на поляне под деревьями. Кто выбирал место на солнце, кто в тени, по строй не

разрывался и число рот все росло. Бойцы узнавали друг друга, кидались обниматься, целовались, жали друг другу руки, плакали. Опять они видели Шошу, Бошко, Чоче, Петара Бурана...

Отряды начали строиться. В шеренгах рядом со здоровыми стояли и раненые, с перевязанными головами или руками; некоторые опирались на палку или на руку товарища. Двое стояли обнявшись: один с повязкой на глазах, другой без ног, повиснув на плечах товарища. Безногий одолжил неярчему глаза, а тот ему ноги. (Так они несколько дней тащились по лесу, уходя от немцев, пока не набрали на своих.) Стояли в строю и носилки с ранеными, которые хотели побыть среди товарищей, хотя бы недолго, пока идет смотр.

Лепосава стояла с ребенком на руках. Чей он, этот мальчуган с лохматой, курчавой, как у ягненка, головой? Где она его нашла и зачем принесла в строй?

— Солнышко мое, жизнь моя, — твердила она, всхлипывая.

— Мама, ма-ама, — прижимался к ней мальчик.

Это был смотр целых и раненых козарчан после сражения. Кто из какой части, не спрашивали. Тут были бойцы из Первого, Второго, Третьего, Четвертого и Ударного батальонов.

Звонко раздавался голос Петара Бурана. Они знали этот голос и любили его, он казался им красивее девичьего. Петара уважали бесконечно, а он говорил, что не покинет их до смертного часа.

Это был смотр выживших, но в то же мертвых, всех погибших и без вести пропавших, что в строю стоят не только те, что помогали им, те, что вместе с ними в лагерях, под дождем, ветром, пулями и что в этот час на Палеж, на просторно лась вся Козара, все ее села, все скалы.

— Отряд, смирно! — сказал командир Шоша. — Направо равняйся...

...смотр всех
х. Каза-
но и те,
енских
залось,
ресели-
все

...аме-
...боять

— Друзья мои, братья мои, — начал говорить Бошко, член окружного комитета. — Видите вы эти колыбели? Видите лерья, которые разносит ветер? В этих колыбелях лежали наши дети. Где они теперь?

Они плакали, не стыдась и не стеснясь, вытирали слезы и слушали своего товарища, бывшего учителя, одного из лучших ораторов в Боснии. Слушали и плакали не стыдась...

— Этих детей враги убили или угнали в лагеря. Мы объявляем врагам войну не на жизнь, а на смерть... Отряд остается, Козара не погибла... Отомстим неприятелю за все раны, за му-

ки, за наших детей, за опустошение, которое мы видим... Козара принадлежит партизанам.

Они слушали Бошко и плакали. И вот перед строем появился высокий, стройный, полный достоинства партизан в куртке, перехваченной ремнем, с револьвером на бедре. Они не знали, что он им скажет. Он молча достал из сумки пачку листов и начал то читать, то говорить:

— Стоянка, мать из Кнежеполья *, разыскивает сыновей Срджана, Мрджана и Младжена, погибших во время фашистского наступления, и призывает к мести.

Они не знали, читает он, говорит или кричит кого-то:

О-о-ой!
Три сербских года на моем веку,
Три Обилича, благодаря моему молоку...
Ой, три волка моих, три вы лютых вихря,
Мать хочет перецеловать вас, замерзших...

Слушая этого высокого человека, внушающего уважение всем своим видом, Скендера из штаба отряда, они не знали, читает ли он стихи или грозит и проклиняет:

...Вчерашнее ли оно, Кнежеполье?
Таким перед осенью бывало?..
Тихо, глухо,
Ни пчелы, ни птахи.
Заблудившийся теленок
По утрам спросопок
В горницу пустую забредает
И, мыча от страха,
Головою дверь бодает...

Скендер читал свою поэму, и они не знали, что слушают — песню, или проклятие, или призыв к мести:

Мщенье, сестра, мщенье!
Отомсти за моего сына Срджапа,
Отомсти за моего сына Мрджапа,
Отомсти за моего сына Младжена... **

Они слушали, плакали и спрашивали себя, что это — песня или крик, проклятие или призыв к мести?

32

Что с тобой, Лазар? Почему молчишь? Когда утх твой голос, от которого горы дрожали? Где ты упал, где выпустил из рук оружие? С каких пор лежишь на окровавленных носилках? Уж не разлука ли это?

* «Стоянка, мать из Кнежеполья» — поэма поэта-партизана Скендера Куленовича.

** Стихи переведены Б. Слудским.

Первая картина: встреча с братом.

— Здорово, Джюрадж, здорово, болезный... Как это ты выбрался?

И начинается рассказ о граблях. Что это такое? Это ряды солдат противника, настолько густые, что народ прозвал их граблями. От Козары до Уны дважды прочесана каждая улочка, каждый сад, каждый куст... Грабли чистили, захватывали, прочесывали, били, тащили в плен. Одного сцапали у самого дома, в саду или на сене; других отыскивали на чердаке, в погребе, в бочке под крышкой, в вырытом в земле тайнике, где их учуяли собаки. Солдаты перекапывали поля, бросали гранаты в заросли ежевики, переворачивали пласты на пашне, разворачивали входы в пещеры, буравили дупла, разгребали листья...

— Рассказывай, Джюрадж, рассказывай...

— Когда надвинулись эти самые грабли, — продолжает Джюрадж, — я косил. Они шли от Марин по холмам. Густые цепи, точно черными плетнями поля перегорожены. Идут себе не торопясь, а мы ждем и муку мученическую терпим. Что делать, куда скрыться? В сено забраться — подожгут; на дерево взлезть — увидят; в лес побежать — заметят; к Уне броситься — подстрелят, когда на тот берег выберешься. Кипулся я к оврагу искать пещеру. Спустился вниз — нигде пещеры нет. А черный плетень к селу подступает. Повернул я назад, к нашему дому. Что делать, мама милая? Со всех сторон войско, ума не приложу, куда деваться. Залез в живую изгородь, в терновник, возле самой дороги, а войско рядышком гроыхает, катится, пыль подымает. Я прилип к земле, застыл, как камень, руки и ноги подобрал, голову в плечи втянул, а крапива меня так и жжет. Войско идет мимо меня, тьма-тьмущая. Везут пушки, а я в комочек сжимаюсь. На кол бы меня стали сажать, я бы и тогда, кажется, ни звука не проропил. Но вот войско остановилось. Одни сели на лужку, другие по садам отправились, третьи по улице бегут. Несколько человек вломались в дом. Орут, галдят. Один погнался за нашим петухом, тем, что с большим гребнем, он еще нас всегда будил. Гонится солдат за петухом, а он, сердяга, бежит в мою сторону, прямо к живой изгороди, и ко мне — узнал меня, прижался и давай кричать. Я на него «кыш, кыш», а он знай орет. А тот солдат идет к изгороди, ищет петуха. Вижу я, шутки плохи — хватаю своего петю за шею и выталкиваю навстречу солдату, а сам молю бога, чтоб тот его подхватил и унес, а меня не заметил. И он в самом деле схватил петуха за крыло, но петух вырвался и побежал, только горсть перьев в злодеевой руке оставил. И бежит, несчастный, опять ко мне, дрожит и перьями трясет, точно защиты просит. А я его зубами за гребень: кусну его, думаю,

он и не будет ко мне лезть! Цапнул я его за гребень, а пете хоть бы хны, только пагнул голову и вроде бы удивился. Но не отбежал, наоборот, ко мне прижался. А солдат — тут как тут! Начал раздвигать ветки, раздвинул и...

— Батюшки, увидел?

— Увидел, брат. Схватил и меня и петуха. Петуху свернул шею, а меня погнал вниз, на станцию, а там в вагон и — ту-ту, в Костайницу. Тесно в вагонах, братцы мои, много нас. Мрет народ от жажды и духоты. Один рехнулся, детей своих зовет и плачет, об доски головой бьется. Всю-то ночь напролет нас везли и на самой заре выгрузили посреди какой-то равнины, рядом с линией. Народу, братцы мои, уйма, и все на земле лежат. Коровы мычат, женщины причитают. Кругом солдаты, бьют людей прикладами, сбивают в кучу. Тут мы протомились день-деньской под солнцем, голодные, без воды. Во рту пересохло, тени нету, нет воды. Тесно — как сельди в бочке. Стали отделять мужчин от женщин и детей от родителей (детей, говорят, в Сисак повезут, в лагерь). Дети визжат, матери кричат, но все равно разлучили их, горемычных... А нас согнали к какой-то громадной яме и начали всех подряд стрелять. Целый день стреляли людей, а меня и еще некоторых заставили мертвецов закапывать. Как яма заполнится, мы сверху землей закидываем. В яме уже больше места нет, а нас еще много. Загнали нас в церковь и начали там убивать. Кого из винтовок, кого кувалдой по голове. Прижались мы к стене, не шелохнемся, а злодеи палят. Как дадут залп, так убитые и валятся чашеколом. Цыгане вытаскивают мертвецов, и мы смотрим, вжавшись в стену. Смотрим и не дышим. Ждем своей очереди, помираем. На наше счастье, стемнело, а нас еще в расход не вывели. Солдаты продолжают стрелять, посветят фонариком на людей у стенки и бьют, а цыгане выносят мертвых и сваливают в грузовики. Снаружи моторы слышать и как трупы на пол кузова падают. Солдаты кричат, смеются, галдят. Пока цыгане вытаскивали мертвых, я в темноте упал между трупами и замер, как убитый. Цыгане ухватили и меня, вытащили паружу и кинули в кузов...

— Да неужто правда, Джюрадж?

— Кинули в кузов, к мертвецам, а когда грузовик наполнился, повезли нас куда-то. Сели сверху, один закурил сигарету, а сам на мне сидит. Ну, думаю, если окурок мне на тело упадет, я не удержусь — вадрогну, а он поймет, что я жив, и тогда я окончательно пропал. Затаился я, дышать перестал, а тот знай себе дымит и уже новую сигарету закуривает, а сам на мне, как на подушке, расселся. Но, слава богу, огня на меня не попало. Так и доехали, и снова мне повезло: яма, в ко-

торую людей кидали, была полна, и цыгане ее засыпали, а нас оставили на пустыре. Тут один усташ говорит: «Ну, цыгане, теперь мы и вас побьем». Плачут цыгане, просят о пощаде, но не послушали их, убили...

— Как же ты-то спасся?

— Люди добрые, что это за существо такое — человек: два дня перед тем маковой росинки во рту не было, ни хлеба, ни воды; на убийство это глядел и думал, что и сам-то я уждохлый, убит давно, но, как оставили палачи меня между этими цыганами и ушли отдыхать до утра, я словно заново родился, крылья за спиной почувствовал: вскочил — и бежать. Потом сообразил, что так и на патруль налететь недолго, лег и пополз по земле, как уж. Ни голода, ни жажды, ни усталости. Всю ночь полз — пробирался, прислушивался, замирал, озирался, полз между кустами, кукурузой, по хлебному полю, пока до какого-то леса не добрался. Тут залез в чащу и заснул как убитый. На другой день вышел к пустому, сожженному селу и встретил там одного человека с женой, они мне хлеба и воды дали...

— А еще кто-нибудь спасся?

— Никто... Один я...

— О наших слышал?

— Похоже, что жива одна Даница. Это мне женщины сказали, которые вместе с ней были. Ее отправили в Славонию, в село, работает там в усташской семье...

— Какое это село, знаешь?

— Не знаю, здоровьем клянусь, даже приблизительно...

Вторая картина: перед глазами смутно маячит что-то круглое, а небо тонет, падает во мрак, исчезает в черной пропасти. Не Джурадж ли это, нагнувшийся над ним, братом, над запачканными кровью носилками? Что происходит вокруг, среди этих холмов? Что-то гремит? Опять бой...

— Товарищи, вон они... Солдаты...

— Идут сюда, не знают, что мы здесь...

— Видно, вместо этой фасоли они нам на обед достанутся, — схватил он карабин и бросился вдоль оврага к дороге, дослав патрон. Он был уверен, что бойцы слышали его и бегут следом. Но, оглянувшись, увидел, что за ним, сгорбленный и тщедушный, семенит малый и бегут взводный Миич и пулеметчик Босанчич. Больше никого не было. Где они? Почему отстали? Неужели еще не избавились от страха и нерешительности? Он продолжал оглядываться на бегу, не теряя надежды. Должны прийти, наверняка придут, только фасоли этой поедят; он бежал по оврагу, чтобы выйти к пригорку над дорогой и устроить тут засаду. Звал по именам заводных и командиров отделений, пулеметчиков, автоматчиков, гранатометчиков, ом-

ладинцев и карабкался вверх по склону, отделявшему его от дороги. Но его войска все не было, и он в изумлении спрашивал себя, что происходит? Что это, страх, который раньше заставлял их при первом же выстреле терять голову и разбегаться? Почему их так мало взбирается по склону? Может, прячутся в путаных зарослях папоротника и ежевики? Эй, вы, мать вашу, чего отстаете? За мной, за мной! Он взбирался, голенастый и тяжелый, вверх по крутому склону, на вершину холма, высившегося над полями и шоссе, как огромная шапка, оставленная у дороги. Боятся пуль, решил он, думают, что врагов много, страшатся, что их, рапеных, бросят, как тех, в Грабовацком овраге. Он разглядывал в бинокль колонну автомобилей и уже пересчитал их. Они ехали с маленькими интервалами, из окон торчали головы солдат в поблескивавших на солнце касках; машины, за которыми тянулся хвост пыли, рычали моторами, а солдаты наугад строчили из автоматов по придорожным холмам. Он не прислушивался к стрельбе или притворялся, что не прислушивается, он звал бойцов по именам, кричал им, чтобы они шли, бежали как можно скорее на холм, на шоссе, где будет засада. Врагов немного, четыре машины, солдат — и тридцати не будет, а у нас около шестидесяти карабинов и шесть ручных пулеметов, несколько сумок ручных гранат и один миномет (трофей, взятый на Погледжеве). Надо им всыпать, пусть даже придется встретить их одному, с двумя-тремя лучшими бойцами; остальным уж он потом покажет, где раки зимуют. Пригнувшись, он перетаскивал от куста к кусту пулеметы и представлял подошедших гранатометчиков, а из оврага позади холма опасливо подбирались все новые и новые бойцы, растерянные и колеблющиеся, точно ожидающие приказа отступить, а не идти в бой.

— Вперед, вперед! — командовал он, раздвигая папоротник и путаясь ногами в высоченной траве. — Сюда, сюда! — махал он рукой из-за вывороченного пня над самым шоссе, до которого отсюда не оставалось и трех шагов.

— Сюда, сюда! — кричал и малый.

— Сюда, черти окайянные! — скрипел зубами Мипч.

— Сюда, сюда, их там немного! — звал Лазар. Нельзя пропустить злодеев, надо с ними схватиться, даже если он будет действовать один и погибнет. Он должен отомстить им за все, что они натворили на Козаре, по селам и в его доме, из которого угнали все живое и, похоже, убили всех, кроме Даницы и Джюраджа. Пусть он погибнет, но он должен им отомстить сегодня же, сейчас же.

Раздался выстрел, грохнула граната.

Прогремел голос Лазара Бабича (или упал дуб?). Раздался

выстрел, грохнула граната, а на голос Лазара Бабица повалила ополовиненная, измученная рота, которая еще недавно от одного выстрела бежала без памяти, точно за нею гонятся целые полки. Бойцы вспомнили этот голос, который слышали так часто в минувших боях, когда они одерживали победу за победой, и им показалось, что это голос не черного Лазара, а их собственные голоса, голоса их детей и братьев, их матерей и сестер, которые из могилы зовут к мщению. И они устремились на этот зов...

Они перескакивали через пни и, стыдясь недавней трусости, неслись вперед безрассудно и гневно, чтоб догнать и опередить черного Лазара, голос которого гремел, как рушащийся дуб. Им хотелось догнать его и вместе с ним или опережая его, как в прежних боях, налететь на неприятельские ряды, смять их и опрокинуть, рассеять и уничтожить.

Он подбежал к самому обрыву. Внизу на шоссе стояла машина, остановленная взрывом гранаты. Из кузова слышались стоны. Кто-то залег под машиной и стрелял из автомата, вызывая выкрикивая после каждой очереди:

— Узнаете, на кого напались!

— Эй, Лазар, ложись.. Назад, под прикрытие... Лазар, ты что, рехнулся?

— Я полковник Францевич, мать вашу вшивую...

— Доигрался, скотина усташская...

— Бей их, ребята... Не дадим им сбежать...

— Окружай, хватай... Засаду на дороге в Дубицу...

— Достукался, падашь усташская...

— Запомнишь ты полковника Францевича, гнида вшивая, — послышался голос из-под автомобиля.

Грохнул выстрел.

Лазар рухнул (подрубленный ствол). Головой ударился о землю, карабин выронил, схватился за камень. Хлынула кровь. Он попробовал подняться, поднял руки и дернул головой, но она откинулась назад и пала на камень, облитый кровью.

— Убили командира, сволочи усташские...

— Бей гадов, бросай граматы...

— Сдавайтесь, живодеры, всех перережем...

— Братья, мы ваши... Я Самуило, врач... Братья, не стреляйте... Здесь партизанские врачи... Он нас повез в село лечить его мать... Я Самуило, Самуило из вашего отряда... Знаю Шошу и товарища Словенца...

— И правда Самуило, клянусь богом...

— Бегите от машины, не то погибнете... Отойдите от машины, будем гранаты кидать...

— Кидайте, мать вашу вшивую, гады вонючие... Я полковник Франчевич... Полковник Фрапчевич не сдается...

— Так я тебя порешу, падаль усташская! — крикнула женщина с высоко занесенным топором. Это была Лепосава (где только она оставила ребенка?). Она перескочила через пень и побежала к автомобилю, под которым лежал полковник Фрапчевич, вызывая своих противников. Лепосава пошла на него с поднятым топором.

Пошли и другие, со всех сторон, так что Фрапчевич не успевал отстреливаться. Он лихорадочно палил то вправо, то влево. Выкрикивать ругательства он перестал. Только стрелял. Но смолк и автомат. Или кончились патроны, или он хотел выждать и последней очередью свалить еще кого-нибудь.

Очередь прогремела. Кто-то вскрикнул. Снова молчание. Несколько мгновений никто не шелохнулся. Ждали, чтобы полковник Франчевич дал еще очередь и тогда двинуться на него. Партизаны уже были уверены, что у него нет патронов, может, и пяти не будет. А у него и того не было. Он не стрелял. Выскочил из-под машины, схватил автомат и кинулся на атакующих. Лепосава была к нему всех ближе. Он замахнулся, метя ей по голове, но она увернулась, а он потерял равновесие и упал.

Кто-то навалился на него. Началась борьба. Противники вцепились в горло друг другу, катаясь по дороге, то приподымаясь на колено, то даже вставая и снова падая, но не выпуская друг друга. И тут кто-то третий размахнулся топором и ударил полковника Франчевича по голове.

— Вот тебе, пес усташский...

— Дай ему еще, Лепосава...

— Падаль усташская, разбойник...

— Дай еще, дай еще...

Они рубили его топорами по чем попало. Их было много, и каждый хотел ударить хоть раз, чтоб отомстить за всех. Они обрушивали топоры на полковника Франчевича, который больше не защищался, не бранился и не насмехался. Он распластался поперек дороги, разможенный, как кусок мяса, выроненный вороном на лету...

Когда зарубили Франчевича и остальных (кроме врачей и счастливого, улыбающегося Самуило, узnanного многими), побежали к Лазару, которого товарищи подняли на носилках. Собрались возле командира, ощупывая его, плача, причитая и моля Самуило помочь ему, если есть надежда. Но надежды не было, и Самуило сказал, что черный Лазар прощается с жизнью...

Командир лежал на носилках, запрокинув голову. Усы его поникли, спутанные волосы намокли кровью. Он был неподвижен, но казалось, еще не примирился со смертью: когда кто-нибудь из несших его спотыкался, он как будто шевелил головой и рукой, точно желая сказать, чтобы они были осторожнее и не бередили его раны. Жизнь угасала, сил не было, но Лазар еще не сдавался.

Кто это склоняется над ним, кто его зовет, кто кричит? Лазпца, Лазарчик!

Или это голос его матери Симеуны, голос воркующий и заботливый, полный любви, страха, нежности?

Лазпца, Лазарчик, Лазеканица...

Это она его зовет, мать, откуда-то с поля или из лесочка (несет охапку хворосту); зовет, чтобы он помог ей, заменил (тяжел хворост, стары кости). Или идет с мотыгой, или с топором, или с серпом, или с косой? Или ведет лошадь с луга, или гонит коров с пастбища, или овец с горного луга, или свищей к кормушкам?

Лазарчик, Лазо, Лазеканя...

Или это военный округ в Петрине (туда являются мужчины со всей западной Боснии)? Лазар Бабич, пыльный и вспотевший, подходит к казарме, получает военную форму, бязевые подштанники и белую рубаху, надевает форму, застегивает ремень, получает оружие. Ушел в армию черный Лазеканя, ушел в рекруты черный Лазеканя, и говорят, что он зачислен в королевскую гвардию.

Лазеканя, Лазарце, Лазарчина...

Женился Лазо Бабич и привел, люди добрые, девицу-красу с Маринской Горы, нет ей равной в девяти селах. Найти бы мне, люди, такую жену и хоть одну ночь с ней кровать протрясти, а там и помереть не жалко, клянусь отцом-матерью.

Лазар, Лазарчина...

«Что ты делаешь в государственном лесу? Зачем валишь самый лучший бук? Знаешь, что за это тюрьма полагается? Тюрьма, арест... И штраф заплатишь. Вот запишу тебя и пень помечу, чтобы знать, кто бук срубил», — говорит лесник в зеленой фуражке и с охотничьим ружьем, а Лазар стоит и молчит, глядит на него и думает, не садануть ли его топором, чтоб он больше слова не промолвил и не записывал никого. (Он — в землю, я — на каторгу. А что Даринка с детьми будут делать, горемычные?) Он стоит, мрачно уставясь в землю, молча сдерживается, стиснув зубы, и только поворачивает в руке топориче. Лесник ставит метку на пень срубленного дерева, записывает в книжку и уходит, а Лазар долго глядит ему вслед, точно раздумывая, не броситься ли вдогонку и не

ударить ли между лопаток. Спустя несколько дней к дому подходят жандармы, младший сержант Павич и унтер-офицер Пренка. Сначала они осведомляются, Лазара ли Бабича это дом, а когда он это подтверждает и в ответ на новый вопрос говорит, что он Лазар Бабич, хозяин этого дома, приказывают ему сложить руки «по закону», то есть крест-накрест, связывают их цепью и ведут его по ухабистой дороге, а народ выбегает из бедных домишек, вытягивает шеи, таращит глаза и перешептывается. Ребятишки бегут вперемежку с собаками, которые собираются стаями и лают, лают..

Лазарче, Лазарчина, что ты наделал?

Лазар Бабич украл сало с чердака Йовы Турудии. Ей-ей, клянусь здоровьем. Влез на чердак, снял с крюка сало, а потом продел руки в дыры, где были свиные ноги, надел на себя сало, как куртку, и пошел себе, как на базар идут. Ей-ей, клянусь здоровьем. Но Йово Турудия его увидел и вцепил ему из засады два заряда дроби в задницу. Хорошо еще, что на Лазаре сало было, а то бы худо ему пришлось.

Лазарче, Лазарчина, Лазеканя...

На что тебе сдалась шахта? И нам-то, приятель, работы не хватает, где уж там прочим. Сто шахтеров уволено, а остальные бастуют и ищут инженера Перната, убить хотят; шумят, грозятся, ругаются, дерутся с жандармами. Зря ты время тратишь, Лазо. Иди домой. Лучше папоротник косить, чем понапрасну дни терять.

— А что делать? На что жить?

— Паши царскую землю... Паши в царском лесу...

Ступил Лазар Бабич на царскую землю с плугами. Пашет царевину. Ей-богу, клянусь здоровьем. Семь плугов — три вола тянут, а четыре — лошади. Папуг царевину... Клянусь здоровьем...

— Эй, люди, кто вам позволил пахать царевину? Кто привел на царевину этих плугарей?

— Лазар Бабич, господин унтер-офицер.

— Разве вы не знаете, что это запрещено? Разве не знаете, что за это полагается тюрьма и каторга? Кончай пахать! Руки! В казарму...

— Только тронь, унтер, ткнешься носом в землю.

— Получишь ты свое в тюрьме, — говорит унтер.

— Тронешь меня в тюрьме — берегись, если я жив останусь.

— Видали, люди? Увели в тюрьму Лазара Бабича. И его и пахарей, из-за царевины. Двое жандармов их гнали, но даже пальцем не тронули, Лазар Бабич им пригрозил. Ей-ей, клянусь здоровьем. Я и то удивляюсь, что он с парой жандар-

мов пошел, не стал ждать, чтобы четверых за ним прислали. Ей-богу, счастьем клянусь. Когда он украл у Йовы Турудии сало, за ним пришли двое, а он их угостил да и говорит, чтобы они шли в казарму и привели еще по крайпей мере двоих, потому как он меньше чем с четырьмя не пойдет...

Лазеканя, Лазарчина, Лазаресница...

Слышал ты, сосед, что убили Салко Лавочника, брата Муяги? Ей-богу, здоровьем клянусь. Из двустволки в него стреляли, из засады, когда он по дороге шел. Из двустволки, из-за пня, с упора! Пиф-паф! Он и не пикнул.

— А известно, кто его убил?

— Голову дам на отсечение, что это Лазар Бабич. Душу прозакладываю — он Салкана убил. Кому бы еще засаду устраивать? Оп с ружьем встает и ложится, один раз даже в родного брата спяну пальнул...

— Ну и хорошо, если убил, а то нам всем от Салкана житья не стало. Благословен будь курок и рука, которая его спустила.

Лазар, воин, защитник отечества.

Знаешь ли, что Гитлер пошел на Югославию? Легко ему было до сей поры с чехами, поляками и французами. А теперь увидит, гад, что значит воевать! Мы ему, сукину сыну, покажем. Спета его песенка. Это ему не Австрия. Это страпа гайдуцкая, твердая, как камень... Это страна ружья и ножа, секеры и пистолета, сабли и булавы. Если мы что умеем, так это умеем воевать и в боях погибать...

— Что это происходит, Лазар, брат?

— Пропадает Югославия... Предали нас генералы, трусы проклятые... Предал нас король...

— Что теперь будет с несчастным народом, Лазар, брат?

— Будем обороняться, братья, пока живы.

Лазеканя, ратник, откуда у тебя оружие?

Люди, неужто это Лазар Бабич? На нем военная форма, на плече карабин, к карабину штык примкнут, на поясе гранаты и здоровенный нож. Средь бела дня идет впереди всех на восстание, Лешляны брат. Похоже, что он вождь восстания. Если так — худо будет усташам. Если он командир, черные дни ждут турецкую погань...

Лазар, командир, товарищ, дружище... Отвори уста, промолви слово... Подыми веки, разомкни ресницы, погляди на нас... Собралась вокруг тебя вся рота, и нет человека, который бы не проронил слезу... Не умирай, командир, не умирай, дружище...

— Дядя, дядя, — зовет малый. — Это я, дядя, посмотри. Это я, дядя, — малый не прячет слезу и ослабевшим голосом

тщетно кличет сраженного командира, лежащего на окровавленных носилках.

— Умирает, — тихо роняет кто-то.

— Умирает, — подтверждает Баялица.

— Дядя, дядя, — пытается малый вырвать ответ из замерших уст.

— Умер, господи помилуй...

— Дядя, дядя...

— Небритый умираю... — проговорил дядя и скончался.

Скончался командир Лазар Бабич на руках своих товарищей, на руках малого, Баялицы, Лепосавы. Умер, не побрившись...

— Понесем его в село и похороним, — сказал Баялица.

Вокруг плакали и утирали слезы. Кто-то застонал. Кто-то разрыдался.

Это был малый. Это была Лепосава.

Его понесли в село на окровавленном полотнище. Дубы смотрели на него, небо грустило над ним, а он лежал на руках своих товарищей, недвижный и немой. Его несли на маленькое кладбище на вершине холма.

Принесли на кладбище, выкопали яму среди папоротников, под старым дубом. Выкопали ему могилу под столетним дубом и опустили в нее гроб с мертвым телом, обернутым в белую простыню. Длинным и широким был гроб, в котором лежало мертвое тело Лазара Бабича; с трудом уставили его в могилу, мелкую и тесную, с торчащими обрубками корней, со щебнем, мелким песком и источающими млечно-белый сок корешками на дне, со стенками из желтой глины.

Комиссар сказал речь. Прогремел залп. Малый заплакал, а Лепосава запричитала. Лепосава запричитала, точно оплакивая сына или брата (она кричала так горестно и громко, что голос ее разносился по всему селу). Когда гроб был опущен в могилу и по нему забубнили комья земли, заплакали и мужчины: брат Джюрадж, взводный Мипч, взводный Савич, комиссар Баялица...

Когда засыпали могилу, заметили рядом с нею обтесанный камень, выделявшийся среди крестов. Это был памятник-великан. Надпись, выбитая на камне и заросшая мхом, гласила, что тут лежит Бошко Бабич, дед Лазара, отец Новака, о котором на надгробии написано:

ЕГО СВЕТОСТЬ ВСЕМИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ

И КНЯЗЬ НАШ МИЛАН М. ОБРЕНОВИЧ

И ВЕРХОВНЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ

БЛАГОВОЛИЛ ВЫСОЧАЙШИМ ПРИКАЗОМ СВОИМ

ДАРОВАТЬ ВАМ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ
ЗА ХРАБРОСТЬ И ОТЛИЧИЕ
В ВОЙНЕ С ТУРКАМИ 1876 ГОДА

(21.I — 1877 в Белграде)

Некоторые теперь только впервые узнали, кто был этот Бошко Бабиц, дед Лазара: что он родился в 1834, а умер в 1901 году, что он был в повстанческом отряде на Чорковаче вместе с королем Петром, прозванным Петром Мрконицем, во время восстания против турок в 1875 году; что он был даже командиром отряда и большим другом-приятелем хайдука Пещип Поповича, а также Остои Янятовича по прозвищу Корманопш, Илии Шевича, священника Самойла Остоича и Голуба Бабица из Черного Ручья и особо отличился в бою под Бужимом, где турки были разбиты и обращены в бегство.

Лазар, Лазо, Лазарчина...

Теперь мы знаем, чья в тебе кровь и от какого ты корня; все разглядывали огромный камень, разблрзли надпись, заросшую мхом, и восхищались теми, у кого с давних времен учились храбрости, стойкости и ратному делу.

Обровняв насыпанный над могилой маленький холмик, они ушли, а у подножья толстого ствола остались две могилы, облитые багряным светом заходящего солнца. Остались две могилы под столетним дубом, два редута плечом к плечу, два знамени под шпроким небом.

Они уходили и думали о том, как на эти могилы веками будут лить дожди и падать снег, как над ними будут завывать ветры, зверп в бурные ночи будут рычанием отгонять друг друга, а птицы перекликаться и пересвистываться. Они уходили, оборачиваясь, останавливаясь и вздыхая, прятали слезы, шмыгая носом, а два холмика под дубом погружались в тень и исчезали во мраке, сливаясь с кустами, стволами, корягами, под черным небом без звезд и луны. Они ушли, а в темноте, под огромным небосводом, остались две могилы, слившиеся воедино с холмом, с листвою, плетями и корнями растений, — еще два доказательства того, что нет большой разницы между теми, кто истлевает в земле, и теми, кто шагает под солнцем.

33

Едет Шоша на вороном коне, а за ним войско под рдяными знаменами; за ним роты и батальоны, воскрешшие из пепла и разгрома; они не погибли, а поднимаются и растут. Йосип Мажар едет на вороном коне по подкозарским

пригоркам, ведет за собой войско, а позади гора, повитая туманом, как мать, провожающая сына в бой.

Едет Шоша на вороном коне...

Вспоминает тот миг, когда, укрывшись в земле, услышал голоса и шаги. Они приблизились к поленнице, под которой он был спрятан. Галдели. Ему казалось, что он слышит собак, а не людей. С ними и правда были собаки. Слышался лай, тьяканье, рычание, скулеж, но издали. К счастью, лай удалялся, собаки прошли стороной, а он застался под землей, держа револьвер у виска.

Там, наверху, гадали:

— Бьюсь об заклад, Желько, под дровами кто-то прячется!

— Дурень ты, Степан! Нет тут ничего...

— Есть. Надпись тут подозрительная. Смотри, что написано. «Дрова Независимого государства Хорватии». Кто это написал? И зачем?

— Чтоб замести след?

— Ясное дело. Раскидаем?

— Да на Козаре полно таких поленниц. Если мы их все начнем раскидывать да перекладывать, для этого десять дивизий понадобятся.

— А я все-таки попробую...

Он слушал, как тот, наверху, разбирает поленья, бросает их и они тупо ударяются одно о другое. Ему мерещилось, будто поленья бьют его по голове, по темени. Он держал револьвер у виска и ждал, когда над ним блеснет свет — знак того, что он обнаружен и надо кончать.

Но света все не было.

— Ребята, чего застряли? Приказ слышали?

— Степан, пошли! Нету тут ничего...

— Не знал я, Желько, что ты такой трус.

— Не валяй дурака, Степан! Ты что же, думаешь, тот, что под дровами, если он там есть, будет ждать сложа руки? Швырнет нам гранату под нос, а в этом добра мало. Пускай его другие ловят...

— Трус ты, Желько, ну, точно тебя зайчиха на свет произвела.

— Засранцы, чего вы там ласы точите? Марш!

Они ушли, а он ждал. В темноте, как в могиле. Часть проходила мимо. Слышались голоса, шум, оклики, конское ржание и лай собак, но далеко; они уходили все дальше на север, в лес.

Потом все стихло. В земле и над ним, в горах, осталась только тишина. Под поленницей, которая чуть не выдала его, осталось одиночество и глухое безмолвие.

Что это за надпись они оставили на поленнице, почему не сказали ему об этом? Кого осенила эта идея? Чоче, или Скендера, или кого другого? Подшутить, видно, хотели, а ему эти шуточки едва не стоили головы.

Надо было ждать в яме. Он ждал, ждал, ждал.

Казалось, никогда он не выйдет отсюда, заснет и задохнется без воздуха, во мраке, под слоем земли.

И все же он вышел.

Товарищи явились, раскидали дрова, открыли дверцу, в которую хлынуло, ослепив его, солнце. От радости он заплакал. Они двинулись горными тропами к Витловской, на сборный пункт.

Целыми днями они брели, то переваливая через холмы и горные отроги, то спускаясь к реке, по оврагам, заросшим ежевикой и земляникой; питались черемшой и кислицей, сдирали кору с молодых побегов и соскребали с нее сочную мезгу. Со всех сторон обдавало смрадом, томилла пустынность девственного леса, но они шли и шли, встречая порой отчаявшихся одиночек без оружия, которые присоединялись к ним и вместе продолжали путь на Витловскую — поросшую лесом вершину, где оставались запасы зерна, зарытого в землю. Об этих запасах знали только несколько человек, в том числе Шоша.

Войско собиралось на Витловской, на холме под соснами, строило хижины и шалаши, ставило оградки вокруг могил, сооружало на маленьком кладбище на полянке пирамиды с именами погибших. Отыскивали в лесу мертвых и хоронили их.

Однажды утром нашли два трупа под деревом на краю оврага. Их опознали и схоронили, а на коре вырезали два имени: Эмира и Райко. Первый батальон. Непонятно было, почему Эмпра и Райко оказались вместе под деревом, почти обнявшиеся и мертвые. Застали ли их враги во время сна, обессиленных и изнуренных, в полусознании? А может, в них случайно попала пулеметная очередь или осколки гранаты прочесывавших лес карателей? А может, они, Эмира и Райко в свой последний час сами решили покончить с собой, не в состоянии двигаться дальше? Эмира и Райко вместе и в смерти — два имени на коре вековой сосны...

Насыпали над ними холмик и пошли дальше.

Собирая вокруг себя все новых людей, повстречали и группу партизан из числа тех, кто прорвался на Козару из-за шоссе, в районе Босанского Нового. Они рассказали, что всего их около пятисот человек, лагерь расположен в лесу у реки Млечаницы, с ними Жарко, командир батальона; они расстреляли одного немецкого майора, который в свой смертный час помянул имя девушки Матильды из Загреба (пришедшей на

Козару якобы затем, чтобы отыскать Ивана-комиссара, но, поскольку немец перед гибелью проговорил ее имя, они заподозрили, что Матильда — подосланная усташами шпионка и историю с Иваном придумала для того, чтобы их обмануть). Решили Матильду расстрелять. Но Лепосава, балаболка, не удержалась, проболталась Матильде о том, что ее ждет, если она не скроется. В ту же ночь, оплакав Ивана, Матильда бесследно исчезла. Может, она бы и не удрала, если бы не узнала, что Иван погиб.

Подходили люди и рассказывали, что им удалось спастись: одни отсиделись в ямах или пещерах, другие на деревьях, в ветвях, третьи в зарослях терновника и ежевика, четвертые в воде, выставив наружу один нос; некоторые добирались до самой Савы, прятались в камышах, зарывались в ил; были и такие, что, переплыв Уну, скрывались на территории Хорватии, в банийских лесах, слушая грохот канонады вокруг Козары и с болью думая о том, как усташские орды расправляются с беззащитным народом...

Петар Тывка спасся самым невероятным образом. Окруженный со всех сторон, не зная, куда деться и не имея уже никакой охоты продолжать метания по лесу, он забрался в кучу палого листа. Неприятельское войско шло мимо него, может быть, шагах в пяти. Он слышал, как недалеко кто-то распоряжается: «Откачивать бревна... Осматривать деревья... Обыскивать пещеры... Обшаривать дупла... Недоступные места забрасывать гранатами». Он было обрадовался, решив, что кучи листьев они оставляют без внимания и пройдут мимо, не обнаружив его. Однако офицер в конце концов вспомнил и об этом. «Ворошить листья», — сказал он, и Петар перестал дышать. Он лежал навзничь, прижав винтовку к правому боку. Был уверен, что погиб. Когда солдат сгреб с него листья, у него язык отнялся. «Вставай», — сказал солдат, а Петару казалось, что все это он видит во сне. «Вставай», — солдат нагнулся, схватил его за куртку и поднял. Петар только рот раскрыл и дрожал. Он не мог стоять, точно тяжелораненый. «Откуда у тебя это?» — спросил солдат, снимая с Петаровой руки часы. «Начальник! Часы — чтобы в атаку ходить. Глянь, глянь: а часы-то ведь немецкие!» Взял их и надел на свою руку, а потом нашел авторучку. «И это, наверно, у кого-нибудь из наших, кто в плен попал, отнял. Писать-то умеешь? На что она тебе?» Взял и авторучку. Потом вытащил из Петарова бумажника бритву (остальные солдаты смотрели на них). «Взял бы я и бритву, — сказал солдат, — да она тебе самому потребуется. Перед явкой на сборный пункт надо будет побриться — вы ведь не ходите с бородой, как четники». Петар слушал и смотрел,

не веря ни глазам, ни ушам. Стоял, не говоря ни слова, окаменелый, как статуя. «Ложись и не двигайся, — сказал солдат. — Я тебя покрою листьями. Вставать не смей — с минуты на минуту тут будут усташи. Если заметят тебя — каюк». Петар лег, уверенный, что пришел конец и сейчас его убьют (при нем же винтовка, которую солдат наверняка заметил). Солдат накрыл его листьями, а винтовку не тронул. Петар ждал выстрела, но солдат не стрелял. Ушел, напевая себе под нос... Потом появилась другая часть (вероятно, усташи). Послышались голоса, восклицания и ругательства, звон котла и конский топот. Кто-то пел:

Велика усташская держава,
Партизаны, скроет вас земля.

Петар сжался в комочек и замер. Часть прошла, но он не шевелился весь день, до темноты; а потом встал и пошел разыскивать своих, размышляя о странном солдате, спасшем ему жизнь. Кто этот человек? Домобран? Может быть, побывал в плену у партизан, где с ним обошлись по-доброму, и он теперь платит тем же? А может, у него брат в партизанах? — терялся в догадках Петар, пока не набрел на Шошу.

Каждый день из лесу выходили люди, порой даже полуслепые и безногие, крепко обнявшись, одалживая друг у друга то, что потеряли в боях (глаза и ноги). Но и они добирались до сборного пункта, и лица их светлели, возрождалась вера, укреплялся дух: они знали, что скоро, когда смолкнет капонада, они снова пойдут в бой под Шопиной командой, с развевающимися красными знаменами...

Они строились на Палеже, а Шоша смотрел на них, счастливый и убежденный, что никакая сила их не сломит. Ибо это не простые солдаты. Это козарчане. Кровь гайдудкая, а душа что у красной девицы (как пишется в старинных книгах). Любят винтовку, бой, свободу; любят и женщин, и песню, и ракию. Испокон веку, сколько помнят себя, охотнее шли в бой, чем на пахоту. Не привязаны к земле, как другие. Не любят работу. Не надрываются за плугом, не тянутся к серпу, косе, мотыге. У них все граничарское: быстрая рука, острый нож, лютая, не знающая промаха пуля. Всегда они готовы завести ссору, а от жизни ничего хорошего не ждут (пятьсот лет па границу вдоль Уны разные армии приносили только тревогу, резню, смерть, пожары). Горячие нравом, они любят драку и не боятся смерти. Сдается, что во всем они пошли в своих предков — прадедов и пращуров, которые явились сюда издалека, которые прыгали в туман, думая, что это хлопок; сеяли иглы и соль, думая, что уродятся железные ломы; растягивали же-

люб, надеясь сделать его длиннее; тащили бревно поперек леса и обрубали его, чтоб не цеплялось за деревья, — до тех пор, пока, поглядев, как ползет по лесу змея, не догадались, как надо проносить бревно между деревьев; вилами выгоняли из избы темноту; увидели сапог и поверили, что это форма для мотыги; переодевались в женскую одежду и завлекали турок в постель, а там вместо поцелуя вонзали им нож в грудь, как гайдуки Мията-атамана, которые таким образом спасли от насильника дочь одного крайнского старейшины...

Шоша глядел на них во время смотра и потом, когда ходили по козарским холмам, собирая людей. Страх исчезал. Правда, они еще не ввязывались в бой, но уже желали его (как и мщения). Шоша опасался их гнева — как бы они не ворвались в первое попавшееся мусульманское или хорватское село, не сожгли и не перерезали всех подряд. Поэтому он продержал их некоторое время на Медняке, — пока мельничка на Млечанице молола зерно, а маленькая пекарня на холме выдавала за день до пятисот караваев. Но все же не обошлось без двух-трех эксцессов: убили одного мусульманина и сожгли его дом, утверждая, что он усташ, хотя он встретил их на пороге улыбаясь; это могло значить, что он им не желает зла. Шоша расстрелял виновных, как и тех двух негодяев, мужчину и женщину, что занесли в отряд заразную болезнь. После этого случая Шоша приказал провести осмотр, и всем пришлось стоять по-рекрутски голыми перед врачом. Затем он распорядился, чтобы партизаны вымылись и побрились. Он заметил, какие они стали гладкие и упитанные, так что шен распырала воротники. Они уже рвались в бой и просили Шошу вести их. Встав утром, они пели, били вшей и мечтали о женщинах. Песня их подымала. Начали и коло плясать, как перед битвой (обычно после обеда или к вечеру, на заходе солнца). Нетерпеливо ждали, чтоб он повел их в бой...

И однажды он повел их к шоссе. Напали на колонну автомобилей (в этот раз и погиб Лазар). Снова они уверились, что противник смертен, как и все живое па земле. Освободили доктора Самуило, старого знакомого и шутника. Полковника Франчевича зарубили топорами и бросили в овраг — пусть гниет (потом пришлось его закопать, потому что вокруг него собиралась свора собак, а птицы слетались целыми стаями). В одной из перестрелок схватили Асима Рассыльного, палача; перед смертью он вел себя вызывающе. Когда ему объявили, что его казнят, он ответил, что убить его могут только раа, так как жизнь у него всего одна; он же, мол, убил десять козарских девушек (сначала они были изнасилованы), вырвал у них глаза и нанизал на нитку, как четки. Его собрались было

пытать, началл колоть в грудь и руки, но Шопа подбежал и приказал расстрелять преступника. Так не стало Асима Рас-сильного, прославленного палача, а Мате Разносчик, хромой, убрался в Дубицу вместе с фра-Августином, которому не представилось случая быть рассеченным надвое (*secti sunt*, как он говорил, желая быть вознесенным ангелами на небо). Удрал фра-Августин, но его схватят в другой раз, ибо ему суждено плохо кончить.

Они исходили вдоль и поперек знакомые леса и села и, заглядывая в знакомые места, говорили:

- Здесь мы зажгли немецкий танк...
- Здесь погиб Милисав Шурлан...
- Здесь мы взяли в плен немецкого майора...
- Здесь третьего июля начался прорыв...
- Здесь мы разгромили усташскую бойну...
- Здесь оставили раненых...

В один из дней сентября, после смотра, основали ПЯТУЮ КОЗАРСКУЮ УДАРНУЮ БРИГАДУ (с Шошей во главе). Тысяча пятьсот бойцов. Шопа их пересчитал. Один лучше другого. Первым батальоном командует Жарко, шахтер; вторым Ранко Шипка; третьим Петар Буран. Шопа показал им книжечку, полученную из Загреба, — «Козара — могила партизан». Перелистывали зловонную книжонку, полную лжи и смешной похвальбы, а Шопа написал письмо и послал его в Загреб, прося автора, Франю Рубину, чтобы он для нужд ПЯТОЙ КОЗАРСКОЙ БРИГАДЫ послал в Козару тысячу пятьсот экземпляров (чтобы не мучиться с продажей тиража и заодно убедиться, насколько он далек от истины, ибо только в ПЯТОЙ КОЗАРСКОЙ БРИГАДЕ насчитывается свыше тысячи пятисот бойцов). Письмо Йосипа Мажара пошло в Загреб...

Потом они отправились по опустелым селам. Улицы немы. Голые стены. Крыш нет (все сожжено). «Грабли» все выгребли. Только местами, ближе к лесу, закраснеет уцелевший черепичный кров да завиднеется дым, поднимающийся с очага, в котором долго не было огня. А то выскочит одичалый телок, протрусит овца, залает собака или кошка метнется через дорогу. Увидев войско, высунется из домишка и чья-нибудь голова, кто-то боязливо выйдет, встанет у порога и долго смотрит вслед, а может, и плачет, точно родных братьев провожая в путь, из которого они никогда не вернутся...

Они проходили через пустые села, как через кладбища (тиф свирепствовал). Шли на запад, к Уне, с ясной целью. Именно туда влекло их сердце, и особенно Шошу, который в этих селах скрывался перед восстанием, собирал мужиков с рогатинами

и с ними ударил на врага. Они шли туда, на запад, с четко осознанной целью.

Их встречали леса. С ними говорили поля (окоп на окопе, а хлеб повален и вытоптан). Грустно шелестела кукуруза с обломанными початками. Шумела листва, над головами усмехалось солнце...

Они шли к Уне, на запад.

Шопа ехал на вороном коне и пытался найти ответ на мучившие его вопросы. Что произошло на Козаре этим летом? Кто победил в страшной борьбе? Кто выиграл сражение — партизаны или неприятель? Победа это или поражение?

Начнем по порядку:

Вражеские полки, состоящие из десятков тысяч отборных солдат, подготовленных для Восточного фронта, пытаются раздавить Козару. Козарский отряд берут в кольцо и душат, стремясь истребить или рассеять. Убивают тысячу семейств бойцов. Захватывают ротные и батальонные лагеря, жгут землянки и склады, разоряют госпитали и убежища, убивают раненых. Наконец отряд пытается прорвать вражеский обруч. Часть рот выходит из окружения и теряет связь с Козарой; другие остаются в лесу, неспособные к сопротивлению; оставляют оружие и скрываются по пещерам и норам, по деревьям и кустарникам. Отряд перестает существовать, а противник проникает внутрь горного массива и начинает расправу с населением, укрывающимся в лесах.

Могилы, могилы....

Партизаны не осуществили почти ни одного своего намерения. Не сумели отстоять ни территорию, ни беженцев. Не собрали отряда, не спасли раненых. Противник оставил их в дураках: они пригнали фронтальный бой, чего как раз и хотел генерал Шталь, ибо эта форма борьбы больше подходила ему, чем партизанам.

Итак, что же достигнуто?

Разве не уничтожены в страшном сражении отряд и живая сила, из которой могли быть сформированы роты, новые батальоны и отряды, может быть, более крупные и мощные, чем отряд Младена?

Разве не попали в плен к противнику тысячи мужчин и крестьянских парней, которые завтра могли бы ваять карабин, отнятый у врага? Разве по селам, лесам и беженским лагерям не убиты тысячи людей? Разве не угнаны в концлагеря тридцать тысяч стариков, женщин и детей?

А те, что отсиделись в укрытиях, не примкнули ли завтра к четникам, которые наверняка шуруют в селах и стараются превратить окрестности Козары в свою опорную базу?

Не превращена ли Козара в пожарище? Не сожжены ли почти все села от Упы до Приедора, от Савы до Врбаса, от Дубицы до Баня Луки?

Разве Козара не стала подобием гробницы?

Как назвать себя восначальнику, стоящему над могиллой стольких рот и батальонов, которым он когда-то командовал?

Победа это или поражение?

Не скули, сказал он, и голос прозвучал как чужой. Чунь городишь. Рассуждаешь донельзя упрощенно. Будь диалектиком. Попробуй добраться до сути, сложной и сокровенной...

Ты говорил об одной стороне сражения. А вторая?

Ты сказал, чего достиг неприятель. А чего достигли мы?

Козарский отряд не уничтожен, хотя и убит наполовину. Разве может быть уничтожен партизанский отряд? Живая сила осталась. Сохранилось ядро, вокруг него собирается новое войско.

Козара не разбита. По-прежнему гремят по ней винтовочные и пушечные выстрелы.

Встает из могилы партизанское воинство. Непобедимая сила...

Четников не видно. Не посмели приползти со своей Манячи, гады вовючине. Не перешли через Гомьеницу. Даже и не пытались заглянуть в подкозарские села — знают, что их там ждет...

В самом деле, почему это так?

После таких боев, огромных потерь и смертельной опасности людей обычно охватывают страх, апатия и малодушие, и мысль о капитуляции возникает все чаще, все чаще закрадывается желание прекратить сопротивление, найти единственный выход в том, чтобы встретить могучего противника с покорно опущенной головой. В такое время четники и начинают охоту на людские души, призывают к покорности и сдаче на милость врагу, заключают сделки с уставами и немцами. Так им удалось оторвать от партизан почти всю среднюю Боснию (Раде Радич) и Манячу (Вукашин Марчетич), и они перешли на сторону врагов, примкнули к предателям.

Но на Козаре случилось чудо.

После всего, что произошло, — ни одного четника.

После всего этого — ни одного предателя.

После страшного опустошения, когда на три села оставалось разве что одно человеческое существо (обычно старик или жепщина в скорбной черной одежде), не нашлось никого, кто бы обвинул в этой беде партизан. Люди знали, что обороны было сделано все, что можно. Знали, что Козарский отряд боролся до последнего и что сначала пал он, отряд, а потом беженцы...

Итак, Козара защищалась, покуда были силы. Она была партизанской и партизанской осталась. Истекающая кровью, по партизанская...

А противник? С чем остался противник?

Могут ли усташи считать себя победителями?

Может ли генерал Шталь сказать, что добился своей цели?

Говори, генерал!

Сколько солдат, атакующих Козару, выведено из строя?

Сколько их убито в боях, взято в плен и расстреляно?

Семь тысяч! Главным образом убито, пбо и пленные расстреливались. (Шоша их большей частью приговаривал к смерти. Действуя в сербском краю, он как будто боялся потерять доверие козарчан — как и Ивица Марушич и Владимир Немет, которые охотнее всего разговаривали с пленными на языке пуля даже тогда, когда партизаны хотели их отпустить.)

С тех пор как 3 июня 1942 года под Ореховой был разгромлен черный легион и в руки партизан попали два танка (которые, впрочем, недолго им прослужили, так как кончился бензин), карателей разгоняли и били, хватали и убивали, отнимали у них пушки, минометы, пулеметы, боеприпасы, ботинки, сапоги, обмундирование. В этом походе партизаны как бы завладели огромным складом, из которого гребли лопатой снаряжение. Почти нацело уничтожена Горная дивизия, которая так никогда и не попала на Восточный фронт, чтобы воевать против русских (к этому ее готовили несколько месяцев). Уничтожен весь 734-й немецкий полк и другие части генералов Шталя, Гойтнера и Боровского. Отложено немецкое наступление на Грмеч и другие повстанческие районы, в которых разгорелась борьба против оккупантов (немцы рассчитывали, что поконтчат с Козарой за десять дней, а завязли там на все лето). Разве это можно назвать победой?

Даже если противник и победил, то еще вопрос, что кроется за таким множеством могил. Ибо в войнах, да и в восстаниях человек до сих пор терпел только поражения, даже в те моменты, когда он восторженно верил, что осуществил свои самые возвышенные идеалы. В битвах истории, похоже, не было подлинных победителей, хотя многих людей история называла этим именем. Ибо, попирая кучи человеческих костей, только идиот может считать себя победителем. Если он не хочет остаться животным, человек никогда не сможет спокойно взирать на могилы своих противников, в которых тлеют людские кости, подобные его собственным, и похоронены человеческие жизни, загубленные в бессмысленном сведении счетов. Человек может провозгласить себя победителем только тогда, когда перестанет убивать, и только тогда, когда увидит, что завоевал

туманом, как мать, провожающая сына в бой (страшится, вздыхает и тихо-тихо плачет, скрывая слезы). Едет Шоша на вороном коне, а за ним полторы тысячи козарчан с оружием, отнятым у врага: винтовками, гранатами, пулеметами и минометами, пушками (танки они оставили в лесу, а самолеты потеряли в Подгормече, когда Франьо Клуз и Руди Чаявец улетели из Кнежеполья). Шоша ведет войско на юго-запад, то ли на Сухачу, то ли на Крупу, а может, даже на Бихач, чтобы показать, как бьется ПЯТАЯ КОЗАРСКАЯ УДАРНАЯ БРИГАДА. Леса встречают Шошу, птицы приветствуют его песней, а солнце улыбается ему, а позади, вдали, молчит Козара, как мать, провожающая сына в бой...

Младен дал дороги партизанам
На восток и север, юг и запад.
И чем веток на земле козарской —
Больше молодежи партизанской.
Ой, не пужен дождь Козаре — вволю
Полпли ее герои кровью.
Козарчане славны пеньем ладным
И своим умением в деле ратном.
Мы из-под Козары, где покуда
Не рождался ни один Иуда.
Нас два брата, мы в бою упрямы,
А погибнем, не рыдайте, мама,
А кого мой пулемет побреет,
Никакое солнце не согреет.
Жди, девчонка, в хвост гопи охочих —
Я вернусь к тебе, твой пулеметчик.
Жеребенка мне моя кобыла —
Анте Павелича — подарила.
Там, где Красной Армии дорога,
Даже горы стелются полого.
Мать твою мы переатак, Гитлер,
На Балканах тебе ноги вырвем*.

(Народная песня с Козары)
Белград. 1962—1963

* Стихи переведены Вл. Корниловым.

КОЗАРА В ИСТОРИИ И В РОМАНЕ МЛАДЕНА ОЛЯЧИ

Козара. Если мы взглянем на карту Югославии, то увидим, что Козара — это горный массив, лежащий в северо-западном углу республики Боснии и Герцеговины, на самой ее границе с Хорватией. С южной стороны он довольно круто спускается в долину рек Гомьеницы и Саяны, притоком которой Гомьеница является. Далее к западу Сана впадает в Уну, которая огибает Козару с запада и севера. На востоке отроги Козары полого спускаются в долину Врбаса. Самая высшая точка Козары — гора Лисине — поднимается на 978 метров над уровнем моря. Благодаря своим богатым лесам, плодородным почвам и обилию воды в многочисленных ручьях и речках Козара кажется оазисом среди каменистых, бесплодных гор и отвесных каньонов, составляющих наиболее распространенный ландшафт Боснии и Герцеговины.

Но Козара — это не только географическое название. Для каждого югослава, а особенно для ветеранов освободительной войны против фашизма, с нею связана одна из самых ярких страниц этой борьбы. Поэтому Козара уже много лет звучит как символ мужества и героизма народных борцов, символ великих народных страданий и жертв. Именно этой Козаре посвящена книга Младена Олячи.

О героической эпопее козарских партизан, окруженных летом 1942 года превосходящими во много раз силами оккупантов и их пособников, написано много исторических исследований, изданы документы и воспоминания участников, был выпущен художественно-документальный фильм. Младен Оляча создал на основе этого исторического события литературное произведение, глубоко и верно отражающее не только его фактическую сторону, но и дух того незабываемого времени. Чтобы наш

читатель, особенно молодой, глубже смог понять тот сложный клубок классовых, национальных и религиозных противоречий, на фоне которого разворачивались события романа, бесполезно будет сделать некоторые пояснения преимущественно исторического характера.

Широко известно, что современная Югославия — федеративное социалистическое государство, состоящее из шести равноправных республик. Но в этих республиках, отражающих многонациональный состав югославского государства, проживает не шесть, а только пять наций (население республики Боснии и Герцеговины не составляет самостоятельной нации).

Исторические перипетии обусловили крайнюю пестроту населения этого края. Здесь бок о бок жили и живут православные сербы, хорваты-католики и босняки-мусульмане. В условиях крайней экономической, политической и культурной отсталости этого района религиозные различия нередко приводили к острым столкновениям.

Буржуазные политические партии в королевской Югославии (построенные, как правило, по национальному признаку и находившиеся под сильным влиянием церкви) искусно играли на этих противоречиях, разжигали национальную и религиозную рознь. Война и оккупация Югославии войсками фашистских агрессоров обострила все эти противоречия до крайности, а преступный гитлеровский «новый порядок», одним из гнуснейших орудий которого на югославской земле были усташы, придал им подчас чудовищные формы.

Кто же такие усташы?

В состав объединенного югославского государства, возникшего в 1918 году, вошли, как известно, независимые королевства Сербия и Черногория и югославские провинции развалившейся Австро-Венгерской империи (Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Воеводина). Объединение произошло под эгидой сербской королевской династии Карагеоргиевичей, пользовавшейся поддержкой Антанты и мыслившей себе новое государство не плache как «Великую Сербию». Сербская буржуазия, опираясь на «свою» династию, заняла господствующее положение в стране, оттеснив на второй план буржуазию других наций. Велико-сербская шовинистическая политика правительства и королевского двора способствовала обострению национального вопроса в стране, созданной из частей с весьма различными историческими и культурными традициями. На протяжении всего существования королевской Югославии национальный вопрос был одним из самых острых вопросов в общественной и государственной жизни страны. Наиболее реакими были противоречия между хорватской и сербской буржуазией (хорваты были второй после сербов по численности наций).

Историческое развитие Хорватии — многовековой чужеземный гнет, длительная борьба за национальную независимость — способствовало возникновению еще в XIX веке общественных течений, направленных на завоевание государственной самостоятельности. Одним из таких тече-

ний была возникшая в конце 1860-х годов так называемая партия права, отстаивавшая право Хорватии на объединение всех ее земель и достижение государственной самостоятельности (либо в рамках империи Габсбургов, перестроенной на федеративных началах, либо вне ее). Сторонники этой партии получили название «правашей». В конце прошлого века в этой партии все сильнее проявляются великохорватские тенденции, выразителем их в рядах «правашей» был загребский адвокат, беспринципный политикан, крайний хорватский шовинист Иосип Франк, возглавивший позднее отколовшуюся от партии права так называемую чистую партию права, выражавшую интересы мелкой буржуазии и мелкого чиновничества, националистически настроенной интеллигенции, деклассированных элементов. Антисербский шовинизм франковцев насаждали и в новом югославском государстве. Незадолго до образования Югославии в их рядах появился некий Анте Павелич, сын мелкого железнодорожного чиновника, ставший вскоре одним из лидеров чистой партии права.

Обострение хорватско-сербских противоречий благоприятствовало деятельности франковцев, ведущих бешеную антисербскую пропаганду, а антидемократические, великосербские и диктаторские методы короля Александра еще больше накаляли обстановку в Хорватии, создавая питательную среду для вредоносной деятельности франковцев, которые свою немногочисленность стремились компенсировать искусственно создаваемой шумихой, демагогией и провокациями вплоть до террористических актов.

Государственный переворот, совершенный королем Александром Карагеоргиевичем 6 января 1929 года (отмена конституции, запрещение политических партий, роспуск парламента, установление военно-монархической диктатуры), еще больше усилил власть великосербской буржуазии. Для борьбы с диктатурой короля Александра А. Павелич и его сторонники решили создать подпольную организацию, так называемую «Повстанческую хорватскую революционную организацию», вскоре ставшую известной как организация усташей*. Копечной целью усташей провозглашалось полное отделение Хорватии от Югославии и образование Независимого государства Хорватии.

Свою организацию Павелич создавал не на родине, а за ее рубежами. Он быстро нашел щедрых покровителей в лице фашистских диктаторов Италии и Венгрии. Здесь, сперва на итальянской, а позднее и на венгерской территории, были созданы специальные усташские воензированные лагеря, где набранные Павеличем и его подручными люди жили и проходили военную подготовку, воспитывались в животной ненависти «к сербам, евреям и коммунистам». Сам Павелич стал фюрером усташей — их поглавником.

Для итальянских и венгерских фашистских правителей Павелич и его организация были весьма ценным «приобретением», ибо и те и дру-

* Усташ — по-хорватски «повстанец».

гие мечтали о захвате югославских земель. Павелич же, в свою очередь, рассчитывал, что в случае будущей войны, опираясь на помощь своих покровителей, он в конечном счете добьется создания «независимой» Хорватии. Так с самого начала своей преступной антипатриотической деятельности Павелич стал предателем родины и потенциальным квислингом.

Первоначально число усташей было весьма невелико — всего несколько десятков. Лишь когда Павелич и его подручные стали вербовать своих сторонников из числа хорватских переселенцев, уехавших из страны в поисках заработка и, как правило, влечивших в годы мирового экономического кризиса жалкое существование, им удалось пополнить свои ряды. Максимальное число усташей в середине 30-х годов составляло около 500 человек.

Усташские лагеря стали центрами подготовки диверсантов и террористов, засылавшихся в Югославию. Усташки подбрасывали мины в поезда, идущие в Югославию из Австрии и Венгрии, засылали в страну оружие, боеприпасы, взрывчатку, приобретенные на деньги щедрых «хозяев».

Самым крупным террористическим актом усташей в период между двумя войнами было задуманное и осуществленное ими совместно с македонской террористической организацией ВМРО убийство югославского короля Александра и французского министра иностранных дел Луи Барту в Марселе 9 октября 1934 года. Сейчас можно считать полностью доказанным, что за кулисами этого преступления стояли гитлеровцы, уже давно внимательно следившие за Павеличем и его бандой*.

Международный скандал, вызванный этим актом политического террора, был настолько велик, что усташам пришлось притихнуть. Обсуждение в Лиге наций ответственности Венгрии, предоставившей на своей территории убежище усташам (под давлением Англии и Франции югославское правительство было вынуждено отказаться от подобного же обвинения в адрес Италии), заставило венгерских покровителей усташей до поры до времени отказаться от поощрения их деятельности. А заключенный в 1937 году между Югославией и Италией пакт о нейтралитете повлек за собой расформирование усташских лагерей и на итальянской территории. На некоторое время усташки сходят со сцены. Этот период они позднее называли временем «великого молчания».

История усташского движения проходит в романе «Козара» в воспоминаниях и отрывках из дневника одного из ближайших сподвижников Павелича, полковника Франчевича, преподносящего его в идеализированной форме.

Лишь перед самым нападением на Югославию, в марте 1941 года, гитлеровцы и их партнеры по оси Берлин — Рим решили активизиро-

* См. книгу В. К. Волкова «Операция «Тевтонский меч». Москва, «Мысль», 1966.

вать усташей. С этой целью в Загреб прибыл гитлеровский эмиссар Веземейер, подготовивший провозглашение Независимого государства Хорватии. Для этого был избран сторонник усташей Славко Кватерник. 10 апреля он был доставлен на загребскую радиостанцию и от имени Павелича провозгласил отделение Хорватии от Югославии и образование Независимого государства Хорватии. В тот момент немецкие танки уже вошли в Загреб. Павелич тем временем находился в Италии, где он лихорадочно собирал разбросанных по стране усташей. По совету Муссолини он поспешил в Югославию, на территорию, занятую итальянскими войсками. Гитлер решил оставить Павелича под опекой его прежнего хозяина — Муссолини. 15 апреля гитлеровская Германия и фашистская Италия заявили о своем признании НДХ*. Получив одобрение, Павелич в ночь на 16 апреля прибыл в Загреб. Так еще до капитуляции Югославии, подписанной лишь 17 апреля, фашистские агрессоры начали дележ добычи и раздачу наград своим подручным.

Находившиеся в Югославии усташа и их идейные единомышленники сыграли роль «пятой колонны» в югославских войсках. В ряде хорватских частей вспыхнули спровоцированные усташами восстания, и они покинули фронт. Провозглашение НДХ способствовало дальнейшему развалу югославской армии. В двенадцатидневной «апрельской войне» королевская Югославия была разгромлена. Фашистские оккупанты приступили к установлению в ней кровавого «нового порядка».

В состав созданной с разрешения Гитлера и Муссолини НДХ вошли Хорватия (без части Далмации и ряда других районов, аннексированных Италией), Босния и Герцеговина, Срем (часть Воеводины), населенный сербами.

Хотя НДХ формально и считалась «союзником» держав фашистской оси**, она фактически была оккупирована их войсками, как и другие части Югославии. С запада на восток ее разделяла демаркационная линия, проходившая через всю Югославию. К северу от этой линии находилась сфера интересов Германии, к югу — Италии. Козара входила в немецкую часть. Оккупантам были подчинены павеличевские войска, делившиеся на две категории — усташские формирования (своего рода павеличевские эссовцы) и домобранские части (регулярные войска, набираемые в принудительном порядке на основе мобилизации).

С первых дней существования НДХ усташа начали бесчеловечное истребление сербов и евреев, преследование всех антифашистов и в первую очередь коммунистов. Сотни тысяч людей без различия возраста и пола были отправлены в многочисленные лагеря смерти, сотни ты-

* По-хорватски «Независна држава Хрватска» (НДХ). В годы войны партизаны слово «независна» переделали в слово «несавесна», то есть «бессовестная».

** После нападения Японии на Пирл-Харбор Павелич даже объявил войну США и Англии. Еще раньше он объявил набор «добровольцев» для посылок на Восточный фронт.

сяч зверски убиты. Усташи, предпочитая действовать кинжалом, перерезали своим жертвам горло или вырезали ножом сердце. Тысячи сербских трупов были брошены в Саву с табличками на груди: «Плывайте в свой Белград» *. Поэтому никакое описание усташских зверств в литературе (вплоть до коллекции девичьих глаз) не является преувеличением.

Хорватское католическое духовенство почти поголовно стало на сторону усташей. И фра-Августин — типичная фигура католического монаха, усташского кровопийцы.

Немногочисленная хорватская интеллигенция, примкнувшая к Павеличу, стремилась идеологически «обосновать» исторические «права» Хорватии на захваченные земли, и в первую очередь на Боснию и Герцеговину. В своем бешеном национализме и антисербском шовинизме усташские идеологи «доказывали» отсутствие общности происхождения хорватов и сербов, нагло фальсифицируя историю. Исторические экскурсы фра-Августина — примеры такой фальсификации.

Сербы и хорваты имеют общий (сербскохорватский или хорватско-сербский) язык. В связи с этим в НДХ началась поспешная работа по «разделению» языков. Возрождались архаические, вышедшие из употребления старохорватские слова и выражения, сочинялись новые, по образцу гитлеровских упражнений в «филологии» изгонялись все иностранные слова, хотя они давно уже вошли не только в литературный, но и в разговорный язык. Так, вместо «автомобиля» появился «самовоз», вместо «пистолета» — «самокрес», а «радиостанция» стала называться «круговальной постаей» (малопонятное словообразование, нечто вроде «установки для концептрического распространения волн») и т. д. и т. п. **.

Усташам удалось привлечь на свою сторону некоторую часть мусульманского населения Боснии и Герцеговины. Таков в романе кроваво-жадный палач Муяга, потомок богатого землевладельца-бега, «раскулаченного», видимо, в ходе проведенной в Югославии после первой мировой войны аграрной реформы, осуществлявшейся преимущественно в интересах сербского населения. Муяга со звериной жестокостью вымещает свою злобу на невинных жертвах. Ему, как и его хозяевам, ненавистны все сербское.

Трагедия Козары заключалась в том, что партизаны были вынуждены принять навязанные врагом фронтальные бои, а это в корне противоречило их испытанной тактике — отступать там, где враг сильнее, и наступать там, где он слабее или где не ожидает нападения. Слишком

* Осенью 1944 года я лично видел эти страшные доказательства усташских зверств: по реке Саве плыли человеческие трупы, поднявшиеся со дна, где они пролежали четыре года.

** Во время войны в Югославии ходила масса анекдотов об усташском «словотворчестве». «Подтяжки» были переделаны в «па плечах лежащие брюкодержатели»; «велосипед» — в «воздухом надутую двухколесную побегушку»...

уж велико было неравенство в сплах, вооружении и т. д. Отступить от этого правила партизан заставило присутствие десятков тысяч беженцев — их родных и близких, которым в случае ухода партизан грозила верная гибель. А так все-таки сохранялась надежда, что враг, может быть, выдохнется, отступит или где-нибудь удастся пробить кольцо окружения и вместе со всеми беженцами уйти в другой район. Но надеждам этим не суждено было сбыться. Когда гитлеровцам стало ясно, что устам одним не справиться с Козарой, в действие вступили немецкие войска.

Роман Олячи «Козара» напоминает поколению, пережившему войну, и рассказывает молодежи, для которой первая половина 40-х годов — история, о том героическом времени, когда все свободолюбивые народы мира поднялись против нависшей над ними угрозы превращения в бесправных рабов, угрозы физического истребления миллионов людей, которую нес человечеству фашизм.

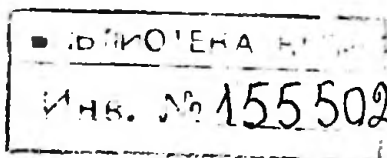
«Козара» — лишь один из эпизодов этой титанической борьбы. Но в этом эпизоде правдиво отразилась героика минувшей эпохи.

Перевернув последнюю страницу книги Младена Олячи, советский читатель невольно вспомнит и стойкость ленинградцев, и безграничную отвагу защитников твердыни на Волге, и бесстрашие советских партизан. Героическая и трагическая судьба защитников Козары обязывает сегодняшние поколения сделать все, чтобы никогда не смогли повториться события, пережитые человечеством четверть века назад.

В. Зеленин

СОДЕРЖАНИЕ

Моим советским читателям	5
Книга первая. <i>Перевод Т. Поповой</i>	3
Книга вторая. <i>Перевод Е. Рябовой</i>	188
Козара в истории и в романе Младена Олячи	
<i>Послесловие В. Зеленина</i>	373



Оляча Младен

КОЗАРА. Пер с сербскохорватск. Т. Поповой,
Е. Рябой. М., «Молодая гвардия», 1970.
384 с. И (Югосл.)

Редактор Л. Васильева

Художественный редактор А. Романова

Технический редактор З. Сутченко

Сдано в набор 1/X 1969 г. Подписано к печати 12/I 1970 г. Формат 60 × 90¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 24 (усл. 24).

Уч.-изд. л. 24,3. Тираж 65 000 экз. Цена 1 р. 40 к. Т. П. 1969 г., № 425. Заказ 1913.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Суцеская, 21.